



**Дружба
народов**

2/2020



В номере:

Слепок ключей от прошлого и будущего

Роман Анаит САГОЯН «Мосты горят» и повесть Алины ГАТИНОЙ «Душа и пустыня» — образцы «постимперской прозы». Роман Сагоян — о 90-х, о трудном распаде жизни в свободной Грузии, совпавшем с детством и взрослением главного героя. Мосты сожжены и будущее туманно. У Гатиной — более вегетарианская эпоха — близкие к нам 2000-е. Герои ее повести, беженцы из Таджикистана, успели на чужбине состояться, но они навсегда ранены «беженством» и пытаются вернуться — хотя бы в свое детство.

«С интонацией мирной экологии»

Поэзия любимой многими Олеси НИКОЛАЕВОЙ — раздумья о Боге и божественном вокруг и внутри нас, хотя «все написано давно в Книге Книг», но у Николаевой свои «словесные облака». Две подборки молодых авторов: Нади ДЕЛАЛАНД, замотивированной на поиск удивительного высказывания, и Григория КНЯЗЕВА, которому «грядущая жизнь письма счастья шлёт». Вадим МУРАТХАНОВ представил свои переводы стихов живущего в Бухаре Абдухамида ПАРДЫ.

Противостоять грядущему хаму

Известный культуролог Юрий КАГРАМАНОВ в статье «Нежданный зов аристократизма» размышляет о том, есть ли будущее у аристократической традиции в современном мире.

Азербайджанцы, придумавшие самовар

«Я люблю бывать в Азербайджане», — признается журналист и писатель Андрей ВАСИЛЬЕВ и в очередную поездку приглашает с собой читателей, чтобы познакомить с людьми этой страны, с разнообразием ее природных зон и укладов жизни, с происходящими в ней переменами.

«Бердяев жил в Кламаре...»

«Бердяевы потому, среди прочего, остались в Кламаре под немцами, что кот не любил путешествовать. Это, конечно, иронический слушок, пробежавший туда-сюда в эмигрантской среде; но слушок характерный...» Самая большая власть — это власть над прошлым», — утверждает Алексей МАКУШИНСКИЙ и отправляется вслед за своим героем в «философическое путешествие» во Францию. В рубрике «Презентация» — фрагмент из его новой книги «Предместья мысли».

Премьера рубрики

«...Все это, конечно, остается за рамками спектакля, но тем не менее мы, зрители, это помним — его (и спектакль, и сам театр) создавали люди, уже ушедшие и прекрасно понимавшие, что наша жизнь, вдруг взорвавшаяся изнутри, обнажившая самые потайные уголки сознания и самые тяжелые застарелые болезни общества, — требует такого же острого и ясного ответа, как если бы это была операционная в больнице».

В авторской рубрике Бориса МИНАЕВА «Правила игры» — проблемы и события современного театра.

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.12.2019.
Подписано в печать 27.01.2020.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 4805. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Кнут
СКУЕНИЕК

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Олеся НИКОЛАЕВА. Себе на диво. Стихи.....	3
Анаит САГОЯН. Мосты горят. Роман	8
Григорий КНЯЗЕВ. И прадедушка Ной — за спиной. Стихи	79
Алина ГАТИНА. Душа и пустыня. Повесть и рассказы	82
Абдухамид ПАРДА. Белые ворота. Стихи. С узбекского. Перевод Вадима Муратханова	114
Борис ЛЕЙБОВ. Рассказы. Из цикла «Штукарство»	118
Сергей ЗАХАРОВ. В доме семь комнат. Рассказ	138
Надя ДЕЛАЛАНД. По верлибру снега. Стихи	151

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Елена НЕСТЕРИНА. Зигфрид с коляской. Рассказ	154
--	-----

НАЦИЯ И МИР

Андрей ВАСИЛЬЕВ. Ордубадские лимоны, кенгерлийские воины и хыналыгские небожители	162
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий КАГРАМАНОВ. Нежданный зов аристократизма	182
---	-----

КРИТИКА

Слом иерархий: блогеры обживают реал. Литературные итоги 2019 года: Мария АНУФРИЕВА, Ольга БАЛЛА, Илья БОЯШОВ, Евгений ЕРМОЛИН, Мария ЗАКРУЧЕНКО, Константин КОМАРОВ, Евгений КОНОВАЛОВ, Елена САФРОНОВА, Яна СЕМЁШКИНА, Булат ХАНОВ	190
Андрей ТАНЦЫРЕВ. Рассказ о том, как... О Давиде Самойлове. Записки малоизвестного поэта	211

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

«Людам даны все знаки...» О романе Мишеля Уэльбека «Серотонин» размышляют Александр СНЕГИРЁВ, Александр ЧАНЦЕВ и Ольга БАЛЛА	220
---	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Завершая круг	235
--	-----

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Алексей МАКУШИНСКИЙ. Предместья мысли. Философическая прогулка	238
--	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Язычники и реконструкторы. Два случая из репертуара	262
---	-----

БЛОГ-ПОСТ

Мария ЛЕБЕДЕВА. Роман, чтобы ты заплакала. Как «плохие фанфики» для подростков становятся эмпатическим чтением	266
---	-----

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

Юрий ПОДПОРЕНКО. Чтобы светлый мир стал еще светлей. Современные художники Казахстана	270
--	-----

SUMMARY	272
---------------	-----

Олеся Николаева

Себе на ДИВО

Зима

Ах, зима, зима, — пою, — тьма и мать.
Будем вместе жизнь свою вспоминать.
В этом домике с трубой — правда ведь? —
будем вместе мы с тобой индеветь.
Будем петь — баском, сопрано, альтом,
спать с твоим песком, укрывшись пальтом...

Я боюсь тебя, как тьму, как тюрьму.
Я не верю ничему твоему.
Всё мне кажется — во льду, чёрен, строг,
грешник, запертый в аду, тянет срок.
Мает душу — не мила, за тобой
в пятки стылые ушла, в мёртвый слой.

Тем чудеснее, когда у ворот —
колесница ли, звезда, снегоход.
Запоздалый путник — да, тук да тук:
старомодны борода и сюртук.
Вот горячее вино на язык:
всё написано давно в Книге Книг.

Ах, на то она зима, чтоб вести
одинокого с ума — к ра-до-сти.
И на то она, кума, за кустом —
поначалу, как чума, но потом:
— Наши утлые дома, как баржи,
переплыли мы, зима, море лжи!

Уж не застишь ты, слепя и глуша:
двери настежь, нараспашку душа.
Чтоб глазами, как сова просиять,
ноги Божьи, как трава, целовать!

Январь

День чёрный — сер. И страхи на часах,
как караул, стоят: обогатился
сосед, чтоб разориться в пух и прах.
И Царь в яслях родился.

Как принято, поэт не без труда
решил об этом помянуть.
Рифмуя,
он написал: «Волхвы пасут стада»
и далее по тексту — «аллилуйя!»

«Что за стада пасут у вас волхвы?» —
спросил читатель.
Тот в ответ — жеманно:
«Волхвы же — это пастухи!
А вы
что, пастухов не видели? Как странно!»

И всюду — слухи... Говорят, рога
у Кондолизы Райс скрывает чёлка,
и Ленин ожил и ушёл в бега,
и баба родила в Тамбове волка.

Да и вообще — мы скоро вымрем: на
молодку каждую — едва ль по полребёнка,
и тот — на улице...
И полная луна
в бессонницу поскуливает тонко.

Так всё непрочное здесь, неверно,
никогда
с той черепахой, сколько б ни трудился,
Ахилл не справится.
Волхвы пасут стада...
Одно незыблемо здесь:
Царь в яслях родился.

Память

С интонацией мирной эклоги
всех ушедших помянем, нальём.
Поросли у распутия дороги
трынь-травой, репъём и быльём.
Ловим, ловим их отзвуки, тени
в сети веток, в закатный атлас...
С высоты — наподобье растений
мы теперь для покинувших нас.

Дуб корявый, сосна молодая,
крепкий вяз с золотым орарём —
шелестим на ветру, опадая,
память их, как живую, зовём.
И приходит она, баснословна,
опьяняет её вещество:
то как ластиком, водит неровно,
то в углу пририсует чего...

Появляются перстни и кубки,
звёзды, плётки, вериги в крови,
яд в стакане и перья голубки,
и записка с признанием в любви.
И не важно — так было ли, нет ли:
те-то сраму не имут, а мы
копим сны, прячем страх, вяжем петли,
припасаем кору для зимы.

Лихо

Меж братьями скандал и ураган.
Беда — один из них был сильно пьян,
другой, хоть трезв и стоек, а всё же параноик.

А повод был ничтожнейший — на грош:
но тот, что пьян, схватил фруктовый нож,
оставшийся с обеда,
стал выть и звать соседа.

Сосед пришёл — он брата обвинять:
хотел меня убить и закопать!
А тот, хотя и стоик, сел на журнальный столик.

И вот теперь — полиция, тюрьма...
Как от обиды не сойти с ума:
от этих потрясений ум близок к смертной сени.

Но пьянице — урок, упрёк, укор, позор.
Дают ему статью за оговор:
и час его неровен, ведь брат был невиновен.

К чему я всё? К тому, что до беды
рукой подать, везде — следы, следы
бесчинств, подлогов, козней и просто — скуки поздней.

И в воздухе стоит сплошной неслышный крик,
и смуту кипятит невидимый старик:
обязана кипенью в нём ненависть к творенью.

...Ты чуешь этот чад? Чуть топнешь — и обвал,
чуть тронешь — и насад, чуть вскочишь — и пропал.
А если брат на брата — тут Лихо виновато.

Чуть свистнешь — и банкрот, чуть глянешь — и злодей,
едва откроешь рот — не соберёшь костей.
И ум не зря дичится попивших из копытца.

И это неспроста пришло в наши места.

«Алхимия»

Отчего моё сердце болит?
— Оттого что, — сказал Гераклит, —
всё течёт в направленьи конца,
торопя кровавые тельца.

Как посмотришь: там хаос, там жуть,
и при этом всё дело свернуть
в чёрный час протромбин норовит...
Но царевича рана — кровит!

Боже правый! Там целый завод:
там — реторты, цеха, там цейтнот,
там алхимией пахнет, там в хор
элементов втирается хлор.

А к нему — прост, как бледная моль,
натрий льнёт, и является соль.
Потому тяжелы, солоны
кровь, и слёзы, и скорби, и сны.

Магма булькает, звёзды текут,
надывается сердца лоскут,
словно плавят там медную нить,
чтобы золото в тигле добыть.

...Добывай же, Создатель!
Пока
горяча в моих жилах река,
и дыханья гора высока,
и словесны мои облака.

Поднимай меня ввысь, как потир,
превращай мою кровь в эликсир,
чтоб по смерти — до Судного Дня —
Твои люди узнали меня.

Греческий городок

Тот городочек сидит на земле, поджимая коленки,
или, свернувшись калачиком, дремлет ночами у стенки.
А поутру раскладывает игрушки —
лепестки, и камушки, и ракушки.
Он приручил море, он прикормил рыбок,
Он подарил цикадам тысячи скрипок.
И на себя опрокинул ведро небесной лазури.

Кажется, здесь нет ничего большого: страдания, бури,
горя-злочастия, страсти, болезни, рока.
Запах тёплого моря, вкус виноградного сока.
Словно бы кукольный город, где всё понарошку,
чтобы всамделишный Кто-то, прильнувший к окошку,
сверху смотрел, как здесь движутся все без запинки —
лодочки, яхточки и заводные машинки.

В крошечных кухоньках варят крема да нектары.
А на террасах кифары звучат и гитары;
Роза красуется, персик в саду бархатится.
Кажется, здесь никогда ничего не случится.
Солнце играет в пятнашки, в прятки и салки,
чтоб отдохнуть на ручке кресла-качалки.

...Здесь и за нами Незримый поглядывал — тонко
ниточка вьётся, и бродим тут мы, два куклёнка,
собственной хрупкости не понимая, далече
важные думы ведём и серьёзные речи.
Средь бугенвиллей роскошных и пальм низкорослых
кажется сверху, что мы лишь играем во взрослых.

Лишь притворяемся, будто бы мы — человеки.
И не боимся, что к нам, в нашу детскую, в некий
наш городок неожиданно, без проволочек,
сам ли хозяин войдёт иль хозяйский сыночек,
и соберёт все фигурки и каждый предмет,
сложит в коробку и медленно выключит свет.

Анаит Сагоян

Мосты горят

Роман

Судороги

— Она точно не умерла, — шептались испуганные люди, окружившие ее криво замершее на дробленном асфальте тело.

— Она не умерла, — подтвердили позже врачи и подключили к аппарату искусственного дыхания.

Грузия впала в глубокую кому. Неспособная ходить на собственных ногах, она свалилась, едва ли сделав несколько самостоятельных шагов, сломала себе позвоночник, расколола голову и просто застыла, скрученная так неизящно, что голливудский кинематограф подобный дубль с телом не одобрил бы: там у них грация, легкость, там нужно правильно ногу под себя поджать и согнуть руку в локте. Голову боком и по возможности вздернуть подбородок, как на полотнах Возрождения.

У смерти был запах сырости, скрип полуоткрытой двери и маячащий свет керосиновой лампы. Подползающая смерть мерцала безразмерной и бесформенной жалостью умирающих к себе. Жалостью к себе тех, кто остались живы. И Сандрик впервые пожалел себя, когда Миша, отец, ушел из семьи, а потом — когда не стало Инги. Тогда, в детстве, когда он остался один, ему всегда казалось, что луна смотрит на него глазами матери. Уже больной раком. Уже ускользающей. Что нет ничего более очевидного, чем этот полуоткрытый рот, распахнутые беде глаза и свет. Желтый, скачущий свет, который источала Инга, утекая в смерть из-под мятой простыни и затягивая за собой лакуну.

Миша всегда мечтал о кресле-качалке. Так всем и рассказывал при любом удобном случае: во время застолий, кухонных посиделок, встреч с одноклассниками. Или когда сосед поднимался одолжить до полочки. В те годы мечтать о кресле-качалке было таким чудачеством, что мало кто решался проявлять любовь к этому греховному миру комфорта, растлевающему жесткое и натруженное до мозолей тело. И Миша, только и ждавший печального исхода всемирного заговора и вынужденного переселения людей в пещеры, упивался этой маленькой прихотью, которую мог себе позволить: помечтать о чем-то столь прекрасном и в его случае финансово

Анаит Сагоян родилась в Санкт-Петербурге. Девяностые и нулевые провела в Тбилиси. Эмигрировала в Германию, где и занялась прозой. Печаталась в литературных журналах «Литература» и «Берлин. Берега». Живет в Берлине. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Журнальный вариант. Полностью роман выходит в серии «Ковчег» изд-ва «Городец».

неподъемном, чтобы только всех удивить. Объявив о своей несменной мечте в очередной раз, он обычно откидывался на спинку стула и горящими глазами оглядывал слушающих. Миша с наслаждением вбирал в себя их недоумение и прощение маленькой слабости человеку, готовому в любой момент начать добывать еду копьём, потому что «к этому все идет». Но, озвучив мечту, он ею пресыщался. Она серела, теряла тепло, как мертвеющее тело, пока он снова не вдыхал в нее жизнь на очередной посиделке. Миша так и жил — от озвучки до озвучки. Это помогало ему ждать великого, печального и уже неизбежного переселения народов обратно в пещеры.

Рассказывая всем о кресле-качалке, Миша будто отрывался от собственного тела и как художник, отходящий на обзорное расстояние от своей картины, смотрел на себя и свою несбыточную мечту как бы со стороны, примеряясь с карандашом меж пальцев, упоенно шурясь. В эти минуты он подпитывался жалостью к самому себе, обреченному любить то, чего не имеет, и ждать того, что не случится. Самосострадание, постсоветская чума, обживались в панельных квартирах, подбирая под себя целые семьи.

Инга, прихватив Сандрика, регулярно ходила в районный АТС, чтобы оплатить телефонные звонки, пустые разговоры, молчание в трубку и голосовую тоску, передаваемую не воздушно-капельным. Там в окошках сидели женщины с синими веками, алыми губами и лаком цвета перламутровой ржавчины на ногтях. Они и заправляли медно-кабельными механизмами передачи инфекции: захотят, отключат тебя от общего очага болезни, захотят, вернут к связи. В АТС всегда пахло краской, сыростью, карболкой и агрессивным женским парфюмом. Тусклый свет падал мимо тебя, а звуки носили канцелярско-фанерный характер.

— Этот номер не определяем. Каждый месяц вам, женщина, одно и то же говорю, — любили повторять за окошком, закатив глаза, нервно выдыхая и отпивая кофе.

Но в тот морозный предновогодний день все было иначе. Территория вокруг АТС взбухла от толстой, бесформенной очереди с дюжиной рядов в одну наглухо закрытую дверь, из которой широкая ладонь совершала периодические выпады в толпу. Промышленный район, намертво заглушивший все свои индустриальные трубы, ссутулился и скис в ожидании заокеанской руки дающей и внимания к своей затравленности. Все хотели должного внимания. Было мало говорить о жалости к себе друг с другом. Нужно было, чтобы их признали и пожалели. Чтобы о них говорили.

— Представляете, вчера поднимаю трубку, чтобы набрать номер, а там дочь моя с парнем каким-то о съексе говорит. И не с дому, а видимо, от подруги, — женщина в толпе на секунду вдавила голову в плечи, и заимствованное слово глухо зашипело, как аспирин в стакане воды.

В те времена все начали постепенно понимать, что за пределами блочно-панельной аркадии есть не только «съекс», но и другая жизнь. Что там по земле ступают богачи, не придуманные сценаристами мыльных опер, что у женщин там есть домработницы и даже оргазмы (это потому, что климат другой, мягкий, уверяли себя наши). И что за все это им не обязательно покаяние. Осознание того, что этот прекрасный, беззаботный мир по ту сторону безбожья обязан здешним людям, сыскавшим у судьбы чуть меньше удачи, пришло очень быстро, и все по эту сторону примерили на себя комбинезоны жертв.

— Так, очередь соблюдайте, назад, говорю, — широкая ладонь, выглядывающая из толстого серого рукава куртки, обозначила границы толпы взвинченных женщин и оторопевших детей.

— Что за отношение к людям, кошмар, кошмар. Второй час держат на холоде, как собак.

— На днях поставили елку, а он просыпается ночью, садится на кровати, бороду нервно чешет. Что, спрашиваю, случилось. Елка, отвечает, в углу на двух человеческих

ногах притаилась, уברי. Говорит мне такое, представляешь, и пальцем у виска крутит. Что, вскипаю я, дыру сверлишь? Нет, говорит, пулю вкручиваю.

— Говорят, в коробках можно доллары найти. Нас потому тут и держат.

— Как это?

— Коробки они там у себя внутри открывают, смотрят, что внутри.

— Доллары? — высокая женщина в черной затертой дубленке опрокинулась на собеседниц, замкнув круг доверия. — Вот прямо в коробках?

— Ну да, между карандашами и шарфиками. У моей подруги мать в Америке, так она доллары оттуда каждый месяц присылает. Я слышала, у них там все теперь карточками какими-то оплачивают, а бумажные деньги остались не у дел. Вот и сбывают в наши страны.

Не прошло и двух минут, как подозрительная толпа стала неистово ломиться в закрытую железную дверь АТС и угрожать ее выломать, если там, внутри, не перестанут вскрывать коробки. Разревелись дети, хватаясь за пальто матерей, потянули их домой. От поднявшейся суеты Инга потеряла место в очереди, и толпа вытолкнула ее в самый край огороженной территории. У Сандрика сводило челюсти от мороза, а под шапкой вспотели волосы. В горле пересохло, и язык натирал нёбо. Колючий свитер окольцевал шею, и поворачивать ее в стороны совсем не хотелось, поэтому Сандрик смотрел в землю, выслеживая на ней живность.

— Разве ты не хочешь подарка? У нас, сынок, в этом году другого и не будет.

— Пошли, мам. Я хочу пить. И есть.

— В коробках точно будут Сникерсы, подождем немного еще.

— Тогда не стучи и не кричи, как они.

— Ты что, зачем мне это. Стыд какой. Просто дождемся нашей коробки.

— А вдруг на всех не хватит?

— Ну, как получится, — Инга тяжело выдохнула и огляделась по сторонам в поисках спокойной компании, в которой можно было бы постоять и как бы примкнуть к общему ожиданию, но только чтобы никто не подстегивал выкрикивать угрозы. Рядом жалась к забору женщина, крепко ухватившись за хрупкую ручку маленькой девочки. Обе они отстраненно наблюдали за буйством толпы, но никуда не уходили. Инга потянула Сандрика за собой и аккуратно придвинулась к незнакомке, которая этого будто и не заметила.

— Я каждую неделю посещаю церковь, — начала вдруг она, явно обращаясь к Инге, и Инга, желая проявить внимание, доверительно склонилась к женщине. — Про свадебное платье у священника вот спрашивала. Мы с мужем развелись, а я боюсь, что развод — это грех. Ведь мы венчались. И я просила у священника разрешения.

— На что? — с каждым вяло и медленно произнесенным женщиной словом Инге становилось скучнее и тоскливее, но железная дверь АТС была все еще наглухо закрыта, а слово «доллар», выкрикиваемое толпой, обросло маниакальной хрипотцой.

— Платье свадебное сжечь.

— Ой, — смогла лишь выдавить Инга.

— У меня вообще очень много вопросов к Богу. Вот, например, что мне делать с бутылочками, в которых я святую воду хранила? Ну не выбрасывать же, — и незнакомка стыдливо приложила два пальца к губам. — Или вот брат мой в деревне коз пасет и потому не успевает молиться. Это грех?

Инга вдавила голову в плечи, оглянувшись в сторону беснующейся толпы.

— Так это грех? — переспросила женщина.

— А... это вы меня спрашивали? Извините, я не сразу поняла, что меня. Не знаю... — замешкалась Инга.

— Вот потому я и хожу в церковь. Все ответы там, — благоговейно заключила женщина и, не сказав больше ни слова, потерялась в густой толпе, уйдя в самое ее

пекло и затянув в нее дочь. Сандрик успел разглядеть маленькую, тонкую ручку девочки, которую уже через секунду проглотила мутная жижа толпы.

— Мам, у меня идет кровь, — решил Сандрик, просунув руку под воротник куртки на затылке.

— Как кровь?! — встрепенулась Инга и стянула воротник сына, заглядывая внутрь. — Болит?

— Нет, мокро и липко. Как тогда, когда я разодрал колено.

— Это пот, сынок, — с облегчением выдохнула Инга, когда вытянула мокрую ладонь из-под куртки сына. — Ты просто вспотел. Потерпи еще немного. У тебя же ничего не болит?

— Я не знаю.

— Ну как так?

— Я не могу понять, болит или нет. Я не чувствую.

— Просто потерпи. Дома чай горячий попьешь.

Сандрик снова просунул руку под воротник, потом достал и внимательно ее оглядел.

— Я историю с елкой как-то заела, запила. Да забыла уже. А он мне вчера очередное выдает: темнота, мол, по-другому пахнет. Закроешь глаза в темноте, представляешь, что не знаешь, как сейчас на самом деле темно, и вдыхаешь. Темно... А я устала слушать этот бред. Он же еще год назад нормальным был. С ним теперь уже и не выпьешь. Свое толкает.

— Он же у тебя раньше медбратом работал.

— Ах, какая теперь разница, — женщина в толпе устало махнула рукой. — Ну работал. Пока крыша не съехала. А теперь только и рассказывает сказки. Помню, говорит, тело мертвое привезли ночью. Все ушли, на меня, мол, труп оставили и на студента одного, недоучку. А тело стонет и скрипит. Пальцами дергает. Студент как в угол забьется, руками в стены вжался. Бога зовет, крестик из-под халата достал и целует.

— Кошмар какой-то.

— Стоны и скрипы умерших людей — это у них там в порядке вещей. На голосовых связках, говорит, тоже есть мышцы, и они не сразу окоченевают. А я все равно думаю: это от нечистого. Неспроста же мой свихнулся.

Толпа исторгла из своей пасти неусваиваемую, ширококостную вербовщицу, которая пошла на кучку малоактивных женщин, сосредоточившихся у самого края и готовых сбежать.

— А в коробках-то приглашения, — начала вербовщица, щелкнув пальцами.

— Какие еще приглашения?

— Да на рабочие места грин-карты. Там свои, американцы, отказываются в гостиницах постели заправлять и автобусы водить. В стране паника — рабочие места пропадают, граждане все этим их «бизнесом» заняты. Это не нам помощь в коробках, ми-лы-е-эээ, это они помощи просят. А бланки приглашений нужно просто заполнить и нести в посольство. Им нужны наши руки, а эти сволочи, — и вербовщица медленно и натужно подняла указательный палец в сторону железной двери, — они все себе захватить хотят!

Кучкующиеся с краю моментально втянулись в общее мутное облако, чернеющее на фоне наступающей темноты. Нервное напряжение обросло домыслами и догадками. Уверенность в заговоре работников АТС не покидала теперь даже Ингу, еще минуту назад готовую сбежать.

— Как думаете потратить доллары? — спросили Ингу сбоку.

— Сыну, наверно, одежду куплю. Зимнюю, — ответила, не оглядываясь, Инга. Все голоса теперь казались ей из одного рта. Большого, гневного и голодного. — Ну и мужу — кресло-качалку, о которой мечтает.

— О кресле-качалке! Чушь какая-то. Зачем оно ему?

— Да вот, куплю, поставлю в самом центре залы. Пусть садится, — Инга сжала губы и впечатала остекленевший взгляд в качающуюся толпу. — Может, мечты должны сбываться, чтобы, наконец, издохнуть.

— Но вы не обольщайтесь, — выступила из кучки молодая женщина с красными волосами. — У меня вот подруга в Германии. Там, в ихних европах и америках, рассказывает, сплошь и рядом даже велосипеды крадут. Ве-ло-си-пе-ды! Представьте только. Кто-нибудь у нас велосипеды крадет? Ну кто? Есть хоть один пример?

— Никто у нас велосипедов не крадет. Ужас какой, — возмущительно забубнила толпа.

— Вот. А там — сплошь и рядом.

— У них или крупный «бизнес» или воровство велосипедов. Никто не хочет просто трудиться. Официантом, там, или водителем.

— Что за мелочный народ, — снова возмутилась толпа.

— Дура твоя подруга, — бросила девушка неподалеку.

— Это почему? — возмутилась рассказчица.

— Дура, потому что никому здесь у нас велосипеды не нужны. Ну украли велосипед. А кому его после сбыть? Здесь золото из квартир выносят, чтобы нажиться. Машины угоняют.

— То есть давайте все сейчас по головкам наших дорогих американцев и европейцев гладить станем. Наговаривает, мол, моя подруга на них, бедных. Нас бы кто пожалел! Кровь из нас все вокруг пьют. За собак считают. А все блага достанутся им, там, за дверью! Вот они в Америку полетят, а мы будем все еще стоять здесь и ждать, пока дверь откроется. Мы этого хотим? Этого мы заслужили?

— Так подарки же детям!

— Посмотрите на детей: голодные, холодные, ждут чуда. Жестокость! Вот, что движет этими свиньями в АТС. Жрут Сникерсы наших детей, небось, попивая свой кофе.

— Мам, а что бывает, если вся кровь вытечет? — Сандрик натирал пальцами глаза, всматриваясь в красные пятна под веками.

— Без крови человек не выживет.

— А человек может умереть, даже если кровь не вытекла?

— Конечно. Человек от разного умирает.

— А от чего еще?

— Зачем тебе это знать, Сандрик? Ты меня лучше про животных спроси или... не знаю там... про планеты.

— Об этом я сам прочту. Мне про кровь интересно. И про умирание.

— Рано тебе о смерти задумываться.

— Не смерть, а умирание. Мне интересно, как это происходит.

— Господи, Сандрик, где ты этого всего нахватался?

Из толпы снова истошно завопили. Люди наступали друг другу на сапоги, толкались плечами и ждали свершения.

Инга, потеряв терпение, решительно схватила Сандрика в руки и пошла прочь. Вербовщица догнала ее и перегородила путь, тяжело засопев.

— Куда это собралась? — процедила она.

— Домой. Отойдите по-хорошему.

— Мы здесь за общую цель боремся, а ты свалить решила? Это вот твое соучастие и сострадание?

— Слушайте, мне ребенка кормить надо. Мне на вашем сострадании супа не сварить.

— Это у нее продукты для супа есть дома, вот почему она сваливает, —

выкрикнула вербовщица в толпу. — Зажралась. Вы только на нее посмотрите. Назад иди давай, ко всем.

— Не пойду, руки убери, — Инга долго и тщетно отталкивалась от вербовщицы, как вдруг все оглянулись в сторону железной двери: та медленно отворилась, издав истошный звук свершения. Толпа замерла. Из двери высунулась та самая широкая ладонь, потом исчезла, а после в толпу стали без разбору выдавать освобожденные от подарочных упаковок коробки. Женщины отпустили детей и обеими руками потянулись через головы ближе к цели. Уже спустя минуту множество рук изнутри с нетерпением скидывало коробки в толпу, даже не целясь. От сложившейся картины веяло мертвостью, мышечными рефлексам тела перед полным оочечением.

— Геспди. Ты только на это смотри, — возмутилась женщина, вынув из коробки шапку ручной вязки.

— Америка. Еще богачами зовутся. Ну а фотографию-то свою зачем вкладывать. И записка фломастерами какая-то. Постыдились бы.

А когда подарки закончились и закончилась толпа, Инга скромно подошла к двери и заглянула внутрь.

— Мама, ничего не хочу, пошли, — Сандрик тщетно тянул мать назад.

Внутри уже стоял охранник, перебирая связку ключей и готовясь к дежурству.

— Извините, а где работники? Мы пришли за подарком.

— Все ушли. Нет никого. Вы тоже идите.

Инга постояла с минуту у двери.

— Зачем вам это все? Вот зачем? — охранник развел рукой по пустому помещению, еще совсем недавно заполненному коробками. — Куда ни ткни, все елки свои наряжают, гирляндами заешивают. Это же все, чтобы тоску свою замазать. Чтобы тьму свою осветить. Чтобы она горела, как будто живая. Но мне в стакан воды что-то не то подмешали. Оттуда на меня трещина смотрит. Дым испускает. А я ей — дай мне знак. Нет ответа.

— Что ж, с наступающим, — осторожно заключила Инга, мысленно втокнула огромную кресло-качалку в самый центр залы, ткнула ее, чтобы та закачалась, сама ухмыльнулась, дернув коченеющими губами, и покинула территорию АТС, чтобы прийти сюда снова и обязательно оплатить все телефонные звонки, пустые разговоры и молчание в трубку.

А охранник вышел на холод, присел на ступени у железной двери, откопал из кармана куртки пачку сигарет и зажигалку. Зажигалка в его руках свистнула, распугав последних воробьев, и вскоре наступила полная тишина. Он закрыл глаза, и темнота мгновенно запахла. Стоп-сигнал его сигареты на секунду загорелся и снова потух.

Рука дающая

Следующие несколько лет Грузия выживала на одном лишь ожидании перемен. Миша тогда еще был с семьей. Это через полгода он встанет и выйдет в подъезд. Как будто зайдет в ванную и пустит себе кровь из вен. Но в тот самый день он сидел в зале, там же — Сандрик, и оба они смотрели на Ельцина. Ельцин пропитыми глазами смотрел на них и вязким фальцетом что-то обещал. Мишу страшно раздражали чужие обещания. Он всего хотел сразу: понимания, соучастия, свежей заварки в чайнике. Сам он во все это никогда не вкладывался. Он хотел всего взаимы. Чтобы разглядеть, как товар, и решить — а стоит ли вкладываться вообще. Но никто не давал ему взаимы ни понимания, ни сочувствия. Чайник был слишком часто пуст. Никто не хотел рисковать, бросать на ветер своих усилий.

Это делало Мише больно. Так больно, что только боль, причиняемая в ответ, могла замазать свою собственную. Они втроем — Сандрик, мать и отец — варились в

этом котле. Никто не хотел уступать. Так и жили, пока отец в один из похожих дней не рванул с дивана во время очередной долгой рекламы и не взялся за ботинки в прихожей. Сандрик не встал. Мама не вышла из кухни. Они еще долго ничего не предпринимали, когда дверь за отцом захлопнулась.

Все настолько резко и очевидно изменилось, что первым желанием было закрыться в себе, поставить на паузу рекламу, Ельцина, время. Изничтожить этот самый момент, который уже случился. Как будто его и не было вовсе. И отца не было. И его запаха. И одежда его, только что навсегда выбежавшего из квартиры, не сложена все еще в шкафу.

И вот, месяцами ранее, они все еще сидят и слушают обещания с экрана, а Миша хмыкает, качая головой. Одна его рука растянута вдоль спинки дивана, другая легла на подлокотник. Сандрик сидит в старом кресле и перебирает импортные журналы с яркими картинками игровых приставок, машин на дистанционном управлении и роликов.

— Возьми в руки книгу. Хватит уже листать эти пустые страницы, — едва шевеля губами и не отводя глаз от экрана, бросил Миша. — Идиотом вырастешь на этих журналах. Ничего дельного Вовчику из Турции не привозят. А ты ведешься на этот мусор, — и отец хмыкнул так же, как делал это в адрес сытых чиновников с экрана. На слове «мусор» он уже смотрел на Сандрика, и взгляд его застыл на пару секунд.

— Я сегодня уже читал.

— Значит, прочитаешь еще.

— Больше не лезет, — огрызнулся Сандрик.

Однажды он подрался с отцом. Сандрик, едва шагнувший в подростки, уступал ему в размерах и силе, и отец тогда прижал его к стене и долго держал так, ухватив за челюсть, пока Сандрик не перестал пытаться и сопротивляться. В первый момент глаза Миши горели от торжества и превосходства. Но потом он с отвращением к себе отпустил сына и кинул стакан о стену. А сейчас он оставался угрожающе сдержанным.

— Больше не лезет, говоришь, — спокойно повторил он, потирая щетину. Слишком спокойно, с подвохом.

Сандрик напрягся в ожидании продолжения. Именно отец научил его обращаться с людьми особым способом: к новым знакомым Сандрик поначалу оборачивался с агрессивным оскалом, заранее расчерчивая их отношения и границы дозволенности. Как бы обороняясь от возможных претензий и нападков с их стороны. А лучшая оборона — это нападение. Сандрик так и делал.

— Зря ты вот так дерзишь. Знаешь, почему Дато после школы в тюрьму загремел, а не в университет пошел? Потому что дозу не рассчитал, а потом у него крыша съехала. Он целый год гонялся с топором за родным отцом. Клялся, что зарубит. Ни за что ни про что. А потом у отца от горя крыша съехала. И весь следующий год уже он гонялся с топором за сыном. Буйный мужик был — сразу в полицию забрали. Мол, такие нам и нужны, — Миша хлопнул ладонью по колену и закачал головой. — Вот он сына и вызволил. Всему району на радость.

— А я вообще при чем?

— При том, что Дато докатился до этой жизни. И у тебя все шансы с годами пойти по его стопам. А брат его младший, Ника, с финкой по району ходит и хаты берет. Я тебя от такого будущего отгородить хочу, а ты туда лезешь руками и ногами.

— Миша, он же просто на ролики смотрел. Не сгущай красок, — Инга робко вошла в залу, встав на защиту сына. Мишу это только раззадорило.

— Ролики?! На наших-то дорогах? Лучше пусть танк себе присматривает. На ролики он таращится. Ты смотри, а... Это ты его против меня настраиваешь. День за днем, день за днем, — Миша хлопал тыльной стороной ладони о другую ладонь. — Что же вы никак не уймесь? «На ролики». Вот так всю жизнь и будет смотреть на ролики,

которые на наши дорожные выбоины не рассчитаны. Все это мечты, витание в облаках!

В этот момент Сандрик представил, как Дато врывается в их квартиру и засаживает топор в Мишину спину, и топор застревает в ней. И отец падает на колени, истекая кровью. И вокруг него уже целая лужа. Когда крови становится слишком много, она выглядит густой и смолистой. Чернущая такая: только по красным, прозрачным краешкам себя и выдает. И вот отец тянется за топором в своей спине, но там его больше нет, потому что кровавый топор в Сандриковых руках. И это Сандрик, у которого поехала крыша. Это все он.

* * *

— Ты слышал, что у Инессы Альбертовны ограбили ночью квартиру? — начал в ажиотаже Вовчик, когда они с Сандриком встретились в школе. — Догадайся, кто.

— И так понятно, — Сандрик дернул плечами.

— Я видел ее сейчас в классе географички, когда проходил мимо. Там дверь приоткрыта была, и она плакала. Вся школа теперь только об этом и говорит. И знаешь, почему?

— Ну.

— У нее в диване три тысячи долларов были запрятаны. Все забрали.

— Откуда ты знаешь?

— А она так и говорила сквозь слезы географичке: «Все три тысячи, все до доллара».

— Слушай, Вовчик, не рассказывай никому. Может, она не хочет, чтобы люди знали. Особенно старшеклассники. Особенно Никин класс.

— Да все уже знают, — бросил Вовчик и виновато отвернулся.

Позже в тот же день Сандрику поручили отнести Инессе Альбертовне кипу контрольных работ, забытых ею в школе. Ему не особо хотелось заходить в квартиру, где еще ночью парни в масках связали женщину, чтобы вынести все ценное. Прийти — значит, смотреть в глаза своей учительнице. Сандрику было стыдно за то, что он знал больше, чем должен. Ему было невыносимо понимать, что она ищет преступника, а все знают, кто это. И он знает, но не может сказать. Потому что страшно.

Схватив огромный сверток с тетрадями, Сандрик все же пошел и по пути думал, что Вовчик сольется на первом же повороте, потому что ему, должно быть, так же неловко смотреть в глаза Инессе Альбертовне. Да и Вовчику конкретно ничего не поручали: он может идти домой. Вовчик тем не менее напросился в попутчики.

— Хочу увидеть, — едва сдерживая возбуждение, заявил он.

— Увидеть что?

— Ее глаза. Квартиру. Это же так интересно. Представь, как она осторожно подкрадется к двери, когда мы постучимся, — и Вовчик сдвинул смешок. — Подумает, вдруг снова.

— Ты придурок, Вовчик. Просто придурок, — бросил Сандрик и тут же вспомнил, как у них в подъезде умер сосед, а сам он несколько раз нарочно пробегал на чужом этаже, чтобы заглянуть в открытую дверь и посмотреть на труп.

* * *

— А, это вы... Точно, я же забыла... — безучастно заговорила Инесса Альбертовна, увидев ребят у порога. Высокая, с короткими черными кудрями, она всегда привносила с собой атмосферу собранности и готовности, стоило ей появиться в школьном коридоре. А сейчас она стояла сутулая, волосы поблекли, под глазами мешки. Она вяло потянулась рукой к свертку с тетрадями и уже собралась закрыть дверь, испуганно оглядываясь на лестничную площадку.

— Инесса Альбертовна! — вдруг вырвалось у Сандрика. Он решительно посмотрел ей в глаза.

— Да?.. Как?.. — учительница русского языка и литературы терялась в словах.

— Нам очень жаль, что все так вышло. Вы знаете, где искать то, что у вас забрали?

— Мальчики, идите домой, — она сменила тон и насупила брови.

— Мы можем помочь с поисками, — снова ляпнул Сандрик, и Вовчик с опаской оглянулся на него.

— Этого еще не хватало. Не лезьте во взрослые дела. Сами разберемся.

— Ну а если воры — тоже не совсем взрослые. Может, это школьники.

Вовчик прижался к Сандрику плечом и незаметно потянул вниз за его рукав. Послышалось, как лопнули нитки.

— Кто знает, — добавил Сандрик, почувствовав, что слишком далеко зашел.

— Все. Домой и точка.

— До свидания, Инесса Альбертовна, — бросил Вовчик и уже развернулся, чтобы спуститься по лестнице.

— До завтра, — замыл разговор Сандрик и тоже повернулся уходить, потирая затылок.

Инесса Альбертовна не спешила закрывать дверь. Она нерешительно смотрела ребятам вслед.

— Я знаю, кто это был. Но все не так просто, — решила сказать она напоследок.

— Почему? — обернулся Сандрик.

— Пошли уже, Сандрик, — Вовчик суетился на ступенях, не находя себе места.

— Не просто, и все, — Инесса Альбертовна скрестила руки на груди и сжала губы.

— Сколько можно все этой семье прощать? — не сдержался Сандрик.

— А никто и не прощает. Все. До завтра.

Уже через пару секунд ребята были этажом ниже, а хлопка двери так и не было.

— Мальчики, — вдруг послышалось сверху. Инесса Альбертовна робко выглянула в пролет. — Может, чаю с печеньем? В благодарность... — неуверенно предложила она.

Сандрик знал Инессу Альбертовну совсем другой: непреклонная, не терпящая возражений. А сегодня это был другой, сломанный человек.

— Я все же домой, но спасибо, — Вовчик припал к стене, чтобы сквозь узкий пролет его не было видно, и настойчиво закачал головой, подавая Сандрику знаки смываться.

Инесса Альбертовна была с недавних пор вдовой. Муж владел маленькой стоматологической клиникой в районе, по местным меркам считался человеком успешным, но сгорел за год от рака легких. Жене оставил сбережения. Детей у них не было. Ученики не особо любили Инессу Альбертовну, потому что она предпочитала проводить уроки даже в лютый мороз в необогреваемой классной комнате. А когда там со временем установили печку, она стала чаще проводить диктанты, одной рукой закидывая щепки и шишки в огонь, а другой держа толстую палку и перемешивая все внутри. И увлеченно диктовала текст, который знала наизусть.

— А я, пожалуй, попью чаю, — решил Сандрик.

— Предатель, — прошептал напоследок Вовчик и сбежал.

* * *

— Послушай, ты не вмешивайся во все эти дела, ладно?

— Я никому ничего не говорил, Инесса Альбертовна, честное слово. Но вас слышали люди...

Учительница устало дернула плечами, залила чайный пакетик кипятком и подвинула стакан к Сандрику. Они сидели в зале, хотя Сандрик больше привык к кухням. Ему там свободнее пилось и елось. Он не боялся бы накрошить на ковер, потому что ковров в кухнях не бывало. Да и зала Инессы Альбертовны все еще

источала богатство, которое в отдельных деталях казалось Сандрику излишним. Например, мерцающие флёрковые обои и статуэтка балерины.

— Вот ее не забрали, и знаешь, почему? — начала учительница, поймав взгляд Сандрика. — У нее пятка сломана, если обратишь внимание. А другое просто не успели забрать. Да и приходили они за конкретными вещами... Тбилисские старшеклассники сейчас — полная темнота. Не становись таким, когда вырастешь.

— Вы боитесь, что они снова придут?

— Немного. Но это, скорее, фобия. Им больше нечего забирать. Не обои же сдирать.

— Инесса Альбертовна, вы совсем одна?

И в этот момент она посмотрела на Сандрика как будто немного с жалостью. Будто совсем один — это Сандрик. Смотрела и молчала.

— Как дела дома? — спросила она вдруг.

— Нормально.

— Не хочешь об этом говорить?

— Да не о чем. Дом как дом. Все чем-то занимаются.

— А у мамы с папой как?

— А почему вы спрашиваете?

— Да это я так, просто, — Инесса Альбертовна потерла плечо, оглянулась к окну. — Кстати, Миша — мой одноклассник. Ты не знал?

— Он никогда не рассказывал, — признался Сандрик, и сам удивился этому факту. — Ни разу. Хотя он знает про вас. Странно.

— Ты любишь отца?

— Нормально, — Сандрик часто представлял себе, как отец умирает. Например, как он засыпает и больше не просыпается. Но еще чаще он представлял, как умирает сам: в отместку отцу.

— Ну что за дурацкий ответ. Я, как-никак, — учительница русского языка. «Нормально»!

— Люблю, не люблю. Какая разница. Он весь в делах. Моя любовь больше нужна маме.

— Почему?

— Маме ее не хватает.

Инесса Альбертовна беспокойно завертелась на стуле. Встала, схватила пачку сигарет, неумело закурила у окна.

— Утром купила. Впервые в жизни, представляешь. Ну, в смысле впервые для себя. Раньше только мужу брала. От них и помер.

* * *

Спускаясь по лестнице от Инессы Альбертовны, Сандрик разогнулся и перешагивал через три ступени, а с последних шести решил прыгнуть. Так он влетел в отца, который едва удержался на ногах. Они недолго смотрели друг на друга. Сандрик просто попятился, почесал голову, уткнулся в пол, почему-то разглядывая отцовские ботинки, а Миша так и остался держать расставленными руки, в которые бухнулся сын.

Не перекинувшись и словом, они разошлись. Отец стал нерешительно подниматься по лестнице, а Сандрик выбежал из подъезда и пустился наутек. Самое важное — бежать, не оглядываясь. И тогда все мысли стираются, вмазываются друг в друга. Главное бежать и придумать себе цель, которая как можно дальше от точки старта. Сандрик жил за несколько кварталов отсюда. Он спешил к матери. Ему показалось, что в точке «Б» она падает в пропасть, и никто не успевает ее спасти. Рядом нет ни его, ни отца. В точке «А» вырисовывалась Инесса Альбертовна, нервно курящая у окна. И вот в ее дверь стучат. Она испуганно тушит сигарету и крадется в коридор. Припадает к

глазку. И там он: как обычно, приложившийся локтем к двери и смотрящий себе в ноги.

Таким Сандрик помнит отца из глазка двери. Бывало, постучится Миша или позвонит, если врубали электричество, а Сандрик и так уже в коридоре. И вот стоит Сандрик, выжидает, представляет себя самого, идущего к двери из самой отдаленной комнаты. И отец нетерпеливо стучит снова. Сандрик никогда не ждал домой отца. А она, у совсем другой двери, ждала.

Добежав до поля, где начинался недостроенный и заброшенный микрорайон, Сандрик не сбавил скорости. Из травы торчали прутья и врытые глубоко в землю блоки. Обо что-то он споткнулся, и его выбросило метра на два вперед. Сандрик ударился головой о землю, и темнота выжгла на небе пятна, как огонь, разбедающий киноплёнку. И потом больше не было ничего.

Сандрик очнулся часа через два, привстал, держась за травмированную голову, в которой не стихал заведенный двигатель какого-нибудь списанного КамАЗа, заправленного мочой. Боль настигала волнами, одна сильнее другой. Сандрик залез на бетонные перегородки, которые должны были стать первым этажом панельки, точно такой же, как их дом. Едва справляясь с болью, он гнал мысли, которые обретали все более четкие контуры. Ему снова захотелось их смазать, но бежать он больше не мог.

Приложив к карману брюк ладонь, Сандрик едва не подпрыгнул, сидя на бетонном блоке. Не было ключей. Всей связки: от гаража, от подвала, от склада, где работал отец. Не было ключей от их собственной квартиры. Это была не его связка, а отца. Схватив ее утром не глядя, Сандрик оставил свою в прихожей. Хуже того: на отцовской связке висел его армейский жетон с личным номером — «мой медальон смерти», как любил повторять Миша. А что, если отца вычислят по номеру? Узнают адрес? Будут с финкой хату брать?

Сандрик бросился искать ключи по всему полю и за ним, почти добравшись назад к дому Инессы Альбертовны. Там он вспомнил, что ключи все еще звенели в кармане, когда он выбегал из подъезда. Отчаявшись, Сандрик вернулся на прежнее место, сел на блок и расплакался, закрывшись руками и уткнувшись в колени. Прошло полдня, и почти полностью стемнело, а он не спешил возвращаться домой.

— Что уселся тут и рыдаешь, сосунок? — грубый и бесцеремонный вброс в адрес Сандрика был ему знаком. Дато называл сосунками всех, кто ниже ростом. В их дворе жил парень, года на два старше Дато, но заметно ниже: он тоже слыл сосунком. Только младшего брата, старшеклассника Нику, Дато и боялся.

— Потерял кое-что, — неуверенно ответил злой и голодный Сандрик, вытирая грязными руками слезы.

— Что?

— Миллион долларов.

— Прямо миллион-миллион?

— Да!

— Ты сейчас сказал мне «иди в жопу»? — и Дато нарочито припал ухом к лицу Сандрика. Тот отпрянул — от Дато несло перегаром, и Сандрик решил не шутить с ним дальше.

— Просто дай мне тут сидеть. Я тебя не трогал.

Дато не отставал. Он запрыгнул на блочный выступ и присел рядом с Сандриком. Что, думал Сандрик тем временем, если связка попадет в руки Ники? Что, если ее давно нашел Дато? Он же, тупица, побежал, небось, сразу к брату, чтобы тот все порешил. Они вычислили, что квартира наша, и за бутылкой водки обсудили свой план.

— И как выглядит твой миллион?

— Зеленого цвета.

— Странно. Я думал, он звенит. И совсем не зеленый...

— Почему ты так сказал?! — Сандрик решительно развернулся всем телом к Дато.

— А почему ты так занервничал? — полюбопытствовал тот.

— Так, просто... — Сандрик с опаской покосился на Дато. — А что?..

— Ничего, — Дато сорвал высокую тростинку и стал рвать ее дальше на клочки. Движения у него были нервными и неточными. — Знаешь, папа всегда любил Нику сильнее меня. «Мой Никуша» — так и называет его всегда. Даже когда брат попадает в серьезные передраги. А меня он никогда не зовет Датуной.

— Так не судят о любви, — осторожно поддержал беседу Сандрик.

— Но я же чувствую: вот не любит и все. Говорит: ты — мой позор. Вот так: Никуша всех обокрал, а позорище — я.

— Не принимай близко к сердцу, — повторил Сандрик слова, которые мать часто говорила ему самому. Повторил и сам над собой усмехнулся. А потом Дато вдруг резко сменил тон:

— Знаешь, на во-он том кладбище, что на горе, не все так просто, — начал он загадочно.

— Что ты имеешь в виду?

— Сразу за кладбищем... Ты, вообще, добирался туда?

— Нет еще.

— Сразу за ним пригорок, и в нем закопаны никому не известные люди — ну те, у кого не нашлась родня, когда обнаружился сам труп. То есть, может, родня и есть, но не объявилась, когда сообщили о трупе. И знаешь, я там был. Из пригорка торчат кисти рук, разные части тела. А совсем рядом течет ручей. Туда, короче, смывает части людей. Поэтому там не купаются местные, деревенские.

— Бред какой-то, — Сандрик передернул плечами, вспомнив, как Дато бегал с топором за отцом.

— Это ты так думаешь. А вот на Пасху исчезают все крашенные яйца, оставленные у могил. Это, если верить местным, те самые руки с пригорка и утаскивают, когда их смывает ручьем к могилам.

— Почему ты мне это все рассказываешь? — не стерпел Сандрик. — Какое, вообще, отношение имеет это к...

— Ну? К чему? К миллиону? — ухмыльнулся Дато.

— Ах, отстань! — Сандрик безнадежно махнул рукой, а тот тем временем снова заладил:

— Ящериц когда-нибудь ловил?

— Ну, пару раз. Их здесь много.

— А животы им резал? — вкрадчивый тон Дато стал постепенно раздражать Сандрика.

— Да, резал! Что ты пристал, вообще?! — Сандрик закрылся руками, сдавливая нескончаемую боль в голове, и уткнулся в колени, качаясь из стороны в сторону. Сейчас, думает, спросит он Дато напрямую.

— Я узнал, что если намазать слизь из живота ящерицы на окно, то через эту слизь можно увидеть голую женщину.

— Уже пробовал?

— Само собой, не базар. Красотка. Ты уже слышал, что Гоча научил свою собаку спускаться за собой воду?

Сандрик от неизбежности завыл. Дато нервно потирал руки, шею, затылок. Сильнее засопел.

— Свежепохороненные выделяют фосфор...

— Все, хватит! — не сдержался вконец Сандрик.

— ...Прямо из земли... — Дато съехался. Мешки под его красными глазами стали еще темнее. — Чё ты, расслабься. Я же просто поговорить пришел. Вот, хочешь, бери... — он вытащил из кармана потерянную Сандриком связку ключей и бросил ему

на колени. Сандрик хотел было схватить связку, как ладонь Дато ловко упала на ключи и оттащила их снова к себе. — Куда спешишь, вдруг не твой это миллион.

— Это мои! Мои ключи! Мои, отдай! — взревел Сандрик.

— Номер на жетоне? — деловито начал Дато и покосился на Сандрика.

Сандрик знал его наизусть. Что ему еще нужно?

— А что мне будет, если верну?

— Ты и так сделал уже все, что хотел! Тебе эти ключи больше не нужны, — Сандрик осторожно предположил, что если не дубликат, так слепок уже готов.

— То есть я такой болван, что верну тебе ключи и таким образом спалю себя и Нику? А вдруг я возвращаю их, потому что Ника о ключах еще не узнал?

Это ловушка. Сандрик ему не верил.

— Во мне что — человеческого мало? А знаешь, как Ника расправляется с непослушными? Он в Глдани¹ парню лицо кислотой облил. Да-да, слышал же? Это сделал наш Никуша.

— Отдай ключи, — почти шепотом взмолился Сандрик и закрыл глаза.

— На, бери, — Дато небрежно бросил связку ему в полураскрытую ладонь. Сандрик мгновенно опомнился и даже попятился назад, сохраняя безопасное расстояние.

— Если убить лягушку, начинает идти дождь, — едва слышно проговорил в пустоту Дато, нестерпимо потирая плечи.

И Сандрику вдруг стало его жаль. Дато мало кто любил. Его даже не боялись, как Нику. Он был как будто никому не нужен.

После этого случая Сандрик не спал еще три ночи, со страхом подозревая, что Ника все же сделал слепок ключей. Он прислушивался к любому ночному шороху в подъезде, обливался холодным потом от шагов поздно возвращавшихся домой соседей. Никому ничего не рассказав, Сандрик, как ему казалось, доживал с этой тайной свои последние дни. Ему теперь хотелось умереть не в отместку отцу, а из стыда, что он всех подвел. Что к горлу ни в чем не повинной матери приложат нож или — того хуже — обольют кислотой, что заберут ее любимые украшения, доставшиеся от бабушки, что вынесут ее жалкие сбережения, которые она скрывала от отца, чтобы своевременно покупать сыну одежду и учебники.

Но уже через три дня Нику посадили в колонию для несовершеннолетних, и совсем не по делу Инессы Альбертовны: он по неосторожности грабанул местную «шишку», перед которой власть Никиного отца уже не имела силы. А еще через неделю Дато умер от передозировки. Его обнаружили на втором этаже недостроенной панельки на окраине микрорайона. Он лежал, скорчившись на бетонном полу, а на стене перед телом было вымазано кровью из носа: «Только не на пригорке».

Пробоины

Миша постучал в дверь, и Сандрик упал головой на подушку. Стук отца было невозможно спутать с чьим-либо еще. Сандрику одновременно захотелось и спать, и приковаться к инвалидной коляске, и вылезти через окно шестого этажа.

— Сынок, может, откроешь? — окликнула его Инга. — У меня руки в ведре.

Сандрик вдруг ясно почувствовал, что голова непривычно отяжелела: он пытался поднять ее с подушки и повторял свои попытки до боли в спине. Миша застучал настойчивее и ритмичнее, ворча себе под нос.

— Не могу... — шепотом вырвалось у Сандрика. Он смотрел в белый, пустой

¹ Спальный район Тбилиси, известный высоким уровнем преступности.

потолок, в котором растворялись все мысли, как в кислоте. — Мам, открой. Не могу, — повторил он в себя.

Послышались всплески воды, падение мокрой тяжелой тряпки на пол, и мать, вздыхая и с укором заглянув в залу, где Сандрик лежал на диване, пошла к двери.

Отец не входил. Родители застыли друг против друга. Сандрик и сам не понял, как успел встать и вот уже стоит на ногах в проеме между залой и прихожей. Инга начала первой:

— Миша, что не так? Заходи, у меня дела встали.

Миша продолжал стоять у порога, как вкопанный. Его руки были прижаты к куртке, а глазами он так и съедал Ингу. И молчал.

Уже через пару секунд она все поняла, нервно махнула на мужа рукой и ушла в кухню.

— Как же ты мне надоел. Ты все равно это сделал. Все равно. Зная, что я против! — жаловалась она уже из кухни, а Миша осторожно перешагнул через порог и, не отнимая рук от груди, медленно разулся с виноватой улыбкой на лице.

— Ну, чё стоишь, — шепотом и едва скрывая волнение, начал он. — Иди сюда, — он слегка оторвал от груди кисть руки и неловко поманил ею к себе.

Сандрик медленно и тихо зашагал в сторону отца, вглядываясь в его полураспахнутую куртку из кожанменителя: оттуда на него смотрели два сверкающих глаза. Отец полностью распахнул куртку и опустил на корточки. Полосатый, с серыми переливами котенок с дрожащими лапками выкатился на линолеум и, шатаясь, поплелся к Сандрику, который опустил, осторожно взял его на руки и прижал к груди. Котенок, зацепившись когтями за шею, испуганно запищал.

— Дай ему привыкнуть, — Мишины глаза горели. — Нужно еще подумать, чем его кормить будем.

— Так значит, он здесь задержится?! — Инга вбежала в прихожую и, увидев котенка в Сандрикиных руках, с обидой выставила нижнюю губу. — После всех моих просьб? В квартире животным не место.

— Ингуль, угомонись. Ты даже не почувствуешь присутствия котенка. Беру его на себя, — уверил Миша жену и повесил куртку.

Утром следующего дня Инга на коленях в прихожей смывала мочу из-под выходной двери и почти плакала. Сандрика она принципиально не подпускала помочь, а Миша спешно ушел на работу, перешагнув через лужу.

— Только этого мне не хватало, — с одышкой повторяла Инга и вытирала пот со лба о плечо. — Вот все было хорошо, и для полного счастья привел кошку!

— Мам, мы научим его ходить на свой лоток. Он пока еще котенок.

— Который вырастет в дрянную кошку.

— Кота. Мы смотрели.

— Ой, да какая разница! Они все без разбору потом стоят у двери и воют, наружу просятся. Будет на улице заразу цеплять и домой носить. Ужас, ужас... Кошмар какой-то, — Инга нагнулась и понюхала взбухший линолеум. — Фу. Мочу так просто не отмыть. Это же теперь на всю жизнь останется.

На следующий день Сандрик тыкал котенка мордой в то же место, куда тот зачастил мочиться, пока никто не видит. Тыкал и угрожал ему, что выбросит на улицу, если так продолжится. Котенок сопротивлялся, отворачиваясь от лужи, и истошно мяукал. Отец качал головой, прохаживаясь из комнаты в комнату, а мать лежала без сил на диване, закрыв лицо руками.

Спустя минуту она встала и потухшими глазами уставилась в угол со взбухшим линолеумом.

— Ну что, навоспитывались? Дайте теперь все убрать, — и Инга вдруг сильно закашляла, достала из кармана юбки платок и протерла мокрый лоб.

Инга всегда хотела второго ребенка. А Миша был против. Они много спорили по

этому поводу, дело доходило до ругани. Во всех остальных семьях мужчинам вообще было невдомек, что можно выбирать, сколько детей заводить. И заводить ли вообще. Детей в семьях просто «клепали», долго не задумываясь. Женщины брали все обязанности на себя, не спали ночами, нянчась с младенцами, а мужчины зарабатывали на хлеб. Что-то произошло с Мишей позже. Он вдруг понял, что второго ребенка просто не должно быть. «Время дурное», — любил повторять дед Сандрика, оправдывая сына.

— Это потому, что ты нас оставить собрался! Вот и не хочешь второго, — как-то заявила Инга и расплакалась.

— Дура ты! — только и нашел, что ответить Миша. В тот раз они сильно поругались, и несколько дней Инга не готовила ему, а он пропадал вечерами, не приходя вовремя домой.

— Это ты думаешь, что Аннушке тяжелее всех, потому что она не может иметь детей, — заладила Инга снова уже через месяц. Миша тогда повернулся к ней спиной и стал копаться в старых электродеталях в коробке. — Все жалеют ее, мол, бездетная, несчастная! А что ей терять? Нечего. Ну нет детей, значит не успела ни к кому привязаться. А вон у Гаяне их трое. И знаешь кому тяжелее всего? Знаешь, кого одолевают кошмары по ночам?

— Гаяне, — с ухмылкой ответил Миша из-за плеча. — Потому что целыми днями за тремя бегают и себя перестала уже замечать.

— Нет, — Инга снисходительно закачала головой. — Сложнее всего матерям, у которых всего один ребенок, — и она сбавила тон, а Сандрик, заглядывая через щель, сильнее вжался в дверь. — Думаешь, мне не страшно от мысли, что я могу пережить своего единственного ребенка? Смотри, сколько поножовщины в школах. И знаешь, в чем разница между мной и Гаяне? Если она потеряет одного ребенка, у нее все еще будет смысл жить дальше: ради двух других. А что останется мне? Что останется мне, Миша?

— Да ты же просто эгоистка, — Миша медленно развернулся к жене и недобро прищурился. — Только о себе и думаешь. Ты же сейчас мысленно похоронила Сандрика, ты это понимаешь?

— А что с того, что другие боятся представить такое о своих детях? Чем они лучше меня?

— А тем, что все их переживания не сосредоточены вокруг себя самих. Хватит страдать о себе. Все о себе да о себе. Опомнись. Делай и дальше для сына все, что можешь. А там как жизнь распорядится, так и будет. Задвинь себя и свое «я» подальше. Ты не одна.

Однажды Инга, как женщина изворотливая, все же забеременела от Миши. Она все рассказала ему, не откладывая с новостью. Думала, что он смирится с фактом, и все пойдет как по накатанной.

С котенком же все не ладилось и дальше. Он облюбовал еще пару новых мест, и Инга теперь прогибала спину в углу за телевизором и в проеме между кроватью и шкафом в спальне. Запах мочи в спальне окончательно сломал маму.

Это были самые непростые месяцы для семьи. Миша чаще выпивал, а то и просто не ночевал. Близилась зима, не хватало денег на керосин для обогрева, днями вырубали электричество и воду, а подросший кот так и не приучился к лотку. Никто не понимал, что не так с Ингой. Она задыхалась, поднимаясь на шестой этаж и, стуча в дверь, приваливалась к ней всем телом, жадно вбирая едва поступающий кислород. С головы постоянно лился пот, конечности ослабевали. Она все чаще ложилась в кровать днем, потому что ночного сна просто не хватало. И этот сухой, непрерывный, раздражающий материнскую гортань и отцовские нервы кашель...

В итоге врачи диагностировали у нее астму и выписали целый курс бронхорасширяющих средств. Инга повсюду ходила с карманным ингалятором. Когда

она забывала его дома, ее одолевали приступы паники и волны удушья становились еще сильнее.

Она потеряла цвет лица, молодость кожи и веру в хороший исход. Беременность, протекающая на фоне болезни, давала все больше сбоев, пока однажды Инга не подняла тревогу: ребенок перестал толкать ее в живот. Все внутри нее затихло. Она чаще пропадала в ванной и однажды вышла оттуда с кровавыми тряпками и полными слез глазами. А потом Миша отвез ее в больницу, и оттуда она вернулась домой совершенно подавленной. Миша посмотрел на Сандрика в прихожей виноватыми глазами и ушел на балкон курить. Он не выходил оттуда час.

— Я присмотрю за тобой, мам, — начал неуверенно Сандрик, хоть и не знал, что делают в таких случаях.

Инга взглянула на сына потерянным, совершенно истощенным взглядом и улыбнулась пустой улыбкой. Сандрику хотелось быть хорошим сыном: единственным, потому что Инга больше не могла иметь детей. Так и открылась она ребенку, зная, что он один мог ей посочувствовать.

— Не бойся, мам, ты не переживешь меня, — не нашел более утешительных слов Сандрик, но, озвучив их, понял, как они ему не понравились.

— Ах оставь... Ну что за разговоры, — Ингу снова одолел сильный кашель, и началась одышка.

— Я сейчас принесу таблетки от астмы. Они остались в кухне, — Сандрик уже бежал за ними, как вдруг Инга остановила его тихим и безразличным тоном:

— Выбрось их в мусорное ведро. Все упаковки. А ингалятор принеси.

— Что значит «выбрось»? — не понимал Сандрик.

— Говорит мать «выбрось», значит, выбрось, — тем же тоном добавил с балкона Миша. Сандрик не знал, что делать.

Постучали в дверь. У порога стоял Мишин дальний знакомый. Они обменялись парой незначительных фраз, потом Миша поймал кота, который тут же истошно завопил, чуя неладное. Кота он передал в руки своему знакомому. Тот что-то коротко сказал о своих дочерях и уже через минуту спешно спускался по лестницам.

Сандрик стоял в прихожей, не в силах собрать слова в вопрос. Миша молча прошел мимо него, сел на диван и уставился в телевизор. Сандрик успел привязаться к злополучному полосатому коту, привык его кормить, наказывать, тыкая носом в лужу мочи.

— Подними челюсть и принеси маме ингалятор. Видишь ведь, задыхается, — сухо бросил Миша. Сандрик машинально зашагал в кухню и вернулся в спальню с ингалятором.

— А что — лекарства просроченные?.. — неуверенно предположил он.

Инга присела на кровать, опрокинула голову, сделала глубокий вдох и одновременно плотно нажала на дно баллончика, обхватив его губами.

— Нет, — ответила она уже после. — Просто эти лекарства от астмы. А вчера врачи сказали, что нет у меня никакой астмы. У меня теперь ни ребенка, ни астмы.

— Что это тогда? — спросил с опаской Сандрик.

— Скоро закончатся ваши бессонные от моих приступов кашля ночи. Нужно только дом проветрить и хорошо отмыть. Уже встаю, хватит лежать, — Инга говорила обнадеживающие вещи, но голос ее звучал глухо и безжизненно.

Всю неделю она тщательно отмывала квартиру, и с каждым днем ей действительно становилось лучше. Болезнь отступила, ингалятор она тоже выбросила. К ней вернулись цвет кожи, энергия и сила. Она походила на мертвеца, в которого влили кровь, и та отчего-то потекла по венам с еще пушей скоростью.

Миша стал реже выходить работать, чаще засиживался на диване у экрана. Почти все время молчал. Сандрику хотелось кого-то обнять, но родители казались

неприступными, монолитными скалами. Кота забрали. Ну и хорошо, думал он, вспоминая о матери. И все же Сандрик скучал по нему.

А кот всем мстил. Почти год жизни с ними он каждый день мстил. Сандрик не делал ему ничего плохого, Миша кота тоже любил. Тот приползал к нему и терся боком о его ноги. Он даже к Инге приходил и оставлял на ней немало своей шерсти. Она панически стряхивала ее, заливаясь кашлем и хватаясь за ингалятор.

Миша был уверен, что Инга делает это нарочито громко и жалобно. Он же демонстративно закрывал уши своими огромными ладонями, чтобы ее не слышать. Даже Сандрик со временем невольно жмурил глаза от маминых приступов, потому что нервная система уже давала сбои. А кот мстил. За непонимание, за нелюбовь, нависшую, как облако, под потолком. Мутное облако, которое люди выдыхали в свои комнаты.

В один из дней новой семейной жизни без кота Миша сидел на диване в зале как-то совсем иначе: держал осанку и все время молчал, каменным лицом провожая пестрый видеоряд на экране. Инга готовила в кухне, выздоровевшая, воспрявшая, окаменевшая. А Сандрик сидел в спальне и листал очередной одолженный у Вовчика каталог с игровыми приставками, от вида которых кружилась голова.

— Папа купит мне вот эту приставку, — однажды заладил повторять Вовчик, пока отец не привез ему из Турции ту самую приставку. Ребята на районе не особо любили Вовчика, потому что он обладал игровой приставкой — мечтой любого мальчишки, — но родители запрещали ему звать на игры «всякую шпану со двора». Вовчик же жаждал этого признания, но взамен получал только угрозы от хулиганов. Однажды он перестал ловить мячи в воротах: просто необъяснимо быстро научился играть. Первую неделю ребята думали, что он не в форме. Вторую неделю они перестали брать его вратарем в игру. А играли они обычно против той самой «шпаны со двора»: те приходили на поле с ножами или стеклянными бутылками, которые могли в любой момент, если случится необходимость, превратиться в «розочки».

— Что не так, Вовчик? — взъелась на него команда, устав проигрывать.

— Если поймает, выебем, — обещала шпана из команды постоянных соперников. Сандрик вспомнил, как услышал это на одной из игр, когда Вовчик настоял на возврате в команду. И еще вспомнил его испуганные глаза: взгляд мальчика, у которого самая современная приставка, но страх, который чувствуют хулиганы.

В Сандрике росла ярость: игра в тот день не заладилась с самого начала. Вместо того чтобы следить за мячом, он сбивал с ног соперников, а потом наступал на лежащих или на бегу таранил их. Поднялась высокая желтая пыль, из которой, внезапно появляясь на пути, Сандрик сносил каждого встречного. Хотелось крови, спекающейся на горячем песке. Хотелось показать Вовчику, как справляться со своими страхами. В итоге на Сандрика, а заодно и на всю команду, ополчилась команда соперников. Их окружили со всех сторон рослые старшеклассники и, дико сопя, накинулись с битыми бутылками. Ребята не отделались бы только легкими порезами, не выгляни из окон близстоящих панелек соседи. Отец Вовчика прокричал со своего этажа:

— Сука, сына не трогай! — и, напказ размахивая беспроводным домашним телефоном, добавил: — Звоню в милицию! Подонки!

И подонки сразу рассосались по углам, незаметно выбираясь из квартала окольными путями.

— А ты — домой! — скомандовал Вовчику отец, указывая антенной телефона внутрь квартиры.

— Получи напоследок, — тихо процедил сквозь зубы Сандрик и съездил Вовчику по челюсти. Ярости в нем не убавлялось, и он едва себя сдержал, чтобы не продолжить бить друга, упавшего на землю и на миг опешившего. Вовчик держался обеими руками за челюсть, ребята в непонимании уставились на Сандрика, а он вытер рукой рассеченную бровь, стряхнул кисть руки, и кровь с нее брызнула на желтый песок...

— ...Соб-баки, — бросил Миша в экран телевизора, где крупным планом проступали засаленные поры очередного чиновника, и осанка его стала еще ровнее. Как будто он сейчас встанет, но не встает, потому что нужно досмотреть новостной эфир. Голос отца вернул Сандрика в спальню. Под ним скрипела старая деревянная табуретка, в запотевших руках пошли волной тонкие страницы каталога. Он хотел и не решался что-нибудь сказать отцу. С каждым новым днем ему все чаще казалось, что между ними все же возможен мир. Что дело в нем самом, в Сандрике. Он тогда набирался смелости, пытался сосредоточиться на этом ощущении, а смелость постоянно куда-то утекала, как керосин из ржавой разъеденной до дыр канистры. И в этот момент нужно было, насколько это возможно, усиливать влив, чтобы утечка была всегда меньше, а потом поймать этот временной зазор, пока канистра полна, и действовать, идти на таран, ни о чем не думая. Как в тот день, когда их били на футбольном поле: в баке Сандрика было тогда столько керосина, что жидкость пробилась через все ржавые дыры и выплеснулась вверх из горловины.

Сандрик выглядывал из спальни на отца, и сердце колотилось, как перед прыжком. Глотая воздух словно через забитый фильтр в гортани, он сжал страницы каталога, выгибая и сминая его, и ржавые пробоины в его животе стали нещадно пропускать керосин. Больше напора, больше. Сейчас он спросит отца о каком-нибудь фильме. Миша любил обсуждать фильмы. В эти моменты он чувствовал себя непризнанным сценаристом или режиссером. Или просто непризнанным.

— На Западе меня оторвали бы с руками и ногами, — уверял он, когда они с Сержем, мужем Ингиной сестры, обсуждали какую-нибудь сцену в кино. — Нет, ты посмотри: дешевая игра. Постгорбачёвское кино — ну ни в какие ворота. Пусть берут пример с Голливуда.

— Ты что, в кинокритики туда, в Голливуд, подался бы? — любил иронизировать Серж.

— Да нет, не обязательно.

— Но кто-то конкретный должен ведь тебя с руками и ногами рвать?

— Да я хоть в кинокритики, хоть в политические советники сгодился бы. Эх, Серж, это здесь не ценят людей, — и Миша обычно небрежно махал рукой и уходил в другую комнату, чтобы тем самым закончить спор и остаться победителем.

И вот Сандрик сидит: его осанка стала прямой, как у отца. Они будто на пару готовятся к чему-то очень важному и судьбоносному. И Сандрик поймал себя на мысли о том, как они сейчас похожи: спина, плечи, руки. Словно он вглядывается через проем двери в зеркало. Сандрик открыл было рот, набрал воздуха для слов, как сердце его забарабанило, отбивая ритм в голове. Он опустил голову, а под ногами поднимался багровый песок.

В этот момент его живот треснул, и из него бесконтрольно полилось мутное горячее. Миша рванул с места, одним решительным движением расправил мятые свои спортивные и ушел в прихожую. Не прошло и десяти секунд, как за ним навсегда хлопнула выходная дверь, и слышались Мишины спешные шаги вниз по лестнице.

По-мужски

— Сандрик мой — он ведь совсем не смыслит в керосиновых лампах. Зря поехал. Возьмет да не ту купит. А они же, знаешь, те еще торгаши: как окинут его своим матерым взглядом, раскусят и всучат бракованную. Или вообще без фитиля. Перетерпим. Оклемаюсь, а там небось и свет дадут, — Инга коснулась рукой лба, чтобы стереть пот, и вместе с ним прихватила целый клочок липких волос. У кровати сидела Жанна, сестра, смиренно скрестив пальцы обеих рук на коленях. Впрочем, больше никто в комнате не заговорил до самого наступления вечера. В воздухе взбухало ожидание, заполняя собой все большее пространство почти до самых обоев. Становилось тесно и душно.

Спальные районы Тбилиси уже вторые сутки не получали новостей о жизни привилегированных бразильских семей, отчего возникало очевидное сходство Тбилиси с фавелой: такой же уголок на склоне гор и отсутствует развитая инфраструктура. Ощущение обвала земли между внутренним и внешним миром усугублялось с каждым часом. Нет электричества — не включишь в ванной горячую воду. Значит, кастрюлями и чайниками из кухни кипятки тащи.

Это был вязко ускользящий временной отрезок, когда все в городе из любопытства уже побывали в Макдональдсе, но туда еще не успел зайти Данила Багров. Время было и вправду особое: некогда запретный заокеанский мир стал теперь всего лишь труднодоступным. Его можно было уже слышать, видеть и даже пробовать на вкус. Красивый, непринужденный, свободный, хоть и не свой.

Не то чтобы кастрюли из кухни в ванную таскать приятнее было. Но роднее, что ли. По-заправски взял так в обе руки и солидно пошел. А тут сиди, ешь этот гладковыбритый хлеб с ровной котлетой, да еще после себя сам поднос выноси. В Тбилиси негоже так себя в кафе вести. Гнилая Европа — она же скоро вымрет, подносы за собой вынося...

Чтобы не врезаться в такси, маршрутка экстренно затормозила, и Сандрика сильно подало вперед. Поддужины пассажиров завалилось на него по принципу домино, и он крепче ухватился за поручень. Когда таксист впереди отловил своих пассажиров и лениво двинулся дальше, за ним покатились и маршрутка, прижатая слева плотным потоком. У тбилисских маршруточников самый изощренный мат: пестрая смесь русского и грузинского с искусным внедрением лишнего гласного звука между двумя согласными.

Как только опасность миновала, маршруточник почти безотчетно дотронулся до маленькой наклейки-иконы Богородицы на торпедо. Вокруг нее нежались полуголые фотомодели на фоне пышных пальм и с не менее жертвенным взглядом. Сандрик вглядывался в эпизодическую прелесть этого женского ансамбля, пока не сошел у огромного крытого рынка, где жизнь казалась живее, чем где-либо еще.

Вдоль лавок толпились медлительные покупатели. Сомнительно скоблили антикварные ложки, сбрасывали цену фарфору. По ходу припоминали своих дедов и бабок: те, мол, серебро в специальных футлярах хранили. «Что же вы тогда по наши ложки сюда пришли?» — интересовались лавочники. — «Ну, пришли поглядеть, нельзя, мол?» — «А вы их не скоблите — серебро нежное».

Но в Тбилиси ценились не только серебро и золото. Куртка из настоящей кожи считалась новой качественной ступенью жизни. Это уже через два десятка лет все станут носить «кожзам», лишь бы модный покрой был. А раньше мода была на качество. Оставайся нищим или набирайся хватки и богатей, а куртка твоя должна быть из кожи: кожанка впечатляет, слегка пугает, наводит шума. И для этого не нужно обходить бутики со штучным товаром. Достаточно выйти на крытый рынок, который простирается в длину параллельными друг другу рядами. Крайние ряды никто не воспринимает всерьез: там проворные цыгане и нехваткие старики продают списанную роскошь или под нее халтурный новодел. А вот черные кожанки всегда располагаются в самом конце златого центрального ряда. Ты как бы проходишь все уровни, где тебе по мере возрастания предлагают способы самоутверждения: все начинается с ажурных женских трусов, сложенных друг за другом, как канцелярские папки.

Далее обычно идут прилавки с кофточками в горошек или полоску и свитерами с обязательным роскошным вырезом на груди и мудреной вязкой. Что бы здесь ни примерила женщина, ей обязательно скажут, что теперь она выглядит очень импортно. Выглядеть импортно в Тбилиси — это залог успеха. В те годы в Тбилиси было так мало туристов, что никто из наших даже не догадывался, что там, «в европах и америках ихних», надевают сплошь функциональную одежду, а та импортность, почерпанная нами из нескончаемого потока сериалов, где женщины ходят по дому на шпильках, а

мужчины мажут волосы гелем и садятся обедать за огромный семейный стол, — это не та будничная импортность, которой на самом деле обложился среднестатистический иностранец.

И ты продвигаешься дальше, вдавливаясь в проемы между крепких плеч и бедер, а здесь очередной прилавок теперь уже мужских футболок, на которых Дольче и Габбана написали свои имена шрифтом Баухаус, а Абидас... Абидас тоже все написал и вполне-таки себе. Три полосочки наискосок. И здесь самое важное — ни за что не задаваться вопросами подлинности, чтобы не портить настроения в первую очередь себе. Правила игры просты, и если им незатейливо следовать, то жизнь кажется куда проще, и Dolce & Gabbana на всю твою спину — это теперь не столько ярлык и фирменный знак с характерным стилем и качеством, сколько упоминание прекрасного, хоть Баухаусом, хоть с одной «b», и тем самым ощущение своей причастности к толпе упомянувших.

Вот с джинсами все обстоит сложнее, особенно у девушек, потому что все продавцы джинсов в Тбилиси девяностых — молодые мужчины, которые как бы нарочно не обустраивают свои примерочные кабинки насущными условиями для примерок. И все они будто стоворились между собой не вешать в кабинках зеркал, чтобы попеременно заглядывать через занавес или, слегка задирая его, спрашивать: «Ну как, сестричка, зеркало заносить?» Обращение «сестричка» придавало неловкой ситуации ненавязчивые доверительные нотки. А сестричка стоит босыми ногами на пыльной картонке и вспоминает семейный обед мужчин с лакированными волосами и женщин с ослепительными ожерельями на веснушчатой загорелой груди. Потому что в темную фанерную кабинку сейчас войдет братишка с куском зеркала и голодными глазами.

По пути к кожанкам обязательно наткнешься на стенку, полную бумажников, упирающихся рядами в самое небо. Тот же Баухаус и опечатки, но кожа, главное, натуральная. И кожей пахнет все сильнее. Вот пошли сапоги, один кожанее другого. Тут же отдел всевозможных средств для полировки обуви, чтобы кожа блестела. Еще несколько шагов, и вот они: счастье и предвкушение пахнет кожей, все окунаются носами в ряды курток, чтобы надышаться жизнью. Черные, немудреные, совершенно квадратные, кожанки оцепили тебя со всех сторон, а мимо них расхаживает их гордый хозяин-перекупщик, вертя зажигалку меж пальцев. Оскорби его: спроси, не дерматин ли у него на прилавке. И вот он подзывает тебя к себе, подмахивая рукой, чиркает зажигалкой и подносит ее к кожаному рукаву. Не горит, не плавится: кожа. Фирма. И ты просишь его потушить огонек, потому что все еще думаешь купить этот черный квадрат, чтобы припадать подбородком к плечу в душной маршрутке и вбирать ноздрями ощущение кожаной жизни, чтобы оно в тебе задерживалось, растворялось и преломлялось, пока снова не померкнет.

Сандрик протиснулся глубже в ряд. Показались дешевые лампы, светильники, свечи. Здесь обычно располагается товар, который хорошо идет после намозолившей глаза дорогой кожи: ты ее или покупаешь, или нет, но у тебя точно остается ощущение опустошенности: в кошельке или в душе. И тогда важно показать тебе что-то утешительное, ненакладное.

— Лампы керосиновые продаете? — Сандрик склонился к лавочнику через набитый утварью стол.

— Зачем лампы? Что за прок с них: только керосин жрут. Смотри, какие свечи у меня: купи десять — на всю зиму хватит.

— Шутите, батоно¹. Десять нам и на неделю не хватит. Вы мне зубы заговариваете, — Сандрик машинально потянулся рукой к карману куртки: прохожие

¹ В грузинском языке используется как формула вежливости при обращении к мужчине, аналогично слову «господин».

протискивались между рядами, выталкивая его вместе с собой вперед. Молния на кармане куртки была закрыта, и Сандрик снова отвлекся на владельца лавки. Тот расхохотался, а потом мельком посмотрел Сандрику за спину, дернул бровью и стал вдруг бойко завоевывать его внимание:

— Вот смотри: горит свеча, парафин стекает. И огарки можно всегда переплавить в новую свечу. Чему только тебя твой отец учил? Ученого из тебя лепил? Нам ученые не нужны. Нам руки умелые погоду делают.

Сандрик раздражался, но не желал отступать и хотел поддержать взрослый, мужской разговор.

— Руки руками, а вот лампа светит лучше. Ваши свечи небось уже несколько раз переплавленные.

— А керосин твой будто не разбавленный продается на каждом углу? — укоризненно заметил лавочник. Беседа принимала громкую тональность.

— Нет у вас лампы, вот вы и привязались, — Сандрик собрался идти дальше, как, коснувшись кармана куртки, обнаружил, что он распорот. — «Деньги. Мама!» — мгновенно пронеслось в голове. Дырявый карман был уже пуст.

Лихорадочно оглядываясь, Сандрик старался узнать мошенника — по жесту, по спешке, по вороватому взгляду в землю. В самом конце толпы мелькало осунувшееся лицо низкорослого типа в пальто на три размера больше. Он опасливо осматривался и что-то кому-то из рук в руки передавал. А потом встретился глазами с Сандриком, который немедленно бросился в его сторону. Схватив мужчину за воротник пальто, Сандрик что есть силы тряс его, как будто именно так можно было вытрясти ворованные деньги.

— Отдай, слышишь? Гони, сука, назад! Не ты их заработал. Не ты потел из последних сил! — голос его сорвался на последнем слове.

— Что тебе от меня нужно?! — мужчина пытался гневно оттолкнуть прыткого юнца, оглядываясь по сторонам в поисках правосудия. Никто не вмешивался, только обступили по кругу и ждали.

Кто-то осторожно подошел к мужчине и шепнул пару коротких неразборчивых слов, искоса поглядывая на Сандрика.

— Что он тебе сказал, тварь? Отдай мои деньги назад!

— Да не брал я ничего! Обыщи меня. Смотрите все, пусть он меня обыскивает, — объявил толпе мужчина и нарочито вывернул карманы.

Он оказался на удивление чист: ни чужого, ни даже своего бумажника при себе. Как будто он не на рынок пришел, а в кухне своей чай заваривает.

— Чист, как трубочист, — иронично бросил кто-то из толпы.

— Заткни пасть, — угрожающе процедил в толпу мужчина, не отводя прямого взгляда от Сандрика.

Сандрик не стерпел: интуиция не давала покоя, кулаки трещали, и он ударил подозреваемого в лицо. Началась потасовка, угрозы. «Мальчика бьют... Жаль парня». Слухи за минуту разлетелись по всей ярмарке.

— Не тронь мальчика! — послышалось вскоре издалека. Кто-то добежал до толпы, протиснулся сквозь нее, увидел драку и со всей силы вытолкнул обоих в стороны, встав между ними. — Мальчика не трогай, сука! — мужчина средних лет проследил, как «трубочист», остервенело ругаясь, отступает вглубь толпы, и оглянулся на Сандрика. Выдохнул и уже тихо сказал, смотря ему в глаза: — Иди домой, слышишь?..

Услышав голос мужчины, Сандрик резко поднял голову. Вытирая кровь с губы, он крикнул ему:

— Иди к черту! Чего пришел?! Откуда вообще взялся?!

— Лампу он керосиновую пришел покупать. А деньги в толпе украли. Кто ж его, вора, теперь отыщет, — сообщил мужчине кто-то из зевак.

— Лампа, значит, нужна? Идем со мной. Груз развезу и куплю тебе.

— Да иди ты к черту, повторяю! Не хочу я с тобой. И лампу твою не хочу! — прошипел Сандрик, вытирая мокрые глаза.

— Пошли, дурак, куплю и отдам. Понесешь домой.

Сандрик отвернулся и стал уходить, стиснув зубы. «Никогда», — повторял он сам себе. «Больше никогда».

— Даром не хочешь, гордый, так отработай ее, — не унимался грузчик. — Есть тут дело немудрое, но попотеть придется.

На мгновение Сандрик засомневался и приостановился. Перед глазами плыла кровать, а на ней мать вертит головой из стороны в сторону. А потом она достает из кошелька последние деньги на лампу. Приехала Жанна подменить его у кровати. Надел ботинки, вышел...

Сандрик помешкал. Но кровь внезапно снова ударила в лицо, и он продолжил уверенные шаги прочь, вытаптывая пыльную землю.

— Да стой же ты! Дело тебе дома доверили. Небось за старшего в семье. С пустыми руками, что ли, вернешься?

Сандрик сломался.

В конце ярмарки был припаркован грузовик. До него дошли молча. Грузчик снял куртку и забросил ее в кабину.

— И ты сними, сейчас разогреешься, — обратился он к Сандрику, стараясь на него не смотреть.

Выносили груз, разносили по лавкам. Кровь на губе спеклась, а в венах вскипела. Тем не менее, думал Сандрик, брать лампу просто так — не мужской поступок. Так часа два-три, без остановки. Разгружай, нагружай. Спина трещала.

Грузчик незаметно поглядывал на мальчика, выкурил между делом всю пачку.

— Дай сигарету, — грубо бросил Сандрик во время передышки на поребрике.

— Ничего себе, — оглянулся грузчик. — Дай костям вырасти, а потом делай, что хочешь, — затягивается, молчит некоторое время. — Куришь уже, что ли? — осторожно спросил он, снова искоса посмотрев на мальчика.

— Курю. Не поверишь, даже ширяюсь. Осторожно, конечно, без повторных шприцов, — Сандрик нагло уставился на грузчика, тот отвел глаза.

— Байки одноклассникам рассказывай.

— Засосало как-то. Вчера выпили, до подъезда еле добрел. Там и ночевал.

— Да что ты? — иронично переспросил грузчик. — А мешочков под глазами не вижу. В школе-то как дела? Учеба идет?

— Бьет ключом, — Сандрик хмыкнул.

— А чего так?

Сандрик молчит, царапая веткой восьмибитные танчики¹ на рыхлой земле.

— Ну не расшевелишь тебя на нормальный разговор! Скажи хотя бы, кто твой любимый учитель?

— Ница.

— Чё?

— Учитель-ница. Инесса Альбертовна.

Грузчик хмыкнул и отвернулся.

— Прогуливать позволяет, потому?

— Часто посылает нас за дровами и сухими ветками в местный парк. Весело же. У нее руки всегда в саже: она в школе печку топит целыми днями. Так увлеклась этим делом, что утерла бы нос любому кочегару.

— И за это вы ее любите?

¹ Имеется в виду консольная игра *Battle City*, известна под неофициальным названием «Танчики».

— Вполне себе повод. Да и в промежутках между топкой она репетирует с нами разные литературные вечера для целой школы: то на юбилей Лермонтова, то на двухсотлетие Пушкина. Вовчик, одноклассник, хоть и кудрявый сам, по-настоящему вжился в роль Пушкина, когда Инесса Альбертовна ему той самой сажей лицо загримировала, — Сандрик выпарапал усатого персонажа Супер Марио, победоносно стоящего на одном из танчиков. Тот держал в руках, как трофей, огромную керосиновую лампу. — Вот только уже полгода как Инесса Альбертовна в школе не появлялась. Говорят, ребенка ждет. Слышали, что родила на днях.

Ловким щелчком указательного пальца грузчик стрельнул окурком, провожая последним взглядом дугу потухающего огонька.

— Больно он тебе вломил?

— Нормально, — Сандрик спешно встал. — Я отдохнул. Пошли работать. Мало осталось.

— Миша! — издалека к ним бежал сутулый старик. Добежал и, едва справившись с одышкой, протянул маленькую коробочку. — Вот, возьми. Вырастет, в волосы закалывать будет. Ручной работы. Поздравляю тебя, дорогой.

Грузчик открыл коробку и бережно достал из нее маленькую металлическую заколку в форме бабочки. Обнял старика за плечо. Смутился. Отвернулся от Сандрика и спрятал коробку в карман.

По окончании работ Миша отыскал лампу на рынке, покрутил, проверил. Расплатился. Но Сандрику отдавать не спешит, время тянет, рядом на бетонный выступ присел.

— Мама как? — грузчик ловким щелчком зажег очередную сигарету и сразу затаился, пряча в карман зажигалку.

— Слегла опять, — неохотно ответил Сандрик.

— Хуже ей?

— Может быть.

— В больницу чего не ложится?

— На этот раз отказывается. Тебе-то чего.

— Ишь какой, — грузчик ухмыльнулся, оглядевшись через плечо. — Пушок над губой повылазил, так уже думаешь, что вырос? Мало пожил.

— Лампу отдай, как договорились, и больше ни меня, ни маму не увидишь. Живи, как знаешь, — Сандрик решительно собрался уходить.

— Послушай, — грузчик вдруг замешкался. — Постой. Я тут подумал... — он неуклюже достал из кармана тощий бумажник, растормошил содержимое в мозолистую ладонь и спешно все пересчитал. — Вот. Возьми, там, знаешь, на лекарства, на хлеб. Маме отдай.

Сандрик улыбнулся впервые за день. Горькой такой, не по возрасту, улыбкой. Он долго смотрел грузчику в глаза, а потом произнес, сбавив тон:

— А помнишь, я ни один рисунок в детстве не заканчивал до конца. Начну, что-то не понравится, устану, отложу. На следующий день за чистый лист брался. А ты злился. Говорил: ничего не дорисовываешь, все, мол, только заново начинаешь.

— Ты мне хочешь что-то сказать? — грузчик вытянул руку с мятой горсткой мелких купюр и монет. То ли дающего рука, то ли просящего.

— Я вот подумал: а какая она, твоя новая семья? По душе?

Вечерело, но в окнах не загоралось электричество. Надо было спешить. Еще бы воды набрать. Небось и ее перекроют. Беда не приходит одна. Сандрик выхватил лампу, отвернулся и, не прощаясь, поспешил к обочине.

«Не иди за мной. Только не иди. Не хочу. Не хочу!»

На широкой улице стало тесно и жутко. Прошлое обросло щупальцами и огромным всепожирающим чудищем поплелось за Сандриком, выдыхая жар в его затылок. Сгусток обиды и гнева застрял в горле, и Сандрик нарастающими волнами

завыл себе под нос, стиснув зубы и едва разомкнув губы. Так хотелось быть мужчиной именно в этот мерзкий момент.

В маршрутке снова пришлось стоять, хотя тянуло просто уткнуться в окно на заднем сиденье. Поднять колени, вжать их в живот, укрыться с головой в куртку. Позади безликое чудище догоняло маршрутку, присасывалось щупальцами к жести. Это был не отец, а она, пришедшая на его место, — развороченная пустота. Рыхлая, как будто там что-то есть. Горькая, как если бы ложилась на язык. Скорее бы... Не сбавляй. Гони.

В купе было душно. Сандрик достал маленький кассетник и подключил наушники, свисавшие вдоль шеи. «Закрой за мной дверь, я ухожу»¹. Больше никогда. «Закрой за мной дверь, я ухожу». Никогда. Мысли мешались с музыкой. Хотелось чиркнуть зажигалкой и поднести к коже. К той, под которой взбухли вены. «Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене».

Шум дорог и скрип маршрутки смазались в общий гул. Водитель исполнял немаршруточные маневры, переходя из ряда в ряд. На повороте его занесло, и в салоне едва не покатались пассажиры. Женщина, всю дорогу почти вжатая в лобовое стекло, едва удержалась на ногах. В какой-то момент она ухватила за ближайший спасительный выступ. Им оказался руль.

— Дура! Нашла, за что держаться! Убери руки! — водитель сопротивлялся, выравнивая руль, пока женщина по инерции снова тянула его на себя, качаясь из стороны в сторону.

— Что мне сделать, если я падаю?! Води нормально! До чего докатились... Кому не лень, права покупают.

Сандрик почти не слышал их. Только рассматривал удивительные картинки на торпедо. А потом водитель безотчетно дотронулся до маленькой наклейки-иконки Богородицы. Беда миновала, но тбилисский мат не заканчивался.

На одном дыхании поднялся Сандрик по лестнице: лифт застыл, как свинец, кнопка не реагирует. Значит, без перемен. Нетерпеливо повертев ключами в замочной скважине, он вошел. Дома было привычно тихо, пахло копотью от печки и некачественным парафином. Такая себе заповедная аркадия: всем инфицированным мир да уют. Припаяли к ее сеточкам, пригвоздили. Впечатали. Стерпится, скажут, слюбится. Стерпелось: свыклось. Только ссадины и остались. Сандрик сразу подумал: все позади, я внутри.

— Ма-ам? Я лампу купил! Хорошую. Проверил. Поем и выйду воды набирать. Керосин куплю.

В прихожую вышла Жанна.

— Уснула?.. — Сандрик сжал виновато губы. Не стоило на радостях так кричать.

— Сандрик, родной... Сейчас кое-кто придет, — Жанна припала обессиленная к стене.

— Врача вызвали? Маме хуже? — ноги разбухли и ботинки не слушались. Сандрик с силой выдернул их и скатился на пол. Усталость только теперь навалила со всей сдерживаемой до этого силой. — Сейчас. Иду. Скажи, зайду сейчас. Отдышусь.

— Да, «скорая помощь» едет уже...

— Встаю...

— Сандрик, нет Инги больше. Все закончилось, — Жанна нервно вдохнула воздух и выдохнула его с беззвучным судорожным плачем.

— Что ты, вообще, несешь. «Скорая» зачем тогда, — Сандрик начал машинально распаковывать керосиновую лампу, но взгляд его медленно стекленел.

— Так ведь... смерть зафиксировать.

¹ Текст из композиции «Закрой за мной дверь» советской рок-группы «Кино». Автор музыки и слов: Виктор Цой.

То ли дошагал, то ли дополз Сандрик до спальни. За окном — сырой ужас, в комнате — тучный мрак. В углу в печке тлели поленья.

— Я помогу тебе во всем, слышишь, — Жанна отчаянно ухватила его за руку. Всегда живая, бойкая, сейчас она показалась Сандрику совершенно потерянной.

— Я обмою ее, — иступленно произнес Сандрик.

— Тебе не обязательно этого делать. У Инги есть я!

— Я обмою ее сам. Смотри, как она, бедняга, взмокла, — Сандрик дрожащими пальцами коснулся лба матери. На ощупь кожа была мягкая и еще теплая.

— Воду перекрыли час назад...

— Спустишь, наберу неподалеку. Вскипачу. Достань кастрюли. С остальным я справлюсь, — Сандрик встал и шатаясь зашагал вглубь комнаты, к печке. Внутри так живо затрещали поленья, будто сейчас человеческим языком заговорят.

Паром накрыло большое окно, и за ним расплылись очертания белых панелек, как будто это вовсе не они там, а высокие отвесные айсберги на пути, и корабль сейчас врежется в один из них. А может, корабль Сандрика — это ледокол, и есть еще шанс на спасение. Но пар на стекле свертывался в капли и быстро стекал вниз, оголяя подлинное лицо айсбергов. Внизу напротив дома рабочий демонтировал огромное, вбитое на полкорпуса полезное слово «канцтовары», еще задолго до этого съеденное ржавчиной. Сопровожались только голуби, отчаянно оборонявшие свое жилье в проеме за выпуклыми буквами.

Медведица в ванной

— Вонюща!

По лестницам неровным шагом поднимался пьяный сосед. В подъезде было настолько темно, что казалось, будто следующая ступень — это уже открытый космос.

— Вонюща, твою мать!

Сандрик не любил ночи в Тбилиси. По ночам часто обкрадывали квартиры. Поэтому он всегда держал на тумбочке у кровати нож, а к входной двери прислонял заполненный старым железным конструктором шуршащий целлофановый пакет. Это служило сигнализацией в случае, если дверь уже открыли. Сандрик гордился своей изобретательностью, но что делать в случае, если воры уже в доме — он и понятия не имел.

С этими непростыми мыслями он встал с кровати и ушел в ванную.

— Свины, ба-лять, — снова послышалось из подъезда.

— Да задолбал уже. Чертов алкаш, — совсем не раздраженно и уже привычно бросил Сандрик, закрываясь в ванной.

Воду отключили. Сливной бачок был пуст и издавал хриплый звук, будто сейчас задохнется. Сандрик зажег свечу, взял ковшик и зачерпнул им из тазика.

Черное пятно ковша с длинной ручкой заблестело по контуру созвездием капель. Оно напомнило Сандрику созвездие Большой Медведицы. Отблескивая против тусклого, короткого света, ковш перестал быть атрибутом ванной, и сама ванная, скрытая в темноте, уже не была такой ветхой и убогой, а раздвигала свои пространства до бесконечности.

И в этот самый момент, когда не осталось стен, а кафельные плиты, раковину, тазик и прочую утварь, медленно вращавшуюся по своей оси, начало уносить в разные стороны, все вдруг выстроилось обратно в одном идеальном, слаженном рывке: кто-то тихо поскреб входную дверь, и это повторилось снова секунд через пять.

Сандрик замер. Поначалу хотелось забиться в черный угол ванной. Все эти истории с ограблением квартир реальные. Но с тобой-то ведь этого не случится. С тобой вообще ничего не случится. Сандрик подергал тазик за спиной в надежде, что

тазик издаст тот самый скрежет. Чтобы потом посмеяться над своими страхами и пойти спать.

Скрежет от тазика был тоньше и громче. Прозвучал совсем под ухом. А тот, который издавала, больше не повторялся.

Когда Миша, отец, еще возвращался домой после работы, а мать была жива, Сандрик часто надевал наушники с огромными плотными подушками и подолгу слушал западную музыку, которая вдруг накатывала на все постсоветское пространство одной сокрушительной волной, подминая под себя подростков, голодных до музыки улиц. Сандрик мог часами выписывать незнакомые слова и искать их в англо-русском словаре. Отец входил в комнату, и вид Сандрика в наушниках страшно его раздражал. Миша часто подходил, вставая глыбой прямо над сыном, и упрекал его в том, что тот нашел легкий способ уходить в себя, потому что не хочет видеть отца. Инга всегда вставала на защиту сына. Говорила, что так ребенок изучает английский, что это очень важно. На самом деле, Сандрик уходил в себя, чтобы меньше контактировать с отцом. Хотя он даже не помнил, с чего все началось, кто первым задал этот неизменный и ровный тон между ними.

По старой привычке запершийся в ванной Сандрик аккуратно выдвинул крючок, приоткрыл дверь и бесшумно вышел в прихожую. Тусклый лунный свет падал на неровный вздутый пол, на комод, на ручку входной двери. В синем свете луны ручка казалась намертво примороженной.

Трудно жить одному. Но никого больше не хочется вокруг. Отделу опеки над несовершеннолетними тоже не было до Сандрика по большому счету никакого дела. Пришли формально разок, сделали вид, что поверили байкам Сержа и Жанны об уже полученном опекунстве и ушли: топить печки в своих отделах, подбрасывая архивные папки в огонь. Всем хорошо. И Сандрику хорошо — просто совсем никого не хочется вокруг.

До чего же неожиданно было увидеть, как намертво замороженная ручка, будто по маслу, совершила пол-оборота вниз. Потом поднялась и снова беззвучно опустилась. Сердце Сандрика заколотилось. Некоторое время он так и стоял в проеме между прихожей и залой.

«Нож», — вспомнилось ему, и он сделал было шаг в сторону спальни, но ранее вдавленный ногой паркет со скрипом вздулся обратно. В такт этому звуку ручка двери мгновенно замерла на полпути вверх. Там, в подъезде, кто-то оставил на ней ладонь и не отпускал. Ни голосов, ни топота. Ничего.

Когда отец ушел, все разом изменилось.

А потом как-то из Германии прилетела подруга Инги и привезла с собой подарков и сладостей. Вытащила из чемодана завернутый фрукт, развернула: один в один похож на привычный всем в Тбилиси королевек. Инга еще посмеялась над подругой: нашла, мол, чем удивлять.

— Это я так, что в кухне осталось, то и сунула в чемодан, — оправдалась та и продолжила доставать другие гораздо более чудные фрукты. А королевек протянула Сандрику: — Вот тебе шарон.

— Это королевек.

— Нет, дорогой, это шарон. Ну, или «каки» для немцев.

— А в чем разница? — иронично заметил Сандрик, оглядывая фрукт.

— Это, милый, гибрид с яблоком.

— Значит, и по вкусу немного яблоко напоминает?

— Да я бы не сказала. Просто косточек нет! Не любят наши немцы косточек.

Сандрик вышел из кухни, понемногу откусывая от шарона. Действительно, совсем, как королевек. Уткнувшись в окно, стал наблюдать за мусороуборочной машиной, въехавшей в квартал после трехмесячного отсутствия: мусорщики растерянно смотрели на гору, под которой утонули контейнеры, и озадаченно переговаривались

друг с другом, важно делая замеры руками: должны, мол, где-то там быть контейнеры. Сто процентов они там. У одного за ухом даже торчал карандаш. А потом они просто сели в грузовик и уехали. Отвлечшись на эту идиллию, Сандрик и не заметил, как дошел до сердцевины фрукта. Косточек там и вправду не было.

Выведенный в лабораториях новый вид королька можно было считать практически совершенным — нет жестких косточек, значит, меньше суеты с фруктом. Ешь и наслаждайся. Только вот впечатлила память фрукта о том, что в нем должны быть косточки.

Сандрик всмотрелся в сердцевину и насчитал шесть аккуратных пустых дырочек. Их внутренние стенки прилегали друг к другу, но не срастались. Как будто косточки там быть должны.

Так ушел отец, оставив Сандрика с матерью одних. Он просто исчез из самой сердцевины, но после него навсегда остались несрастающиеся лакуны. Как будто отец там быть должен.

Спрятавшись в своих воспоминаниях, Сандрик так и остался стоять на месте, а ручка вернулась в свое привычное положение. Некоторое время ничего не происходило. Синева из окна легла на руки и ноги. Вены на запястьях казались в этом свете черными.

Грабя квартиры, в Тбилиси зачастую и убивали. Никто не хотел свидетелей. Чаще всего грабители пользовались ножами, чтобы сделать все по-тихому. По утрам жильцы находили трупы своих соседей, чьи квартиры после налета напоминали «белый каркас». Но никто ничего не слышал.

Сандрик решительно вдохнул воздух и рванул в спальню. Одним рывком он схватил с тумбочки нож и вернулся на место, стараясь не ступить на взбухшие участки паркета. Ручка двери была снова вдавлена вниз. От ее вида Сандрика затошнило. В ушах непрерывно звенело.

Миша, отец, всегда мечтал о каком-нибудь апокалипсисе. Чтобы что-то влетело в землю, но чтобы все выжили. Или хотя бы самые близкие. Он тогда ушел бы с ними жить в пещеры, о которых так часто говорил. Его привлекал пещерный образ жизни, где все просто. Когда днями вырубали электричество или воду, а часто и то и другое, все впадали в панику (хотя было уже, казалось, не привыкать). Все падали духом. А Миша обретал новые силы, возбужденно носился по квартире, уговаривал всех играть в городки. Без электричества и воды жизнь обретала новые краски, новые возможности: ничего не нужно было достигать, ни к чему стремиться. Даже самые навязчивые мысли о предназначении человека (а Миша был раздражаемым изнутри человеком) отступали назад, когда тух свет и из крана ничего не текло. Все становилось проще. Торжествовала мысль о пещере. Вот сейчас завернешь из кухни в залу, а там — она, обетованная.

«А что если припасть к двери, и когда они ее взломают, резко всадить нож в одного, потом в другого. Сколько бы их ни было. Главное сделать это мгновенно, пока они не опомнились», — строил планы Сандрик, и глаза его загорелись: если хотя бы немного перестать трусить, можно все хорошо спланировать.

«То есть просто взять и убить», — уточнил он для себя самого и прислушался к своей же реакции. Ничего. Просто взять и убить. Нормально.

«Насколько сложно вынимать нож из живого мяса?»

Деревянная рукоять ножа впитала пот его ладони. Пот стекал каплями со лба, выступил на спине.

«Нужно ли его внутри поворачивать?»

«Стоит вонзить в горло или в живот?»

«Я хочу убить? Или сильно ранить, но сохранить жизнь?»

«А что мне за это будет?»

Резкий глухой удар в дверь. То ли кулаком, то ли коленом. Сандрик попятился назад, ноги подкосились, под ними все поплыло.

Новый сильный удар.

«Почему они шумят?! Что они планируют?»

«Может, это чья-то месть? И не грабить вовсе пришли они, если им все равно, что их все услышат...»

...Запах жареной картошки ударил в нос, как только Сандрик открыл дверь и вошел. Инга картошку почему-то всегда недожаривала. Но это еще полбеды. Картошка, не переносившая холодную, неотапливаемую зиму, была к началу весны противно сладкая и местами синела.

— Руки помой. И не смотри так. У нас не ресторан.

Сандрик разулся, опрыскал руки из хрипящего крана, потер о брюки и пошел на сладковатый запах картошки.

— Что по физике?

— Ничего.

— Ну-ка дыхни.

— Мам, оставь.

— Дыхни, говорю.

Сандрик закатил глаза.

— Ешь теперь. И смотри у меня.

Недожаренная картошка захрустела под зубами и упорно не лезла в горло.

— Папа с работы звонил. Деньги, говорит, выдадут только в следующем месяце. Ну, что молчишь?

Инга резкими движениями скоблила обгоревшую сковородку, и невыносимый скрип отдавался в зубах, в спине, в затылке.

— Мам, нужно на медленном огне. Так и дожаришь, и ничего не обгорит.

— А ты мать не учи тут давай. Пушок над губой не делает тебя мужчиной в доме. Так что по физике? — затараторила Инга.

— Ничего, говорю же.

Сандрик нанизал пару ломтиков картошки на вилку. Было ощущение, что он вонзается в мясо остывшего мертвеца.

— Мне еще за электричество платить. Как уложусь, не знаю.

— Мам, я хочу ходить на футбол.

— Так, вот чай, — Инга грохнула стаканом по столу, налила в него кипяток, достала из другого стакана мокрый пакетик и, сморщившись, переложила его в стакан Сандрика.

— Ребята уже записались. Там за полгода совсем немного надо. Ну и кеды...

— Ты где рубашку порвал? — мать потянула воротник Сандрика вверх, показательно, чтобы он хорошо видел разошедшийся шов. Потом резко отдернула руку и отошла к плите.

— Тренер собирает хороших ребят. Просто у меня нет кед.

Сковородка свалилась с плиты на пол и расплескала остатки масла.

Сандрик глотнул очередной ломтик картошки и посмотрел на календарь, вяло повисший на стене. Тысяча девятьсот девяносто и дальше сорванный уголок. А на огромной фотографии над цифрами уместились нереальная женщина и нереальный остров.

Все крепче сжимая нож, Сандрик начал невольно сопеть, уже привыкнув к оборотам дверной ручки и еще паре других шумов: возникало ощущение, что люди снаружи что-то скребут. Так прошло двадцать жутких минут без перемен.

«А что бы сделал отец?» — голова Сандрика кружилась, и комната качалась из стороны в сторону. — «А сделал бы я то же самое?»

«Неужели умирать и правда так страшно? Умирать самому?»

Сандрик вспомнил, как однажды Данечка, сын Жанны и Сержа, поранился, упав с забора. Весь ужас пришелся на те три секунды спазматической тишины между его первым выкриком и еще более сильной волной второго выкрика. В этот самый момент время зажевало, как пленку: ребенок застыл в непонятной позе с открытым ртом. Ты не знаешь, чего ждать. Ты не понимаешь, насколько сильна травма. Ты упал в темную глубокую яму и еще не решил, как выбираться, а зверь проснулся в углу.

Так неужели самому умирать страшнее? Нет. Сандрик тихо усмехнулся. Самому умирать просто. И перед глазами снова всплыла сцена с Данечкой, когда Серж и Жанна рванули с разных сторон к сыну, схватили на руки и осторожно его потрясли. Трясли до тех самых пор, пока из Данечки не вырвался новый едва ли сносный, но долгожданный крик, а затянувшегося спазму пришел конец.

Лучше умереть самому, чем видеть смерть родных, заключил Сандрик, засопел еще сильнее, поднял руку с ножом и всверлил взгляд в дверь. Он уже не смотрел на ручку: она жила своей подвижной жизнью. Послышались очередные глухие удары, до того дикие, что казалось — дверь вот-вот сорвется с петель.

— Убью, — впервые за все это время произнес Сандрик вслух и улыбнулся. А потом и вовсе расхохотался на всю громкость, закатывая голову, захлебываясь собственным смехом, упиваясь принятым решением. — Убью, мать вашу! — и упал.

«Это все ты. Смотри, что ты наделал...» — знакомый, но так и не узнанный голос повторял одну и ту же фразу, пока Сандрик не очнулся. Обнаружив себя на том же месте в прихожей, он огляделся: никого вокруг, все вещи на месте. Он бросил быстрый взгляд на дверь, — и она была закрыта. Пакет с железным конструктором лежал нетронутым, прислоненный к двери. Рука все еще крепко сжимала нож. Голова страшно болела. Сандрик приподнялся и снова огляделся. Стараясь ступать медленно и бесшумно, он подкрался к двери и всмотрелся в глазок. Никого. Да и рассветало-то еще не до конца. В подъезде не было слышно ни единого движения. Только неровный храп под самой дверью.

Сердце снова заколотило, но Сандрик решительно открыл дверь. На рваном коврикe у двери лежал съездившийся сосед. Покраснев от злобы, Сандрик ткнул его ногой. Тот не отзывался. Сандрик ткнул снова.

— Вонючка! — только и нашел, что ответить сосед сквозь прерванный сон.

— Убирайтесь на свой этаж и проспите!

— Ты чего меня не впускала, идиотка, — отстраненно выдавил сосед.

— Убирайся, слышишь, давай, — и Сандрик тщетно попытался оттащить мужика от двери. Руки дрожали, хотя страх уже давно отступил. Сандрик развернулся, решительно зашел в ванную. Электричества все еще не было. Он схватил ковш, зачерпнул им из тазика, и в темной ванной снова засверкала Медведица. Как будто не было всей этой ночи, не было ожидания смерти — своей, чужой. Не было ничего.

Сандрик вернулся в подъезд и не без омерзения окатил мужика водой из ковша, но сосед едва ли сдвинулся. Хотелось снова схватить нож и засадить его как можно глубже в эту огромную бесформенную тушу. Хотя страх уже давно отступил.

Вовчик

Глаза привыкают к темноте, если дать им время. Просто уткнись и жди: черная гуша станет медленно отступать, задвигаясь в углы, вползая в щели. По крайней мере, тебе кажется, что ты берешь над ней верх. А посмотри обратно на свет: ты слепнешь, ты выпцветаешь. Тлеешь с краев к самому центру. Ты теперь — темнота.

Сандрик скатывался по перилам аварийных лестниц до первого этажа школы. Так проще: на ступенях могло укачать, и потом хоть блуей в пролет. А качало, как на лодке, даже от самой легкой поступи. Это еще ладно. После шестибалльного землетрясения

и не такое бывает. Вот девятиэтажка по соседству креном просела: Сандрик не ходил туда к однокласснику Вовчику с тех пор, как у того на Сандрикиных глазах выпало из рук яблоко и покатилося из кухни по длинному коридору, набирая обороты, а потом даже завернуло в залу и только там уткнулось в закрытую дверь спальни. Мать Вовчика отворила изнутри дверь, подумав, что кто-то стучит, а яблоко коварно нырнуло в щель, споткнулось на скорости о выпирающую ножку тумбочки и вылетело в открытое окно.

Это ладно еще. Родители Вовчика через год закатали грандиозный ремонт квартиры, накупили мебели из-за границы, и всю эту роскошь дружно потом косило к открытому окну в спальне. Крен переиначил все перпендикуляры внутри здания. А раньше жизнь проходила по большей части внутри, по кухням, — такая себе, местами, кренова жизнь. Короче, бухать в этом доме было категорически нельзя — принял, встал из-за стола, и тебя моментально понесло к окну.

Это ладно еще. Как-то раз Сандрик встретил Вовкиного отца в очереди в пекарню. Так тот, накренившийся, совсем как в своей квартире, склонился к впереди стоящей женщине и вперил стеклянный взгляд в пустоту. Та, себе на уме, даже подумала, что Вовкин отец призывает ее откинуться навстречу: мало ли что он хочет ей нашептать, а она, возможно, как раз одинока. Вот и склонилась, ушко аккуратно подставила, а Вовкин отец от неожиданности как резко отпрянет. И уклона не меняет. Она хмыкнула, оскорбившись. Оттолкнула его. Он — гордый и злой, вышел из очереди, развернулся и пошел прочь, откинувшись всем телом назад, будто на скате. Ну, как привык.

Сандрик спрыгнул с перил. В коридор первого этажа школы попадало меньше всего дневного света. К подошве липли серые мокрые опилки, пахло керосином и плесенью, но в нос изредка пробивался запах свежей краски из кабинета директора. В самом конце жутко маячило перекрытое кривыми досками восточное крыло школы, где при шестибалльной тряске провалилась лестница четвертого этажа, пробила за собой лестницу третьего, и дружно они сорвали наполовину лестницу второго. Первый этаж держался. В мутном, вязком ожидании.

Выйдя с платного дополнительного занятия по физике, Сандрик мерно вышагивал по пустому коридору. Все уже давно разбрелись по домам, а ему нужна была четверка в годовой. Так раньше считала мама. Можно было, конечно, сразу купить эту четверку, но физичка была женщиной интеллигентной, хороших манер: оценку нужно было «отмыть» получением базовых знаний, которыми учителя не делились на основных занятиях. Ведь кладезем знаний не разбрасываются там, где в одном ряду сидят будущие безработные инженеры тбилисских нулевых и уже вполне состоявшиеся нюхачи девяностых.

— Ноги убери.

Сандрик прищурился, стараясь разглядеть ребят в школьном дворе. Заляпанное окно мешало узнать их сразу. Те копошились, то забегали за угол, то снова появлялись, будто на шухере.

— Так, ноги убрал.

— Что?.. А да, — опомнился Сандрик и учтиво отошел. Уборщица, баба Таня, крутыми рывками замазала освободившееся пространство пола мокрой вонючей тряпкой мутно-оранжевого цвета, сильно напомнившее Сандрику кофту, в которой старуха проходила весь прошлый год. И позапрошлый.

— Что встал, господи. Иди вон.

— Да я так, чем мешаю-то?

Старуха молчит, упорно трет обуглившийся паркет.

— Почему вы меня так не любите? — не унимается Сандрик. — Нет, ну правда: сталкивает с пути вас Омарик, а не любите вы меня.

— А что мне тебя любить? Внук ты мне, что ли.

— Можно подумать, Омарик вам — внук!

Уборщица уставилась на Сандрика с диким блеском в зрачках и засопела.

— А ты меня что — не толкаешь, только чтобы я тебя больше любила? Или может, чтобы от Омарика отличаться?

— Я не толкаюсь, потому что не хочу, — едва нашел что ответить Сандрик и потупил взгляд.

— Ну вот иди отсюда и дальше не хоти... хотей. А благодарности моей не требуй. Двигайся, давай. Развелись тут самовыдвиженцы на доску почета.

Это уж слишком. Сандрик вскипел и грубо толкнул ногой ведро грязной воды. Оно звонко упало на бок, и по паркету потекла чернота с мерзкими сгустками, собранными со всего этажа. Уборщица Таня беззвучно склонилась над ведром, сдвинула его и стала упорно тереть огромную лужу. Сандрик стоял и выжидал: гнева ли ее, проклятий. Голыми руками старуха выжимала муть обратно в ведро и снова принималась тереть. И молчала. Сандрик хотел подойти, помочь. Еще немного, и он бы отнял тряпку. Знак бы, сигнал... Он на одном дыхании сдвинул перекинутую через плечо сумку, чтобы не мешала нагибаться, засучил рукава, подвернул брюки, чтобы не промочить их во время работы, и, не оглядываясь, рванул к выходу из школы.

Обойдя здание снаружи, он, едва не плача, завернул во внутренний школьный двор. На коже выступили красные пятна, по спине тек холодный пот. Сердце билось так сильно, что вызвало тошноту. Сандрик упивался моментом чистого девственного зла, настолько прекрасного, что накрывало с головой. Насколько зрелого, что хотелось сейчас же бежать к самой гордой и неприступной однокласснице и жадно всосаться в ее губы. Виски пульсировали, уши горели. В животе, как грибы, выросли горы, а потом их растрясло, и случился камнепад. Упоение росло, поднимая планку, и новые горизонты давались юному открывателю непросто: в глазах то и дело мерк свет, и наступала никем ранее не описанная темнота. Хотелось в нее опрокинуться и ждать: сейчас проявятся невидимые прежде очертания.

Сандрик набрал разбег и побежал на голоса в заросшем углу школьного двора. Вовчика беспощадно били. Он безучастно валялся на земле и не сопротивлялся. Даже голову не прикрыл. Почему-то заливался жеваным смехом.

Шайка Омарика была известна на весь район, не то что на всю школу. Их любимым занятием было решать вопрос чести. Все обычно начиналось так: у тебя требуют деньги и ты их должен обязательно отдать. Если они у тебя есть — лучше просто отдать. Самое неверное решение — врать, что их нет, потому что после убедительной просьбы следовало унижительное указание подпрыгнуть на месте. Не прыгнуть нельзя было тоже. С тобой говорили спокойно, но ты знал, чего ждать, если послушаться. Поэтому прыгать нужно было только будучи «чистым»: не зазвенят монетки — идешь себе дальше. Зазвенят — и тебя за вранье оттаскают в несколько приемов. В итоге ты лишаешься и денег, и уважения. Да потому что ты просто жалкий вун.

Но сейчас все зашло дальше. Сандрик вырвал из кучки Омарика и вмазал кулаком в лицо. Повалил на землю, закатил ногами в его бока. Двое других оставили Вовчика и ухватились за Сандрика. Снова упоение, снова накрывает с головой. Камнепад.

— Суки. Пиздить вас! Оставьте Вовчика! Больно, тварь? На, получай еще. Жри. Вовчик, ты чего, вставай! Я один тут долго не продержусь.

Вовчик приподнялся и вцепился в сумку на плече Сандрика, дергал и тянул ее на себя. Замок у сумки даже щелкнул. А потом Вовчик резко отпрянул. Снова упал. Омарик, следивший за каждым движением Вовчика, разинул рот и хотел было злобно расхохотаться, но после очередного удара схватился за бок и скорчился от боли.

Двое побитых напарников Омарика тоже теперь лежали на земле, ухватившись за головы. Сандрик держал одного за волосы и, стиснув до скрежета зубы, вдавил окровавленный, сжатый до дрожи кулак ему в нос: до звона в ушах хотелось ломать

кости, давить хрящевые ткани. По вискам Сандрика потекли огромные капли пота. Тем временем привстал, покачиваясь, Омарик, и Сандрик пошел на него, хотел было замахнуться, как тот неожиданно выставил вперед руку с ножом. Во двор забежала остальная Омарикова шайка. Через них было не прорваться домой. Сандрик немедленно развернулся, одним рывком поднял Вовчика за воротник, и они понеслись в другом направлении, перелезая через изгородь. Впереди были только горы, переходящие в старое заросшее кладбище.

— Бегите, дружки! — кричала вслед школьная шайка. — Поосторожнее там с волками, суки! Мы вас ждем внизу! И ночью не уйдем, так и знайте!

* * *

— Папа меня убьет, черт, он меня убьет, — взвыл Вовчик.

— Что это было с тобой, чувак?

— Я эта... Да они долго, блять, били. Мне было уже все равно. Пусть, думаю, быют, твари, — Вовчик засуетился, поднимаясь в гору. Споткнулся, пробурчал что-то себе под нос. А потом снова заладил: — Точно убьет отец.

— Да не ссы ты. Переждем и вернемся. Чё думаешь, они и вправду там ждать будут? Делать им нечего.

— Им не впервой околачиваться ночами.

— Вот поднимемся еще выше, и весь район как на ладони будет. Мы их выследим. Как уйдут, спустимся и мы.

— А если не уйдут? — Вовчик оглянулся и различил в сумерках внизу Омарика, который незамедлительно поднял вверх средний палец.

— Да не оглядывайся ты, придурок. Идем дальше.

— Тебе-то легко вот так: дома никто не ждет. Пускаешь только пыль в глаза, что с дедом живешь. А он у тебя всего лишь прописан.

Сандрик резко развернулся, схватил обеими руками Вовчика за куртку и засопел.

— Я тебя выручал, тупица. Я бы уже давно дома был. Один, не один, ждут, не ждут: я был бы дома, — сказал он и гневно вытолкнул Вовчика вперед. — Идем. Вон там холм, за ним скроемся и проследим.

За холмом развернулась небольшая равнина. Там паслись коровы, неподалеку мирно лежала собака, и пастух грыз семечки, сидя рядом с ней на большом валуне. Сандрик подумал было все рассказать и просить о помощи, но в мышцах рук и ног снова забурилась кровь: хотелось быть сильным до конца. Сильным одиночкой.

Холодало, легкие куртки уже не выручали. Солнце давно скрылось за гору, и ровный умирающий свет накрыл равнину. Вовчик дернул локтем Сандрика:

— Слушай, давай спросим о волках.

— А что спрашивать?

— Ну, спросим, часто ли он видел их здесь.

— Иди, Вовчик, спроси. Мне как-то все пофиг. Спустятся, голыми руками придушу. Выхода все равно нет.

Вовчик неуверенным шагом добрался до пастуха. Сандрик последовал за ним. Хорошо, думал сильный одиночка в глубине души, что хотя бы кто-то здесь есть. Не так жутко.

— Извините... ээм, — Вовчик почесал голову, а пастух, смуглый, худощавый мужчина средних лет, медленно повернул голову и равнодушно уставился на него. — Мы тут с другом поход устроили. А волки здесь часто бывают?

— Да, бывают, — безучастно ответил мужчина и снова защелкал семечками.

— Таак, — Вовчик старался не сбавлять и без того вялого темпа общения. Постоял, подумал. Подбирая слова, поднес руку, взглянул на часы. — А не подскажете, во сколько здесь выходят волки?

Пастух снова устался на Вовчика и Сандрика, потом на свои часы, потом опустил руку и молча осмотрелся по сторонам.

— Что ты несешь, Вов, — шепнул Сандрик. — Что за нахер «во сколько»... На работу, что ли. Добрый вечер, — обратился Сандрик к пастуху, налаживая беседу.

Оказалось, что того зовут Кхличбе, а его собаку — Соломон. Пару минут спустя Сандрик случайно оговорился, назвав пастуха Соломоном. Тот оскорбился, окинул Сандрика презрительным взглядом и поспешно ушел. Ребята снова остались одни. Тем временем окончательно стемнело.

— Вот думаю, спуститься сейчас и пойти под ножи или все же переждать? — Сандрик выглядывал из-за холма и следил за шайкой. Те даже с места не сдвинулись.

— Папа хочет пристроить меня в немецкую школу после девятого.

— Пристроить?

— Ну да. По-другому туда и не попасть. Там только дети «шишек» учатся.

— Молодец твой папа. А ты-то сам хочешь?

Вовчик не сразу ответил, а Сандрик надеялся услышать, что Вовчик просто не может послушаться, что Вовчик сам не хочет по окончании учебного года покидать родные стены аварийной школы, или скажет еще какую-нибудь убедительную ерунду в оправдание.

— Я-то хочу. Да вот справлюсь ли. Там занятия проводятся. Нужно впахивать. Как ты думаешь, я потяну?

Сандрик тоскливо улыбнулся.

— Конечно, потянешь. Ты умница. Только навещай иногда. На физкультуру приходи, что ли.

— Что?.. А, да. Хотя нет, во время занятий не получится. Ну, во дворе видаться будем.

— Странный ты, Вовчик. Сам не свой.

— Почему это?

— Да так, — Сандрик укутался глубже в куртку, оперся спиной о врытый в землю валун и закрыл глаза.

* * *

— Эй, вставай. Слышишь? Поднимайся, парень. Окоченел он, что ли.

Сандрик медленно открыл глаза, но едва ли мог сфокусироваться. Была глубокая ночь. Послышалось сразу несколько взрослых голосов. Вскоре Сандрик узнал отца Вовчика. Тот обнимал самого Вовчика, потирающего спящего голову. Отец утешал его, злобно озирался на Сандрика, которого тем временем тряс районный милиционер, часто захаживавший в школу. Имени его никто не помнил, но прозвали его просто: «Ментол». Шухер, Ментол! Или: Ментол снова торчит в директорской. Или: переждем в туалете, пока Ментол не свалит.

— Проснулся? Ну так вставай. В отделение идем.

— Какое отделение? Мы с Вовчиком ничего не сделали. Нас, вообще-то, пытались зарезать. Вон, вон они! — Сандрик указал пальцем на Омарика, который чудным образом стоял неподалеку, изображая испуг.

— А верю я тебе лишь наполовину. Вовчик, бедняга, действительно ничего не сделал. Проблема в тебе, сынок. Идем. Мне твой одноклассник Омарик обо всем уже доложил.

— Никуда я не пойду.

— Вот пусть тогда волки и жрут тебя здесь! — вспылil Ментол и с омерзением добавил: — Вставай!

— Вовчик, о чем они, вообще? Что произошло, пока я спал?! — недоумевал Сандрик.

И тут Вовчик расплакался.

— Он сказал, что волков покажет. Говорил, не бойся, — выдавил он, всхлипывая.

— Что-о? — взревел Сандрик и дернулся с места. Вовчик неумолимо врал, но плакал большими, настоящими слезами.

— Спокойно, парень, — Ментол поднял Сандрика за воротник, закатил ему руки за спину и нацепил наручники. Покопавшись в его сумке, он вытащил за самый кончик использованный шприц и демонстративно поднял его вверх, как трофей.

— Ты посмотри-ка на это! — возликовал Омарик и оглянулся на Вовчика.

— Все за мной вниз. Озираемся по сторонам, — коротко заключил Ментол.

В отделении глубокой ночью было тихо и безлюдно. По крайней мере в коридорах. В камерах постукивали, харкали и вяло ныли.

У Омарика, Сандрика и Вовчика поочередно брали отпечатки. В пакете на столе лежал тот самый шприц. Отец ждал Вовчика снаружи.

— А отпечатки еще зачем? — испугался Вовчик.

— Для протокола, идиот. Обязательная процедура. Скажи еще спасибо, что так отделался. А дружка твоего сразу в колонию и отправим, — Ментол вдавил палец Вовчика в чернила.

— А может пока с уликами разберетесь, прежде чем Сандрика сажать? — осторожно поинтересовался Вовчик и покосился на Ментола, стараясь прощупать ход его дальнейших мыслей на этот счет.

— А что с ними разбираться-то? Есть шприц, есть мера наказания. Что делу висеть, а? И так висячих по горло уже, — небрежно бросил Ментол.

Сандрика отправили в отдельную камеру, остальныхпустили. В камере Сандрик проспал до середины дня. Разбудил его скрип отворяемого замка.

— Выходи, есть разговор, — на лице Ментола было сложно что-либо прочесть.

Сандрик встал и последовал за ним в кабинет. Там он сел на жесткий холодный стул, а Ментол грузно завалился в свое рабочее кресло.

— Я вот все же решил снять отпечатки со шприца, знаешь. Хотя зачем, казалось бы. Все улики налицо, — начал он и замолк, уставившись на белую стену. Немного погодя продолжил: — Чего один-то живешь?

— Не один, — спохватился Сандрик. — С дедом.

— А соседи уверяют, один. Отец бросил вас с матерью. Мать померла. За дедом смотрит родственник. Да и в шкафах только твоя одежда и лежит, ну и матери покойной. Сам проверил. Короче, тут дело такое... Отпечатки-то на шприце — не твои.

— Оно и понятно, — Сандрик безучастно хмыкнул. — Мне его Омарик подбросил.

— Во время драки, значит?

— Откуда вы знаете про драку?

— Утром уборщица Татьяна из вашей школы приходила в отделение. Видела, говорит, из окна, как ты вбежал в школьный двор друга своего, Вовчика, выручать.

У Сандрика на душе заскребли кошки. Навалилась щемящая тоска.

— А чего она приходила? Вызвали, что ли? — спросил он.

— Да нет, сама пришла. Говорит, Омарик домой вернулся под утро, и спрашивала, всех ли отпустили или только его.

— Как домой? К ней домой?

— К себе, дурак. Баба Таня опекает его с тех пор, как родителей пацана убили. Тоже, кстати, за наркотики. Родня отняла квартиру. Мальчик практически на улице и остался.

— Бабушка, значит, она ему?

— Нет, соседкой их просто была. К себе забрала, опекунство оформила. Так вот, на чем это я остановился... — Ментол подался вперед и скрестил пальцы рук на рабочем столе. — Отпечатки-то не твои. Подбросили, получается.

— Теперь Омарика посадят?

— Омарика?.. Нет пока. Но тебя отпустим, — Ментол не спускал с Сандрика глаз.

— А чё это вы добрый такой, дядя? Вам же таких, как я, ловить и ловить — милое дело.

Ментол снова откинулся в кресло и залился смехом.

— А что с тебя взять? Вот с шайки Омарика соберешь дай Бог. И с дружка твоего тоже. В колонию забирать не будем, но сдерем три шкуры. А ты иди-иди, покуда я добр.

— Но с Вовчика зачем сдирать? За глупое наивное вранье про волков? Он же просто испугался. Оставьте его, слышите.

Нарочитое молчание. Ментол потянулся в кресле и, ухмыляясь, покачал головой.

— Я бы оставил, да вот только... Вот хорошо ведь, что взял я отпечатки у пацана. Эти богатенькие, как киндер-сюрпризы, — сладко шепнул Ментол, склонившись к Сандрику. — Откроешь, а там — негаданный подарок.

— Нет! Врете! — Сандрик закачал головой, заерзал на стуле. — Но его били! — ухватился он за последнюю ниточку, которая тоже рвалась от натяжения.

— Мало ли что они там не поделили, наширявшись вдоволь. Мальчик, опомнись. Тебя кинули. Свои же кинули.

Сандрик молча опустил голову. Губы дрожали. Ладони обмякли.

— Иди-иди уже. Но знай, я тебя все равно запомнил. Свободен, — жестко завершил Ментол. Сандрик встал и разбитый поплелся к двери.

— Значит, Вовчика все-таки сажать будете? — спросил Сандрик, обернувшись уже у самой двери.

— Сейчас? Нет. Сейчас сдерем бабла, семья не бедная. А посадить всегда успеем. Таких, как Вовчик, можно подловить в любой момент. Еще не раз послужит.

— Каких таких? — не понял Сандрик.

— Начинающих, — с ухмылкой ответил Ментол и подмигнул на прощание.

* * *

Выйдя от Ментола, Сандрик наткнулся на отца.

— Чего пришел, — негодуя спросил он, только заведя Мишу у порога.

— Тебя забрать пришел.

— Я звал Сержа.

— Он с ребенком. А ты, если не желаешь меня видеть, лучше не попадай в такие ситуации. Или хотя бы не попадайся.

— Легко сказать.

— Я в этой же школе учился. Оpozорил меня перед старыми учителями. Чего ты вообще лез спасать неблагодарных? — возмутился Миша, согнувшись над Сандриком, который без сил свалился на жесткий стул в коридоре. — Это их личные разборки. Не поладили сегодня, поладят завтра.

Обычно на вопросы отца «почему», «ради какой цели» Сандрик всегда отвечал: «просто». Это Мишу всегда злило. И Сандрика тоже. И теперь Миша снова ждал этого короткого, раздражающего ответа.

— Ну? Чего совалясь? Я уважаемый человек, между прочим. А ты, мать твою, загремел сюда.

— Следи за словами, слышишь, — и Сандрик дико вскочил со стула. — Грузчик с высшим образованием.

— Так, собирайся давай. Меня дома ждут. Вот твой рюкзак. Вот ключи, — холодно и немного надорвано последовал ответ Миши.

— За поворотом разойдемся, — поставил условие Сандрик.

— Не вопрос. Походишь, поразмыслишь.

Вот так всегда, подумал Сандрик и не заладил нового спора. Вдвоем они вышли из отделения милиции и побрели до первого поворота. Холодный вечерний воздух покалывал лица, пробирался под воротники, мерзко скользил по их спинам. Поблизости

двое парней расклеивали агитационные плакаты одной из политических партий: в несколько рядов уместили штук двадцать одинаковых листовок на гнилой стене заброшенной лачуги. Косые электрические столбы вдоль автострады, что расположилась неподалеку, поддерживали друг друга одним лишь натяжением проводов между собой: сколько, казалось бы, проявления воли и взаимовыручки. Сбоку моргала кривая вывеска кафе, гордо носившее название «Парадиз». Впрочем, таких названий было на один квартал по два или три. Обычно над этими зданиями нависали деревья со вздутыми, как тугие паруса, целлофановыми пакетами на ветках.

Миша и Сандрик дошагали до поворота и неловко встали на месте.

— Между прочим, у тебя есть теперь сестра. А ты даже не поинтересуешься о ней. Сандрик молчит, уставившись в серый туман позади отца.

— Даже не спросишь, как ее зовут?

— А я должен? — последовал невозмутимый вопрос.

Миша ухмыльнулся и покачал головой.

— Ну а как ты думаешь? Можешь прийти, навестить ее. Дорогу знаешь.

— Понимаешь, Миша...

— Отец.

— Да. Так вот, Миша, понимаешь, эти твои мосты — они вот зачем тебе: а затем, что не на кого, видимо, сваливать все свои неудачи. Жenuшка новая твоя, небось, прыткая, спуску не дает. А нужно, чтобы рядом был козел отпущения.

— Ах ты сволоченок, снова привязался к моей жене!.. — и оба они сцепились.

Миша со всей силы прижал сына к ближайшей стене.

— Давай! — орет Сандрик. — Поднял руку и вмазал.

— Как ты, вообще, с отцом разговариваешь?!

— Поднял руку и вмазал! — глотая слезы, завопил Сандрик. Утробный и необычно низкий голос исходил с самой глубины горла, вызывая спазмы. — Я жду. Никуда не ухожу.

— Да что это я, — вдруг спохватился Миша, отпустил руки и растерянно оглянулся по сторонам. — Ты перенервничал сегодня, иди домой, слышишь. Все, иди, — и коротко указал пальцем прочь. — А тогда мы все здорово налажали.

— Да. И поэтому ты просто рванул с дивана и трусливо смотал, — Сандрик помешкал, расправляя на себе смятую куртку, но вскоре стал уверенным шагом уходить. Пройдя метров сто, он вдруг встал, как вкопанный, и нервно подтянул ремешки на рюкзаке. Оглянулся в сторону отца: в темноте было не понять, там он или уже нет. Хотелось кричать в черную, вязкую гущу пустоты.

* * *

Вернувшись домой, Сандрик устало разулся и стал разгружать вещи. Всю дорогу по пути назад рюкзак казался тяжелее, чем утром. Под спортивной сменкой лежал небольшой мешок. Вытащив его на свет, Сандрик пренебрежительно хмыкнул: это был мешок картошки. Еще он достал пачки сахара и макарон. А уже под ними лежал маленький сверток: в нем звенели копейки. Раскрыв сверток, Сандрик обнаружил и пару мятых купюр, которых хватило бы на месяц или даже два месяца пропитания — это смотря как протянуть. Разгневанный Сандрик в первую очередь принялся за продукты: он вышел в подъезд, спустился во двор, прошагал немного и, замахнувшись со всей силы, выкинул продукты на мусорную горку, которая в ночи выглядела как сторожевая башня. Просто чтобы не расширять территорию мусорной горки, люди увеличивали горку в высоту: замахивались от души полными целлофанами. Дети даже устраивали соревнования по метанию мусорных пакетов.

Поднявшись домой, Сандрик принялся за сверток с деньгами. Взял купюры и, уже готовый их разорвать, вдруг замешкался. Деньги сладко захрустели между пальцев. В этот самый момент желудок издал глухие тоскливые звуки, и резко подступил ничем

не подавляемый голод, а у продуваемого из щелей окна тряслась и скрипела пустая ржавая канистра.

Отложив деньги, чтобы собраться с мыслями, Сандрик открыл спальню матери, в которую не заходил с момента похорон, молча подошел к шкафу и распахнул его. Одну за другой перебирал он ее одежды. Материнский запах все еще узнавался в них. Или это был запах стирального порошка, которым она пользовалась. Какая разница. Все напоминало о маме. Даже то, как падал в комнату свет. Как он ложился на заправленную кровать. Одежда была сложена ее рукой. Никто к ней после не дотрагивался. Сандрик вытащил из глубины полки мягкий бежевый свитер и, развернув его, приложился щекой. Мама любила именно этот свитер и боялась его износить. Надела его всего-то два раза: на юбилей отца и когда после очередной химиотерапии волосы повыпадали. В те дни ей сильнее всего хотелось быть красивой.

Сандрик снова сложил свитер и вынес его из комнаты. Наутро баба Таня обнаружила его аккуратно упакованным и оставленным без единой записки в кладовой школы, откуда она обычно забирала ведро и тряпки.

Мешок в клетку

Серж когда-то любил цирк и был ему предан. Жанна так и познакомилась с ним — после одного из выступлений не уходила домой, околачивалась вокруг Тбилисского цирка в поисках «черного хода», как она его называла. Серж вышел из парадных дверей: красавец с густыми кудрями и стеснительной улыбкой.

— Я просто должна их потрогать! — с этого Жанна и начала их знакомство, даже не представившись, нетерпеливо встав на ступеньку выше. И не успел Серж опомниться, как она уже перебирала его блестящие локоны волнообразными движениями пальцев. Жанну он полюбил сразу — наивно и честно. А она еще долго после этого им просто восхищалась, не более того. Это гораздо позже Жанна призналась самой себе, что любит Сержа: любовь пришла на смену обожествления Сержа, примешанная к чувству вины по отношению к нему, к чувству обиды. Чем проще становился Серж, тем сильнее она его любила: с него непрigлядно слезила божественная кожа, а из-под нее стал проглядываться нескладный, не всегда везучий, вполне нормальный человек. И хотя он оставался таким же красивым, в его глазах мерк сверхчеловеческий блеск. Теперь его можно было любить. Без всяких обожаний.

После травмы Серж больше не мог выступать, но всегда приходил поддержать друзей-акробатов. Да что там, он едва ли мог усидеть на месте при виде махового сальто. Это было время, когда еще никто не проснулся, но все уже рухнуло, и людям казалось, что вот завтра снова откроются заводы, на прилавки вернется хлеб в должных количествах. Что это все понарошку, маленький сбой. И Серж был по привычке исполнен нескончаемой любовью и какой-то неоправданной признательностью в глазах.

— Почему ты не доверяешь их мне? Не понимаю. У меня вот шелковое платье, и, поверь, ткань подороже, чем у твоих брюк. Хрупкая — лишнее движение, и ей конец. Так вот, знаешь, сколько лет у меня это платье? — и Жанна так близко показала Сержу три пальца, что он едва сфокусировался на них. — А как будто вчера купила.

— Осторожно, у меня утюг! — стал отбиваться Серж. — Сожгу ведь случайно.

— Ты хотел сказать «обожду».

— Обжигают обычно кожу. А ткань — сжигают, — колко заметил Серж, подловив досадный взгляд Жанны. — Летел он из морских глубин в надежде робкой поцелуя-а-а...

На выпуклом экране Игорь Николаев горячо дергал рукой мимо струн, а Наташа Королёва извлекала ровные ноты и при этом невероятно выгибала грудную клетку то вперед, то внутрь. Серж любил легкую музыку, легкое настроение, приятные ритуалы,

по-детски трепетное предвкушение какого-либо события. Это годами позже он оброс грубой, несгибаемой щетиной и циничным оскалом. А тогда, в день премьеры новой программы друзей-акробатов, он собирался по традиции надеть свои широкие клетчатые штаны на подтяжки. Выключив громкий телевизор, они вышли из дома и пошли в цирк.

— Скоро не смогу носить своих привычных одежд, — начала в троллейбусе Жанна, осторожно трогая живот. — Думаешь, мы потянем? Все так странно вокруг, — и она припала лбом к запотевшему стеклу.

— Жанн, обморозишь голову. А чего вдруг не потянем. Глупости какие.

— Ну не знаю. Ребенку вон столько всего нужно.

— Да скоро все снова наладится, — легко бросил Серж. — Без паники. По мере поступления.

Сойдя у самого цирка, Серж, переполняемый светлыми чувствами, и Жанна, уже не так сильно любящая цирк, направились к кассам. Серж с упоением вслушивался в перешептывания толпы у кассовой очереди:

— Наверно, с цирковым прошлым, — замечали одни.

— Небось, на сцену выйдет, запомни его лицо! — говорили другие.

— Почему тогда он здесь, а не с труппой?

Серж любил навести невинную сумятицу вокруг, а потом оглядывался и признательно улыбался.

— Перестань их уже надевать! — неустанно просила Жанна с нескрываемым раздражением, когда они возвращались из цирка. — Отпусти. Что было — то было. Только народ смешишь. Еще не хватало, чтобы ты их на заводе носил, когда его снова откроют. Лучше бы переквалифицировался в кого-нибудь. Вон, погляди, что творится в стране. В нашей новой, независимой стране, — с горькой иронией добавила Жанна.

Но Серж смотрел на Жанну с ласковым укором в глазах, а брюки ей гладить и дальше не доверял. Все делал сам и потом подвешивал их в шкафу, аккуратно проводя ладонями по лишним складкам.

— Я ж не из тоски, а так, — оправдывался он.

— Ты все время смотришь назад, назад... — не унималась Жанна. Счастлив прошлым, которого нет. Которого больше не будет. Тебе наобещали, что все будет навсегда. Навсегда, пока этому не пришел однажды конец. Поражаюсь, такой доверчивый.

— Я просто оптимист. Разве это плохо?

— Да что я, и вправду, заладила, — и Жанна устало отмахнулась. — Ты ведь и так счастлив.

Сержу действительно так мало было нужно для счастья, что, когда все рухнуло не только на самом деле, но и в сознании людей, он даже тогда не сразу осознал это. И только с опозданием обнаружил, что совсем не знает, как держаться за узды, когда потрясывает. Как перестроиться на этот новый незнакомый лад. Все эти вопросы были ему чужды: на что жить, как сводить концы с концами. А тут еще нога от старой травмы заныла так невыносимо, будто ждала всего сразу. Беда не приходит одна, любил повторять Серж, постепенно привыкая не бриться и развивая мышечную память на оскал. А потом все как-то сразу устаканилось — и нытье в ноге, и негнувшаяся щетина, и оскал: все само по себе село в ритм, получалось на автомате.

— Вот думаю, где я себя потерял, в какой момент? Я, знаешь, стал слабее чувствовать вкус еды. Больше всего в сыре мне теперь нравится парафиновая корочка. И даже не на вкус, а на ощупь, когда жую. Крепкая такая. Жуешь, и есть сопротивление. Отвлекает, сука, — Серж грубо придавил сигарету к стеклянной рифленой пепельнице времен непристойной роскоши, и пепельница, хоть и тяжелая, скопсилась, осыпав пепел на пожелтевшую клеенку.

— А цирк они закрывают, сволочи. Говорят, временное решение и все дела, — Вадик, старый друг-акробат, хотел было сплюнуть, но вспомнил, что находится в

квартире. Плевок будто так и застрял на кончике языка, и Вадик, давясь, сглотнул. — Эх, ну что сказать, — он поднял рюмку и, стараясь не создавать много шума, стукнулся с вытянутой рюмкой Сержа. — Давай за наших. За наших, пусть держатся.

Вбежала Жанна с плачущим ребенком на руках.

— Ну-ка тише, Данечка. У Рамзадзе сегодня был? — последнее слово произнесено, как вбивание гвоздя. Жанна прищурилась на мужа, качая беспокойного Даню.

— Чё ты пристала, господи. Пойду я. Не был, но пойду же.

— Как пойдешь, вот так? — Жанна небрежным жестом указала на стол. — Ты ему там не раковину починишь, а что-нибудь, не глядя, случайно разберешь. Нам еще туда платить придется. Мозги хоть иногда включай.

Серж бросил издевательский, изподлобный взгляд, слегка склонившись вперед.

— Выговоришься? Ну?

— Нет, — Жанна мстительно сжала губы.

— Ну выговоришься, чё ты.

— Я прощаю тебя, Сержик. Ты протрезвеешь, и все поймешь, — совсем не прощающе прошипела Жанна и вышла из кухни.

— Да я и так уже по самое горло прощен! — крикнул ей вслед Серж. — Разве ты не видишь? Нет больше смысла просить прощения и давать его. Грош цена нашему прощению!

— Сколько пафоса, господи! И кто бы говорил! — выкрикнула Жанна из спальни под неустанный плач Дани.

К Рамзадзе Серж в тот вечер так и не пошел. Просто проводил Вадика, свалился на кушетку и уснул до самого утра.

— Живем в стране, где все на лапу дают, — начал Серж на следующий день на той же табуретке в кухне, как будто и не вставал с нее со вчерашнего дня. Серж умел завалиться на табуретку так, будто у нее была мягкая спинка и подушки по бокам. — Так и буду всегда бегать по району сантехником, пока бездари получают места на оставшихся заводах. Да еще как армянскую фамилию мою увидят, сразу вежливо на дверь и показывают.

— Эту страну уже не исправить, — Вадик махнул рукой и потянулся к соленьям на столе. — Да и нас, русскоязычных, осталось здесь совсем никого. Знаешь, что мне утром хозяин одного нового автосервиса говорит? Ну, пошел я туда проситься. Он, короче, с понтами, а боксы-то у него задрипанные, узкие, машины едва заезжают. Говорит: свечи менять умеешь? Ну тогда прекрасно. Я могу тебе нотариуса посоветовать. Я и спрашиваю, опешив, какого нахуй нотариуса. А он мне: ну так, Петришвили чтобы стать. Я же Петров, огрызаюсь я. А он мне: нам нужен Петришвили.

— Короче... А на днях тип мне фильтр под мойку протягивает, говорит, вот его и нужно установить, — Серж резко припал к столу. — А фильтр его — полная харахура¹. Я говорю, мол, не пойдет. Нужен новый, а этот — в мусор. Упирается... ни в какую. Я встал и ушел.

— Вот и очень зря. Установил бы этот фильтр, заплатили бы тебе. А там со временем он и сам убедился бы во всем, — показала из-за двери Жанна.

— Здравствуй, умница тут нашлась, — радостно завелся Серж. — Завтра накроется там у него что-нибудь под мойкой, скажет, что у Сержа руки из жопы росли, так и установил. Я или хорошо делаю, или посылаю куда подальше.

— Перфекционист, елки-палки, — Жанна вдруг устремила орлиный взгляд на замолкшего Вадика, который Жанну как будто немного побаивался. Да и Жанна, хоть с годами и привыкла к Вадика, где-то в глубине души не особо его любила. У Вадика была удивительная черта заливаться смехом от собственных несмешных фраз, а потом случайно пошутить и совсем этого не заметить. Это раздражало Жанну. — Вадик? А

¹ Хлам (тбилисский жаргон).

жена твоя не злится из-за того, что ты у нас вот только если не ночуешь, а так обычно у себя дома и не бываешь?

— Он в чужих домах еще и не какает. У него принципы, — встрял Серж, подливая свежей порции водки.

— Ну чё ты сразу... как не своя, — Вадик вылупил глаза под стол, развел в стороны ладони. — Я ж вам не мешаю. Неудобно даже.

— У вас тут, короче, все неудобно, неловко. Стыдно слово лишнее сказать. Хренов менталитет. Уехать бы от всего этого подальше, ей-богу, — Жанна решительно развернулась и вышла из кухни, слыша отдаляющийся шепот:

— Чё ты сразу про это «не какает» вспомнил? Стыдно же.

— А что, ты ж не какал у нас еще никогда. Я сейчас твой образ перед Жанкой отполировал, а ты «чё да чё». Помнишь, ты как угорелый убежал на прошлой неделе. Жанна долго еще смотрела вслед и не понимала, что стряслось-то, — Серж едва не подавился от глухого, хриплого смеха.

— А чем гордиться-то? Было бы чем. Мол, другие засранцы, а Вадик в гостях ни-ни!

— Нормально, — одним беспечным словом замазал Серж, и они в который раз стукнулись рюмками.

Субботним утром Серж встал в паршивом настроении. Нужно было идти на вызов в другой квартал. А там полная неразбериха с водопроводом. Серж наспех умылся, посидел с Данькой, пока Жанна ушла мыть голову.

— Серж?! — угрожающе окликнула его Жанна из ванной.

— Ну что опять?

— Не понимаю, как... Как, как, как ты заходишь на тридцать секунд, но растрчиваешь полтаза горячей воды. Я ее разбавила, чтобы хватило для головы. Да мне тут на три головы хватало, а после тебя... — дальше в ушах Сержа начали звенеть разные ударные инструменты, и как будто кто-то без особого ритма бил в огромную тарелку.

— Три головы. Горгона Медуза, — Серж хмыкнул. — Эх, Данюш, пошли в кухню греть новый чайник воды, — отрешенно добавил он и взял ребенка на руки.

Когда Жанна вышла из ванной, Серж протянул ей брюки, те самые, в клетку.

— Что, — Жанна дернула плечами, вытирая волосы полотенцем.

— Скрой, как предлагала.

Жанна ухмыльнулась, игнорируя протянутые Сержем брюки, и прошла мимо, нарочито отмахиваясь от них.

— Блин, ходила полгода по дому, ныла, мол, чё хранить, как реликвию. А теперь ломаешься не по делу.

— То есть ты сейчас серьезно решил? — Жанна резко развернулась и встала, как вкопанная.

— Я тебя умоляю, только без сцен. Брюки как брюки. Просто лень было дать. А потом и совсем забыл.

Жанна сменила скептическое расположение духа, вдохнула полной грудью и пошла на брюки.

— Смотри, сумка получится незаменимая: вот здесь я могу скроить три узких кармана — это для отверток и плоскогубцев. А тут, — и Жанна по привычке бережно развернула брюки, но вскоре движения ее стали более цепкими, деловитыми: — да, вот именно здесь я пройду оверлоком. Шов будет прочный и надежный, поверь. Ничего не выпадет.

Серж смотрел на нее с тоскою. И даже как-то с любовью. Жанна готовилась убить священного оленя. Ей это было важно. Она верила, что все непременно изменится. Жанна любила символы и знаки, отчасти придуманные ею самой. «Боевое

крещение» — так называла она это событие, в ажиотаже перебегая из комнаты в комнату в поисках ножниц и ниток.

Первый выход на дело, только уже с новым мешком для инструментов, чем-то походил на начало инаугурации, некоего посвящения. Жанна выгладила Сержу всю одежду, даже трусы. Уже у порога она причесала его, слегка смочив расческу. Кудри, как всегда, не особо слушались. А Серж продолжал смотреть на Жанну как тогда, когда протянул ей брюки, будто и не отводил с тех пор глаз.

— Ну все, готов. Иди, — подогнала она мужа, неумело скрывая ажиотаж. — Только не опаздывай, я готовлю суп. И купи на обратном пути хлеба.

Серж с перекинутым через плечо клетчатым мешком медленно спускался по лестницам, но вскоре набрал скорость и вниз почти летел. Вырвавшись из подъезда наружу, он вдохнул воздух, едва не захлебнувшись им, на секунду приостановился, но взял себя в руки и пошел.

* * *

— Говорю же, дайте мне двадцать тысяч рублей, и я вернусь через два часа с новым клапаном, — предложил Серж, выглядывая из шкафчика под раковиной.

— Знаю я вас, — грубо бросил высокий лысый хозяин квартиры в белоснежном халате и сплюнул в раковину. — Половину прикарманиваете. Я сам поеду и привезу. А ты пока дальше разбирайся.

— Так поехали вместе. Я же посоветую хороший. Не то купите китайское говно.

— Нет уж, спасибо, — хозяин резко вытянул огромную ладонь перед привставшим с пола Сержем. — К своим потащишь, втридорога продадут мне свою харахуру, а ты потом у них долю заберешь. Дорогой мой, — с отвращением добавил он, — знаю я ваши трюки.

Когда хозяин выехал, Серж повозился с краном, потом с трубой и вскоре понял, что без нового клапана дальше в починке не продвинуться. Оставалось ждать. Перед глазами юлила нервная жена хозяина, и двое мальчишек бесцеремонно дрались прямо над головой присевшего на холодном и жестком кухонном кафеле Сержа.

Снова подошла жена и схватила единственную табуретку. Серж было уже вытянул вперед руку и хотел вежливо отказаться, как она, не глядя на него, унесла табуретку в лоджию и поставила на нее швейную машинку. Закатные лучи влетели во все комнаты, когда женщина отодвинула занавеси.

А потом в тусклое помещение забежали друзья Сержа и, не колеблясь, исполнили маховое сальто, и вдруг — бац! — коронный номер исполняет Серж на пару с Вадиком. Помощники закатывают огромное, тяжелое колесо смерти, а нарядные Серж и Вадик взбираются на разные концы конструкции, которая постоянно вращается. Во время очередного вращения Серж едва удерживается в колесе и чуть не срывается с огромной высоты. А потом он засыпает, но продолжает вращаться.

Серж проспал так часа два, пока не услышал тихий женский голос прямо над собой:

— Да не знаю я, может, он вообще умер. Я сидела себе, шила.

— Ты б ему хоть стул предложила. Обозлится же. Скажет сейчас: платите больше.

Вернувшийся хозяин квартиры никакого клапана так и не нашел. Он выложил Сержу двадцать тысяч рублей на новый клапан и велел, чтобы Серж приехал на следующий день.

Через месяц полило, как из ведра. Две недели не прекращались дожди. И вызовы не прекращались тоже. Ну и слава Богу, вторила Жанна: не хватало, мол, чтобы вызовы прекратились.

Так однажды Серж вышел в дождь чинить сантехнику на районе, и клетчатый мешок намок, а старые инструменты оставили на нем несмываемые пятна ржавчины. Стоя на холоде, промокнувший до нитки, Серж потерял мешок, пытаясь разбудить в

себе старые воспоминания. Воспоминания не то чтобы стерлись. Они-то как раз остались. Но исчезли сопровождавшие их запахи и голоса. Исчез тот магический свет, как в диафильмах из детства, когда мир как будто слегка подсвечен. Все исчезло. Только голые воспоминания и остались.

Возвращаясь в смолистой темноте домой, Серж остановился у захлавленной мусорки, выпотрошил содержимое мешка на асфальт, переложил инструменты по карманам куртки и брюк, достал сигарету, закурил. Потом он замахнулся, выкинул непотребный мешок за мусорную горку, сплюнул в лужу и пошел себе вперед. А на следующий день он дал Жанне перешить что-то другое, черное и неприметное, чтобы очередных пятен не было видно.

Прыжок веры

Жанна вышла на балкон и закурила.

— Смотри. Опять. Дважды уже за сегодня, — небрежно бросила она и указала подбородком вниз, в сторону длинного темного пятна, медленно ползущего по улице.

Серж вышел на балкон, прикурил от Жанниной сигареты, и вместе они затаились, упоительно прищуривая глаза.

— Вчера заняла гречку у нас в магазине. Еле дала, представляешь. Дико так посмотрела и грубо бросила пачку перед носом.

— Кто? Натела, что ли?

— Ну вот, представь себе.

Черное пятно окончательно выползло из-за угла и полностью растянулось под балконом.

— Стыда нет. Сколько мы ее выручали, — фыркнул Серж и оттряхнул пепел.

— Да. Жаловалась еще, мол, болеет и постоянно деньги нужны на лекарства. Но она та еще живучая дрянь, — заключила Жанна, ткнув пальцем в сторону воображенной Нателы где-то между балконом пятого этажа и черным пятном на асфальте.

Тем временем пятно сгустилось, завывало, закачалось. Но вскоре снова двинулось дальше.

— Ну что — сварить гречку эту злосчастную? Сука. Отбила желание ее готовить.

— Ну свари. Мне все равно. Полезет.

— Не поняла, — Жанна нарочито мягко уложила ладонь на перекладину балкона и с деланным любопытством уставилась на Сержа.

— Свари, говорю. Валяй.

Жанна вскипела и выкинула недокуренную сигарету за балкон, прямо на черное пятно.

— Дура, не в толпу же! — Серж с вызовом посмотрел на жену, но быстро сдулся.

— Прежде чем на что-то намекать, иди и начни что-то делать сам. И будет тебе мясное рагу на стол, — бросила Жанна, грубо оттолкнула Сержа и зашла обратно в комнату.

Серж облокотился о перекладину и уставился на второе за день черное пятно, изучая каждое лицо по отдельности и оставив напоследок самое интересное — лицо в центре пятна. Оно было покрыто мертвой белизной и слегка подергивалось от неуклюжих движений мужчин, несущих гроб.

* * *

— Мам, а почему острова не уплывают? Их же ничего не держит.

Услышав свою фамилию, произнесенную с бархатным американским акцентом, Жанна встрепенулась.

— Данечка, ты посиди спокойно. Я мигом. Моя очередь.

— Но ты не ответила!

— Я сейчас, солнце! Никуда не уходи! — Она подбежала к окошку, где ее приветствовал молодой, красивый, холеный без особых стараний мужчина. Жанна ему бесконечно улыбалась, даже тогда, когда он с прилежностью гимназиста погрузился в штудирование фиктивных документов, протянутых ею, и единственного подлинного приглашения от подруги. На золотое кольцо Жанны он не посмотрел ни разу, хотя именно на эту фишку она и ставила. Еще у Жанны была шубка с отчаянно распахнутым меховым воротником на груди и экспресс-курс английского за спиной. Шубка была в годах и ушита, но, высланная подругой из недостижимой Америки, она все еще могла дать жару. В ней Жанна чувствовала себя сошедшей с экрана. Просто в Тбилиси такой второй больше ни у кого не было, а значит, и сама Жанна в ней обретала альтер эго: у женщины с такой шубой в доме никогда не сыпется штукатурка, а под ковром не рыскают тараканы.

— Цель поездки? — красавец-мужчина отложил бумаги и, скрестив между собой пальцы обеих рук, склонился ближе к окошку. Жанна с удивлением заметила, что придавленный под его локтями костюм даже не помялся. А сама она, дура, в утренней суете не успела выгладить рубашку. И кажется, он обратил внимание как раз на этот неприятный факт. Там, конечно, неподалеку трепетали гладкие груди и, как могли, спасали ее альтер эго, но мысль о невыглаженной рубашке бесстыдно телепатировала сама себя.

— Навестить подругу («Но рубашку я обязательно поглажу, вы не думайте...»), — и тут Жанна решительно сделала то, чего не готовила вообще: она склонилась навстречу красавцу, также скрестила пальцы рук и вкрадчиво шепнула: — Мне очень важно уговорить ее приехать назад. Понимаете, у нее здесь жених, а там личная жизнь ее не клеится, — английский дал трещину в парочке оборотов, но в целом звучал доверительно.

— Это ваш сын лет пяти там махает?

Жанна растерянно оглянулась на Даню, и тот сразу расплылся в наивной детской улыбке.

— Да, — она махнула ребенку в ответ и постаралась так же легко и просто улыбнуться, но мышцы щек будто застыли: получалось или слишком слабо, или на все лицо в дюжину складок. Видимо, стали сдавать нервы, но было важно продержаться до конца.

— Хороший сынок. Ждет маму назад.

Следующие минут пять прошли гораздо более предсказуемо. Подобных рискованных выпадов, как о неустроенной подруге, Жанна больше не делала. Единственное, казалось, что она запомнила, отходя от окошка, это были ободряющие слова красавца-без-особых-стараний: «Ну что ж, уговаривайте. У вас на это ровно десять дней!». Ловкий удар печати. В то же время что-то новое, неопределенное в голосе мужчины и его прищур заставили Жанну снова посмотреть в протянутый документ, чтобы убедиться в положительном ответе. Он был.

* * *

— Отвернись, — Жанна ловкими движениями рук покрутила Даню, остановив спиной к себе. — А теперь закрой глаза и расправь руки.

Даня доверчиво зажмурил глаза и открыл рот в гримасе ожидания.

— Но только верь мне до конца, хорошо? Ты же мне веришь?

Даня махнул головой, и мурашки от предвкушения неведомого охватили его.

— ...Ну тогда падай.

Данька не решался. Мотал головой, не открывая глаз.

— Дурачок мой, не бойся! — Жанна смеялась, раскрыв наготове руки. Дул

слабый, но морозный ветерок. В парке почти никого. Неожиданно Даня сделал решительный глубокий вдох и откинулся назад.

Жанна подставила руки у самой земли, поймав ребенка почти одновременно с его выкриком.

— Мама! Это страшно! Давай еще, — Даня подскочил на месте, заворуженно глядя на Жанну.

— В следующий раз, солнце. Пошли теперь домой. А знаешь, как называется этот трюк? — Жанна нежно обняла сына, испытывая глухое чувство вины. — Прыжок веры.

— Потому что я падаю и не знаю, что будет?

— Потому что ты падаешь и знаешь, что я тебя поймаю.

— Не знаю, а верю.

— Умница. Веришь... — Жанна достала из сумки увесистый полароид. — Ну-ка не шевелись. Улыбайся.

Даня сморщил очередную гримасу, почти похожую на улыбку. Да что там гримасу — голова съехала на плечо, зачесался лоб, стало жать в рукаве. Острее всего ощущаешь мир в тот самый момент, когда он должен застыть, а ты вместе с ним. Один шелчок, и свежая фотография медленно выползла из камеры.

— Вот таким теперь тебя и запомню...

Зверь, откормленный чувством вины, мертвой хваткой вцепился в затылок Жанны. Так ей и залег всей тушей на спину, выпуская горячий пар из застывшей пасти.

* * *

— Сандрик, это я. Как ты там? — Жанна нервно сдавливает в ладони телефонную трубку. В голосе — горький, сухой остаток последних часов.

— Жанн, все в порядке?

— Да-да, конечно. А у тебя? Справляешься один? Еду приготовить?

— Нормально. Живу себе. Что нового?

— Визу дали. Я не думала, что дадут. Всем отказывали. Я же только играючи, понимаешь... — стала оправдываться Жанна, вытирая слезы.

— Играючи не заверяют поддельных документов, — голос Сандрика по ту сторону телефона обрел не по возрасту строгие нотки.

— Не кори меня. Серж третий месяц не работает. Больше никто не дает в долг. Сандрик, мы в полной жопе! Я сестрой клянусь, Ингулей моей бедной: я все исправлю. Я устрою Данечке будущее. Я тебя отсюда вытащу!

И Жанна разрыдалась в трубку. За себя, за Сержа. За время. Отчасти потому, что все они приговорены к безысходности, потому что вышли из первобытной пещеры, выстроили вполне себе приличное общество, а потом — раз — и грубой наждачкой отшкурили им кожу. На людей стало жутко смотреть: губы сжаты, остекленел взгляд. Они теперь многое стерпят, кроманьонцы современности, — и пещеру в скале прорубят, и слона забьют, и костром обогреются. Ходят такие — мешки из мяса и крови. Хочется докопаться, чтобы выкопать: себя, вклинившегося в это неразборчивое месиво. Себя, забытого там навеки. И страшно ведь. До тошноты. Хоть склоняйся над толчком и жди, когда отпустит.

— Вчера пришел под вечер и повторяет такой, прям трепещет: «Они сказали, что я — Бог». Бог, понимаешь, Бог. Починивший кому-то задарма очередной телевизор или магнитофон.

— Мне приехать с утра?

— Да. Займи Даньку, отвлеки его. Мне нужно собраться с мыслями.

— Когда вылет?

— В следующий понедельник. Я... я не знаю...

— Жанка, ну ты даешь...

* * *

По ночам осознаешь все самое важное. Все то, что днем кажется вздором. Ночью ты можешь прослезиться от масштаба, навалившегося на тебя в темноте. Например, вспомнишь, что вычитал днем: кроличья нора оказалась выходом в храм тамплиеров. Чем не масштаб? А наступит утро, и все забудется, и пойдешь ты сторожить свою пустоту. Много-много пустот.

И вот ты, универсальный солдат, уже в пути — от пустоты к пустоте. Но бывает, когда в ушах — постоянный, едва слышимый свист. Как будто самый нижний слой на сверхзвуковой частоте получил пробоину, и потекли с неведомого надзвучия перешептывания в твою слуховую коробку. В твою огороженную пустоту. Они, те самые вздорные ночные образы...

Сандрик не решался нажать на дверной звонок, потому что в квартире шумно ругались, и очень не хотелось становиться частью семейных склок. Но мысль о Даньке, который ни в чем не виноват, вдавила палец Сандрика в кнопку. У порога нарисовалась Жанна в обтрепанном халате Сержа и с собственными уложенными волосами. Жанне как-то всегда удавалось выглядеть импортно, экранно, даже когда повседневные атрибуты подводили.

— Заходи, Сандрик. Данька заждался тебя.

— Угу. Оно и понятно, — небрежно бросил Сандрик, снимая в прихожей ботинки. Он любил тетю, но чаще был на нее зол. Как-то не получалось гневаться и питать к ней любовь одновременно. Приходилось постоянно жонглировать. Сандрику не нравились отношения Сержа и Жанны: уж сильно напоминали они ему былые будни отца с матерью.

— Я каждый день выхожу из зоны своего комфорта! А ты спроси — почему я это делаю? А? Спроси! Я каждый день выхожу из зоны своего комфорта, только чтобы эту зону расширить — для вас! Сандрик, заходи. Сейчас будем пить чай, — выпад Сержа, вбежавшего в прихожую с жутким серым дымом от сигареты в пальцах, восстановил гармонию сцены, прерванной звонком в дверь.

— И где они, милый, результаты? Знаешь, кури в окно! — затребовала Жанна тоном, каким обычно посылают к черту.

Сандрик протиснулся между ними, игнорируя обоих, и поспешил к Дане. Мальчик сидел в зале и отстраненно собирал конструктор.

— Сандрик, а почему острова не уплывают? Их же ничего не держит.

— Потому что острова — это выдумка, — Сандрик приобнял двоюродного брата. — Нет никаких островов. Просто там, где очень-очень низко, залило водой. А под ней пролегает все та же земля. Большая земля соединена с маленькой, хоть этого и не видно.

— Значит можно надеть скафандр и спуститься под воду и долго шагать, а потом подняться на острове?

— Хватит и акваланга, — смеется Сандрик. — Ты же не в космос летишь.

— Сандрик, а тетя Инга умерла, потому что долго болела? — спросил мальчик, упорно разглядывая пластмассовые детали в руках.

— Мама долго болела, это правда.

— А моя мама тоже умрет?

— Нет, конечно. Жанна не болеет. А почему ты спрашиваешь?

— А я умру?

— Ты не умрешь, Даня. Ты — супермен.

— А мама говорит, что каждый раз, когда она меня целует, у меня прибавляется пять секунд жизни. Если мама умрет, значит и моя жизнь останется короткой.

Даня смолк и стал усердно разбирать построенный дом. Сандрик хотел ворваться в кухню и растряссти там обоих, чтобы в квартире замолчали все. Словно возникла

острая необходимость вслушаться в тишину. В ней что-то происходило, но все это пропускали.

— Папа сегодня сказал маме, что она как будто уже не с нами. Это потому что она остров, а мы — большая земля?

Удар по кухонному столу. Обвинения, припрятанные козыри в рукаве. Перечень обид, перечень счастливых моментов. Такая себе любовь по списку. Сандрик мягко уложил ладонь Дане на голову.

— Просто там, где очень-очень низко, сплошь залило водой.

* * *

— С тобой, говорит, как в борьбе за коммунизм: жил обещанным будущим, а оно так и не наступило. Дура, — с обидой в голосе бросил Серж, зная, что Жанна не услышит, и одним глотком опустошил рюмку, даже не поморщившись. — Жили взаимы у будущего, но жили ведь. А потом пришло настоящее и свернуло нам шею.

— Хочется назад? — с иронией спросил Сандрик. Для Сандрика Грузия, которую он запомнил хорошо, была уже страной свободных скитаний по руинам недостроенных панелек, где можно было частенько напороться на поножовщину, страной ковыряний в парафине рыхлой свечи по ночам, страной купаний в холодной воде в непрогретой ванной. И этот незабываемый привкус «другой» жизни, которую теперь открыто транслировали на экранах, — разве это твердое доказательство собственной живости могло не нравиться подростку, решившему, что взрослеть можно только так?

— Назад... Назад. Да, нас кормили иллюзией. Но ее порции были, черт возьми, больше. А что сейчас? Из иллюзии счастья нас перебросили в иллюзию свободы. И мы совсем не стали свободными. Вольными — да. Вольными делать, что угодно. Где угодно и как угодно, лишь бы выжить. А хочется, чтобы все было, как раньше: «копейка» в гараже, копейка в кошельке. Пикники у озера. Праздники на сто человек. Но чем дольше мы хотим оставаться прежними, тем сильнее выпадаем из нового времени, — Серж всверлил нервный прищур в окно, услышав Жаннины приближающиеся шаги.

Жанна вошла в кухню и устало опустилась на стул. Все втроем прислушались: в тишине умирала маленькая семья.

— Уснул наконец, — утомленно протянула Жанна и потерла руками колени. Потом развернула ладони и бессмысленно уставилась на линии жизни. — Я так ему ничего и не сказала. А может, и не надо?

Сандрик и Серж удивленно оглянулись на нее.

— Зачем рассказывать, если я так никуда и не решусь улететь? — продолжила она. — А Данька — он такой, запомнит надолго. Часто еще вспоминать будет, как мама хотела... его бросить, — Жанна опустила лицо на линии жизни и тихо заплакала. От нехватки воздуха ладони присосало ко рту, и Жанна съежилась. Спазмы между тяжелыми вдохами стали продолжительными и звучали теперь глуше.

Серж отвернулся к окну, а потом и подавно скрылся за занавес. Теперь виднелись только его спина и плечи, на которых тонкая футболка пошла рябью. Сандрик потянулся к Жанне, и они от безысходности обнялись.

— Я сожгу билеты, вот прямо сейчас и сожгу! И золота больше в доме не осталось, чтобы сдать и купить новые. Сожгу... сожгу, — Жанна впилась зубами в свитер Сандрика на плече. От нескончаемого потока мыслей ее стало мутить. В затылок снова вцепился невидимый зверь.

Неоднородная тишина продолжалась минуты две: скрипел чей-то стул, кто-то время от времени сопел. За окном на фоне общей черноты синими пятнами проступали девятиэтажки, а в окнах потухали желтые огоньки.

— Не улечу. Ну ее, сытую Америку, — Жанна вдруг решительно отстранилась от

Сандрика и прикоснулась пальцами к своим подрагивающим губам, будто нечто важное осознала. — Нельзя так.

Мужчины в комнате поняли, что это черта. Та самая, когда вот-вот случится решение. И ни в коем случае нельзя вмешиваться: поддержать Жанну в ее новом непреклонном векторе мыслей было опаснее, чем молча выжидать. Сложнее было Сандрику, чем Сержу: хотелось по-детски плакать, по-юношески учить жизни. Но было важно по-мужски выстоять. Переждать бурю. Присмотреться, прислушаться.

— Не улечу, — Жанна отпустила пальцы от губ и уставилась на потрескавшийся кухонный кафель.

* * *

Даня цепко охватил руками Жаннины ноги, в которых непрерывно то рождались, то глохли мелкие судороги.

— Хорошо быть маленьким и прижаться к маменьке, — Жанна опустила руки на спину сына и глотнула порцию воздуха, который мгновенно застрял в горле.

— Здесь так шумно. Хочу тихоту! Мама, ты же тихолог. Сделай что-то.

— Глупенький мой, никак не запомнил. Да и кому теперь интересно, что я «тихолог». Им руки нужны. Не советы. Потерпи, мой хороший.

— А когда ты прилетишь назад?

Жанна опустилась к Дане и покрыла его щеки своими ладонями.

— Не больше месяца. Я буду звонить каждый день. Каждый божий день. Мы будем разговаривать. Я пришлю тебе огромного динозавра. Скажи, чего еще ты хотел бы?

— Зачем присылать? Ты же сама прилетишь. Вот с динозавром и прилетишь.

Руки Жанны обессиленно сползли к Даниным плечам. Она встала, мрачно вытащила из сумки папку с бумагами, достала обратный билет и протянула Сандрику:

— Вот он. Свою функцию в посольстве билет уже выполнил. Мне-то он зачем через десять дней? Просто порви его.

— Умница такая, а вдруг в аэропортах снова потребуют предъявить обратный? — Сандрик выхватил билет и сам вложил его назад в папку. — Не живи одними эмоциями. Решила — делай. Передумала — никого не вини.

— Я никого не виню.

— Зато мы вокруг только того и боимся, что ты передумаешь и потом всю жизнь будешь это нам в укор ставить: мол, убедили остаться, не лететь!

— Успокойся, малыш, — съязвила Жанна.

— Да что ты. Я тебе даже в сыновья не гожусь, младшенькая.

На табло высветился Жаннин рейс. Она машинально бросила сумку на пол и обняла Даню.

— А теперь отвернись, — играючи шепнула она ребенку.

Даня послушно отвернулся. Все, как прежде. Любимая с некоторых пор игра.

— Ну же, падай.

Даня уже не думал. Он теперь верил, как никогда. Если закрыть глаза, никто никуда не исчезнет. Все не то, чем видится на первый взгляд. Даже кроличья нора может быть выходом в храм тамплиеров. Мальчик откинулся назад и у самой земли упал в мамины руки.

— Храбрец! И как это называется? — Жанна опустилась на колени.

— Прыжок веры!

— Точно! Потому что я тебя всегда поймаю. Иначе никак.

Даня уложил свои маленькие ладони на щеки матери, совсем как делала это она.

— Mam, ты не думай, что ты — остров и тебя унесет. Просто на самом деле там, где очень низко, залило водой. И тебя совсем никуда не унесет, потому что под водой ты все равно соединена с нами.

В громкоговоритель равнодушно объявили о начале регистрации. Жанна решительно посмотрела Сандрику в глаза.

— Обними Сержа. Скажи, что я его люблю, даже если он так не думает. Мне жаль, что он не захотел... — Жанна сделала глубокий тяжелый вдох, чтобы восполнить нехватку кислорода.

И впервые Сандрик испытал к Жанне гнев вперемешку с любовью. Это удалось тогда, когда не осталось больше ничего, кроме как одного прощения. И Сандрик одарил Жанну прощением, которое охватило его самого. Которое не нуждается в словах. Которое ни к чему не обязывает. За которое даже не ухватиться, потому что оно не спасет. Не прокрутит пленку назад. Но за которым стоят новое, чужое, время и попытка не выпасть в бездну, потому что ты просто хотел остаться прежним.

Без головы

Иногда важно залечь на дно. Как будто тебя и вовсе нет. Обязательное условие — продолжающийся дикий ритм жизни вокруг выпавшего, несуществующего тебя.

— Никто из нас не выберется отсюда живым.

— Откуда, — Сандрик поднес ложку с кашеобразной смесью к губам старика и ждал. Тот сжал губы и вздернул подбородок. Есть отказывается, а курить — курит. Руку вытянул, пальцами сигарету к дряблым губам склонил. Сидит почти что боком. — Откуда, — повторил Сандрик с налетом небрежности, перемешанной с состраданием.

— Отсюда, мальчик. Отсюда.

— Из города? Из страны? Откуда? Нужно есть. Затянулось уже. Вот упрямец.

— Александр Гарегинович я.

— Александр Гарегинович? Александр... Надо же, мы с вами тезки. Ешьте теперь, — Сандрик приложил край ложки к упрямо сомкнутым губам старика, надеясь на их соответствующий рефлекс. Тот лишь отвернулся и снова затянулся сигаретой. Кормить насилию, пока старик разговаривал, не хотелось, иначе слетела бы с катушек последняя видимость того, что все нормально. Обычная встреча в обычной комнате. Старик тем временем охотно продолжил говорить:

— Меня отец называл так в честь своего брата, которого турки маленьким зарезали. Тот под кровать спрятался и плакал. Нашли. А отец в большой кастрюле уместился. Так и сидел в ней, накрывшись крышкой. Много слышал нехорошего. Все вопили, пока все не стихло. Целая деревня тогда полегла, а он выжил. Ну а тебя?

— Что меня?

— В честь кого-то назвали или так?

— В честь деда, — коротко бросил Сандрик и от приступа мелких нервных колик потер шею о плечо. Дед открыл рот и принял вязкое содержимое ложки. А потом еще и еще. Будто осенило, что это вполне себе нормальный процесс.

— У моего сына, говорят, теперь другая семья. Женщина там, мол, хваткая. Вот и забрала. А у него сын от прошлого брака один остался. Перебивается, как может. Школьник еще. Не твой ли одноклассник?

— Хм. Сложно сказать. А звать его как? — спросил Сандрик, чувствуя, что вскипает.

Дед молчит. Сомкнул губы. За ними скрежет зубов.

— Никто из нас не выберется отсюда живым, — как-то машинально процедил он вдруг, уставившись в стену.

— Кстати, о смерти, — Сандрик постарался остыть, набираясь терпения: — Я как-то бегал по двору. Лет шесть было мне, наверно. Слышу — курица из гаража хрипло горло себе надрывает. Там мужики возятся, держат ее со всех сторон, а она, как

человек, помощи просит, вырывается, всю горланит. Деревенские бы давно управились, а эти суетятся. Я заглянул из-за ворот, а они перетянули тонкую ее шейку через бревно, один топором замахнулся и как закатил по бревну! Аж топор в дереве застрял. Кровь куриная по мужикам брызнула, они опешили, руки отпустили. А курица с бревна соскочила и понеслась вон из гаража, прямо по моим ступням. Я закричал, разревелся. Помню, как сейчас, через широкие отверстия своих босоножек тепло ее лапок. Мужики, ругаясь, выбежали из гаража, и дети, разинув рты, побежали вдогонку, а курица-то без головы — и мчится дальше, мчится. Весь двор перепугала. Девятиэтажку нашу панельную обежала и вернулась назад, а остановиться и не думает. Да и думать ей теперь нечем — голова-то в гараже валяется! Я как замороженный на нее смотрю. Страх ушел, хочу поймать ее и, как щенка, прижать к себе, — Сандрик выдыхает, раз за разом активно набирая ложкой кашу. — Снится мне она до сих пор. Как будто я и есть эта курица. По двору бегаю, ничего не вижу — головы-то нет. А вы ешьте, Александр Гарегиневич, ешьте. Молодец.

— Зубы ты мне заговорил, вот и радуешься, — проворчал старик.

— Так вот, дед мой тогда на крики спустился и прижал меня к себе. Утешать стал. А курица наконец упала, как сноп. Прямо перед нами. От кровоизлияния умерла, представляете. А дед говорит... Как вы думаете, что он мне сказал?

Александр Гарегиневич равнодушно дернул плечами.

— Я вот на всю жизнь запомнил. Он говорит: не бойся смерти, не думай о ней, как будто ты без головы и не можешь думать. Смерть тогда придет с большим опозданием.

Уставившись в пустоту, Александр Гарегиневич шевелил губами, точно попадая в последние произнесенные слова.

— Вы деда моего не знаете случайно? В одном микрорайоне, как-никак, живем. Молчание.

— Александр Гарегиневич, как звать вашего внука?

Молчание. Лишь на улице засигналил сборщик металлолома. У него свой особый позывной, чтобы не путали. В комнате — мертвая тишина.

— Имя внука, — не унимался Сандрик и ждал почти с минуту. — Называй! — неожиданно для себя самого выкрикнул Сандрик, встав и склонившись над дедом, как на допросе.

— Серж! — взревел дед. — Серж, сюда! Кого ты мне привел?!

Сандрик развернулся и через силу устремился к выходу. С каждым шагом ноги сильнее приваривало к полу.

— Из жизни.

— Чего?.. — переспросил Сандрик, обернувшись у самой двери.

— Откуда, спрашиваешь, живыми не выберемся? Из жизни.

Сандрик спохватился и спешно вышел, столкнувшись у порога с недоумевающим Сержем.

* * *

В магазине пахло горячим хлебом и сырыми опилками под ногами, которые впитывали серую жижу февральского утра. К кассе подошел мужчина средних лет с выцветшей неприметной внешностью и расплачивался за: развесные вафли, искусственные гвоздики и кусок сала. Его с переборами обслуживала нервная продавщица. Одной рукой она ловко и умело клала продукты в пакет, а другой, с кривой и выдохшейся сигаретой меж сухих пальцев, указывала в неопределенную сторону. При всем этом она обращалась к сотруднице, отошедшей в складское помещение:

— Она и нас с тобой переживет, вот увидишь.

Потирая мокрой подошвой опилки, Сандрик старательно, но безуспешно разбирал

смысл фразы. Он не то чтобы слушал продавщицу, но мозг все равно принимал навязчивую информацию. Дождавшись своей очереди, Сандрик подошел к прилавку.

— Мне полбатона вон того хлеба, пожалуйста. И, если можно, не трясите над ним своей сигаретой.

— Мальчик, — продавщица, почти молодая, почти красивая, склонилась к прилавку, готовая вспылить. Но пока она молчала и пытливо смотрела Сандрику в глаза, тот твердо решил, что проучит ее, закупившись через дорогу и махнув ей оттуда румяным батоном. — Твой хлеб сегодня будет только отсюда и только с пеплом, потому что развозчик напился и спит вон там, за дверью, на коробках. А жена его почему-то скандалит со мной, — выпалила она последнее себе под нос. — Так будешь брать? Утренний, свежий. А теперь и со вкусом ментола, — сказала, как отрезала. Потом отошла в темный угол и нервно постучала сигаретой о пепельницу. Прикусив кулак, она отвернулась, и Сандрику показалось, что плечи ее трясутся от тихого злобного смеха. А следующего покупателя она обслуживать не стала. Схватив с прилавка сигаретный блок, она нервно потрясла им: он оказался уже пустым. Вывернув его наизнанку, продавщица начала старательно выпарапывать на картонке шариковой ручкой заметки, отчего все ее тело закачалось еще сильнее.

В тбилисских девятиногих сигаретные блоки были у всех под рукой. Они не выбрасывались: оттуда выбирались-выкуривались все пачки, а сами блоки работали на людей дальше. На внутренней стороне, белой и завораживающей, как сама незаполненная пустота, записывались имена должников в очередях на хлеб. На блоках велись учетные записи. Кириллицей и без расшифровки строчилась читка Тупака Шакура. На блоках, выпрошенных у старших, дети и подростки рисовали черепашек-ниндзя или Форды-Мустанги из жвачек Turbo Kent. И только когда не оставалось белого места, блоками подпирали скрипящие двери. А когда картонки стирались и двери снова начинали скользить, блоки бросали в печку, чтобы они служили и дальше, согревая холодные панельные дома с перекрытым навсегда центральным отоплением. А потом, наконец, выдуваясь дымом в свой бумажный рай из трубы через пробитую бетонную стену, сигаретные блоки оставляли людей.

Сандрик вышел из магазина и, доедая хлеб, добрался до автобусной остановки. Автобуса он так и не дождался. Подъехала, покачиваясь, маршрутка. Народ стал без очереди, в тихой панике проникать внутрь. Казалось, что выходящие перелезают наружу через головы входящих внутрь. Такая слаженная, отрепетированная сценка.

В уже закрывающиеся двери вбежала девочка и продолжала махать парню с собакой. Она делала эти простые, механические движения в их направлении и после того, как автобус тронулся и покинул остановку. И когда парня самого не стало видно. Как будто машет она сама себе рядом с ними на остановке. И все они трое там — в уже истекшем, но замкнутном промежутке времени: так мы оставляем кусочек себя в каждом, с кем прощаемся. В одной из частей «Терминатора»¹ есть робот из жидкого сплава. Он, бывало, терял грамм двести-триста себя то там, то тут, а потом настигал эти бесформенные части, чтобы снова слиться с ними воедино. И найти дальнейший след. А вдруг и мы, задумался Сандрик, подсознательно сбрасываем частичку себя рядом с кем-то, чтобы было куда вернуться. И девочка эта действительно махала не парню с собакой, а себе, оставленной рядом с ними в каком-то другом, едва уловимом качестве.

Сандрика придавило к окну со спины, подперло с боков. Но так было даже надежнее: некуда падать при сильных раскачках. Можно закрыть глаза и расслабиться, как на волнах, и тебя прибьет течением к берегу. А если не закрывать глаз и не пытаться отстраниться, то ездить весьма жутко: маршруточникам в Грузии можно аплодировать не меньше, чем пилотам, едва приземлившимся пассажирские самолеты. Не то чтобы

¹ Серия американских научно-фантастических фильмов.

водители маршруток — герои наряду с пилотами. Просто после стрессовых ощущений в пути долгожданное облегчение пассажиров схоже.

Дед не выходил из головы. Однажды Сандрик был совсем маленьким, а дед — все еще в своем уме. Сандрик перебегал по крышам гаражей, залазил в разные углы. В тбилисских дворах у детей водилось хобби — собирать гильзы (а их было хоть отбавляй). И ведь красивые такие были — золотистые, заостренные. Чем больше у тебя гильз — тем ты круче. Вопрос о том, где их применить, не стоял вообще. Вот Сандрик и намечал себе сложные, непроторенные пути в поисках гильз — в кустарниках малины, куда мало кто осмеливался залезать, в проемах за гаражами. Так он однажды перелез со двора на оживленную обочину дороги, где и увидел деда. Тот переминался с ноги на ногу и, держа руки в карманах куртки, напевал себе под нос: «Нет, ребята, все не так, все не так, ребята!»¹

— Сандрик? — дед вздрогнул, обнаружив внука совсем рядом и, съехившись, стал загонять старую коляску за ближайший куст. — Ты как сюда пробрался? Здесь дорога, машины, мама сердиться будет.

Заметив, что внук не отводит глаз от коляски, дед нервно достал сигарету, зажег ее и закурил, отвернувшись.

— Чья это коляска? — начал Сандрик, хотя отлично ее помнил. В ней он спал, в ней его иногда кормили — даже когда он слегка ее перерос: Сандрик был привязан к старым вещам.

— Да вот, решили мы тут с мамой и папой подарить твою старую коляску знакомым. У них ребенок родился, им очень сложно. Времена такие. Ну, ты вырастешь, поймешь, — и дед затянулся.

На коляске лежал большой картон из-под сигаретного блока, и на нем была нацарапана цена. Сандрик молча подсчитал, сколько батончиков сникерса мог бы купить на вырученные от коляски деньги: их вышло не больше десяти. Дед же считал не батончиками, а мешками картошки или риса.

Сандрика захлестнула обида. Он подбежал к коляске, схватил ценник и умчался с ним прочь. Дед еще неделю не поднимал на внука глаз. Потому что соврал. Или потому что коляску все равно продали. Однажды Миша пришел домой и коротко бросил, разуваясь в прихожей:

— Сплавил, — и достал из кармана скомканные рубли, а потом одну купюру за другой, пересчитывая, положил на трюмо. Вышло бы десять батончиков сникерса, подумал тогда Сандрик, стоя неподалеку.

* * *

— Знаешь, почему он помнит тебя? Потому что ты ему по большому счету никто.

— А где связь в твоих словах? — Серж открыл холодильник и достал оттуда заляпанную кастрюлю.

— А вот нет ее, связи. Чем меньше связи между людьми, тем проще их забыть. Но с другой стороны, тем проще их помнить. Потому что ты не должен. А когда должен, когда связь важна, она так сильно давит, что ты от нее бежишь, если вдруг что-то стало не так.

— Сандрик, ты никогда не был обузой для деда. Он тебя всегда любил. Иногда нужно уметь принять бессилие людей перед старостью. Он не хотел забывать. Просто его мозг — он уже очень устал. И не будь к нему так жесток, — подняв крышку, Серж скорчился и стал без особого желания выгребать ложкой остатки риса со дна. — У Жанки не переваривался. Никогда. Интересно, а в Америке своей она ест рис? Или, может, ей там какой-нибудь мексиканец буритос по утрам готовит?

¹ Текст из песни Владимира Высоцкого «Все не так, как надо».

— Она звонит?

— Да. Но я поставил на телефон определитель номера. Теперь как «плюс один» вижу, так сразу Даньку зову трубку брать.

— Да, Серж. Вот видишь, — Сандрик помрачнел.

— Чего.

— У каждого свой Альцгеймер.

— Эх ты, умник. Слышал звон, да не знаешь где он. Не болезнь Альцгеймера это вовсе. Ты посмотри, как он изъясняется. Старик в здравом уме. Не видел ты и не слышал людей с Альцгеймером.

— Ну, тогда втройне больнее, — тихо заключил Сандрик.

В кухню забежала курица, забрызгав кровью белую выпуклую дверцу холодильника. Прыгнула на стул, с него — на стол, теплыми лапками наступила Сандрику на пальцы рук и уставилась ему в лицо. Тонкой обрубленной шеей.

— Но деду я не верю все равно, — добавил Сандрик, отдернулся от куриных лапок и встал, отойдя к окну. — Альцгеймер, слабоумие, старость — неважно. Он помнит и притворяется.

Серж разложил тарелки, убрал с конфорки чайник, достал пакетик чая и стал поочередно топить его то в одном, то в другом стакане.

В зале зазвонил телефон. Длинный, необычный звонок разорвал затянувшуюся тишину. Заметив безучастность Сержа, нарочито спокойно посвистывающего себе под нос, Сандрик решительно поспешил в комнату.

Плюс один. Он ответил на звонок. Говорить приходилось громче обычного, почти кричать. Пара бессодержательных фраз. Расспросы о ребенке. Ребенок в саду. Ты же знаешь, он в это время всегда в саду. Все хорошо. Ест хорошо. Умнеет с каждым днем. О маме? Как сказать, да, конечно, спрашивает. С каждым днем все меньше, конечно. Не любит он эту тему. А Серж? А что Серж. Рис у него переваривается. Сам он таксует. Пришлось зимнюю резину сменить.

— Ну как он там без меня, нашел свои трусы? А носки? — приглушенный голос Жанны в трубке вдруг оброс нотками злорадства и горечи.

Разговор закончился обычными обрывками ненужных формальностей. Жаннины манеры прощаться стали теперь какими-то американскими: с легкостью, без тянучки. Ну окей. Целую, люблю. Ба-ай. Так в Тбилиси по телефону не прощались. В Тбилиси по телефону нужно прощаться долго. Даже почти оправдываться, что ты вынужден положить трубку, потому что обстоятельства таковы. Да и «люблю» ее как-то опростело. Такое американское «люблю» — как соловьиная песня. В Тбилиси на такое «лав ю» есть другой перевод: «давай, не болей» или «ну, не забывай, звони». Но это не любовь, это о чем-то другом.

Послышался голос деда из спальни. Он окликнул своего сына и попросил его не задерживаться допоздна с хулиганами. Сын, по-видимому, взбунтовался, потому что следом взбунтовался и Александр Гарегинович, а монолог с паузами продолжился.

— Почему ты приютил его у себя, Серж? — Сандрик насупил брови. Сложно было говорить про деда, не вспомнив об отце.

— Не бросать же на улице.

— Ты говорил с отцом по этому поводу?

— С кем? С твоим? — небрежно бросил Серж.

— Это же его прямая обязанность... А тебе старик — никто. Даже Жанке — никто. Серж махнул рукой.

— Ничего. Выживем. Кто как не я поймет твоего деда. Обоих нас бросили.

— Почему не отдаешь его мне? Тем более он у меня и прописан. Я умею ухаживать за стариками. Тебе вон за Данькой смотреть нужно. Зачем ребенка каждый день наблюдать за тем, как старик говорит сам с собой?

— Он говорит с твоим отцом. Ему это важно. Нужно дать ему высказаться.

— Слишком поздно высказываться. Мой отец ушел в другую семью. И подросток в голове деда не имеет к отцу больше никакого отношения.

— Слушай, оставь, а. Оставь все как есть, — Серж устало склонился со стаканом чая к окну. — Не справишься ты.

— Вот только сейчас не заливай! Я за мамой ухаживал до последнего. Сколько мог. Супы ей готовил.

— Не потянешь деда.

— Почему? — не унимался Сандрик, в котором росла обида.

Молчание. Серж отпил из стакана. Вторым глотком опустошил его и неуклюже отставил на подоконник. Стакан звонко закрутился волчком, но устоял и наконец замолк.

— Не нужны ему твои супы.

* * *

Вечером, по пути домой, Сандрик забежал в тот же магазин, где был утром. За прилавком стояла все та же продавщица. Красными глазами она посмотрела на Сандрика и, узнав его, деловито отвернулась к стойке с зажигалками.

— Мне еще один хлеб. Нет, только полбатона отрежьте. Пожалуйста.

— Сорок копеек, — сухо бросила она.

— Сейчас, — Сандрик потянулся в карман за мелочью, а продавщица тем временем разделила батон и небрежно протянула половину в целлофановом пакете.

Забрав из рук пакет, Сандрик чуть было не фыркнул и стал уходить.

— Слушай... — вдруг поспешно начала она. — Ты меня извини, ладно? Не хотела я утром грубить.

Сандрик остановился, ловя себя на мысли, что немного разочарован. Зачем было извиняться?.. Ведь как все было хорошо: масса причин для ненависти. Можно было ведь столько всего еще накопать — завтра, послезавтра. А тут вдруг: извини. Без твоей помощи человек выбирается на свет. Без твоей помощи он поворачивается к тебе лицом и протягивает руку примирения. Без того чтобы ты его проучил. И ты как бы не у дел. Только ты и твоя ничем не оправданная ненависть.

— Нормально. Забыли.

— Нет, ты меня все же извини. Хороший ты мальчик. Не заслужил такого хамства.

— Знаете... ээ... Как вас зовут?

— Инга.

У Сандрика защемило в груди.

— Знаете, Инга... И вы меня извините.

— Так ведь ты вообще ничем меня не обидел, — недоумевала продавщица. — За что извинять-то?

— Да так... До свидания, Инга.

Сандрик в смешанных чувствах вышел из магазина на улицу, утонувшую в багровом закате. Из-за угла выбежала курица и стала тыкать безголовой шеей о его ногу. Кровь почти вся уже вытекла, залив собой округу до самого горизонта, а курица вдруг дернулась, распрямилась, потом размякла и тяжело свалилась на ботинки Сандрика, обдав его последним теплом.

Наташка

Не то чтобы в девяностых пацанов бритоголовых не водилось. Как раз наоборот. Но вот этот не был ни на кого похож. Он вообще не с нашего двора был. Просто появился, как снег на голову, посидел на поребрике, а через пару часов смотал. Ни «как звать», ни «откуда», но все настороженно присматривались. Особенно девахи. Ну, те,

у которых только вчера месячные пошли, а на завтра уже — планы, как, если что, вовремя развестись, чтобы молодость оставшуюся не загубить.

Ребята наши даже и не думали заговорить с чужаком. Может, потому что он сам как бы давал знать: оставьте меня, я тут вообще не по своей воле. А Наташка сразу не нашла себе места.

— Нет, он мне не нравится. В том-то и дело. Просто странный. Интересно же, откуда он такой.

У Наташки не было отца. Автобус много лет назад сбил, уверяла мать. А сама потом улетела из Тбилиси в Москву, и Наташка теперь всем рассказывала, что маму на Красной Площади трамвай переехал. И что она теперь — круглая сирота.

— Нет трамваев на Красной Площади.

— Здравсьте, — и тогда Наташка откапывала из старого фотоальбома перепечатанную отретушированную открытку начала двадцатого века, спускала ее во двор. — Вон еще с каких лет ездили. Это автобусов на Красной площади нет, умники.

Бабушка Наташкина семечки во дворе продавала. Дома жарила и в миске глубокой спускала. Мальчишки обворовывали ее на бегу, пока она, сидя на шаткой табуретке, среагировать успевала. «По-другому не продать», — вздыхала и мирилась бабка, а Наташка выбивала у воришек семечки услугами.

— Завтра на весь двор крикнешь, что любишь меня. А я скажу, что больно ты мне нужен. А ты: ждать тебя буду всегда. И в конце еще извинишься.

— Совсем обалдела, я вообще горстку брал и то по пути рассыпал, пока убежал.

И тогда Наташка прибегала к силе. Нет, рука у нее была совсем не тяжелая. Но воли — через край.

И вот он сидит на поребрике под палящим солнцем, такой непонятный, раскладным ножиком вытачивает из толстой ветки деревянный ножик. Голову бритую, загорелую время от времени натирает и к Наташке приглядывается. Потому что не совсем понимает, чего она вообще хочет.

— Вот, вот, опять посмотрел.

— Это ты его просто достала. Видишь, глаза закатил. Сейчас встанет и уйдет, — пыталась отговорить Наташку от намеченной цели подруга.

— Майка, слушай. Мы сейчас поднимемся домой и через десять минут назад. Дело есть.

Уже дома Наташка пыхтела под слоистым свадебным платьем матери, а Майка поправляла подол и обреченно качала головой:

— Зачем это все, не понимаю.

— Мама надеть не успела, так хоть я примерю. Зря что ли платье покупали.

— У тебя даже грудь еще не до конца выросла. Вот через год будет уже впору.

— Мой чужачок год там, внизу, не просидит.

Девочки выглянули из сырого подъезда во двор, а чужак бритоголовый все еще вытачивал нож на прежнем месте. Голову набок склонил, брови насупил. Первая щетина по низу щек, как иссыхающие ручьи по голым скалам. Годков бы пять-десять ему сверху, сказали бы про него: явно с фронта чеченского только вчера вернулся.

— Не смотри на него больше. И я не буду. Делай, как скажу. Вообще, просто фату мою придерживай, подправляй. А я все сама сделаю.

— Сделаешь что? — насторожилась Майка.

— Не хочу волосатого! Лысого хочу! — неожиданно завопила Наташка на весь двор. Оглянулись все. Даже курицы за сетчатой перегородкой. Наташка опрокинула голову, сморщилась от придуманных слез. И к ужасу Майки повторила убийственный набор слов. Майка так и стала причастна к делу — пока причастилась, а потом поняла. С Наташкой всегда так. И Наташка с опрокинутой назад головой драматично зашагала вперед. Майка держала длинную фату и тоже почти плакала. Не потому, что по роли

положено. Просто очень плакать хотелось. От дружбы такой Наташкиной, как сейчас сказали бы, токсичной.

— Наташ, а пошли не в его сторону, а от него. Или хотя бы параллельно. Ужас какой, стыд. Что мы делаем... — Майка прикрыла лицо и засопела в ладонь.

— Разворачиваемся. Не хочу волосатого! Лысого хочу! — Наташкин голос невольно сорвался на хрип. Таким обычно достают в самое сердце. Ну, природа у хрипа такая — тут хоть химический состав Инвайта или Юпи хрипотцой отгарабань — сразу как-то выстраданно, на износ получается. И главное, улыбнуться еще так, чтобы навыйлет. Как будто Данила Багров только что разочаровался в своей подруге, доедающей вишневый пирожок в Макдональдсе. И улыбка его разочарования — в самое сердце же.

Мне Данила нравился. Особенно когда он под Наутилуса по снегу вышагивал. В Тбилиси снег выпадал раз в году. И я шагал под Наутилуса по жженой траве. Но ощущения почти те же. Главное, как наступаешь, куда смотришь. Музыка тебя поведет, подскажет.

И Наташка мне нравилась тоже. Майку я молил все мне о ней рассказывать. Как она день проводит, что кому говорит. В одной школе учились, в одном дворе костры разжигали.

Однажды с музыкой в наушниках лез я на огромный, высокий гараж, отстроенный соседом для своего КАМАЗа, а там по краям — прутья, рваные металлические листы, и крыша гаража покатая, и вот я придумал, что за Наташкой лезу. Чтобы ее вытащить. Дурак я, думаю, она и без меня справилась бы, и еще выше залезла бы. Но тогда я представил, что Наташка слабее, чем на самом деле. Что она позволит мне ее выручить. «Это значит, что теперь зверю — конец», — играло тогда в ушах, и я, упоенный собственной важностью, нагнетаемой ритмом песни, накрутивший свою нужность Наташке, неожиданно ощутил, как все органы заработали на полную мощность. В нос ударил запах жженой травы, на отдаленной крыше панельки от ветра закрипела разболтанная антенна. Я оглянулся на нее, тотчас пересчитав все ее ребра. И внезапно почувствовал, как жизнь, будто кабина лифта, провалилась с высоты по мне-шахте. А потом ощутил эту вязкую, липкую влагу под трениками. Я тогда сам чуть было не сорвался, едва ухватившись за край крыши. Но жизнь начала мерно накатывать обратно. И Наташка стала мне с тех пор еще важнее. Помню, перемотал я кассету позже, включил ту самую песню, наушники ей на голову нацепил, и она сидит, молча слушает. А головой под ритм не кивает. И потом спокойно снимает наушники, передает их мне. Глазами ясными смотрит в мои, полные ожидания, а губами: «И чё?».

— Не нужен ты ей, вот честное слово, Сандрик. Ты какой-то... ну... меньше с тобой проблем, чем с другими. Понятный ты. Даже в зубы когда даешь — и то по делу.

— А ей какого подавай?

— А ей — чтобы сам от себя чего хочет не знал. Чтобы бабку ее обворовывал, чтобы уже заранее виноватым перед ней был. И ей сразу так хорошо становится, понимаешь?

— Нет.

— Вот и я тоже, — устало заключила Майка. — Но мне нормально. А у тебя крыша поедет.

В тот день я прятался в тени, прислонившись к блочному выступу, врытому в землю, и смотрел на Наташку.

— Не хочу волосатого! Лысого хочу!

Она уже давно перестала меня удивлять. Да и всех вокруг, казалось бы. Но это свадебное платье, эти выпады, вопли, голова, опрокинутая назад, и фата, неуклюже подбираемая Майкой, — как если бы ты играл в Супер Марио, дошел до дракона, а он — не дракон, он — Наташка, и сейчас она сама прыгнет в лаву и убьется, чтобы

саму себя победить. И ты вообще ни при чем. Ты просто иди своей дорогой, тут, мол, такое дело...

Я не мог найти себе места. Внимание Наташки к чужаку раздражало, делало больно. Это же я, думалось мне, я должен быть на его месте. А Наташка совсем вошла в роль. Вокруг думали, что она над парнем измывается. Ну как бы да: измывалась. Но тут еще другое было. Наташка просто запала на образ парня: бритая голова, ножик, тяжелые ботинки. Ей нужно было непременно заземлить чужака. Прямо лицом в землю. Чтобы пока заманить, а потом из себя его вывести, дав ему где-нибудь ошибиться. Не сразу же на него западать. И тогда моему терпению пришел конец. Я рванул с места и, обогнав Наташку с Майкой, добежал до чужака. Просто встал перед ним и долго смотрел.

— Чего? Мешаю? — хмыкнул он, дотачивая нож ножом.

— Ты кто такой вообще? Здесь свои все. Иди, откуда пришел, — притянул я за уши наезд.

— А ты что — дворовый король? — огрызнулся чужак в ответ.

Я услышал позади приближающиеся шаги девчонок, и упоение захлестнуло меня.

— Тут никто тебя не знает. Может ты — крыса из соседних кварталов. Завтра, небось, своих с «розочками» притащишь?

— Сандрик, чё ты вообще залез? — услышал я Наташкин голос у самого затылка.

— Ну, притащу. Или, может, не притащу, — чужак подкинул доточенный нож и ловко поймал его в воздухе.

Я тогда схватился за ближайшую палку на земле и сделал два шага вперед. Чужак настороженно встал с поребрика.

— Бли-и-ин, ну просто на пустом месте, — Наташка закатила глаза: все пошло не по ее сценарию. — Сандрик, он у бабушки семечек не крал, ни к кому не приставал. Пусть себе сидит. Откуда ты взялся, вообще?

Майка переминалась с ноги на ногу, покусывая губы и оглядываясь по сторонам.

— Слушай, пошли, а, — потянула она Наташку за длинную, белую перчатку.

— Да куда я не пойду, — Наташка завелась, отдернула руку, ухватила за меня и развернула к себе. — Ты чего пришел? Что в тенечке-то не сиделось?

— Да что ты привязалась, иди давай, — деланно игнорировал я Наташку и снова собирался было обратиться к чужаку, как Наташка с еще большей волей развернула меня к себе.

— Бросил палку и ушел, — говорю.

— Платье не порви, уж больно красивое для засранного двора, — поддел я ее, и она тут же яростно вцепилась в мою футболку. Наташка могла повалить сверстников-пацанов, если сломаться и прогнуться под ее упорство. Глаза у нее становились звериными, челюсти смыкались. Это просто удручало. Но меня тогда переклинило. Я схватился за Наташку и бросил ее на пыльную землю, протаскивая по щебню.

Майка закрыла лицо руками, чужак вообще присел, потирая бритую свою голову.

— Ты — придурок, — не унималась Наташка. — Ответишь за это. Слышишь, — и она бросила горсть земли мне в лицо. — Чувство справедливости у тебя какое-то...

— Какое, ну? — я прижал Наташку к земле.

— Палки в колеса мне суешь.

— Вот так и говори с самого начала.

Наташка вцепилась в мои волосы и больно, почти до слез, рванула их вниз.

— Что, у бритоголовых не за что ухватиться, правда? — я зло смеялся, сдавив ее щеки, отчего губы ее раскрылись, и хотелось впиться в них. В кровь рассечь.

— Да я тебя просто урою сейчас, — до последнего не унималась она.

А потом как-то за одну минуту все и порешилось: к чужаку из ближайшего подъезда вышла женщина, видимо, мать. Что-то ему суетливо сказала, он неохотно

привстал, за что получил слабый, но вполне унижительный подзатыльник, голову на грудь опустил, мамины сумки на плечи закинул, и они вдвоем ушли в направлении автобусной остановки. Там и автобус, так совпало, сразу подъехал. И все дела.

А ножик деревянный так и остался в траве. Я заметил его, отпустил Наташку, которая тут же, удрученная, вскочила, схватил ножик и разломил его надвое о колено. А потом просто сбежал, скрывшись за первым поворотом и выглядывая оттуда голодными глазами.

— Да хватит уже убиваться, Наташка, ушел твой чужак. Спектаклю конец, — бросила Майка и выдохнула, завалившись на поребрик.

Наташка, будто обескровленная, рухнула на землю.

— Знаешь, Наташ, а мне это уже надоело. Я после дня с тобой ночью спать не могу. Иногда хочется сквозь землю провалиться, — Майка развернулась, оглядев Наташкино скорчившееся тело у забора. — Ну вот, загадила свадебное платье матери. Она прилетит обратно и глазам не поверит.

— Я уже повторяла не раз...

— Да не сбивал ее никакой трамвай, господи! Что ты, на самом деле, заладила? Она маме моей каждые три месяца деньги высылает, потому что бабка твоя не умеет их через Вестерн Юнион принимать. И носит мама их к вам домой.

— Лучше бы она там, в Москве, умерла. Так проще.

— Что ты вообще такое говоришь?! — разозлилась Майка.

— Почему ты никогда не рассказывала мне про это? — Наташкин шепот стал совсем недобрым.

— Я вообще думала, что ты обо всем знаешь. Что бабка давно рассказала. Это ты у нее спроси, почему не рассказывала. Или ты думаешь, что на семечках одних она тебя содержит?

— Почему никто мне никогда не рассказывал? И сколько она высылала?

— Да гроши там какие-то, впритык. Однажды даже маму просила сверху немного добавить.

— Не хочу волосатого. Лысого хочу, — снова, но уже едва слышно заладила Наташка. — Не хочу, — и немного погодя привстала с земли: — Ну, бывало же, она звонит, чтобы код продиктовать, а трубку берешь ты вместо мамы твоей. Значит, ты ее голос за эти годы слышала хотя бы раз. А я, получается, нет?

— Ну, бывало... — Майка дернула плечами, виновато съехала и отвернулась.

— Как ты могла, Май...

Майка, привыкшая к Наташкиным обвинениям, знала, что начинать оправдываться — себе дороже. Чужие оправдания заводили Наташку.

А Наташка снова легла на землю. Теребя пальцами мох на заборе, она замычала себе под нос:

— «Я смотрю в темноту, я вижу огни...»

— Это что-то новое у «Руки вверх»?

— Не помню.

— Пошли, платье отстирать попробуем. Да его, вижу, и зашивать нужно, — Майка решительно встала и потянула Наташку за руку. Та даже не двинулась. Только спряталась лицом в землю. — Ну. Муравьи в ноздри залезут. Да что с тобой, Наташка? Ты сегодня бьешь свои же рекорды.

— Знаешь, я иногда представляю, как мама, вся в крови, лежит под трамваем. И под ней растекается багровая лужа. И мне больно, но ей в то же время по заслугам. Это же справедливо. За все нужно платить, так ведь, Май? — и Наташка вцепилась в Майку пронизывающим, душегубным взглядом. — Иначе ведь все от рук отобьются. Главное же, — за кем правда. Ну что молчишь?

Майка опрокинула голову, утомленно выдохнув. А Наташка расплакалась.

Только теперь слезы у нее были какие-то... ну совсем из воды. «Видимые такие, непридуманные», — выложила мне потом Майка наедине, глаза выпучив.

А Наташка мне потому и нравилась. Все остальные вокруг понятные были, и ее это бесило. Ну а с другой стороны, я сам от них далеко не ушел. Я и к чужаку-то прикопался, только чтобы Наташку обескуражить. Виноватым перед ней стать, как все остальные. А потом само оно понеслось: стало вдруг важно ее проучить. За все мучения, за то, что никогда не пощадит. Захочет, сломает. И она такая — сама себя в лаву, и других тоже за собой, если подцепит. В чем сила, Наташка?

Ворониха

— Откуда он вообще взялся? Ну, дай лапу. Не умеет. Значит, ничей, — Вовчик увлеченно разглядывал дворнягу, почесывая ее за ухом.

— Ты же не заберешь его домой, — я знал об отношении Вовкиных родителей к домашним животным: в свежотремонтированной квартире даже на людей с ботинками косились. Даже если те разулись.

— Я могу смотреть за ним, если он останется во дворе. Буду еду спускать. Обучу командам. Думаешь, он останется тогда во дворе?

— Странный пес. Он ведь откуда-то уже бежал. Корми не корми, а что у него в голове...

— Псы верные, не гони на него. Смотри, какой он славный: не то что Ворониха, — встал на защиту скрутившейся на асфальте дворняги Вовчик. А потом он вдруг сжал губы и сказал так, прожито, сухо: — Захочу, и будет у меня домашнее животное.

Я покатился со смеху, сминая под собой упругую выцветшую траву.

— Так какое оно домашнее, если на улице жить будет?

— Зато мое. Мое животное. Я буду его опекать, — и Вовчик умотал за едой.

Я присел на поребрик, притянул к себе пса, а пес боится, осторожничает. То попятится, то неуверенно шагает навстречу. А потом вдруг как уложит подбородок на мои колени и в глаза смотрит своими, а они круглые, большие, одинокие.

— Кажется, ты хромаешь. Ну-ка покажи, — смотрю: у собаки разодрана подушечка на задней лапе. Спекшаяся кровь почернела, а местами покрылась янтарными сгустками, в которых застряли мошки и муравьи, как в окаменелой смоле. — Эх ты, лечить тебя надо.

Тут мое внимание привлек голос Кошмара неподалеку. Так на районе называли отца Никуши и Дато. Не потому, что люди боялись его, а просто натворил он дел кошмарных. Вздернув подбородок, он указывал на пса в моих руках и качал головой, говоря с соседом:

— Племянница же не виновата. А теперь два дня уснуть не может. Плачет, под кровать смотрит. Говорит: он точно там. А на улицу так вообще теперь не выходит. В окно смотрит, пса глазами ищет. Стрелять надо. Без вопросов стрелять.

Прибежал Вовчик и, отдышавшись, раскрыл сверток: хлеб, вареная картошка, рыба.

— Что, думаешь — поест? — я придвинул сверток, и пес стал жадно принохиваться.

— Что, шпана, собаку нашли? Вы ее если кормить станете, она уже не уйдет. Мало у нас в округе собак, что ли?

Я напрягся, поглядывая исподлобья на Кошмара, в мгновение ока вставшего над нами большой, оттеняющей солнце глыбой.

— У нее рана на лапе. Выходим пока, — решился ответить я.

— А ну, показывай, — Кошмар заправски опустил к земле и стал ловко рассматривать собачьи лапы. — Ну так понятно: тут инфекция запущенная. Здесь просто так не выходишь картошкой вашей.

— А что делать-то? — взволновался Вовчик.

— Короче, — Кошмар снова встал во весь рост, отряхнулся. — Ко мне води завтра вечером. Вон в тот сарай на холме, видишь? Я там держу аптечку с разными мазями.

— А почему аптечка не дома? — осторожно закидываю.

— Когда охотишься в лесу, все должно быть рядом, под рукой. Умник. Да и чего мне больных собак домой таскать.

— Я приведу собаку, — уверенно вызвался Вовчик. — Завтра вечером.

Тем вечером я не пошел с Вовчиком. А еще через день сидел в беседке и слушал вместе с Майкой Наташкины истории. Думал о Вовчике, который не появлялся. О подложенном шприце. О псе с раной на лапке.

— ...И тогда мы спустились в люк. А там вот такенный проход дальше: можно вылезти из другого люка у того корпуса, представляете? Зря вы оба не пошли тогда с нами.

— И слава Богу. Ты там что-то подхватила и неделю лежала. Зачем мне это, — отмахнулась Майка от Наташкиных авантюр и оглянулась на меня. — А ты чего такой странный сегодня?

— Это он просто влюблен, — бросила Наташка и протаранила сандалией мою ногу.

— Да уж, влюблен, — я устало уложил голову на руки, развалившись на ржавом металлическом столе беседки.

— И в кого это? — поинтересовалась Майка.

Я оглянулся на нее и закатил глаза: в кого еще, мол, дура. Но сейчас мне было даже не до Наташки. Перед глазами маячили глаза пса — большие, круглые, одинокие.

— Ну и? Вовчик подлечил свою собаку? — соскочила с щекотливой темы Майка. — Не видно его что-то.

— Так вот же он, сидит, — Наташка резко потянулась вперед, разглядев неподалеку Вовчика, развалившегося на горячем асфальте. — Елки-палки, и плачет ведь походу.

Вовчик зарылся лицом в колени, и его спина тряслась. Когда мы подошли, он даже не поднял головы. Брюки на нем были разорваны, а нога расцарапана. Плачет, как сосунок, подумал я.

— Что, больно?.. — Наташка осторожно опустилась к нему. Я впервые видел Наташку такой: участливой, проникающейся чужой болью.

— Она, оказывается, в подвале, — проговорил Вовчик, когда Наташкина рука опустилась на его затылок.

— Кто в подвале? Не понимаю. Да что не так, Вовчик? — не стерпел я.

— Мы думали, сбежала. Радовались еще, — всхлипывая, продолжил он. — Мол, даст всем спать по ночам. А то все без умолку.

— Ворониха, что ли? — дошло до меня, наконец.

— Так она нашлась?! — спохватилась Наташка. — Это она с тобой такое сделала? Зачем ты спускался в подвал?

— Да отец послал, — Вовчик схватился за первый попавшийся под руку камень, замахнулся и нервно бросил, стиснув зубы.

Майка ушла за бинтами, и не прошло минуты, как она уже была снова внизу, и, старательно промыв Вовкину ногу, обматывала ее.

— ...И он говорит: на ночь теперь ее оставить надо, пусть в сарае поспит. А ты иди. Ну, я и пошел. Просто на холмах задержался, ящериц искал. И тут как услышу: шаххх. И потом еще раз, контрольный. И доносилось оттуда, из сарая. Я побежал обратно... — Вовчик вытер нос о плечо, тыльной стороной ладони смахнул слезы. — Забегаю в сарай, а он там ее — в мешок, чтобы закопать где-нибудь. Потом сказал бы, что сбежала, знаю ведь. На меня оглянулся и ружье свое как приставит. Уходи, мол. Я начал кричать, зову на помощь. А псу-то ничего уже не поможет. Мертвый такой

лежит. Кровь по мешку расходится. И Кошмар выстрелил прямо в крышу сарая, а она стала рассыпаться. Я испугался, развернулся, убегаю. Он еще кирпичами вслед кидался.

— Вот сука, — прошипела Наташка.

Я молчал, сжав губы. Вот и отомстил, думаю, хотя никакого удовольствия от мести и не испытывал. Только кислый вкус под языком. Чего-то не хватало, какого-то важного элемента, чтобы ощутить это чистое, ничем не разбавленное упоение.

Мы смотрели на Вовчика, на его трясущуюся спину, на мелькающий дикий огонек в его глазах. Я смотрел в себя, и там, внутри, мне хотелось оправдания пролитой крови. И только пролитая в ответ кровь напрашивалась и маячила.

— А Ворониха-то чего тебя цапнула? — Наташка присела к Вовчику и уложила руку ему плечо. Я вскипел. Вовчика хотелось ударить. За его умение вызывать жалость. За то, что он сейчас не играл и даже не старался играть. За Наташку, которая жалела мудака, подбросившего шприц.

— А хрен ее знает. Цапнула и все. Я едва успел убежать. Там же темно, лампочки все выкручены.

— Ворониху надо проучить, — вырвалось вдруг из меня: тихо и угрожающе.

— Ты чего? — Наташка подняла на меня глаза. С того самого дня, как мы подрались, она стала на меня именно так смотреть: прожигая себе вход внутрь, в самую глубину. Смотрит и молчит. Даже задирается почти перестала. Спокойный такой, внимательный, прожигающий взгляд. Я не мог его терпеть.

— Давайте просто скажем старшим, пусть выгонят ее из подвала, — предложила Майка, человек спокойный и мирный.

— Ага, чтобы она снова по ночам спать своими завываниями и воплями не давала, еще чего, — бросил я. — Может ты, Майка, еще и Кошмара просить станешь?

— Я такого не говорила, знаешь ли, Сандрик, — огрызнулась Майка и хмыкнула. Мы с ней почти никогда не сцеплялись. Но сейчас я жаждал подмять всех.

— Да. Ворониху надо проучить, — заключил вдруг Вовчик, выпрямился в спине, а потом и вовсе встал. Огонек в его глазах стал голубым, как на газовой плите. — Я готов прямо сейчас.

— Вы в своем уме? — запротестовала Наташка и тоже встала с земли. — Там, во-первых, темно, и сама она — черная, как смола. Иди и разгляди ее. Во-вторых, опасно идти вот так голыми руками на злую собаку.

— А мы не голыми, мы с камнями пойдем. И вон те кирпичи прихватим, — Вовчик покраснел от гнева. Он теперь жаждал крови не меньше чем я сам.

Я рванул с места в сторону битых кирпичей, оставленных за ненадобностью у достроенного соседом гаража. Наташка побежала за мной, схватила меня за плечи и привычно легко развернула к себе.

— Чего привязалась? Не хочешь с нами, иди своей дорогой. Бери Майку и иди.

— Я-то пойду. Но и тебя отговорить хочу. Понимаешь, это плохо.

— Иди, Вовчика отговаривай, слышишь. Бедный мальчик, всплакнул, в ласковой твоей руке нуждается.

Наташка ударила меня кулаками по плечам и оттолкнула от себя.

— Ты не возьмешь этих кирпичей. И камни собирать не дам, понял?

— Ворониху жалко, что ли? Всех достала она. Да на нее Кошмара не хватает! Не тех собак этот идиот мочит. Она же бешеная, посмотри, что она с Вовчиком сделала.

— Она не бешеная, и Вовчик — не подарок! Может, она сама в темноте испугалась!

— Наташка, я тебя не узнаю, — признался я, наконец отмахиваясь от ее рук. — Нет, ты как бы такая же дура неконтролируемая, как всегда, но сейчас борешься за животное, которое не дает житья всему кварталу. Ты чего это вдруг?

— Она живая. Вы ее до смерти забьете.

— Да, именно так, — сухо согласился я.

И тут Наташка схватила меня за воротник и бросила на стену гаража, а потом сдвинула руками. Ну, я и не сопротивлялся. Посмотрю, думаю, на что она горазда.

— Помнишь, как там было? Он, я знаю, не спит, слишком сильная боль... Я даже знаю, как болит у зверя в груди, — и Наташка снова посмотрела на меня, прожигая себе путь внутрь.

И мои колени стали мгновенно ватными. Я осторожно потянулся ладонью к красной ее щеке, но тут Вовчик выхватил меня из Наташкиных рук.

— Смотри, вот здесь целая куча. Собирай в этот мешок, — решительно заявил он.

И я насобирал целый мешок камней и ломаных кирпичей. На одном дыхании. Майка охала, качала головой и только. А Наташка смотрела и молчала. Она молчала изо всех сил, пока у меня не затрещали барабанные перепонки. Другая, совсем другая Наташка. Подменная.

Первым на дело пошел Вовчик. Я следом за ним. А за нами безмолвно поплелись девчонки. Спустившись в подвал, мы надеялись постепенно привыкнуть к темноте, но темнота только сгустилась. В любой момент готовые хвататься за камни, мы тихо опустили шуршащий мешок на землю. Ворониhi не было слышно.

— Не подумали о свечке или хотя бы о спичках, — досадно признал Вовчик. — Может, вернуться и прихватить дома?

— Не надо уже. Как есть, — решил я.

— Возвращаемся, ребята. Возвращаемся, и точка, — запаниковала Майка, которой мерещились силуэты в темноте.

— Вовчик, — Наташка, казалось, снова уложила руку ему не плечо, — может, ты опомнишься? Сандрик — ни в какую.

— Оставь меня, — Вовчик отдернул Наташкину руку, и я возликовал. Не такая ты и нужная, подумал.

Рычание послышалось совсем близко, в углу у поворота в проходе, от чего мы резко отпрянули назад и шумно потащили за собой мешок. И тут Ворониха залаяла вовсю.

Мы с Вовчиком, недолго думая, схватились за камни и кирпичи и стали закидывать угол, откуда доносился лай. Майка кричала, почти плакала. В страхе она и сама потянулась за кирпичами. А Наташка молчала, как будто ее здесь и вовсе нет. Но ее всепожирающее присутствие ощущалось и без света.

Я кидал кирпичи, слыша, как попадаю по живому мясу. Ворониха вопила, как будто молилась. И еще я услышал другое. Слышал много и часто, между воплями Воронихи. Будто кто-то тонким голоском плакал. Но не Ворониха. Много кто плакал. И эти Наташкины руки, оттаскивающие тяжелый мешок. Ее руки, тянущие меня за локти. И ее молчание. И пiski в черном углу. Пiski, которые я заглушал своими криками. И Вовчик, засопевший и почти смеющийся. И Наташка, которая все-таки здесь...

Когда вопли и жалостливые пiski стали постепенно стихать, а мы израсходовали почти весь свой запас, я схватился за последний кирпич и замахнулся в оставшиеся звуки. И наконец затихло все.

Я тогда взревел, сжав изо всех сил кулаки, а потом развернулся и в полной темноте, почти наугад огибая стены и перегородки, выбрался на свет. С одышкой упав на ступени у входа в подъезд и спрятав лицо в коленях, я сглотнул так и не рассосавшуюся кислую слюну под языком и разрыдался, скуля, точно как Ворониха. И кто-то там еще.

Ко мне поднялась из темноты Наташка, без слов присела рядом. Такая другая, взрослая. В омут меня не потянет. А я ей молюсь: помучай меня, отвлеки. Сравни с землей. Что-то надо обязательно сказать. Нельзя так молчать. Полная тишина — она как беспроектная темнота. И в ней сейчас завоюет Ворониха.

Сорняки

— Уезжаю я, — Вовчик шелкнул языком о нёбо, перевалился на другую ногу, опрокинул голову и стоял так в ожидании чего-то нового, что должно безусловно заполнить двор, обочину у автобусной остановки, квартал и целый город вплоть до горизонта.

— В деревню, чё? — спрашиваю, развалившись на лавочке и до упоения ослепляясь солнцем в зените. Оно прожигает зрачки, и я стараюсь не морщиться, отчего зрение слабеет, и белый раскаленный свет будто обескровливает меня.

— В кибуц.

— Чего?

— Кибуц.

— Какие бутсы? — придуриваюсь.

— Кошки ебутся! Да уезжаю я, понимаешь, — и он потер затылок, важно брови насупил. Было в этом что-то напускное, до продуманной, отрепетированной красоты.

— Вид у тебя такой, как будто в армию тебя забирают. И я — не Сандрик, а баба твоя. Сейчас к ногам упаду, стану молить вернуться целым. А чё за деревня такая? В первый раз слышу. Это у Манглиси? Или Коджори?

И вот я замечаю, как осанка Вовчика выравнивается, голова снова опрокидывается, уголки губ едва заметно дернулись.

— Да не... — потянул он лениво, оглянулся в случайном направлении и всверлил годный прищур то ли в гаражную стену, то ли в первого прохожего во дворе. — Сигаретки есть. Четыре. У папы стащил. По одной в день, чтобы он не заметил.

— Четыре дня таскал? — я оживился не столько от новости о сигаретах, сколько от очередной волны восхищения Вовчиком: с примесью такой, гадливой, что ли. Да и потому что я так не умел: терпеливо и обстоятельно подбираться к своей цели. Я бы две за раз стащил, и всё на этом. Зато удовольствие скорее. Меньше его, но быстрее наступит. А Вовчик — другой.

— Это у него что-то еврейское, — заметила как-то раз Наташка. — Есть у них в крови: с головой все делать, не с дури.

— Это они под евреев косят, ты чего, — возразил я тогда.

— Ну вот не с дури косят. Говорю же, еврейское что-то. Вовчик не пропадет. Все дурака валяют, а он... валяет, но в меру. И не попадает. Тоже так хочу. Выйду замуж за еврея, — Наташка мечтательно закатила глаза.

— За Вовчика и выходи тогда.

— Не. Только не за него, — отмахивается.

— А чего? — подыгрываю, провоцируя ее на полное откровение. — Нормальный пацан.

— Дурак ты, Сандрик, — бросает Наташка и отворачивается.

И вот стоит Вовчик, уезжает, мол. Наташка выветрилась из моей головы, солнце снова прожигает зрачки. А Вовчик скрестил руки на затылке, потянулся.

— Ну чё, идем? По две на рыло. За школьный двор, — достает из заднего кармана сверток, разворачивает, а там они. — Черт, согнулись слегка, но ладно: главное, не треснули.

— Что это еще?! — Наташка опрокинулась в наш, казалось, замкнутый круг как-то совсем неожиданно. Майку за рукав притянула и круг ловко замкнула. — Так, не прячь. Видела уже.

— Наташка, чё пришла? Уходи давай, — замешкался Вовчик, к ней спиной развернулся.

А Наташка пальцы осторожно к губам приложила, глаза вылупила, воздух со стоном безысходности вдохнула:

— Папке твоему скажу. А то растит мальчика-святошу. Воротничок выглаженный, накрахмаленный, — и за воротник тянет, а Вовчик руку ее тщетно отдергивает. — Скажу ведь, скажу... — не унимается дразнить Наташка.

Смотрю на нее: упертая, чувствует слабинку и давит, давит. А со мной не получается, довольный собой заметил я и даже хмыкнул вслух.

— А ты что тут разлегся? — незамедлительно отреагировала Наташка и сильнее солнца обескровила меня, прожигая зрачки, отчего я зажмурился. — Четыре их было, я посчитала. За школьный двор, значит. Ну пошли.

Ошарашенная Майка выдавила из себя короткий, хриплый смешок.

— Наташ, мы же собирались...

— За школьный двор, — и Наташка уверенным шагом пошла в направлении школы, потянув за собой наш круг доверия, как обруч, упершийся ей в живот и опоясавший нас позади нее. Ну мы и поволоклись следом.

Уже через десять минут сигареты почему-то оказались в Наташкиных руках, и она ловкими движениями пальцев выгибала их обратно в ровную линию.

— А что за повод такой? — досадно бросила Майка, скрестив руки на груди. — Что вам не жилось-то спокойно? — спросила она уже у нас с Вовчиком, то ли имея в виду нашу тайную, порочную в ее понимании затею покурить, то ли неосторожность напороться на Наташку.

— Да уезжаю я просто, — снова заладил Вовчик, присев на блочный выступ в темном, заросшем сорняком углу. И глаза его снова заиграли беспокойными огоньками в предвкушении следующих вопросов. С одной стороны, он очень ждал их, с другой — хотел дольше насладиться затянувшимся ожиданием чего-то прекрасного и неминуемого. Иногда такие моменты ожидания настолько упоительны, что становятся значительнее самого наступления. В них больше жизни, их легче прощупать. У них даже запахи есть. А наступившее — у него же такая тонкая прослойка, что оно рвется о каждый выступ, на который ложится. О тебя рвется, не успев накрыть с головой.

— И куда же? — Наташка отчего-то раньше меня поняла, что это о чем-то большем, чем деревня. Что это как выход за непробиваемый купол, накрывавший всех нас. Как подкоп в нужном месте, которое, наконец, вычислено.

— В кибуц, — запомнил я чудное слово.

Вовчик снова щелкнул языком о небо, да так, что Наташка отложила сигареты на врытый в землю блок.

— Ого. А что это такое? — и она прищурилась, перебирая в голове созвучные слова, как будто рифмы в этом случае приближают к разгадке.

— Это как деревня такая, — спокойно ответил Вовчик и оглянулся на меня.

— Ну я ж говорил, деревня! — оживился я.

— В Израиле, — Вовчик приподнял бровь. С важным видом оперся о колено локтем, а на локоть завалился подбородком.

— Ой, — дернулась Майка и застыла. — Да ладно, — едва шевельнулись ее губы.

— Фигня какая-то, — заявил я. — Вот прям завтра-завтра?

— Ну-у по-о-чти, — лениво протянул Вовчик.

— Ты такой смешной, Вовчик, — Майка расплылась в снисходительной улыбке. — То иврит, мол, учишь. То теперь Израиль. Это ж надо все бросить и уехать. Так разве делают? У вас же ремонт в квартире свежий совсем. На прошлой неделе, вон, папка твой два новых кресла домой заносил. Кожа, хвастался, чистая. Красное дерево, все дела. Кто так уезжает? Или не навсегда?

— Насовсем, — выдохнул Вовчик. — Или сейчас, или никогда. Папа так сказал.

Наташка молча протянула Вовчику сигарету первым, тот подхватил ее губами, и Наташка поднесла зажигалку. Дул слабый ветерок и тушил огонек.

— Ладонью прикрой, умелица, — съязвил я, и Наташка оглянулась на меня,

закатила глаза, а потом нарочито медленно отвернулась. Но ладонью зажигалку прикрыла.

Вовчик сделал пару коротких затяжек, и дело пошло. Вторая сигарета досталась Майке, которая долго еще держала ее на раскрытой ладони и разглядывала как чудной экспонат.

— Господи, Майка, я тебя умоляю, — Наташка схватила сигарету. — Ну, открывай рот, а теперь губами держи. Да держи ты, блин, — и чиркнула поднесенной зажигалкой. — Втягивай, пока поджигаю. Дуреха. И не говори, что я мучаю тебя. Не хотела, ушла бы сама. Строишь из себя ломаку, а сама глазами голодными так и уставилась, — весь этот словесный выпад продолжался в моменты Майкиных неумелых затяжек и приступов кашля, которые Наташка выбивала смелыми хлопками по ее спине. А потом она придвинулась ко мне.

Сидит и смотрит. На лице — ухмылка. Чего, думаю, ждешь.

— Теперь за Вовчика в самый раз замуж, что скажешь? — сладко шепчу. — Билет в жизнь.

Наташка молча протянула мне сигаретку, свою тоже поднесла ко рту, пальцами придерживает. Ну и я свою у рта держу, глазами Наташку сжираю. Ненавистью и какой-то болезненной тягой ее одариваю, как дурак. А она — стена. Не пробьешь. Только уголки губ дергаются, как будто сейчас обсмеет меня. А потом она вдруг ко мне придвинулась, кончиком своей сигареты в мою уперлась.

— Ну, что застыл, ладонью прикрой, — говорит, не отпуская изо рта сигарету и не сводя с меня сверлящих глаз.

Я и поднял ладонь, но самого в холодный пот бросило. А тут еще и Ворониха вспомнилась, Наташкин совсем тогда другой взгляд. Ее неуверенные попытки что-то начать говорить. Что-то было важно сказать.

Наташка поднесла зажигалку, и наши сигареты окатило на стыке огнем. Мы одновременно прикурили, не отводя друг от друга глаз. Показалось, что Наташкина рука с сигаретой на миг дрогнула. А потом она внезапно потянулась ею к моему лицу, уложила ладонь мне на щеку, и я ощутил влагу ее губ на фильтре, выступающем между пальцев внутри ладони и упершемся мне в кожу. И она не отпускала руку и снова смотрела так, как тогда. Я даже почувствовал тяжесть кирпича в своей руке. Ворониха скулила. И Наташка смотрела глазами щенка, и кирпич выпал из моей руки. Я припал было к ее руке сильнее, как так же внезапно Наташка сбросила руку, развернулась к ребятам, которые сосредоточенно разглядывали свои сигареты и выставленные прищепкой пальцы.

— Правильно, Вовчик, — Наташка затянулась, застыла, не дыша, и секунды через три выдохнула дым вместе со словами: — Надо валить.

Меня укачало. Я выдул клоки дыма, и ветром их вернуло ко мне. Дым лег на щеки, просочился в глаза. Все мы на районе казались друг другу жалкими и ненужными. Никому не сдавшимся. Таких, как мы, выжигают, чтобы поле расчистить. У взрослых было болезненное, но давно привычное ощущение безвыходности, собственной ущербности. Отец раньше любил заладить про общество, в котором его ценили бы. Мама верила, что нелюбовь отца оттого и проросла корнями, что никто его не ценил. Что все мы варимся в одном котле. Что вина — собирательная, от каждого понемногу. И когда кому-то удавалось выбраться туда, на свободу, все замирали и заворуженно смотрели на чудо.

— Вовчик, ты прям — Бог, — призналась Майка, не верившая еще пару минут назад.

— Да прям, — отнекивался Вовчик, приняв осанку, достойную богов. — Всего-то другая страна.

— Хех! Всего-то! — Майка, не скрывая благоговения, мечтательно вздохнула и склонила голову к плечу.

Наташка молча и внимательно изучала Вовчика глазами. Да и я был ошарашен. Учить иврит — это одно, а вот взять и смотать — это же какой-то смертельный трюк. Это как надо было извернуться! Категории радости или зависти куда-то отступили. Стали слишком мелкими. Было действительно ощущение близости божества, и всем хотелось помелькать в радиусе его воздействия.

— Это же по вашей еврейской линии, да? — поинтересовалась Наташка.

— Ну как бы да. Типа возвращение на родину, — и тут Вовчик замялся.

— Кла-ас... — Наташка грустно вздохнула и тут же кокетливо добавила, протянув к Вовчику руки: — Забери меня. Стану тебе женой, — и смеется так коварно.

— Маленькая еще, потерпи, — не особо отказывает Вовчик.

— Разве родина твоя не здесь? — спрашиваю, вскипая от милых таких бесед.

— Ну родился, вырос я тут. И что с того? Родина там, где ты свой. Папа говорит, в Израиле мы будем своими.

— Ну, это же пиздеж, — решил я сказать, и все на меня мгновенно оглянулись.

— В смысле, — возмутился Вовчик.

— У мамы твоей фамилия еврейская — от мужа бывшего. Не еврейка она вовсе. Люди говорят. Чего молчите, все же знаете, — и я в недоумении развел руками.

Майкина сигарета выпала из пальцев на землю. Наташка бросила короткий смехок в сторону, а Вовчик недобрым прищуром уставился на меня.

— То есть что ты этим хочешь сказать, уточни, — он потянулся угрожающе вперед.

— А то, что афера это чистой воды. Подделывание документов и все такое.

Я едва успел среагировать на выпад Вовчика в мою сторону. Багровый, с проступающими на шее венами, он придавил меня к земле, и сорняк расцарапал мне щеку.

— Повтори! — прокричал он, но уже секунду спустя четыре руки с трудом растащили нас в стороны.

— Чё ты завелся так?! — Наташка растрясла Вовчика, приводя его, разъяренного, в чувства. — Подумаешь, чушь он сморозил. И что теперь? Кулаки в ход? Да тебя за такое поведение в твоём Израиле терпеть не станут. Это здесь нормально, а там за такое сажают. Назад отсылают. Ну вы оба дураки-и-и, — и Наташка осуждающе оглянулась на меня. Я и отвел глаза. Противно стало.

— И вообще, знаешь что, Сандрик? — Майка в свою очередь вдруг завелась, засопела. — Дай человеку порадоваться! Порадуйся за него и сам. Он улетает, чтобы начать наконец жить. Не то что мы, — и Майка чуть не расплакалась: то ли от собственной и нашей безвыходности, то ли от переизбытка эмоций, которые обычно держала при себе.

— Остынь, Майка, — только и нашел я что ответить. — Не умеешь ты так. Перегреешься с непривычки.

— Замолчи! — Майкин выкрик распугал воробьев на ветках, она решительно встала, потянула за собой Вовчика и Наташку и стала уходить. Вовчик по инерции встал, утаскиваемый Майкой, а Наташка даже с места не сдвинулась.

— Ты чего? — недоумевала Майка.

— Я догоню, идите, докурю вот только, — тихо ответила Наташка. Потухшую сигарету снова зажгла, спешно, без особого интереса докурила, смяла о блочный выступ, а уходить не уходила. Сидит, молчит. То сорняк иссохший срывает, то камень подошвой таранит. Я на нее смотреть не смею. Иногда бросаю быстрый взгляд на кисти ее рук: они упавшие, в воздухе качаются.

— Думаешь, будь у тебя шанс смотать к черту на кулички, не смотал бы? Так, чтобы намотить, подделать. Лишь бы смотать.

— Смотал бы, чё.

— Вот и я тоже.

— А я не о том, — закидываю. — Пусть уматывает под любым предложением.

— А чего тогда прицепился?

— Поза его божественная допекла. И то, как это нравится... другим, — смотря в сторону, я ощутил на себе Наташкин прищур. Она вдруг потянулась ко мне рукой и играючи провела пальцами по расцарапанной, воспаленной щеке. Усмехнулась.

— Я вот точно смотала бы. Хоть в Израиль, хоть в Москву.

— К маме?

— Почему сразу к маме? Больно мне она нужна. Лучше, конечно, в Израиль. Там уж наверняка — свобода. А еще в Израиле всегда лето. И говорят, там все улыбаются. На улицах незнакомцы друг с другом здороваются, представляешь?

— Ну-ну.

— Никогда не летала на самолетах. Каково это, интересно.

Молчу.

— Представляешь, с самолета в Москве схожу, адрес отыскала, в дверь стучу. И вот она подходит, в глазок заглядывает, а там девушка какая-то. Столько лет прошло. Не узнает ведь сразу, я почти уверена. Открывает, ну а я смотрю в глаза прямо, все смотрю, и смотрю, и смотрю. И она смотрит, смотрит, и ее вдруг как током. И вот мы такие — чужие-чужие, родные-родные, а я разворачиваюсь и ухожу. Бегу по лестницам вниз. И догнать она меня не успевает, кричит, зовет. И никогда больше с тех пор не увидит. И денег ее, грошей присылаемых, не нужно. Ведь все так просто. А вот нет, не просто: билеты дорогие такие. Но я школу окончу, подзаработаю, накоплю. И вылечу туда. За границы этого проклятого кольца.

Молчу. Она встает, собираясь уходить.

— И да, еще... — оборачивается. — Так часто теперь хочется, чтобы ты меня целовал. Как в тех фильмах. Но чтобы я потом очень легко смотала к черту на кулички, если рядом, на пассажирском сидении самолета, все равно будешь не ты. Но чтобы целовал именно ты, понимаешь. Вот такая фигня.

И ушла.

Свет

— Мам, Сандрик улетел в Германию.

— Как? Беженцем? Когда?

— Да нет, он там учиться будет. Ему помогли с документами.

— А когда улетел? — по голосу Жанна казалась нервной.

— Полгода назад. Что делаешь? Але! Слышно?

— Я... Да так. Работы много. Ты не болеешь?

— Нет. Мне хорошо. В школе тоже все хорошо.

— Сынок, там спроси у папы, сколько прислать денег.

— Пап, сколько денег прислать?

— Пару миллионов!

— Пару миллионов не могу, — было слышно, как Жанна суетливо стучала ногтями по твердой поверхности.

— Не может пару миллионов.

— Тогда вообще не нужно. Так и скажи, — снова донеслось из соседней комнаты.

— Да я и так слышу. Ладно, сынок, pošлю, сколько смогу.

* * *

— Сынок? Ну расскажи, что там нового в Тбилиси? Я тут окружена небоскребами, а мне так не хватает наших дворишков.

— Папа говорит, что в Тбилиси все плохо. А мне все нравится. Ты кашляешь.

— Все нормально. Сандрик звонил из Германии? Устроился уже?
— Год уже не звонил. Папа говорит: молодой, не понимает. Ты заболела?
— Нет, конечно. Эх ты, Данечка, да здесь у нас болеть запрещено.
— Почему? Это же нормально.
— Если заболел, пиши пропало. Все из рук ускользает. Здесь нельзя. Вот в Грузии я бы поболела, отлежалась бы. Совсем как папа любит поболеть.
— А папа уже давно не отлеживается.
— Ты смотри: стоило мне улететь, и он перестал болеть? Прикидывался, небось, всегда. Здоровый, ведь, как бык, оказывается.
— Вот вчера он прикидывался.
— Да? Решил прилечь, похворать?
— Вадик сказал, что у папы все симптомы воспаления легких, а папа посмеялся над ним и утром вышел таксовать. Прикидывался, что здоровый.

* * *

— Данечка, я в этом месяце послать ничего не смогу. Я тут ногу сломала, представляешь. Все деньги ушли на больницу.
— Мам, ты прилетай, мы здесь за тобой посмотрим и ногу вылечим.
— А как же работа? Нет, сынок, никак. Пока никак.
— Может, пришлешь свою фотографию? Ты на фоне небоскребов.
— Как-нибудь пришлю, мой золотой.
— Завтра сфотографируйся.
— Прямо завтра? Не, я же в гипсе хожу. Некрасивая такая. Вот встану на обе ноги и тогда сфотографируюсь.
— А ты попроси, чтобы тебе ноги не фотографировали.
— Знаешь, дорогой, у меня дурацкая стрижка. Мне так стыдно ее показывать, что я заматываю голову.
— Папа бы сказал: полоса неудач.
— Точно... Полоса неудач.

* * *

— Он не хочет брать.
— Ты чего плачешь, Данечка? Господи, как же мне не хватает сейчас Сандрика.
— Мам, я тоже взрослый, расскажи мне.
— Нет. Мне нужно поговорить с Сержем.
— Он не хочет брать, говорю же.
— Ох, сынок.
— А как твоя прическа? Теперь сможешь сфотографироваться? У Вадика появился компьютер. Он теперь письма принимает через интернет. Фотографию даже почтой в конверте посылать не нужно.
— Моя прическа стала еще хуже, Данечка. Все очень плохо. Серж, поговори со мной! — Жанна прокричала так громко, как могла. Даня невольно зажмурился и убрал от уха трубку.
— Мам, он не рядом. Не надо. Все равно не слышно.
— Ну хватит уже плакать.
— Да не плачу я! — выкрикнул Даня.
— Но я же слышу...
— Я скучаю по Сандрику, а он не звонит. Уже три года не звонит. Почему молчишь?
— Данечка, ты должен кое-что передать Сержу, окей?
— Хорошо.
— Слушай меня внимательно, — и Жанна стала перебирать слова, чтобы

подобрать самые уместные: — Скажи ему: мама очень нуждается в его совете, потому что... очень мало времени... на... Скажи, мы с Ингулей оказались очень похожи. Мы обе носили платки на голове. Ингуля не снимала. И теперь вот я не снимаю. И так, видимо, до конца и не сниму. Это все.

* * *

— Насколько все плохо?
— Уже все.
— Что все.
— Месяц, если не меньше.
— Почему ты не прилетела назад?
Молчание.
— У тебя есть кто-то другой? Почему ты не прилетела к сыну? Не молчи.
— Данечка не должен видеть меня такой.
— Господи, он все равно узнает. Только уже не сможет тебя обнять. Ты лишила его права провести с тобой оставшееся время. Ты — сука, слышишь?! — голос Сержа сорвался на хрип. — Собирай вещи и прилетай.
— Не могу. Я нелегалка без прав, Серж.
— Причем тут это? Ты же назад прилетаешь. Не хватает на билет? Да что не так? Ты все эти годы присылала эти чертовы деньги! Ну давай я подсоберу за неделю и вышлю, а?
— Не могу.
— Объясни.
— Я сейчас прикована к кровати, ходить больше не могу. И... Все.
— Ты все равно можешь прилететь назад. Есть перевозка лежачих больных самолетом. Ты понимаешь, что нас к тебе не отпустят? Что Даня тебя больше никогда не увидит.
— Я могла прилететь полгода назад, когда мне поставили диагноз. Но ты не желал меня даже слышать в телефонной трубке. А тогда я все еще... была собой. Я была я. Похожа на себя. Мне стыдно теперь.
— Но ребенок! Насрала бы на меня. Летела бы к ребенку!
— А кто смотрел бы за мной? Ты?! Я стала практически недееспособной. Мне непросто дается взять в руки даже стакан. Меня ведет в туалет соседка-мексиканка, которая сама скоро согнетса. Вечерами сидит у кровати и меня отпевает.
— Что мы наделали, Жанка? — Серж сполз на пол, провод натянулся, а телефон едва не упал. — Зачем все это было?

* * *

Серж стоял на балконе и курил одну за другой сигареты. Пепельница уже не вмещала бычков, и они падали по сторонам. На балконной полке стояли почти опустошенная бутылка водки и граненая рюмка с побитыми краями.

— Бестолково все сложилось, — бросил он в пустоту улицы, погрузившейся в ночной сон. — Вот бестолково.
— И что станешь ты теперь делать? — спрашивает Серж.
— А что я могу? Она там, а я здесь, — бросает в ответ Серж.
— Выход есть всегда.
— Мы отказались от всех выходов. Уже все.
Серж хватается за голову, сваливается локтями на перила балкона и ждет.
На балкон выходит Жанна, достает из пачки последнюю сигарету и прикуривает у Сержа.
— Лусинда читает мне библию по вечерам. Говорит, что так английский учит. И

каждый раз склоняется к моей кровати и шепчет: «For you are dust, and to dust you shall return»¹.

— Кто она?

— Моя мексиканка, с которой я снимаю квартиру. Что-то ты осунулся, Сержик.

— Нормально. Оставь, — Серж небрежно отмахнулся от Жанниной руки и затянулся. Табак на конце сигареты покраснел и снова медленно потускнел. — А ты уже умерла?

— Нет еще. Но все чаще не в себе. Лежу, едва ли понимаю, что вокруг происходит. Лусинда протирает мне лоб. Переодевает. Я мокрая. Вот прямо сейчас она снимает мои носки, — и Жанна медленно приподняла одну ногу, потом другую. Серж внимательно наблюдал за ее движениями, потом оглянулся на дальние горы и на плавающие огоньки домов горных деревень. — А Сандрик правда не звонит? — спрашивает Жанна.

— Нет. Только раз позвонил, года три назад. Сообщить, что долетел. И все.

— Может, ему сложно? Вы от него требуете внимания, вот он и отстраняется.

— Никто ничего не требовал. Деда его я взял на себя. Отец так вообще свалил. Матери, Ингули, больше нет. От кого еще осталось бежать? От себя самого, что ли? Три года, понимаешь, целых три!

— С годами обычно сложнее пойти на шаг, на который не решился сначала.

— Это не оправдание, — с обидой заключил Серж.

— Там, в Америке, я встретила мужчину, — начала неуверенно Жанна, а Серж нервно придавил сигарету к перилам и выбросил потушенную за балкон. — У нас были отношения. Он — хорват. Крутился, вертелся там. Какой-то полуправильный бизнес проворачивал.

— И где он теперь?

— Ну, дай досказать. Нигде, — Жанна с обидой отвернулась и прикусила кулак. — Не срослось.

— А что рассказываешь-то. Я уж было подумал, вы там зажили долго и счастливо.

— Я привязалась к нему, потому что вы с ним были чем-то похожи. Даже ресницы — такие же длинные, закручиваются. А однажды он вернулся с работы домой, и я выбежала в прихожую, и он так стоял... Улыбка наивная, глаза сияют. Говорит: я купил билеты в цирк. И меня тогда как подменили. И все с тех пор. Все. Дальше не смогла.

Серж оглянулся на стоящую спиной Жанну. У нее тряслись плечи, а рваные волосы развевались на прохладном ветру, открывая затылок и внутренний мокрый слой прядей, прилипших к шее.

— Лусинда очень заботится обо мне. А со мной ведь теперь непросто. Хорошо, что ты не видишь меня такой. Я была для тебя всегда красивой. Твоей Жанкой. А кто я теперь?

— Ты все еще моя Жанка.

— А если задуматься, мне не так и много лет. И тебе тоже. В этом возрасте в Америке только-только заводят семью. Представь: мы бы все могли начать заново. Как будто ничего и не было — никаких неудачных попыток, никакой усталости и старых обид. А почему ты никого не нашел себе после меня?

— Это очень ранило бы Данечку. Он долго верил, что ты прилетишь через месяц или два. От силы три или четыре. Через год он решил, что нужно быть мужчиной и перестать ныть. Через два он научился любить тебя на расстоянии, любить твой голос в телефонной трубке. А через четыре стал снова плакать по ночам. Спустя еще год он будет любить свои мысли о тебе. Лет через десять он начнет забывать твой голос, через

¹ «Ибо прах ты и в прах возвратишься» (англ.), Genesis 3:19.

пятнадцать осознает, какую боль ты ему причинила. А через двадцать лет он тебя простит. Не потому, что любит. А потому, что все прошло.

— Хватит! Это ты мне так нож в самое сердце всадить хочешь.

— В твоём сердце уже дыра. И без ножа.

— Ты не обижаешь Данечку?

— С чего бы? Я хороший отец: еду приготовлю, уроки проверю.

— Ингуля однажды рассказала, как Сандрик сбежал из дома. Ему было столько же, сколько Дане сейчас. И представляешь, он сбежал из дома!

— Я даже не знал. Как это случилось?

— У Сандрика была копилка. Ну знаешь, такие — без ключей и пробок, их нужно только разбивать, чтобы деньги достать. Он копил два года. Каждый день Ингуля давала ему мелочи, и он радостно закидывал их в копилку. Маленькие детские радости — накопить и потратить. Он мечтал об игровой приставке, кажется. Через два года копилка была уже почти полной, но Сандрик решил: он разобьёт ее, только когда в нее не влезет очередная копейка. Этот день настал. Сандрик вернулся из школы, достал из кармана мелочь, которую сэкономил, оставшись без булки в буфете. Разулся и побежал в залу. Не вся мелочь влезла. Он тогда в спешке умылся, чтобы приняться за еду, а потом разбить копилку. И вот он сидел за кухонным столом, доедал, пока отец с матерью спорили в зале. Ему было не привыкать, да и плохие мысли вытеснило предвкушением. И вдруг он услышал, как что-то в зале разбилось о пол и зазвенело. В тот день Сандрик убежал из дома, а Инга обзвонила весь район в поисках ребенка. Миша не работал вот уже полгода и совсем не переживал, что дома не останется денег на еду. Он давно строил планы по поводу копилки Сандрика. Это были деньги на черный день, неважно, что там ребенок напридумал и запланировал в своей голове. А разбив ее, Миша пытался убедить сына, что все это ради семьи и что эгоизм здесь совершенно не к месту.

— Я не думаю, что Миша сделал это назло.

— Конечно нет. Но он умел расслабиться, зная, что на крайний случай есть «план б», даже если этот поступок причинит боль другим, — Жанна закрыла глаза и коснулась рукой лба, по которому потекли очередные капли пота. — Мне часто снится, как Данечка ходит в школу. И я все время стою через дорогу и смотрю. Иногда я стою совсем рядом, бок о бок. Но он меня не замечает. Или я сопровождаю его в школу. Но он все равно меня не видит. Его никто не обижает в школе?

— Он — пацан. Справится, — скупое ответил Серж и всверлил глаза в асфальт далеко внизу.

— А как твоя старая травма?

— Ходить могу, — еще скупее отозвался Серж и отвернулся.

— Помнишь, как ты переживал, когда понял, что больше никогда не сможешь выступать? А помнишь тот самый день травмы? Ты посвящал это сальто мне. Думаешь, это был дурной знак?

— О чем ты? Что за знак?

— Ну разве тебя не насторожило, что посвященный мне трюк окончился печально? Разве это не знак, что у нас ничего не получится?

— А ты думаешь, что счастье в исходе? Что все ради этого самого исхода?

— А что у нас было по пути к концу? Ну скажи, что?

— Было. Вспомни. Было! — Серж отпил остаток водки из рюмки и, замахнувшись, выкинул ее за балкон. Рюмка разбилась, и несколько кошек рвануло из углов прочь.

Балкон закачался, и Серж не сразу понял, что началось землетрясение. Они прижались к стене дома, а качка продолжилась. Серж схватился за ручку балконной двери и дернул ее. Она не открывалась.

— Опять, сука. В последние месяцы заедает.

Землетрясение тем временем медленно сошло на нет.

— Нужно все равно к ребенку. Вдруг он испугался, — Серж несколько раз ударил коленом о дверь и выбил ее.

— Лусинда должна отвести меня в ванную, Серж, — Жанна прижалась к перекладине балкона.

— Так ты заходишь? — Серж держал дверь открытой и ждал.

— Иди к ребенку, а мне нужно в ванную. Уже все, Сержик.

— А Данечка? Он же в спальне...

— Я падаю. Больше не могу. Иди. Все.

* * *

— Серж? — Жанна в спешке собрала сумку и перекинула ее через плечо. — Ты скоро? Я уже в прихожей. Надеваю туфли.

— Иду! — Серж выбежал из спальни и, расчесывая по дороге волосы, добежал и встал перед Жанной, как вкопанный.

— Все не так делаешь. Дай расческу. Что, волнуешься, что ли?

За окном зарядил летний дождь. Серж улыбнулся своей сияющей, немного наивной улыбкой.

— Даже не верится, что мы вместе. Ты и я.

— Это потому, что ты — такой невероятный Серж, а я — простая Жанка?

— Ты напрашиваешься на комплимент. Чтобы я все опровергал.

— Ну так чего ты ждешь? — Жанна приложила ладони к горящим щекам Сержа.

— Сегодняшнее маховое сальто я посвящаю тебе.

— Ты только не перестарайся. Я видела сон, и он... не очень. Как будто я режу твои брюки в клетку. Представляешь? Режу твои цирковые брюки! Я! Своими руками.

Григорий Князев

И прадедушка Ной — за спиной

* * *

Губами шевелит в воде кристальной рыба,
Как будто говорит Создателю: «Спасибо
За эти жабры, за
Глубокие глаза!»

Всё дышит, всё поет — от хрипа и до гула.
И, если нападёт тигровая акула,
То чудом синий кит
Спасёт и защитит...

И я дышу, пою и верю в свет пока что,
В мир птиц, зверей и рыб родившийся однажды,
Чтобы сказать: «Люблю!» —
Шиповнику, шмелю,

Чтоб, более того, стать зеркалом Вселенной,
Многоколенной и, казалось бы, нетленной,
Творца благодаря
За то, что всё не зря!

* * *

На вокзале сидя, в аэропорту,
Перед очередным отъездом-отлётом,
Провожу я некоторую черту,
Не зная, как за горизонтом и что там...

Здесь — слепая зона, контрольный рубеж.
В долгий путь до часа заветного, и от
Себя же прежнего — к иному себе ж:
Вдруг закончился жизни целый период.

Князев Григорий Юрьевич — поэт. Родился в 1990 году в Великом Новгороде. Окончил филологический факультет Новгородского университета. Автор шести книг стихов, в том числе — «Дитя печали» (2014) и «Между небом и землёй» (2017). Живет в Великом Новгороде.

Страшно прыгнуть в Мир, свой оставив мирок,
 Есть две темы всего — дома и дороги,
 От семейных саг — шаг один за порог.
 Живём — строим планы, подводим итоги.

Я ещё не сел в поезд ли, в самолёт,
 Я ещё, застопорившийся, на месте.
 Мне грядущая жизнь письма счастья шлёт,
 Мне минувшая жизнь шлёт грустные вести...

Разминувшись с собой, гляжу себе вслед,
 Где Земля — это станция пересадки,
 Но не у каждого — обратный билет...
 Дрожим — на взлёте, хлопаем — при посадке!

Лишь бы летали самолёты, шли поезда,
 Пробиваясь сквозь тучи, сквозь дикую местность,
 Лишь тропа была б, не вела б в никуда —
 Из ниоткуда, в полнейшую неизвестность!

* * *

Средь цветущего пёстрого луга	Целый космос, творимый в экстазе, —
Тесно карандашу,	Полной рифме сродни.
Не моя перед миром заслуга,	
Что с натуры пишу.	Получив приглашение на праздник
	Всех огней, всех цветов,
Потому ли вторичен, что вторю	Я, горячей любви соучастник,
Энергичным лесам,	Петь и плакать готов,
Небесам, что всё тянутся к морю?	
Вне Творца кто я сам?	И не надо ни хлеба, ни зрелищ,
	Даже авторских прав,
Бесконечные, вечные связи,	Если мудрость и музыку делишь
Наши ночи и дни,	С книгой дышащих трав!

Преображение

Время — не сонно и не мертво,
 Глянь же на лес, озарённый закатом! —
 Стало живым существом вещество,
 Стал многомерной молекулой атом,

Как государство построив, как дом,
 Вдруг из объёмной решётки кристалла
 Чудом великим, огромным трудом
 Нервною клеткой молекула стала —

Тайна, которую не прояснить
 Мифом библейским ли, пылью ли звёздной.
 Рядом друг друга готовы теснить
 Хоть и родные, но разные сосны,

Ели вплотную, в обнимку растут —
Держатся крепко они у оврага...
Что б ни творилось, ни мыслилось тут,
Всё на земле и на небе — во благо,

Ибо имеет движение цель,
И, концентрируя взгляд наш и опыт,
Преображает — в начале, в конце ль —
Мир в монумент ли, в молитвенный шёпот...

Лето стремится к вершине своей,
Жизнь достигает расцвета и пика.
Дух, то тревожно, то радостно вей,
Зрей, земляника, черника, брусника!

Зрей, и душа моя, дабы прозреть,
Выйдя из тесного лона традиций —
В новое виденье, а умереть —
Значит для главного чуда родиться!

* * *

Жизнь спустя стали мной мои предки —
Нерушим наш незримый союз!
Как же так: обновляются клетки,
Но, меняясь, собой остаюсь?!

И в семнадцать, и в семьдесят, Боже,
Тайну рода земного храня,
Лица, чем-то похожие множа,
Что же делает мною — меня?

Только есть ли без примесей, чистый
В человеке его человек? —
Как сентябрь, стеклянно-лучистый,
Как октябрь, что помнит про снег...

На Земле притяженьем удержан,
До последнего срока храним,
Движет мной некий внутренний стержень —
Ну, а дальше куда же мне с ним?

То пружинка, то ниточка — время,
Оболочка пространства туга.
В этой наитончайшей системе
Разомкнулись души берега, —

И, когда они снова сойдутся,
Знать, тогда и шагну в мир иной...
А пока — стол накрыт, чай из блюда,
И прадедушка Ной — за спиной.

Алина Гатина

Повесть и другие рассказы

Душа и пустыня

Повесть

Нас было пятеро: Бабичи-неразлучные, Зафар, Вадик Кричевский и я.

Это не главное, но с этого лучше начать.

Я знаю, что все это придумал Вадик Кричевский, а Зафар был его другом. Бабичи-неразлучные — друзья их обоих, а все вместе мы — одноклассники.

Вадик позвонил мне в мае:

— Угадай, что художнику хорошо, а менеджеру смерть?

— Смерть — это тоже выход.

— Я слышу глас прозрения. Ты убедилась, что искусство — это тупик?

— Да, — сказала я.

— И осознала собственную ничтожность?

— Осознала.

— Отлично. Именно такая ты нам и нужна, ибо путешествие к истокам требует полного обнуления.

— Вадик, я работаю. Перезвони мне в августе.

— Ну-ну-ну. Разошлась. Бабичи сказали, ты уволилась.

— Бабичи врут. Я никуда и не устраивалась.

— Вот и умница. Хоть ты не будь как все. Не вздумай продаваться графику.

Сопровствляйся.

— Я сопровствляюсь. Но мне правда некогда.

Времени у меня был вагон, но с Вадиком иначе было нельзя.

— Ладно, буду краток. Ты не забыла про Бабичей-великолепных?

— Помню, конечно.

— В этом году они решили отмечать не дома.

— А где?

— На Искандеркуле¹.

— Где это?

Вадик замолчал. Потом спросил:

— С тобой точно все хорошо?

Гатина Алина Станиславовна родилась в Чимкенте в 1984 году. Окончила Казахский национальный университет им. Аль-Фараби и Литинститут им. А.М.Горького (2018; семинар Олега Павлова). Лауреат литературной премии «Алтын Тобылғы» (Фонд Первого Президента РК) за повесть «Саван. Второе дыхание». Первая публикация в России. Живет в Алма-Ате.

¹ Искандеркуль — озеро в Таджикистане, названное в честь Александра Македонского.

- Со мной все плохо, но что это меняет?
- В общем, мы все едем туда. Я, Бабичи-новорожденные, Зафар и ты.
- Я никуда не поеду.
- Ладно. Но билет мы тебе заказали.
- Я не поеду, — сказала я снова, но в трубке уже раздавались гудки.

Вадик — сын академика. Зафар — дипломат. Бабичи-неразлучные — муж и жена. Я... как бы художник. Вроде бы художник. Во всяком случае, так обо мне думают. А больше мне назваться нечем. Все вместе мы — беженцы. Такой у нас статус с пятого класса.

На следующий день я иду в издательство, чтобы забрать гонорар. В коридоре никого. Ни дыма, ни людей.

— Деньги будут, только не сразу, — у моего редактора испуганное лицо. — Нас продали, — шепчет она. — Все так не вовремя, да?

— Но кто-то же вас купил, — говорю я.

Меня не очень волнует их дальнейшая судьба. Книги, которые я иллюстрирую последние два года, мне не нравятся. Это развивающая литература для детей от пяти до восьми лет. Они почему-то утверждают самые ужасные эскизы из тех, что им предлагаю я. Это плохо нарисованные малыши. Зубастые рахитичные существа. Наверное, они должны веселить настоящих детей. Наверное, они их веселят. А меня они злят. Я рисую их в последнюю очередь, почти с закрытыми глазами — просто чтобы папка с вариантами выглядела потолще. Но когда несую ее на обсуждение, выбирают именно их.

В кабинете без умолку звонит телефон. Еще один надрывается в ее кармане. Она достает его, близоруко изучает надписи на экране и прячет обратно.

— И главное, что говорить авторам? Ума не приложу.

— А художникам... иллюстраторам? — спрашиваю я. — Они, между прочим, тоже авторы.

— Ну, конечно-конечно. Но вы же все понимаете.

Я понимаю другое. Мне тридцать три, у меня ни разу не было персональной выставки, и я ненавижу развивающую литературу.

— Ну какая ты глупая, — говорили мне Бабичи. — Представь, когда Андрюша начнет читать...

— А сколько Андрюше? — спрашивал Вадик Кричевский.

— Четыре.

— А разве уже не пора?

— Ну нет. Он же маленький, — говорили Бабичи. — Представь, — продолжали они, — вот он возьмет свою первую книжку, а там твои рисунки. И мы с гордостью скажем ему, что это для него рисовала тетя...

— Бедный ребенок, — перебил их Вадик. — Вы что, подсунете ему этот хоррор? И кстати, на будущее: делайте что хотите, но чтобы никаких «дядя Вадик».

— Бабичи, вы зачем это купили?

— Мы же гордимся тобой, нам приятно, что здесь твое имя. Вот, — они открыли книгу с конца и по очереди погладили мою фамилию. — Подпиши. А второй экземпляр для Андрюши.

Редактор сидит за столом перед кипой бумаг и смотрит сквозь нее, и сквозь стол, и сквозь затертый паркет своего кабинета. Смотрит как человек, оставшийся без крыши над головой. Она похожа на Марию Степановну — нашу первую учительницу, которая на самом деле осталась без крыши над головой. И без земли под ногами. И все же, стоя на ней, точно на раскаленных угольках, она переваливалась с пяток на носки, с носков на пятки и затравленным шепотом гнала нас по домам. И это было жестоко, потому что место ребенка — на улице. Тем более, когда на ней полно гильз — и можно набивать ими карманы, а если встать пораньше, опередить в этом даже Вадика

Кричевского. А потом выменять их у него же на мячи для пинг-понга или коллекцию фантиков от «Турбо», или на крашенные зеленкой и йодом бараньи суставы — альчики. Но это на самый худой конец.

Я сижу напротив, смотрю на нее и завидую. Мне тоже хочется любить свою работу. Мне хочется бояться ее потерять. Мне хочется взять ее за руку, пожалеть ее и себя, оттого что все рушится. Но я ничего не чувствую. Я думаю о том, зачем они решили ехать на Искандеркуль. И даю ей конфету.

Она начинает кивать. Кивает и кивает, и берет конфету. Потом долго смотрит сквозь меня, и сквозь стену, и сквозь улицу. Потом снова на меня. Потом торжественно — как будто мне, а на самом деле себе — говорит:

— Я обязательно вам позвоню. Не вешайте нос, — встает и протягивает мне руку: — Вот увидите, мы еще поработаем вместе.

Это трогательно, сентиментально и очень пугающе. Это ужасная перспектива. Я жму ей руку и понимаю, что больше никогда сюда не приду.

Вечером позвонили Бабичи. Говорили они, как всегда, по громкой связи, перебивая друг друга. И это очень сбивало с толку.

— Ну как? Уже собираешься?

— Нет, — ответила я. — Вы что, серьезно туда поедете?

— Не вы, а мы. Ты разве не в курсе?

— Я в курсе, что вас потянуло к первоисточкам. Но я никуда не хочу.

— Ну, во-первых, не нас, а Кричевского. А во-вторых, идея-то отличная. Только представь, какие там виды! Какие типажи! Тебе как художнику это должно быть интересно.

Вадик Кричевский все время чего-то искал. И, по-моему, никогда не находил.

Месяцами он жил в Европе и Америке, потом вдруг появлялся в Москве — обычно в то время, когда Зафар приезжал в отпуск. Мы встречались у Бабичей, наговаривались так, что нас начинало тошнить друг от друга, и снова разъезжались.

В апреле на чьем-то дне рождения он познакомился с женщиной. Тоже беженкой. Она узнала, откуда он родом, сказала, что хочет, да нет — мечтает найти отца. «Живого или мертвого», — сказал нам Вадик. Но видела сон, что он жив и живет где-то на Искандеркуле.

— Номер дома ей не приснился? — спросили Бабичи.

— Да нет, видела сон, что жив, а что на Искандеркуле — ей кто-то рассказал. Да в общем, вам не все равно?

Вадик пообещал ей, что найдет этого человека. И нужно ехать в Душанбе, а оттуда через Анзобский перевал — к Фанским горам, к Искандеркулю и Саратугу.

— Вадик, женись, — сказал ему Бабич.

— Не могу. Я анархист, а семья — это все же порядок.

— Ты кандидатскую защитил, — Бабич хлопала его по плечу. — К порядку тебе не привыкать.

— Это был подарок отцу, — засмеялся Вадик. — Я не помню оттуда ни слова.

— А что помнишь?

— Что перед ним я до сих пор ребенок.

В конце мая мы летим в Душанбе. Это хорошее время для любых направлений. Май — лучший месяц в году.

За день до отъезда я стучусь к соседу. Его зовут то ли Алексей Николаевич, то ли Николай Алексеевич. Я все время забываю порядок. Его имя записано на листке, приклеенном к зеркалу в моей прихожей, с пометкой «ирландский волкодав». Время от времени мы оказываем друг другу какие-то услуги: когда уезжает он, я гуляю с его собакой. Мне нравится, что люди иногда останавливаются шагах в десяти от меня и

кричат: «Это что за порода?» И я испытываю детскую гордость. Если бы такое происходило со мной в детстве, мне кажется, я выросла бы немного другим человеком.

Его зовут Штиль, и он хорошо ко мне относится. По-моему, это самая добрая порода на свете. С хозяином они на одно лицо. Иногда я захожу в квартиру и говорю ему: «Привет, Николай Алексеевич!» — и мы идем гулять по Краснопролетарской. А иногда говорю: «До завтра, Алексей Николаевич!» А бывает, что завожу его домой после прогулки и говорю: «Подожди, я скоро вернусь». И он стоит и ждет. Я знаю, что ждет он Алексея Николаевича (или Николая Алексеевича), но выглядит так, будто ждет меня. И я возвращаюсь с альбомом и карандашами и рисую его с натуры.

Как натурщик он очень удобный, может часами лежать на одном месте. Размером с минихорса, но хлопот доставляет меньше, чем любая маленькая собачка.

У меня целый альбом его эскизов. Я показывала редактору — в детских книжках часто приходится рисовать собак. Даже придумала цикл историй про Штиля. Не очень поучительных, но очень интересных. В них Штиль был говорящим псом, и в каждой истории с ним что-то случалось. Но редактор сказала, что придумывать истории — это дело авторов, а мое — придумывать картинки. Штиля она забрала. Сказала, что он неопрятный, и в нем нарушены какие-то пропорции.

Осенью я написала его маслом. У меня оставался большой холст, которому не нашлось применения. Я хотела подарить картину соседу, но ее увидел Вадик Кричевский, и до зимы я не знала покоя. Он звонил мне через день и каждый раз то просил, то требовал, то умолял продать картину ему. Я сказала, что не продам ни за какие деньги, потому что писала ее для соседа. Он сказал, что я ничего не понимаю в искусстве, потому что ничего не понимаю в жертве. Или наоборот. Еще сказал, что отец его безуспешно любит одну неприступную филологическую даму, которая держит сразу двух ирландцев, и если он подарит ей третьего, может, тогда... Я сказала, что это даже не ее собака, и написана она в интерьере чужой квартиры. А он сказал, что это неважно: все ирландские волкодавы на одно лицо, все интерьеры филологов тоже. Я сказала, что мой сосед не филолог, а пенсионер, а он ответил, что это тоже — одно и то же.

Я оставляю соседу ключи и прошу поливать цветы и навещать кошку. Ни кошки, ни цветов я не держу. Это просто наша общая присказка. Он спрашивает меня, куда я еду. Я говорю ему, куда.

— Сумасшедшие! — добродушно восклицает он. — Все едут оттуда, а вы — туда.

— Потому что я оттуда, — отвечаю я.

Но еду я не поэтому.

Еду я потому, что, если в жизни ты ноль, нужна какая-то авантюра, чтобы не впасть в депрессию. Это была моя формула выхода из тупика. Но заводила она в еще больший тупик. И тут мне понадобился Слава Иванович.

Он был цельный, заполненный снизу доверху человек. Заполненный тем, что у Платонова зовется веществом жизни. Мне нравилось разговаривать с ним и слушать, как в сентябре он с Надей и тремя детьми едет в Японию, а зимой — на Азорские острова. Весной — в Новую Зеландию, а летом к Тихому океану. На поезде. И всё впятером.

Разговаривая с ним, я начинала задавать себе вопросы — так он действовал на меня, и после этого ответы приходили сами собой. Наверное, потому что мы всегда общались на какой-то дистанции: мы были больше, чем просто знакомые, но никогда не были друзьями. Это то, чего мне всегда не хватало с Бабирами-неразлучными и с Вадиком Кричевским. Вся суть нашей дружбы сводилась примерно к следующему: я знаю тебя как облупленную, потому что знаю тебя с пяти лет; мы приехали из одной ГТ¹, и это то, что связывает нас до конца жизни.

¹ ГТ — горячая точка.

«И вообще, — сказали Бабичи после того, как мы не виделись больше полугода, — почитай-ка ты “Маленького принца” и больше не пропадай так надолго».

Но мне не нравится «Маленький принц». Точнее, нравится до того момента, пока не появляется Лис и не произносит то, что любят говорить мне Бабичи и еще двое-трое институтских друзей. Про то, что мы навсегда в ответе за всех, кого приручили. И если бы Лис замолчал после фразы «зорко одно лишь сердце», это была бы другая сказка. И я бы любила ее безо всяких «но». Но. Когда о них заговаривает Лис, во мне заговаривает какой-то голос и хочет убедить в том, что настоящая дружба и настоящее родство возможны только с самим собой. И почти убеждает.

— Депрессия — это ведь не плохое настроение, — говорит мне Слава Иванович. — Депрессия — это пустота. Это не выход, но это нормально, что вы хотите заполнить ее хотя бы таким способом. Все лучше, чем пить лекарства.

— Странно слышать такое от доктора, — говорю я.

— Хороший доктор видит чуть дальше.

Мы заходим в кондитерский магазин на Новокузнецкой и набираем по мешку весовых конфет. Десятки лотков, у которых нет ни продавцов, ни консультантов. Ни одного посредника между тобой и тем, чем ты наполняешь свою корзину. Мы проводим там не меньше часа, пока в глазах не начинает рябить от пестроты этикеток — синих балерин, красных маков, желтых верблюдов, розовых медведей — и голова не идет кругом от пряных кондитерских запахов.

На воздухе я понимаю, что мне не нужны эти конфеты. В каждой руке килограмма по два. А вечер так красив, и так осторожен неяркий свет фонарей, которые словно бы не решаются гореть в полную силу в долгих московских сумерках, что его сложно описывать. Мне проще было бы изобразить его красками, но я часто поступаю именно так, и вот уже вместо майских прогулок налегке — килограммы ненужных конфет, а вместо начатых и законченных картин — иллюстрации в детские книги.

В самолете Вадик спросил, не хотят ли Бабичи разлучиться на время полета. Ответ был очевиден, но Бабич-муж почему-то решил пояснить. Он сказал, что если самолет начнет падать, ему бы не хотелось терять драгоценное время, чтобы добраться до жены и взять ее за руку.

Бабичей мы поженили в шесть лет. Их посадили вместе, потому что... Я не помню, почему их посадили вместе. Но с тех пор они всегда вместе. Мы поняли, что и такое бывает, когда они поженились на самом деле. Когда Вадик услышал о свадьбе, он сказал, что они ненормальные, потому что нельзя столько лет подряд жить с одним и тем же человеком, но на свадьбу все-таки поехал. Я тоже поехала. И еще Зафар.

В аэропорту Душанбе мы берем бледно-зеленый опель. Зафар садится за руль, Вадик — рядом. Мы с Бабичами располагаемся сзади. Я сижу посередине из-за выступа, который помешал бы длинным ногам одного из них, и они равномерно говорят мне в оба уха. Мне тесно и жарко — и можно думать об этом, и о дороге по центру лобового стекла, и не думать о выставке друзей-одноклассников, в которой нет моих работ.

Вдоль всех дорог — огромные белоствольные деревья. Здесь их зовут чинарами, а не здесь — платанами. И это единственное, что осталось в памяти от того Душанбе, из которого мы бежали.

— Надо заехать в школу, — оживленно говорит Вадик Кричевский. Он вертится на сиденье, как уж на сковородке, и крутит головой по сторонам.

— Не надо, — говорит Зафар. — Дорога сложная, времени мало.

Вадик поворачивается к нам.

— По несчастью или к счастью, — говорит Бабич-муж.

— Истина проста, — вторит Бабич-жена.

— Никогда не возвращайся в прежние места, — говорит Вадик.

— Мы — за, — голосуют Бабики.

— Я против, — твержу я.

— Даже если пепелище выглядит вполне? — спрашивает Вадик.

— Дорога сложная, времени мало, — говорит Зафар.

А Вадик говорит, что по закону города двое против трех — должны сами все понимать. Зафар говорит, что, во-первых, здесь, как и в большинстве стран, где он служил дипломатом, закон джунглей, а во-вторых, два голоса Бабики равняются одному, и так как вырисовывается ничья, решает тот, кто за рулем.

Каждый из нас сменил четыре, а то и пять школ. После третьей я перестала запоминать учителей. Но Марью Степановну помню до сих пор. Несколько раз даже видела ее во сне. Высокую, худую, в больших очках в черепашной оправе. Наверное, тогда ей было столько же, сколько сейчас нам. Но я не чувствую себя ее ровесницей. Как Вадик Кричевский видит себя ребенком рядом с отцом, так я до сих пор вижу себя ребенком рядом с ней. Я вижу, как она взбирается на подножку грузовика, заглядывает в кабину и спрашивает, успела ли я сдать книги.

Про войну мы поняли то, что и должны были понять. Война — это свобода. Война отменила рабство школы, она лишила нас принадлежности к сословию учеников. Мы все еще оставались детьми своим родителям и друзьями друг другу, но как сословие перестали существовать. И мы не знали, что с этим делать. И мы стали как пьяные.

Очень быстро одно рабство заменилось другим — нас заставили сидеть в квартирах. И трезвея в тишине комнат, мы хотели вернуть свое прошлое.

А потом все побежали. И когда уезжали первые машины с чемоданами и людьми, это было событием, а потом стало декорацией. И мы уже не успевали прощаться и записывать адреса. Мы стали не важны друг другу. Важными были только грузовики. И сколько свободных мест будет в ближайшем. И поедешь ты в кузове или в кабине.

Первым, как ни странно, уехал Зафар. Я помню, как мы прощались. Тогда еще люди свободно разгуливали по городу — это было самое начало всего. Но в каждом дне наступали какие-то особые часы затишья, когда все улицы рядом со школой принадлежали только нам.

Комендантского часа тогда и в помине не было, и даже слово «война» еще никто не произносил. Да и не было никакой войны — вот так, чтобы мы понимали, глядя на нее: это война, и она идет, как понимали, глядя на небо и землю: это небо, а это земля.

Ничего не шло. Мы спрашивали друг у друга, почему так тихо, и самый подкованный среди нас Вадик сказал: «Потому что одни воюют, а другие собирают вещи. А потом тех, кто воюет, убьют, и тогда все начнут разбирать вещи. А шумно станет, если опять разрешат школу».

У подъезда Зафара было много людей и несколько черных машин. Вещей на земле не было никаких, мы успели под самый конец. Зафар сидел на скамейке, спиной к нам, и Вадик бросил в него косточкой от урюка. И я помню, как он повернулся и улыбнулся. И минуту назад он сделал точно так же — повернулся и улыбнулся той самой улыбкой, и сказал Бабичам, что если бы мы никуда не уехали, они бы женились «вон в том ЗАГСе», а потом бы фотографировались «вон у того монумента Сомони»¹.

В тот же момент отец позвал Зафара, и мы по очереди обнялись. И мне бы хотелось вспомнить, что мы говорили друг другу. Обычно это были какие-то торопливые слова и обещания — мы много их произнесли потом, в первые недели массовых отъездов, но из нашего первого прощания я не помню ни слова. Я только помню, что Зафар стоял, будто виноватый, и ничего не говорил. Потом подошел отец и, положив

¹ Исмаил Самани (*тадж. Сомони*) из династии Саманидов — основатель первого таджикского государства.

ему руки на плечи, увел; и Вадик Кричевский, когда рассеялась пыль от министерской машины, сказал:

— Наверное, я буду следующим.

Но следующим был Бабич. И это было самое невыносимое для нее. Мы с Вадиком даже отошли подальше и сели под старый платан. Ему было лет двести, не меньше — до того он раздался вширь. Весь ствол его был в зарубках и надписях, и чтобы не мешать Бабичам, мы царапали на нем свои имена и имена Бабичей, и еще какую-то ерунду про вечную дружбу.

— Кто бы обо мне так плакал, — сказал Вадик и толкнул меня в бок. — Может, ты?

— Я уеду раньше, — ответила я. — Попроси Марью Степановну.

— Я книги не сдал. Мне лучше ей не попадаться.

Следующей уезжала будущая Бабич. Она была счастливая. Она была такая счастливая, что описать это было нельзя, на это нужно было смотреть. И Марья Степановна, провожая ее, сказала:

— Вот так и надо, Тамара. Вот так уезжают в новую жизнь.

Потом пришла моя очередь, но с Вадиком мы больше не виделись. В Душанбе объявили комендантский час, и мы все время сидели по домам. Я позвонила ему накануне, но никто не ответил, а на следующий день телефон перестал работать. И это было так же невыносимо, как видеть прощание Бабичей. Но мы вынесли все. И прожили свои десять с лишним, и встретились у них на свадьбе. С тех пор мы каждый раз встречаемся на их годовщину. И иногда мне кажется, что этот ритуал слишком затянулся. Что мы при них как атрибуты их прошлого, а они при нас как атрибуты нашего.

Наконец мы выезжаем из города, и все, что было забыто, сваливается на нас в одночасье. Дорога превращается в узкую полосу между синих и фиолетовых гор, машина идет тяжело, петляет по серпантину, поднимаясь все выше и выше. Радио захлебывается шипением, голос Вадика теряется в порывах ветра, и Бабичи, отстраняясь от меня, прилипают к окнам. Цветные ковры сменяются каменистыми скалами, шумно бегут сдавленные ущельем потоки, блестят ледники, рушатся водопады, мы заезжаем в тоннели и обгоняем звуки и солнце, оттуда выныриваем на свет, потом снова проваливаемся в темноту. От давления и высоты у нас закладывает уши, а от крутых поворотов и пропасти по обе стороны от дороги перехватывает дыхание. Вадик что-то кричит про ограждения и тычет пальцем в обрывы, затем вытаскивает из окна руку, и я смотрю, как ткань рубашки, соединенная вокруг его локтя невидимыми стежками, рвется, чтобы лететь, и летит на месте. Зафар смеется и держится за руль обеими руками, но смех его не слышен, и больше уже не слышен крик Вадика. Потом Бабичи обнимают меня с обеих сторон, и я засыпаю.

Сквозь сон до меня доносятся какие-то слова. Они звучат громче, когда мы заезжаем в тоннели, и пропадают, когда выезжаем наружу. В полузабытии я вижу стада козлов и баранов, которые растекаются по дороге, как бурая лава. Они заглядывают в окна, отстраненно смотрят на нас и задевают друг друга рогами. По дальним горам, изрезанным серпантинами, осторожно плетутся грузовики. Размером они с небольших жуков — и это готовая иллюстрация к айтматовскому «Топольку в красной косынке». Меня болтает то вправо, то влево, и я слышу, как Зафар рассказывает про пустыню, что там, куда ни глянь, повсюду песок, и мне хочется сказать им, что здесь, куда ни глянь, повсюду Бабичи, и мне кажется это очень смешным, но я не могу пошевелить языком.

Я не знаю, сколько проходит времени, но ветер пропадает, и я слышу, как Вадик Кричевский говорит, что жизнь меньше смерти, потому что в слове «жизнь» пять букв, а в слове «смерть» шесть. А кто-то из Бабичей говорит, что мягкий знак не буква.

- Все равно. Он и там и там, — говорит Вадик.
- В английском так же, — говорит Зафар.
- Английский не в счет.
- И это я слышу от человека, который читает Шекспира в оригинале.
- Да, но плачу-то я от Гаршина.

Я уверена, что, услышав это, Зафар улыбается. Зафар никогда не ухмыляется, даже участвуя в споре. Особенно, если этот спор — с Вадиком.

— Да, я травлю в себе европейца Лесковым. Я не знаю, что значит быть русским до мозга костей, но когда мне исполнилось тридцать, я задохнулся в Европе. А ты? Разве в Фанских горах ты не чувствуешь себя дома?

— У дипломата нет дома, — говорит Зафар.

— Этим ты и слаб. А где твоя Персия, сынок? Сдал Горбачёв твою Персию американцам, шоб тусоваться красиво.

— Поехали, Балобанов, — смеются Бабичи.

Они спрашивают меня, хочу ли я в туалет, но я никуда не хочу и прошу их укрыть меня чем-нибудь. И они укрывают.

Снаружи Зафар разминает спину и ноги, рядом с ним Вадик, лицом к обрыву, жуёт какой-то цветок. Потом они садятся в машину, и мы снова едем.

Солнце полосками бежит по моему лицу, и полчища огненно-черных бабочек трепыхаются под закрытыми веками.

Я просыпаюсь в пустой машине и не вижу дороги. В лобовом стекле — крышка задранного капота и рваные клубы серого дыма. Рядом, на красном валуне, неровная надпись «Искандеркуль» со стрелкой вниз.

Я выбираюсь из машины на занемевших ногах, сажусь на валун и смотрю, как Вадик фотографирует Бабичей, а потом Зафара, потом Бабичи фотографируют их; потом они машут мне и кричат, чтобы я улыбалась, и я улыбаюсь, и сзади меня, далеко внизу, огромная голубая капля. И этот снимок, который дарят мне Бабичи в Москве, после того, как мы возвращаемся, ничего не передает. И я понимаю, почему я плохой художник. Сделать первый мазок для меня так же страшно, как склониться над бездной, где глубокое бирюзовое озеро — всего лишь неровная синяя капля.

Вечером Вадик спрашивает меня:

— В чем твоя проблема?

На озере холодно. И мы разводим костер прямо на берегу.

И я говорю, что в трусости. И говорю, что в сытости.

Бабичи соглашаются со мной. Они твердят, что трусость и сытость не дают сделаться художником по-настоящему.

И Вадик советует мне быть смелее, а Бабичи советуют переехать в Химки. Зафар ничего не советует, он дает мне печеную картошку.

— Мазок на холсте — это приведение будущего к знаменателю настоящего, — говорит Вадик. — Пока ты его не сделаешь, твое будущее никогда не наступит. И квартира тут ни при чем, — говорит он Бабичам, — это бред — верить в то, что художник должен быть голодным.

— Никто не должен быть голодным, — говорит Зафар и достает из костра еще несколько картофелин.

— За десять лет это первая годовщина нашей свадьбы, которую мы отмечаем не дома, — говорит Бабич-муж.

— Отмечаем почти впроголодь, — смеется Бабич-жена.

— Ну и хорошо, — говорит Вадик. — Пора бы перестать делать одно и то же. Я вообще не понимаю, как вы терпите друг друга столько лет?

— Мы не терпим, — говорит Бабич-жена и серьезно смотрит на Вадика.

Повисает пауза. Потом Кричевский говорит:

— И все-таки здесь каждый достоин медали за храбрость и долготерпение. Вам,

Бабичи, друг за друга. Зафару — за то, что он не раздвоенный. Он дипломат на службе и в жизни. Тебе, — он смотрит на меня, — за то, что ты упорно идешь к своей цели и доказываешь всем, что никакой ты не художник.

Я вздрагиваю и вижу, как Бабичи перестают жевать, а Зафар поднимает глаза и смотрит на Вадика. Бабичи бросаются на мою защиту:

— Ну, это уж слишком, — возмущаются они. — Зафар, скажи ему.

— А что такое? — Вадик пожимает плечами. — Она ведь любит отпираться, когда ей говорят, что она художник. — Тут он подделывает мой голос и интонацию, изображая, как я отпираюсь: «Ой, ну какой я художник?», «Ой, спасибо, конечно, но не такой уж я художник».

— Не смешно, Кричевский, — говорит Бабич-жена. — Какая муха тебя укусила?

Вадик сдавленно смеется, закидывает руки за голову и громко вздыхает.

— Ну почему, почему, почему у нас никому ничего не скажи? Если я не могу сказать своим друзьям, что думаю, кому вообще могу? Ну хочется мне говорить с вами так. Вот хочется — и все, нет — сразу «какая муха тебя укусила?» Да никто меня не кусал. Я просто сказал, что хотел.

Он встает и поворачивается лицом к озеру. Силуэт его черный и неподвижный, как ствол молодого облетевшего платана.

Бабич-муж укутывает жену и тоже встает. Зафар поворачивается к ним.

— Ты нас за этим сюда притащил? — спрашивает Бабич.

— Ну почему «притащил»? Я предложил, вы согласились. Сидим на природе, жарим картошку. Будет тепло, искупаемся в озере.

— А как же твой старик? — спрашивает Бабич-жена, высвобождая руки из-под одеяла.

— Старик? — Вадик скрещивает на груди руки. — А, да, старик... Да не было никакого старика. То есть был, а может, и есть, только где его будешь искать?

Она одергивает одеяло и тоже встает.

— Так ты что, нас всех обманул? И женщину ты обманул?

Вадик раздраженно вздыхает.

— Да никого я не обманывал. Ну выслушал грустный рассказ, ну проявил участие. Ну поверил в какого-то безумного старика.

— Ты женщину обманул. Никогда бы не подумала, что ты способен на такое.

— А ты подумай. И вообще, — он поворачивается к ней и смотрит на нее изучающе: — Откуда ты знаешь, на что я способен, да и знаешь ли ты меня вообще? Ты, кроме мужа своего и Андрюши, кого-нибудь знаешь?

— А знаешь, чего мне жалко, Кричевский? А жалко мне, что здесь, кроме картошки, ничего нет. Мне жалко знать, что ты трезвый и говоришь все это на самом деле.

Бабичи забирают одеяло и уходят в дом.

Какое-то время мы молчим. Громко трещит костер. На небе полно звезд. Какие-то из них яркие и одиночные, какие-то рассыпаны в виде крошек или сверкающей пыли.

— Расскажи про старика, — прошу я Вадика.

Он смотрит на меня, как будто ждет, что сейчас я скажу что-то еще, но больше я ничего не говорю, и он рассказывает.

— Жил-был человек по имени Фарух, и было у него шестеро детей. Пятеро были девочки, а шестым родился сын. Человек не боялся работы и любил свое государство. Государство любило его и давало ему работу. Работал человек много, чтобы семья его жила хорошо. Ну, тогда все и у всех было хорошо. А лучше всех было у того человека, потому что шестым у него родился сын. Он катал его на большой машине, на которой работал, и покупал ему маленькие, чтобы он игрался.

Однажды он уехал на месяц и так заскучал по сыну, что, вернувшись из рейса, поехал не в гараж, а домой. Сын увидел его с балкона и закричал от радости. Человек

высунулся из кабины и помахал ему. Сын соскочил со стула и подбежал к матери, и мать сказала ему: «Беги, встречай!» Человек решил развернуть машину и начал сдавать назад как раз в тот момент, когда мальчик выбежал к нему.

Костер наш медленно гаснет, и у всего, что вокруг, появляется цвет. На черной глади озера дрожит лунная дорожка. У кромки воды — помертвевший и брошенный кем-то пучок оранжевых маков.

— Что было потом? — спрашиваю я.

— Потом был суд, и его оправдали. Потом был инсульт. Потом он лежал в больнице, потом вышел из больницы. Потом он ушел из дома. Вот, — Вадик достал из кармана фотографию, — его дочь дала. Тридцать три года назад. Сейчас ему около восьмидесяти, а может, девяносто.

— Ты думаешь, он жив?

— Она говорит, что жив.

— Ты пойдешь его искать? — спрашивает Зафар.

— Да где его искать? До Саратога километров десять. Это раз. А там он или не там — никто не знает. Это два.

— А зачем обещал?

— Это я вам сказал, что обещал. А ей я сказал, что поспрашиваю. Мне просто стало скучно. Везде. И я захотел приехать сюда.

Услышав это, Зафар встает, произносит «спокойной ночи» и уходит, не оглядываясь на Вадика.

— Спокойной ночи, — говорю я Вадиду.

Зафар провожает меня до двери и обещает прийти на мою выставку. «Если она будет», — говорю я ему. И он уверяет, что, конечно, будет. Если я этого захочу.

Утром мы с Бабичами идем на водопад. Они спрашивают меня, как я спала, и я говорю, что замерзла, но спала как убитая. А Бабич-жена говорит, что и она спала как убитая, потому что вчера ее убил Вадик Кричевский.

Когда мы возвращаемся, Вадик и Зафар разговаривают с таксистом. Я говорю, что поеду с ними, и сажусь в машину. Вадик зовет и Бабичей, но они отказываются и идут дальше. А Вадик держится за открытую дверь и смотрит им вслед.

В Саратоге Зафар подзывает мальчика лет десяти и спрашивает его по-таджикски, где живет старейшина.

Мальчик провожает нас к его дому. Зафар спрашивает, как его зовут и ходит ли он в школу. Мальчик говорит, что он Исмаил и, конечно, он ходит в школу. Я не слышала этот язык двадцать три года, но помню эти слова, как будто только что получила свою последнюю тройку по таджикскому.

Зафар расстегивает ветровку, достает из внутреннего кармана черную металлическую ручку и дарит ему.

— Ну ты даешь, — смеется Вадик. — Такими ручками подписывают бумаги. В обшитых деревом кабинетах. Такими не пишут в кишлачных школах.

— А вдруг он вырастет и будет подписывать бумаги. Чего тебе не хватает, — говорит Зафар, — так это веры в человека.

— Это «Монблан»? — смеется Вадик: — Я просто не разглядел.

— А чего в тебе много — так это лишних знаний, — улыбается Зафар.

Старейшина сидит на скамейке, прислоненной к стене дома. Внешне он ничем не отличается от других местных стариков: ичиги, чапан, тубетейка, пепельная борода. Он не спит, обе ладони его на ручке трости, будто он может подняться в любой момент, но глаза прикрыты, и по движению ткани видно, как глубоко и равномерно его дыхание.

Мы здороваемся с ним, и он рассматривает нас. Зафар переходит на таджикский, с полминуты они говорят. Потом старейшина поднимается, подходит к распахнутой двери — через нее видны тени от виноградника — и по одному пропускает нас во двор.

Двор тщательно выметен и полит, у летней кухни столпотворение молодых женщин. Пахнет жареным мясом. Вадик и Зафар уходят со старейшиной вглубь сада, я иду к женщинам и смотрю, как они готовят курутоб¹.

Курутоб мы готовили еще в начальной школе вместе с Лолой Рузиевной, учительницей по труду. Но это был цирк. Для настоящего курутоба у нас не было ни тандыра, ни деревянного блюда. Мы крошили купленную кем-то с вечера холодную лепешку в обыкновенную эмалированную тарелку, наспех обжаривали лук, размачивали высушенный творог, резали зелень, огурцы и помидоры, нарушали очередность, забывали про соль или добавляли ее слишком много, вместо сливочного или топленого масла нагревали подсолнечное, и если бы ученики Заратустры попробовали это блюдо — наверняка бы заплакали и выразились по-современному: мол, курутоб уже не тот. Но на этом столе все было так же, как сто, двести, а может, и тысячу лет назад.

Я сказала, что тоже хочу готовить, и попросила нож. Минут через пять принесли фатир — ту самую слоеную лепешку из тандыра, и резать овощи стало нелегко. Девушки заулыбались, забрали у меня нож, отломали от фатира золотистый горячий ободок и вручили мне.

Старик был здесь.

Мы сидим на топчане вместе со старейшиной. Обед закончен, и женщины уже унесли посуду. На столе остались только лепешки, фрукты и чай.

Он идет мимо нас, старейшина не окликает его. Мы жадно смотрим на него: на это легкое, худое и подвижное тело. Длинные белые волосы истончились от старости, но все еще вьются на концах. Грудь его вогнута, но движения быстрые и нескованные. Бесшумно, как тень, он скользит между деревьев, то скрываясь в листве, то появляясь снова. Мы подаемся вперед, как замороженные. Мне очень хочется разглядеть его лицо. Вадик в нетерпении поворачивается к старейшине.

— И все-таки, он ваш друг? Что вы знаете о нем? Вы знаете, что случилось с его сыном?

Старейшина смотрит на Зафара, и на его лице появляется что-то вроде усмешки.

— У него есть семья, — продолжает Вадик. — Если это он, то у него есть семья. У него большая семья. Потому мы здесь. Это ведь страшно — умирать в одиночестве.

Старейшина говорит с акцентом. Но говорит свободно. Медленно, прикрывая глаза после каждой фразы. Будто дает себе передышку.

— Вадим, — говорит он, — я настолько старый, что ничего не боюсь и ничему не удивляюсь. Все, что я умею сейчас, — это радоваться каким-то пустякам, о которых ты даже не думаешь. Таким старикам, как мы, уже ничего не страшно. — Он стряхивает крошки с пальцев и поглаживает бороду. — Что я знаю о нем? Я ничего не знаю о нем. В таких местах, как эти, люди очень любопытны. Но теперь я вижу, что они везде любопытны.

— Вы знаете его настоящее имя?

— Я не знаю даже ненастоящее.

— Как же вы зовете его?

— Я зову его Одам. Это как по-вашему — Адам. А по-нашему — человек, душа.

— Его дочь сказала, что они жили в Ленинабаде. Как он оказался здесь?

— Я привез его сюда из пустыни. Из туркменских Каракумов.

— Что он там делал? Как попал туда?

— Он дошел туда пешком. Он там жил.

— Как?

Старейшина пожимает плечами и берется за трость.

¹ Курутоб — древнейшее блюдо таджикской кухни. Распространено также в Иране, Афганистане, Пакистане.

— Как мертвец. А может, как новорожденный.

Вадик и Зафар помогают ему подняться.

— Если он захочет говорить с вами — пусть говорит. Если не захочет — я не буду его просить. Он живет на заднем дворе. — Старейшина запахивает чапан и медленно идет к калитке.

Зафар останавливает Вадика и говорит, что пойдет сам. Вадик неохотно кивает, поднимается на топчан и ложится на подушки.

Минут через десять Зафар возвращается.

— Ну? — спрашивает Вадик.

— Ничего.

— Что ты сказал ему?

— Я спросил, как его зовут.

— Фарух?

— Он сказал, у него нет имени.

— Как он выглядит? Какое у него лицо?

— Я не знаю. Просто лицо. Равнодушное лицо старика.

— Надо показать ему фотографии, надо рассказать про семью.

— Не надо, Вадик, мы зря сюда пришли.

— Это же он, Зафар, я чувствую, что это он.

Глаза Вадика горят. Он достает фотографию и внимательно ее рассматривает.

— Да, здесь он совсем другой. Но ведь похож? Посмотри. Ведь похож? — он кладет ее перед Зафаром. — А эти, — он раскладывает на столе снимки детей и внуков, — может быть, кто-то похож на его сына. Представь, что будет, когда он увидит их.

— Ничего не будет.

— Покажем, Зафар, — просит Вадик. — Мы ведь не просто так его нашли. Тебе не кажется, что это все не просто так?

— Что ты делаешь, Вадик? Зачем? Что мы делаем здесь?

Он обводит нас усталым беззащитным взглядом. Я никогда не видела его таким. Впервые за всю жизнь мне кажется, что мы ничего не знаем друг о друге. Как будто дружим не с человеком, а со своим представлением о нем.

— Мы пришли сюда, как воры. Если его дети хотят видеть его — пусть приезжают сами. Ты прав, это он. Это именно тот человек. Я видел его глаза. Но я не задам ему ни единого вопроса. Больше ни одного. И я ухожу.

Вадик медленно стучит пальцами по столу, губы его сжаты, он смотрит, как Зафар спускается с топчана, надевает обувь и идет к воротам. Потом он сгребает фотографии и убирает их в карман.

Мы выходим на улицу.

— Все правильно, — говорит старейшина. — Человек грешит только телом, органами. Языком, руками, животом, печенью, ну и понятно, чем еще. Органами управляет мозг. Мозг в голове. Значит, грешит он этим, — он стучит по своей тибетейке. — Душа остается в стороне. Душа человека чиста. — Он вдруг прищуривает глаз и весело подмигивает Вадике: — Ты как думаешь, а?

— Это вселяет в меня надежду, — мрачно говорит Вадик.

Потом старейшина подзывает какого-то парня, и мы едем назад. В машине мы молчим, а парень весело расспрашивает, откуда мы приехали, понравился ли нам Искандеркуль, и говорит, чтобы мы приезжали еще.

Вечером мы впятером сидим на берегу. Мы сидим в одну линию перед озером, как в летнем кинотеатре, как будто ожидая, когда начнется показ. Однажды мы сбежали с уроков и три сеанса подряд смотрели «Циклопа». Потом нас выгнали, мы выбрали себе по дереву — вокруг кинотеатра росли чинары — и посмотрели «Циклопа» в четвертый раз.

— Я домой хочу, — жалобно говорит Бабич-жена. — Андрюша, наверное, заскучал совсем.

— А я бы еще остался, — говорит Бабич-муж.

— И я, — говорит Вадик Кричевский.

Зафар говорит, что ему надо в Москву: от отпуска осталась неделя, и он много чего обещал детям.

— А ты? — спрашивает меня Вадик.

А я вспоминаю, что сказал мне Слава Иванович, и соглашаюсь с ним, что смена обстановки, конечно, лучше лекарств, но никакой это не выход. И вспоминаю издательство, и своего редактора, и беспорядок в шкафу, где я держу краски и кисти, и выставку, в которой я могла поучаствовать, но почему-то не участвовала, и сколько мне лет, и над чем я буду работать, когда прилечу. И буду ли.

Я вспоминаю, какие мы были сутки назад. Жизнь в больших городах сделала нас восприимчивыми к простым вещам. Видами из окна мы восторгались, как дети, а потом кончился асфальт, началась щебенка, сломалась машина, полтора часа мы спускались к озеру, заселялись в коттеджи, и трупами, без малейшего восторга, лежали на цветастых затертых одеялах, а потом, когда выбрались к озеру и увидели бирюзовую гладь, утонувшую в разноцветных холмах, а за ними — высокие синие горы, стояли как оглушенные, и все молчали, потому что никто не хотел говорить первым, чтобы не портить восторга звуками обыденных реплик. Но солнце уходило быстро, и вода из бирюзовой превращалась в зеленую, потом в синюю, потом в черную, и становилось темно, и очень быстро проходил восторг, как очень быстро проходит голод, когда набрасываешься на еду сразу и без разбору сметаешь все.

Я больше не хочу каждый год собираться на годовщину Бабичей. Я даже не уверена, смогу ли поддерживать нашу дружбу до конца жизни.

Сзади меня раздается шорох, я поворачиваюсь и вижу рыжего волкодава. Он пригибает голову и виляет коротким обрубок. В нескольких шагах от него, высунув пятнистый язык, сидит второй.

Как все, оказывается, просто устроено. Звезды. Под ними пустая кошара. Вокруг горы. Повсюду трава. В траве — незлые бесхвостые волкодавы. Они не похожи на тех зверей, которые в войну нападали на чабанов и объедали их до самых сапог, бросая их стоять с ногами вместо колышек. Таких историй я слышала сотни. Людям нравятся страшные истории.

Я чешу волкодаву между ушей, он ластится и припадает к земле. На холке у него подсохшая рана, и мухи, дождавшись безветрия, одолевают ее, как малую родину.

Мне нечем ее обработать, и я тихонько поливаю ее водой. Волкодав замирает и долго стоит, не шелохнувшись. Он знает, что человек приносит ему добро, а мухи — зло. И он выбирает человека.

Не знаю, что мы хотели увидеть здесь. Кого хотели найти. Может, удачные кадры для фотографий. Может, себя. Ведь откуда-то мы все начались.

Фаруха я стараюсь не вспоминать. Мне больше нравится вспоминать волкодавов.

Я не знаю, что творится у него в голове и какое воспоминание приходит к нему чаще других. Видит ли он сына, которого перемалывает задними колесами.

Я вижу эту картину очень хорошо, потому что... я ведь художник, я многое вижу. Но я не узнаю на ней Фаруха. За рулем того грузовика сидит другой человек, он не похож на старика, мелькавшего среди деревьев в доме старейшины.

Я представляю, какая бы картина вышла из этого. Вижу Фаруха в пустыне. Маленькую точку в черной бесконечности. Белую, желтую, красную. Какую? Какого цвета должна быть эта точка? Желтой, как солнце? Белой, как луна? Красной, как кровь? Я не знаю. Я не вижу цвет. Но я слышу.

Я слышу, как он кричит, и пустыня слушает его и не хочет принять.

И мне кажется, я почти уверена, что никогда не возьмусь за эту картину.

Сад

Рассказ

Субботнее майское утро на остекленной веранде было лучшим временем для тихого безмятежного сна двух стариков. Они дремали так многие субботы многих месяцев, кроме зимних, когда веранда стояла нетопленной, а все цветы из нее заносили внутрь дома.

Первый старик был черный ворчливый скотч-терьер Хазар, чьи брови, борода и усы не собирались белеть даже к старости; второй — хозяин дома, но так выходило только по документам, а на деле — муж хозяйки дома, давно облысевший фронтовик Сева. Он получил это имя на радужной улице Оренбурга, куда семилетним мальчиком прикатил на арбе из Казани, где звали его Сабитом; его же он называл на Втором Украинском фронте, где времени на дружбу было немного, и потому короткие, понятные большинству имена были не причудой, а скорее, необходимостью.

Через умытые вчерашней грозой окошки веранды Севе открывался мир, где раньше не было ничего, а позже — не за шесть, конечно, дней, а за четверть жизни — появился сад, по которому впервые пошел человек; за ним — другой, третий, а за теми тремя — четвертый и пятый с шестым, а за ними — поколения пожарников, носорогов, махаонов, кузнечиков, саранчи и тех, кто питался ими вперемешку с травой и возвращал Севе плоды его творчества в виде яиц, мяса и молока. И в разных уголках этого сада Сева играл со светом и тенью, высаживая персики, абрикосы и яблони так, чтобы кроме пользы от них была и красота, потому что за пользу в их доме всегда было кому отвечать — Сева на такой женился, а за красоту нужно было бороться самому; особенно теперь, когда жизнь его почти перестала держаться телом, а держалась духом, изнемогавшим, если эта красота от него ускользала.

А она все время от него ускользала. И в первый раз это случилось в груженной арбе, когда младшая жена отца, любившая Севу как брата, держала над ним покрывало от лупившего града и дождя и кричала, чтобы он не оборачивался, потому что сзади уже ничего не осталось. Но сама продолжала смотреть. И Сева, не понимая, слезы ли бегут по ее щекам или это дождь, тоже обернулся и увидел, как быстро загорается дом, и как причудливо меняются ставни и балкончики голубого мезонина, и как бегут по резным наличникам геометрические фигуры, и как опадают желтые солнца, и как вместо того чтобы улететь, молитвенно складывают крылья красно-зеленые птицы, и диковинно сохнут цветы, и как все это плавится и превращается в трусливых змеек и бежит, убегает по гладким изразцам, и последнее уже — перед тем как навсегда повернуться вперед — увидел, как лопаются эти изразцы, и могучие деревянные балки, словно стреноженные великаны, клонятся к земле.

Попав на войну, Сева узнавал этих великанов в горящих самоходках и танках. Они ревели и скрежетали, как могут реветь только звери исполинских размеров, а после стояли робкие и обугленные, стыдливо курясь на больших необжитых пространствах земли, лицом к лицу с некогда могучими «тиграми», «пантерами» и «фердинандами», с которыми невольно роднились теперь, одинаково утратив красоту и превратясь в неподвижные железные остовы.

Края большого участка Сева подбил цветниками. С высоты невысокого облака они смотрелись словно пестрое кружево вокруг зелено-бурой материи сада, и по весне, лету и осени сменяли друг друга, вспыхивая, будто сигнальные огни, и показывая Севе и тому, кто мог бы сидеть на облаке, что всему есть начало, но ничему нет конца.

Привыкнув к жизни без охоты, Хазар спал крепко, лежа на боку, вытянув мохнатые черные лапы, точно это не он, а хозяин должен был стеречь его старческий сон. Теперь из него исчезли и слежка, и погони, и узкие норы с верткими лисицами и свирепыми барсуками, и, судя по тому, как покойно вздымалось его короткое тело, Хазар припал во сне к материнской груди, и эта грудь была для него целой Вселенной.

Галя зашла на веранду за ножницами, посмотрела на Хазара и невольно улыбнулась.

— Вот дармоед. Хоть бы ухом повел.

Сева тоже улыбнулся, но глаз открывать не стал.

— Не шуми. Мне нравится, как он дышит во сне.

Она взяла с подоконника ножницы, открыла дверцу комода и достала несколько целлофановых пакетов.

— Лекарство выпьешь в обед, с горшком особо не тяни. Пока закончу, не меньше часа пройдет. Может, созреешь?

Сева махнул скрюченной рукой, как будто прогоняя жену за границу его с Хазаром идиллии. Обвисшая кожа на руке колыхнулась белой дряблой тканью, обильно посыпанной гречкой.

Сева не стеснялся жены — теперь это было бы глупо. Его тяготила только жгучая тоска, крутившая внутренности, как мясорубка, когда он понимал, что больше не хозяин себе. Он вспоминал однокашника по техникуму: однажды утром, зайдя за ним перед учебой, тот громко и мучительно выдохнул, будто внезапно познал очевидность, долгое время бывшую у него под носом: «Ну всё! Влюбился!» И в лицах и деталях поведал предысторию — с номером автобуса и цветом глаз, и всем, на что хватило его возбужденного красноречия. А следующим утром так же громко и мучительно выдохнул: «Какая к черту любовь!» И в тех же лицах, но уже без деталей, а сухо и сдержанно, с безгловым каким-то и виноватым выражением рассказал, как подошла сама и сама же спросила, где здесь поблизости туалет. Сева хохотал до слез, а теперь, поглядывая на кованный Галин сундук с чистой белой материей и деньгами на поминальные обеды, подумал, какой глупый смешной болван его канувший в неизвестность однокашник и какая недооцененная роскошь — ходить в туалет самому. Самому подняться с кресла, самому отрегулировать скорость шага, самому зажечь свет, потянуть дверь, закрыть ее на задвижку — ведь задвижка в туалетной двери для того и придумана, чтобы охранять этот сакральный момент от чужого вмешательства, — самому снять штаны, самому опуститься на стульчак.

Галя разорвала цветник с расчетливостью вора, отбирая только самое ценное, но суетясь при этом, как оса, забравшаяся в пчелиный улей пировать на чужом. Сева молча буравил взглядом ее спину через открытую дверь. Гале казалось, что он нарочно вздыхает, чтобы вызвать в ней чувство вины. Но никакой вины она не испытывала. А чего было в ней много — так это разочарования от всего, что не несло какой-либо пользы. «Поцвели и отцвели. Теперь что? Трупы». — «Но ведь красиво», — говорил Сева. «Но ведь недолго», — говорила Галя. «В этом-то и фокус. В миге», — говорил Сева. «Когда бы этот миг окупался», — говорила Галя, лязгая ножницами.

И Сева терпел, когда цветы срезались по стеблям: в конце концов, его пожизненное лекарство стоит недешево; да, помогают дети, но помогают набегами, когда есть что оторвать от себя. А у Гали действительно жилка. И когда цветы срезались по стеблям, он сидел и помалкивал, шевеля языком внутри плотно сомкнутого рта. Но когда она сказала, что один постоянный покупатель выпросил у нее луковичные вместе с луковичками — его любимые зеленоцветные тюльпаны, которые он развел по своей же оплошности, приняв их за тюльпаны Рембрандта, — Сева застонал в голос, представив, как следующей весной в эту самую дверь с этой самой веранды ему будет не на что любоваться. Может, Хазар к тому времени и отлетит в свой собачий рай, а сам он уходить не собирался. Благодаря каменному непослушному сухому телу он чувствовал себя укорененным на этой земле — и Бог его знает, сколько придется рубить, чтобы прогнать его в темноту, в бесцветие, в ничто.

— Не смей! — закричал Сева, вцепившись в ручку кресла одной рукой, а вторую протянув вперед карающим жестом и подавшись за ней всем корпусом. — Не смей трогать луковичные!

— Сева... твой сад... это обуза, — спокойно и даже как-то вдохновенно сказала жена, словно ее водрузили на театральную сцену читать прощальный монолог из

бенефиса известной, но надоевшей всем актрисы. — Просто возьми и признай это раз и навсегда. Для таких, как мы, это обуза. В нем давно ничего нет. Хорошо, я выносливая, — она пригладила смуглыми кистями накиннутый поверх платья садовый халат и припечатала их к бедрам, — я сажаю картошку, сажаю огурцы, помидоры, лук, Сева, чеснок. Я поднимаю из семян врагов цинги. Зелень, Сева, клубнику, малину — природный аспирин. Это все можно есть. Это все нужно пищеварению. Так человек устроен, Сева. Человек должен есть. А цветы, Сева, несъедобны. Но я умудряюсь делать съедобными даже их — посмотри, — она распахнула перед ним холодильник, — были цветы, без пяти минут трупы, — стали продукты.

Сева упрямо отвернулся к окну.

— В нашем саду, — Галя перегородила ему окно, — давно никто не живет. Посмотри правде в лицо, Сева. Ты сидишь дома и ничего не видишь. Ты же не знаешь, что вообще происходит в мире. В нашем огороде... Хорошо, ты зовешь его сад — пусть будет сад. В нашем саду, кроме тли, четырех блохастых кур и колорадских жуков, жрущих мою картошку, — никого. Да, и еще бродячих котов, которые ходят под носом у твоего Хазара и ни во что его не ставят. Они же смеются над ним, Сева! Тебе не обидно? И ему хоть бы что. Когда он последний раз лаял? Эти звуки, которые он из себя выжимает... Да я не знаю — бормотание одно.

— Это порода такая: без дела не лает.

— Да брось! Он охотник, он пес, он создан, чтобы лаять, — она подняла правую руку и, сжав ее в кулак, оставила только указательный палец, потрясая им в воздухе. — В сарае я заряжаю мышеловку три раза в неделю, а это, между прочим, его работа. Он по этим делам диссертацию защитил.

— Галя, оставь. Он слишком стар, он заслужил.

— Он стар, ты стар, я стара. Но я савраска по призванию. И я в отличие от вас что-то делаю, — она вдруг прикусила губу и метнула на Севу виноватый взгляд.

Сева прикрыл глаза и покачал головой.

— Ладно, — сдалась Галя, как бы извиняя саму себя. — На горшок не хочешь?

— Отстань от меня, наконец! — вспыхнул Сева. — И перестань называть это горшком! Я чувствую себя инвалидом!

Галя повела плечами.

— Сева, ну ты и есть инвалид. У тебя Паркинсон.

Она сошла с веранды, смочила тряпку, вполсилы выжала ее и расстелила на земле. Сева тогда наблюдал за ней не только глазами. Он вращал, поднимал и опускал голову, следя за каждым ее движением. Вот она метко воткнула лопату в землю, продолжая при этом смотреть на Севу, как бы показывая ему: все это лишь часть распорядка дня, всего лишь обыкновенные садовые ритуалы, и она занимается ими ежедневно с марта по октябрь, с тех пор как ее попросили на пенсию. Вот перехватила руками черенок, чуть выше того места, где он почти раскололся надвое, но Галя вовремя его реанимировала, потому что всему вещественному в жизни давала второй, и третий, и четвертый шанс. Вот отвернулась от него и ногой, обутой в галошу, вогнала лопату в землю и с этого момента уже не поворачивалась, потому что работа пошла ювелирная — нельзя было повредить луковицы. Вот выкопала подряд тринадцать тюльпанов — Сева вел счет каждому — и на каждом ждал, что она остановится, про себя почти умоляя ее об этом. Вот присела на корточки и завозилась с тряпкой, а когда встала над ней, тюльпаны лежали, как расстрелянные тела, попадавшие на землю в ненатуральных позах. Наконец она накрыла их другой тряпкой, аккуратно сложила в пластмассовое ведро и повернулась к мужу.

— И я как врач отношусь к этим моментам без эмоций. Я романтик, только когда читаю Пушкина. А в остальные минуты я человек, понимающий, что жизнь — это не Лукоморье, не поэма, Сева. Это одна сплошная физиология.

Сева тогда ощутил, как внутри него все обмякло и больше не способно сопротивляться. А в животе у него зашевелилась та самая физиология, и он сказал:

— Галя, давай на горшок.

Попросился он и теперь. Она уже нарезала букеты бледно-розовых пионов и бинтовала их мокрой тряпкой, с которой капало прямо на порог веранды.

Когда Галя вернула мужа на место и прикрыла ему колени вязаной шалью, Хазар прижал бородатый подбородок к груди, выгнул спину, напряженно потянул лапы и открыл глаза. Сева свесился с кресла и коснулся его живота. Хазар перекатился на спину, задрал лапы и широко зевнул.

— Всего только восемь, а такая жара, — Галя цокнула и отошла от градусника. — Повянут, пока донесу.

— Ты смотри, много не нагружайся.

Она потянулась, поворачивала руками и с сонным наслаждением выдохнула:

— А скинуть бы лет двадцать, а? Сесть бы в машину, поехать на дачу, забыть про все эти тяпки, лопатки. К чертовой матери забыть и плюхнуться на раскладушку в теньке с Моруа. Читать да мечтать под щебет над головой. И ведь он такой громкий, а спать совсем не мешает.

— Кто?

— Щебет.

— Ну-у, размечталась, — улыбнулся Сева.

— Да, а потом насобирать бы клубники, малины, крыжовника и плюхнуться в бассейн. Я вот думаю: и чего я раньше этого не делала? Все какие-то сорняки выискивала, ветки подрезала. Вишня эта бесконечная для варенья, пастила, помидоры соленые... А соль, она вон — вся в остеохондроз пошла, — Галя похлопала себя по загривку. — Иной раз головой шевельнуть не могу. Ой... Это же какое удовольствие — подплываешь на спине к бортику, протягиваешь руку, нащупываешь ягоду, раскусываешь ее... Ой... Отталкиваешься ногами и плывешь дальше. Точнее не плывешь, дрейфуешь даже.

— Врешь. Ничего бы ты такого не делала, а торчала бы на грядках с утра до ночи и нас за безделье материла.

— Клянусь бы, не торчала. Вот клянусь!

— Ладно, сейчас-то чего говорить. На заднице весь ум и остался.

Галя подошла к зеркалу, повертела перед ним головой, по очереди разглядывая то правую, то левую половину лица, потом улыбнулась своему отражению и сказала:

— Ой, Сева, ты прав. Ничего бы я такого не делала. Махала бы тряпкой и вас бы гоняла, — она повернулась к нему и скрестила руки. — И правильно делала, что гоняла. Вот ни на грамм ни о чем не жалею.

— Ну теперь я спокоен. Я уже слишком стар, чтоб узнавать тебя заново.

Галя заглянула в сумку.

— Ключи здесь, кошелек здесь, сетка здесь. До двух выдержишь?

Он кивнул.

— Калитку не запирай.

— Сева, она не придет.

— Но ты не запирай.

Лили не было с февраля. Сева знал, почему, или думал, что знал, но отказаться от ожидания сейчас, после стольких суббот, когда она росла на его глазах и донимала его вопросами, он не был готов. Пустот в его жизни становилось все больше, а материала, чтобы их заполнять, не осталось совсем.

Сева уже приучился смотреть на большой и нелепый ангар вместо вырубленной половины сада как на что-то, из этого же сада проросшее. В конце концов, не он ли давал разрешение сыну — отчаянному горемыке, проболтавшемуся полжизни в делах и авантюрах, в коих не то что не смыслил, а даже и удачлив-то не был, но убедившему, заставившему поверить, что из биологов тоже вырастают дельцы, и что семь-восемь спиленных плодоносов — невеликая цена за собственный строительный склад собственных же стройматериалов. Не он ли сидел, разинув рот, и слушал, как сын, схватившись за голову и весь раскрасневшись, почти кричал, что никогда-никогда бы не стал поступать на биолога, если бы вовремя проявил характер... Но что нет,

конечно, он не винит отца, но и жить, исполняя его мечту, он не хочет, не будет, да и не сможет. И что если отец не позволит — никакой обиды между ними не будет. Он по-прежнему останется сыном, а тот — отцом. Только пусть бы отец задумался, пусть бы на секунду, мимоходом допустил мысль: как может разворачиваться жизнь у воплотившего собственную мечту, как развернулась бы жизнь отца, если бы после фронта он пошел не на свинцовый зарабатывать деньги в придачу к этой ужасной неизлечимой болезни, а поступал бы, как и хотел, на биофак? И Сева тогда не то чтобы задумался — он думал об этом всю жизнь, и никакой америки от сына не услышал, — но как-то осекся, обмяк, ибо время подходило к обеду, и на столе его ждала таблетка, возвращавшая ему жизнь на каких-то пять часов в день, и этих часов с каждым днем становилось все меньше и меньше. И когда все закончится... что ему будет от этих деревьев? В особенно тяжелые дни он тоже хотел стать деревом, на которое нашелся бы свой дровосек. И теперь, когда налетел ветер и заброшенный склад хлопал отошедшей металлической крышей, потому что у сына в очередной раз ничего не вышло, Севе казалось, что это у него ничего не вышло.

Лиле было одиннадцать. Она была дочкой и сестрой, но никогда не была внучкой. Сева без труда мог бы вспомнить ее деда сидящим у персика в этом саду, где раньше стояла беседка и лето напролет резались в домино; и Лилину бабу в Галиной кухне, в переднике Гали, обсыпанную Галиной мукой, ее громкий барабанный смех и даже ямочки на щеках, с какими всегда мечтал заполучить жену, но вовремя такой не встретил. И он вспоминал.

До внучки они оба не дожили и ушли задолго до того, как Севу скрючило пополам, а отца Хазара задрали шакалы. Дружба же с Лилей завязалась недавно и, скрепившись тумакami, как детской клятвой дружить до гроба, перешла не то в любовь, не то в родство, не то во все сразу.

Все его внуки были старше и жили далеко. Лиля была его внучкой четыре года и девять месяцев.

На преступление против детства Севу подбил Хазар. Сева дремал над раскрытой газетой, когда тот влетел в комнату и с лаем уперся в его колени. Он оттолкнул его ногой, сложил газету, укутался пледом и приготовился спать дальше. Хазар подбежал к окну, потом снова повернулся к Севе и залаял еще звонче. Окно выходило к воротам, над которыми свисал многолетний густой виноградник, растревоженный каким-то движением. Сева опустил голову и притворился спящим, но Хазар, выскочив из комнаты, пронесся по коридору, выбежал в сад, обогнул дом и, подпрыгивая на коротких ногах, будто на пружинах, загнал под самым виноградником. Сева вырвался, отбросил плед, подошел к окну, пригнул голову и выглянул наружу. Зеленая виноградная шевелюра ходила ходуном. Сева схватил костыль, прислоненный к стене, и, ни секунды не раздумывая, злобно метнул его вверх. Костыль пролетел сквозь листву, уперся во что-то твердое и сшиб это твердое на землю. Наступила тишина, и Сева, потеряв от удовольствия руки, вернулся в кресло, укрыл остывшие ноги и снова задремал.

Вечером Галя проронила за ужином, что муж ее — тот еще меценат. Отрастил зелень, на которой пасутся все уличные дети от пяти до двенадцати лет, и травиться не травятся — плоды-то без селитры, — а с заборов падают и кости ломают.

Сева побледнел и застыл над тарелкой. Галя жевала с аппетитом и бойко рассуждала, какое теперь замечательное время: нет, не то чтобы богатое — денег как не хватало, так и не будет хватать, хотя на похороны им хватит, уж об этом она печется, — но чтоб расстреливать или в ссылку за украденный колосок — ну даже не верится, что все это было в их детстве. А про девочку ей Залевская рассказала — и не просто рассказала, а даже как будто порадовалась, потому что у нее пообрывали всю черешню. Но Боженька, мол, все видит и на каждый дармовой хлебушек у него запрятана мышеловка. «А я ей говорю, это что у тебя за Боженька такой особенный, мстительный и блюстительный?»

— Сева, ты в рок веришь?

— Что?

— Ну, в фатум. Или в наказание? Два месяца в гипсе за виноград — это наказание? Ты знаешь, Сева, я в жизни ни во что, кроме себя, не верила, но то ли старею, то ли глупею, а вот думаю об этом, хоть тресни. Но опять же, наказание взрослому вору одно, а ребенок — разве он вор? Два месяца в гипсе за виноград — по-моему, это слишком. Вот мне лично приятней думать, что с заборов падают, потому что руки не из того места растут — просто-напросто держаться нужно крепче, — а не потому, что кто-то кого-то за что-то наказал.

Галя перестала жевать и посмотрела на Севу. Он уставился в одну точку, и в руке его тряслась пустая ложка. Потом он сказал:

— Галя. Я угробил ребенка.

— Дурак. Ты угробишь меня, если скажешь такое еще раз.

Она увидела его беззащитную лысую голову и вдруг подумала, что если бы кто-то посягнул на его спокойствие, если бы родители девочки пришли ругаться за дочь, — она бы встала на его защиту, как на защиту собственного ребенка, и грудью закрыла бы его хоть от целой улицы, хоть от целой армии.

Но они не пришли.

Их не было ни тем вечером, ни на следующее утро. Прошел еще один день. Сева выпил таблетку, Паркинсон отступил, он выпрямился и, заложив руки за спину, нервно зашагал по залу. Галя сидела на диване и всякий раз, когда Сева проходил мимо, дергала шеей, пытаясь разглядеть, что происходит в телевизоре. Сева периодически задавал вопросы, как будто бы самому себе, и Галя, не отрываясь от телевизора, подавала какие-то звуки. В конце концов он встал напротив нее и спросил:

— Галя, разве это возможно, чтобы гипс наложили на два месяца? Разве накладывают не на месяц?

Галя вытянула шею вправо, но в той части телевизора показывали пустой кусок парка, и она вытянула влево, где растрепанная женщина с ножом в руке и с ужасом в глазах выглядывала из-за дерева. Играла тревожная музыка.

— Разве обычно не на месяц? — повторил Сева.

— На месяц, — машинально ответила она.

— Откуда ты знаешь?

— Ну-у... — она продолжала тянуть шею и смотреть в экран. — Потому что она ребенок, Сева, а у детей бешеная регенерация.

— Тогда почему на два?

— Наверное, какой-то сложный оскольчатый перелом.

Сева издал глухой стон.

— Ни за что себе не прощу! Наверное, там страшный, ужасный перелом, иначе бы наложили только на месяц. И месяц-то долго! А тут целых два!

Тревожная музыка в телевизоре стала еще тревожней. Галя затаила дыхание и перестала моргать.

— Галя, — позвал ее Сева.

— И хорошо, — отозвалась она, покусывая губы и не сводя глаз с экрана. — Успеет подготовиться к школе. Ты знаешь, что в школу теперь поступают как в институт. Только через экзамены. А тут ты со своим костылем, — она прыснула и посмотрела на Севу.

На его лице по очереди отразились беспомощность, разочарование и гнев — и это так ее подстегнуло, что она зажала себе рот ладонью, и теперь хохот звучал как частое истерическое сморкание.

— Ребенок! — затрясся он в гневе, выставив вперед оба кулака. — Ты знаешь, что такое лето для ребенка?

— Еще как! Девяносто два трудодня без возможности отлынить! Абдулов, да уйди ты от телевизора! Что ты хочешь от меня? Они наверняка даже не знают, что какой-то полоумный старик запустил в их ребенка костылем. Они думают, упала сама! Да и листьев там — во! — она раскинула руки, демонстрируя количество. — Я так думаю,

что Лилька и сама не знает, отчего она шмякнулась. Костыль-то остался по эту сторону забора, а свалилась она — по ту! Всё! Уйди!

На какое-то мгновение лицо Севы разгладилось, и он почти улыбнулся, потом вдруг снова насутился и почти вскричал:

— Дура! Ты думаешь, я из-за страха? По-твоему, кто я, Галя? Ты думаешь, я боюсь, что мне влетит? Сколько, по-твоему, мне лет? Я человека покалечил, Галя! Ребенка!

— Покалечил, Сева. Всё. Нет тебе прощения. И если ад есть — гореть тебе в аду. А теперь дай мне посмотреть фильм.

— Хорошо, но завтра отведи меня к ним.

Галя оторвалась от телевизора и уставилась на него круглыми глазами.

— Совсем спятил? Ты из дома третий год не выходишь.

— Пойдем, как подействует таблетка.

— Не выдумывай. Бред несусветный.

— Тогда я сам пойду, — тихо сказал он и сел в кресло.

Галя порывисто встала с дивана, подошла к телевизору, постояла перед ним с минуту и вышла из комнаты. Сева услышал, как заскрипели дверцы шкафа, как хлопнула входная дверь и как она громко скомандовала Хазару: «Дома!»

Когда она вернулась, лекарство уже перестало действовать, и Сева сидел в своем обычном виде — скрюченный, трясущийся и молчаливый.

— Ну все, — живо сказала она, вынимая серьги из ушей, — мосты наведены, поводов для беспокойства нет. Залевская эта — старая сплетница. Надо было сразу к ним сходить. Гипс как гипс. Нога, конечно, сломана, но не так уж там все и страшно. Может, через месяц и снимут. А может, и раньше. Девчонка у них веселая и очень своим ранением гордится. Они там пляшут вокруг нее как заведенные. Ты меня слушаешь?

Сева кивнул, не поднимая головы.

— Я сказала ей, как только снимут, — сразу к нам. У нас и собака, и дед, и сад. Короче, наобещала ей кучу всего, — она присела на обод кресла и положила руку на его плечо. — Ну как? Молодец у тебя жена?

Он слабо улыбнулся, поднял трясущуюся кисть, и Галя вложила в нее свою.

Через два месяца Лиля пришла к ним за цветами, чтобы отнести их учительнице на первое сентября. А через три — стала бывать каждую субботу.

В обед Сева выпивал таблетку, и у них было несколько часов для дружбы. Лиля рассказывала ему, как ей не нравится ходить в школу и какие там дурацкие правила; Сева отвечал, что нет ничего более дурацкого, чем сидеть дома, и что в школу он бы пошел хоть сейчас. Лиля говорила, что ему это только кажется, и требовала историй.

Историй было много, но самые любимые были про черную кошку и про то, как Сева держал медведя. Ни одна из них Севе не нравилась, и больше всего он жалел, что по глупости или желая вызвать в ней интерес, рассказал про черную кошку, расстрелянную им на войне после того, как она перебежала ему дорогу. Не рассказал он только про Костю Нагибайло, который после кошки все донимал его смехом: «А коли баба с пустыми ведрами, ты и ее?!», а следующим утром Костю накрыло снарядом так, что Сева увидел, как тот распадается на маленькие кусочки и стремится вначале вверх и в стороны, а потом ударяется в стены окопа и опадает на каску, плечи и сапоги Севы, и Сева, контуженный, падает и зажимает уши, а в них — далеко-далеко, как из тоннеля, — Костин смех.

В феврале, когда он видел ее в последний раз, она пришла раньше обычного. Галя была на рынке, Хазар лежал на веранде, Сева дремал в кресле, клонясь все ниже и ниже. Бубнил телевизор. Лиля прокралась в комнату, закрыла ладошками его глаза и громко сказала:

— Сева, покажи пулю, я тебе трикошку помогу закатать.

Сева вздрогнул. Ему показалось, словно его рывком вытянули из мягкой прожорливой трясины.

— Трикошку я и сам закатаю, — сказал он хриплым голосом и попытался откашляться. Потом медленно откинулся назад и снова прикрыл веки. — Ты сегодня рано.

Лиля молчала.

— Ты еще здесь?

— Конечно. Жду, когда пулю покажешь.

— Покажу,ждемся, пока лекарство подействует.

— Сколько еще?

— Полчаса. Может, меньше.

Она протянула руку к его голове.

— Сева, почему у тебя на лысине нет морщин?

— Не знаю. Не там постарел, где надо. У меня лысина как у младенца, — он разлепил один глаз и потер его указательным пальцем.

— Дай потрогаю.

— Трогай, — Сева наклонил к ней голову.

— Теперь пулю.

— Пули там нет.

— Мне почему-то нравится думать, что она там.

— Мне сейчас не согнуться.

— Я сама.

— Далась тебе эта рана. Сколько раз показывал.

— Давно показывал, может, ее уже нет.

— Куда ж она денется, вот, — он попытался наклониться, но на лице появилась такая мучительная гримаса, что Лиля остановила его руками и мягко оттолкнула назад. Потом в три оборота подняла левую штанину, пока на белой худой голени не показалась небольшая ямка, напоминающая воронку.

— Потрогаю? — спросила она восторженно.

— Трогай, — улыбнулся он.

Лиля надавила на воронку два раза, вернула штанину на место, подтянула ему носок и села рядом.

— Знаешь, как я раньше про тебя думала? Ну, почему ты заболел?

— Раньше — это когда?

— В детстве. Год или два назад. Я думала, ты заболел, потому что людей убивал. Ты людей убивал, и Бог тебя наказал.

— Сама додумалась или услышала от кого?

— Сама. Думаешь, брехня?

Сева открыл глаза. Лекарство начало действовать, тело понемногу оживало, в руках и ногах появилась приятная тяжесть.

— Я об этом никогда не думаю. Война была, на войне не надо было думать.

— Ну вот, а ты не веришь, что школа — самое дурацкое место на свете.

— При чем здесь школа?

— В школе нам только и делают, что говорят про думать, — она надела его очки, спустила их на нос и, изменив голос, изобразила учительницу: — «Вы должны научиться думать... человек вырос из обезьяны, потому что научился думать».

— Что ж вас до сих пор по Дарвину учат? — улыбнулся Сева.

Лиля сняла очки, подошла к зеркалу и показала себе язык.

— По какому Дарвину?

— Что человек произошел от обезьяны.

— Это нам классная говорит. Она ведет у нас природоведение, а у старших — биологию. Она без конца говорит про своих животных. А нам иногда говорит так: «Не будьте неразумными животными», — Лиля повернулась к нему. — А ты тоже думаешь, что мы произошли от обезьян?

— Нет, я давно так не думаю.

Она подошла к телефону, сняла трубку и послушала гудки.

— А я думаю, что в школе надо все поменять. Надо устроить выборы учителей. Ну чтобы нас учили только те, которых мы сами выбрали.

— Это кто ж вас такой демократии учит? — удивился Сева.

— А никто, — Лиля залезла на стул, а оттуда села на крышку пианино. — Это же просто, как дважды два. Например, мы выбираем старосту класса, выбираем президента школы, почему же нельзя выбирать учителей? Например, за эту учительницу по биологии я бы ни за что не голосовала. Сказать, почему?

— Почему?

— Она сказала, что история с медведем — липа. Она сказала, что я ее выдумала и что такого не бывает. «Не бывает, — говорит, — чтобы медведь жил с человеком в обычном доме». При всем классе сказала.

— А ты что?

— Сказала, что бывает. Что у меня дома как раз и жил.

Сева усмехнулся.

— Но это же неправда.

— Почему неправда? Он ведь жил у тебя, а это практически у меня.

— Все равно неправда. У тебя он не жил, и ты нехорошо поступила, что соврала.

— Но она сказала, что это неправда, что это вообще ни за что не возможно.

— И она не права, и ты.

Лиля прикусила нижнюю губу и уставилась в пол.

— Из-за нее все подумали, что я обманщица. Я должна была доказать!

— Пришла бы ко мне, я бы дал тебе фотографию, где медведь сидит за столом вот в этом саду. Тогда она бы точно тебе поверила.

Лиля прыгнула на пол и радостно крикнула:

— Покажи!

Сева поднялся с кресла и быстрым шагом прошел в кабинет, где хранились его книги про животных и растения, фотоальбомы с охоты и путешествий. Он собирал их до болезни, старательно подклеивая и подписывая каждый снимок. На стенах висели рога архара и марала, а на высоких полках стояли чучела болотной совы и степной пустельги.

Сева с гордостью оглядел комнату и пропустил Лилу вперед. Он деловито походил из стороны в сторону, делая вид, что вспоминает, в каком из шкафов лежат фотографии, хотя прекрасно помнил — в каком, но ощущение легких конечностей и присутствие человека, заинтересованного в нем, кружили Севе голову и отметили всякое желание смотреть на часы.

— Вот он!

Он выдернул из кипы альбомов тот, что искал, сел на диван, вынул из кармана очки и начал листать. Лиля взобралась на спинку дивана и обняла его за шею, рассматривая фотографии.

Наконец она увидела большой черно-белый снимок, запечатлевший настоящего бурого медведя в окружении людей. Он сидел за накрытым столом, запрокинув голову и приоткрыв рот, словно только что произнес тост, от которого сам же пришел в восторг.

— Это ты! — Лиля показала на молодого Севу. Он стоял слева от медведя и смотрел прямо на Лилу. Кудрявый, прямой, в вышиванке с закатанными рукавами. — А это тетя Галя.

Она сидела боком к камере, уперев в руку подбородок и улыбаясь мальчику на противоположном конце стола.

Сева провел рукой по изображению жены — она была полная, длинноволосая и очень задумчивая. Севе нравилось снимать ее профиль: линия спины плавно переходила в линию шеи и заканчивалась упругой черной шишкой, схваченной невидимками на затылке.

— Какие вы молодые, — протянула Лиля.

Сева закрыл альбом и посмотрел на часы.

В саду надрывно верещали индийские скворцы, вовлекая в свою ругань других птиц. Хазар поднял голову, лениво повел ушами и посмотрел на хозяина. На веранде стало припекать. Сева схватился за приделанный к стене ремень и с третьей попытки вытянул себя из кресла. Время таблетки еще не пришло. Медленно передвигая ноги и почти не отрывая их от пола, он с трудом одолел коридор, дошел до зала и опустился в кресло.

Несколько раз он пытался подняться, чтобы подойти к окну и послушать: не топчется ли кто-то возле ворот. Галя упрямая, и калитку могла запереть — с нее станется. Но подняться так и не смог и, тяжело вздохнув, подумал: правильно ли поступил с Лилей. Два месяца назад он был уверен, что правильно. А теперь чувствовал себя таким же беспомощным и растерянным, как в тот день, когда, спотыкаясь в мерзлой грязи, упрямо нес на руках журналистку ташкентской газеты «Правда Востока». И тот же Костя Нагибайло с обожженным лицом кричал ему в самое ухо, глядя на ее развороченный живот: «Брось, померла!» — и тянул его вниз к земле, прикрывая оголенную голову лопатой. Но Сева не бросил.

В санчасти их разделили. Когда из голени доставали пулю, он, не стесняясь, плакал, а Костя Нагибайло сказал: «Сева, я стал поэтом. Слушай: Ни одну не люблю я женщину, потому что люблю войну. На войне можно вдоволь наплакаться, здесь не принят вопрос “почему”». Севе стихи не понравились, но Косте он сказал, что понравились.

Сквозь сон он вспоминал, что еще было в тот день. Вот он захлопнул фотоальбом, посмотрел на время, вот Лиля царапнула ноготком обложку и, все так же сидя у него за спиной, спросила, что если сейчас позвонит ее классная, не мог бы он сказать, что она пропускала уроки по уважительной причине.

Сева не понял ничего.

Лиля замешкалась, встала с дивана и неестественно уверенным голосом сказала:

— Понимаешь, меня не было две недели. Если сегодня позвонит моя классная, скажи ей, что я пропускала, потому что ухаживала за тобой.

— Это как? — недоумевая, спросил Сева.

Лиля принялась обкусывать губы.

— Ну я же уже объяснила, — нетерпеливо сказала она. В ее тоненьком голосе прозвучало женское раздражение.

Сева помотал головой.

— Я все равно ничего не понял.

Лиля повысила голос и отчеканила каждое слово:

— Если сегодня позвонит моя классная и спросит, как твоё здоровье, и потом спросит, когда я приду в школу, скажи ей, пожалуйста, что приду в понедельник, а может, во вторник. Но главное, скажи так, чтобы она поняла, что ты в курсе всего.

— В курсе чего? Почему она позвонит сегодня, и почему сюда, и почему две недели?

Сева почувствовал себя дураком, провалившимся в трясины. Обычно она появлялась, когда он засыпал в ожидании таблетки, и исчезала, когда он бодрствовал, приняв ее. Теперь все стало с ног на голову. Он был бодр, таблетка работала не больше часа, но он увязал все глубже и глубже.

Лиля посмотрела на него со злостью.

— Сева, ты же мне друг?

Севе захотелось сказать, что Костя Нагибайло был его друг. И еще был его друг Лёша Трубников. И Анвар Шарипов. И еще журналистка из ташкентской газеты «Правда Востока», рассказавшая ему про биофак и МГУ. И никто из них ни разу не спрашивал, друг он им или нет. И он тоже не спрашивал. Он только писал в обтрепанной тетрадке, которую таскал за пазухой: «Вчера, 25 февраля, умер мой друг Костя Нагибайло. Сегодня, 3 марта, умерла мой друг, фотокорреспондент ташкентской газеты “Правда Востока”. Сегодня, 10 ноября, умер мой друг Анвар Шарипов и ранен мой друг Лёша Трубников. Сегодня, 11 ноября, умер мой друг Лёша Трубников...»

Тетрадка закончилась раньше, чем война, но он таскал ее до последнего, как щит, а когда все закончилось, открыл, чтобы перечитать. Но ничего нельзя было перечитать. Все изорвалось и стерлось. Остались только плохие Костины стихи. Но их Сева помнил и так.

— Ну что ты молчишь? Она ведь может позвонить в любой момент, — Лиля дергала его за рукав и поджимала губы, стараясь не заплакать. — Ты скажешь?

— Разве я такой калека?

Лицо ее от корней волос до острого подбородка медленно заливалось краской. Колени были сжаты. Она сидела, опустив голову и комкая подол вязаного платья.

Раздался телефонный звонок. Они встали с дивана одновременно. Сева смотрел в сторону, Лиля смотрела на Севу. Потом они пошли. В коридоре Лиля обогнала Севу и заглянула ему в лицо. Сева не смотрел на нее. Она взяла его за руку, но его пальцы остались безучастны. Она посторонилась, чтобы он вошел в зал первым, а потом обогнала его снова и снова заглянула в лицо. И снова он не смотрел на нее. Она хотела взять его за руку, но он протянул ее за трубкой. Она сделала шаг назад и спряталась за его спину, будто учительница могла разглядеть ее из телефона.

— Да, — сказал Сева. — И вам здравствуйте. Да. Я дедушка. Хорошо. А должно быть нехорошо? Ну а кто не болеет в старости? Старость и есть болезнь. Нет, кто вам такое сказал? А почему вы звоните мне? Вам лучше позвонить ее родителям. Нет, совсем не тут. Точнее, не здесь. Я ничего об этом не знаю. Вы ведь учительница, вы и должны быть в курсе. Я не учу, я только призываю вас думать. Человек вырос из обезьяны, потому что научился думать. И вам того же. До свидания.

Сева повесил трубку, чувствуя, как Лиля проделывает взглядом дырки в его спине. Но Лиля смотрела в пол, и руки ее свисали с плеч, как отслужившие свое бельевые веревки.

Сева вдруг почувствовал голод и какое-то запоздалое озарение и сказал наигранно веселым голосом: «А по-моему, пора бы и пообедать!»

Но это прозвучало жалко. Лиля молча развернулась и медленно побрела из комнаты.

Галя потеряла его за плечо, и он очнулся.

— Который час? — спросил Сева.

— Три, — от Гали пахло уличной жарой и пылью. — Сегодня была толкотня. Умаялась, — она села на диван и запрокинула голову. — На следующей неделе закончу с картошкой и в июне возьмусь за побелку. То ли свет здесь такой, то ли потолок действительно серый. Ты помнишь «Букинист» на углу с базаром? Договорилась насчет Диккенса. Двадцать четыре тома. Потом отнесу Шамякина. Надо быстрее разгружать, стеллажи на ладан дышат. К июню перетаскаю все. А может, Гришку Залевского попросить? И может, еще Зверева и фантастику...

— Зверева оставь.

Она сползла вниз, потянула ноги и с напряжением поворачивала ступнями.

— Пять минут — и ставлю обед. Ты, конечно, не ел?

— Ты калитку не заперла?

— Нет... кажется, нет... Не помню.

После обеда Сева выпил таблетку и, переждав положенное время, вышел в сад. Галя выскочила следом и накинула на него пуховый платок. Сесть в саду было негде. Стол, за которым пировал медведь, и скамейки к нему Галя пристроила соседям.

Сад был молод и стар одновременно. А Сева был стар. И Сева понял, что конца нет у сада и у земли, а у него есть. И ему захотелось попробовать, как это — быть с землей наедине. И узнать, куда все уходит и откуда не возвращается. И хорошо было представлять Костю Нагибайло и всех остальных, и даже смешило, что плохое забывается быстро, а плохие стихи — никогда. И он подумал, что когда был молодой, много сидел на земле. И знал, как она везде одинаково пахнет — и в саду, и в окопе на Втором Украинском.

И ему захотелось посидеть. Времени у него было немного — пока Галя не заметит и не поднимет крик. И он быстро сел, ничего не постелив, чтобы между ним и землей не было никакой преграды. Как не было ее между ней и небом.

И сев, он обхватил руками колени и закрыл глаза.

И детские руки обвили его.

Враждебность

Рассказ

О том, что мир не враждебный, Исаев узнал не сразу. Он был уверен: враждебный — с самого первого столкновения с чужаком по крови, когда, еще лежа в колыбели, не то почувствовал, не то поймал зрачком недобрый взгляд соседки, родившей мертвеца — одногодку Исаева.

Зрачок Исаева сохранил эту враждебность как отпечаток, и когда Исаева перенесли из колыбели на пол, и когда он впервые встал на неуверенные слабые ноги и понес свое тело по дому, уткнувшись в ту же соседку, которая, истосковавшись по материнству, стала за ним присматривать.

Исаева тогда качнуло, и он схватился за ее крепкую голень, а позже, подхваченный ее рукой и поднятый с узорчатого ковра, ткнулся уже ей в лицо.

Она отвела его от себя и стала рассматривать. Исаев, подвешенный в воздухе, рассматривал ее, цепляясь руками за пахнущий кашей воздух и взглядом — за сверлившие его глаза.

Исаев не выдержал этого взгляда и заорал. Мать, пришедшая на крик, думала, что Исаеву больно в подмышках или в намятых кистями соседки младенческих боках, и, терпеливо улыбаясь, просила его опустить.

Но Исаев плакал от другой боли. Он заболел душой от взгляда соседки, и все, что можно было прочесть по ее лицу, прочитал правильно. Неопытная первородка-мать не поняла сына, и он заплакал еще сильнее оттого, что по-другому не умел попросить у нее защиты от этой враждебности.

И пойдя в сад, видел в других ту же враждебность: и в усатой нянечке — неумной моложавой тетке, и в детях, уложенных на раскладушки по бокам от него. И когда, освободившись от сада, пошел в школу, — мир становился все шире, все больше, все грандиознее. И те же размеры приобретала его враждебность.

В первый класс его вел отец, и этим Исаев особенно гордился, потому что других вели матери, а третьих — матери матерей. И это было для Исаева тем более ужасно.

Мать матери Исаева упала с инсультом в то время, когда он впервые произнес «я», и долго некрасиво умирала потом, когда он, закрепившись в понимании собственной личности, произносил «я» сотни раз в день.

Исаев иногда оставался с ней один, когда соседка, вымолив для себя новое материнство, родила живого и забыла Исаева, и пугался глухой трескучей тишины дома. Спасаясь от нее, он прибегал к постели бабушки в поисках ласковых женских звуков, но вместо них слышал шипение невидимого монстра, которого поселил под кроватью и которого до судорог боялся, спуская ноги на пол, перед тем как в ночь бежать по нужде.

С отцом Исаев познал много нежности и доброй уже тишины на природе, приучившись ее любить.

Они уезжали за триста километров от дома, где, по мнению Исаева, кончались люди и начинались животные; оставляли машину у егерской сторожки и долго бродили по заповеднику, чтобы увидеть кого-нибудь с шерстью. Когда Исаев уставал, отец сажал его на плечи, и сверху Исаев видел маленькую жизнь пауков, ящериц и скорпионов и чувствовал себя в безопасности. За отца он не боялся тоже, потому что

у отца было ружье и высокие сапоги, а боялся только за фокстерьера, ходившего по земле голыми лапами.

Новой враждебностью для Исаева стал отчим, которого мать просила называть «отец»; но Исаев твердо держался за память о тишине на природе и ни разу не обратился к отчиму этим словом даже машинально.

И когда класс стал разбиваться на группы, подобно тем, что составляются в индийских джунглях и африканских саваннах, то есть разделился на хищников и травоядных, Исаев поначалу метался между ними, а потом перестал, потому что все они были враждебны его миропониманию. И был тому яркий пример, когда лет в двенадцать он мог донести на курящих за туалетом, но не донес, а решил примкнуть к ним и развернуть эту враждебность от себя. И когда покурил и понял, что ему не нравится, и когда не курил и был с теми, кто имел копыта, а не клыки, решил, что враждебность никуда не уходит; что у тех, кто имеет копыта, она может быть в разы больше оттого, что они трусят.

Так продолжалось до тех пор, пока Исаев не влюбился.

Влюбился Исаев поздно. Где-то на отметке между десятым и одиннадцатым классом. То есть почти перед самым окончанием школы.

К тому времени у Исаева были уже братья и сестры, и мать давно потеряла с Исаевым связь, так что он не пытался узнать у нее, как именно нужно ухаживать за женщинами.

Отчим давно сгинул из их квартиры в соседний подъезд, но когда возвращался с вахты, часто встречался Исаеву и кивал. Исаев не вспоминал его добрым словом, но и злым не вспоминал. Он вспоминал драку на лестнице в младшем звене, когда по какому-то чудовищному случаю с пролета третьего этажа упал на покатые ступени его одноклассник и сломал позвоночник.

Исаев тогда не дрался, он шел мимо, и его просили определиться, на чьей он стороне. Исаев сказал, что ни на чьей, и его толкнули. На перилах лицом друг к другу сидели двое. Это была завершающая фаза после драки, в которой не машут кулаками, а играют в «крепкую птичку».

«Раз ни на чьей, тогда на удачу», — сказал кто-то, и Исаев ткнулся ногами в холодные балясины, а корпусом — в синий пиджак.

Ночью Исаев не спал и ждал, что за ним придут. Отчим сказал, что если он не перестанет ныть, то обязательно придут и уведут.

На следующий день пришел милиционер и спросил Исаева. Исаев услышал материнский голос и посмотрел в окно с декабрьским солнцем. Деревьев из окна видно не было, так что не было видно и снега, и Исаев подумал, что это мог быть какой угодно месяц: и сентябрь, и март, и апрель. В сентябре он бы придумал, как не пойти в эту школу, а пойти в другую, и ничего могло бы не быть. Но теперь был декабрь, и в дверях стоял милиционер, и Исаев ждал, что его уведут.

Исаев замер и почувствовал одиночество. Он услышал, как за стенкой разучивали гаммы и фальшивили через раз, а на улице скребли по асфальту лопатами. Ему хотелось оказаться трехлетним, когда враждебности было немного, и только хрипы старухи и монстр под кроватью пугали его по-настоящему.

Он собрал со стола ручки, карандаши и линейки и поставил их в стакан; закрыл учебники с тетрадями и стопкой сложил на краю.

Тогда мать позвала его.

Исаев прошел половину комнаты и остановился. Она позвала снова. Он прошел вторую половину, обернулся к окну и понял, что это не мог быть апрель, потому что в апреле нечего соскребать с асфальта.

Глядя на ковер под ногами, он очутился в прихожей и спрятался за матерью. Мать повторила милиционеру версию Исаева, и тот сказал, что будет разбираться. Исаев ушел в комнату и решил, что ему не верят и надо ждать.

Его перевели в другую школу, но ходить туда надо было через улицу поломанного

мальчика, и Исаев каждый день ждал, что в хорошую погоду его выкатят под липы дышать воздухом и смотреть на солнце.

К окончанию школы в классе Исаева начались перемены. Движений изнутри было больше, чем извне, потому что физмат был враждебен многим; но кое-кто приходил и извне, чтобы бороться с гуманитариями на вступительных.

Исаев давно сидел один и теперь почувствовал, как ему неуютно, притиснутому к батарее. Новенькую определили к Исаеву, потому что ее мать просила выделить дочери спокойного сидельца, и Исаев вновь оказался избранным поневоле. Он думал, что враждебность не существует сама по себе, а исходит от людей, как электричество от источника, но противиться соседке не стал: она была тихая и пахла лавандой.

С месяц Исаев терпел, а потом спросил — почему. Соседка вынула из рюкзака тугие мешочки, а из пособия по электродинамике — закладки из сушеной лаванды.

После вечерних факультативов по физике и тригонометрии Исаев провожал соседку до дома, представляя фиолетовые поля, какие бывают во Франции. Он думал, что объяснить с соседкой на фоне лавандовых волн было бы легче, чем в угольных сумерках улиц, — они кончались прежде, чем он успевал объяснить ей волновую теорию света, — но Франция была далеко, и он входил внутрь дома, продолжая собирать для нее картину науки, которую она не понимала. Внутри стояла тишина и пахло сушеными травами. Исаев постепенно смолкал, садился за стол и вспоминал отца и рыжие уши старого фокстерьера в испепеленной солнцем траве.

Соседка ставила перед Исаевым варенье, масло и хлеб и заливала кипятком какие-то травы. Потом разливала отвар по чашкам и одну уносила матери, которую Исаев видел редко и еще реже слышал, — как будто двигалась в пространстве только ее тень, а сама она все время пряталась в комнате.

Свет Исаев любил больше, чем тьму, потому что днем он мог заниматься физикой или играть с близнецами, похожими на отчима, когда они хмурились, и на мать — когда улыбались. Ночью Исаев вспоминал свое детство и видел по очереди всех, о ком многого не понимал, но многое помнил. И иногда, проваливаясь в сон, отбивался от рук и голосов, которые спрашивали у него, на чьей он стороне, и обещали, что во всем разберутся.

Исаева томило, что в доме с лавандой не любили света и держали шторы закрытыми. Томило, что никакого результата его дополнительные занятия не приносили, а делали даже хуже: соседка писала плохие контрольные, а иногда, не шелохнувшись, сидела над листком с фамилией до самого звонка и не просила помощи.

С месяц Исаев терпел, а потом спросил — почему. Соседка заплакала и сказала, что закрытые шторы — от материнной мигрени, а пустые листки — от ненависти к физмату. И Исаев, не разобравшись, любовь это или жалость, поцеловал ее в губы и по тому, как сжалось его сердце на обратном пути, определил, что любовь и есть жалость, какой не было у отчима к матери, но какая была у его отца и к нему, и к заболевшему фокстерьеру, и, наверное, ко всем остальным существам.

И Исаев решил быть как отец и не быть как отчим, чтобы не плодить враждебность самому, а использовать закон Ома из электротехники, уменьшая напряжение и увеличивая сопротивление.

Выбрав себе роль, Исаев стал счастливым и перестал думать о враждебности. Единственное, чего он по-прежнему не понимал: зачем питаться от источника, к которому не испытываешь любви? И не откладывая на потом, спросил ее — почему. Соседка сказала про родственника-декана и что только поэтому был выбран физфак, но говорить об этом лучше тише, потому что с приступом у матери случается крик, и его невозможно вынести, если не убежать. Исаев испытал еще больше жалости и решил жениться после первого курса, чтобы ей было куда убежать.

Синие зимние и зеленые весенние вечера проходили одинаково: Исаев сидел в плетеном кресле-качалке, окутанный запахом сушеных соцветий. Отрываясь от книг, он смотрел, как она смешивала блеклые травы, измельчая их в царапаной ступке

деревянным пестиком, и чувствовал себя звездочетом в кабинете алхимика. Она всегда садилась напротив, так что их разделял только вытянутый журнальный столик, и каждый вечер он начинал с фразы, продавленной шариковой ручкой на сгибе столешницы: «Муфта, Полботинка, Моховая Борода и я едем путешествовать».

Для лаванды она шила сиреневые мешочки и, видя хрупкие сиреневые цветки, он заранее знал, что не высидит долго и скоро начнет засыпать. Просыпался Исаев, укрытый шкуркой каракуля, далеко за полночь, но домой не спешил и к книгам уже не притрагивался, а мысленно торопил время, чтобы поскорее оказаться на первом курсе.

Враждебность вернулась к Исаеву внезапно, когда он отвык от нее настолько, что беспамятно улыбался даже соседке, родившей когда-то мертвеца. Соседка была теперь постаревшая многодетная мать; она по-прежнему сверлила Исаева взглядом, не отпуская его как напоминание.

На выпускных класс переживал особенную дружбу — такая случается с теми, кто находится в общей связке. Лица учителей и проверяющих из комиссии были строгие и обреченные, как у людей без надежды. Учителя ходили по рядам и украдкой подсказывали решения. Комиссия украдкой злилась, но открыто не возражала, потому что только в совокупности была без пола и без души, а по отдельности состояла из людей.

Документы в университет они сдали вместе, и Исаев познакомил ее с близнецами, которые теперь постоянно ждали, когда припадут к ней, как к большому цветущему лугу, чтобы вдыхать запахи.

На вступительных Исаев не волновался ни за себя, ни за нее, помня о том, что у него были знания, а у нее — декан-родственник. Он закончил раньше других и вышел на улицу хозяином жизни. Соседка вышла последней, и Исаев повел ее домой, держа за руку. Весь путь Исаев молчал, ощущая трепет после окончания чего-то большого и перед началом чего-то необъятного, и только улыбался.

Соседка поставила чайник, раздёрнула шторы и побежала в комнату к матери. Мать посидела с ними немного, а потом вытолкала их наружу — в густые запахи лета.

Они покружили по городу и вышли на школьный маршрут Исаева, где возле калитки под липами сидел поломанный мальчик и смотрел на вечернее солнце. Исаев потянул ее на себя, а она потянула Исаева и оказалась сильней. Через минуту он стоял перед коляской с прежним пониманием жизни, ощущая, насколько оно привычно и близко ему и насколько от него неотделимо.

Соседка представила Исаева как Исаева, а поломанного мальчика — как двоюродного брата и сына родственника-декана. Исаев и мальчик узнали друг друга, но сделали вид, что не узнали.

Исаев проводил ее до дома и попросил сиреневый мешочек от бессонницы. На следующий день он забрал документы из университета и осенью ушел в армию.

Вернувшись, он понял, что теперь в нем достаточно сил, чтобы сопротивляться враждебности дальше, и поступил на военного инженера. Близнецы все еще были детьми и потому не имели памяти. Они так же любили играть с Исаевым, но забыли про девушку с запахом цветочного луга. Исаев потерял лавандовый мешочек во время службы, но хорошо помнил его запах и, мучимый бессонницей, легко воскрешал его в голове.

За годы учебы Исаев сдался только раз и пошел к дому поломанного мальчика, чтобы увидеть его издалека, а потом и вблизи; но вместо лип были вкопаны подрощенные ели, а вместо мальчика стоял пластмассовый истукан и опирался на табличку «Частный детсад».

Исаеву понравилось чувство утраты напряжения, и он пошел прямиком на физфак, чтобы проверить себя и кое-какие факты. Одноклассники Исаева доучивались в небольшом количестве, потому что для некоторых ученье оказалось тьмой, а неученье — если не светом, то покоем. Девушка с лавандой успокоилась в браке после первого курса и оставила учебу.

Услышав это, Исаев почувствовал шевеление внутри, какое случалось, когда он был не согласен с собой. Он отмотал назад, взял девушку с лавандой за руку и пошел с ней по другой дороге, где им не мог встретиться поломанный мальчик. Потом приблизил осень двухгодичной давности, сделал себя студентом физфака, сдал две сессии и женился. Ему удалось обойти свадьбу, потому что было не время для лишних хлопот, но не удалось обойти родственника-декана: тот все равно оказывался в курсе, так что встреча с поломанным мальчиком была неизбежна, даже если путь к нему удлинялся.

Исаев понял, что нужно отмотать еще и не идти по коридору, где была драка и много маленьких дураков. Эти дураки были телами, наделенными импульсами, потому что любое тело в природе имеет импульс, даже если находится в покое. В момент, когда Исаева толкнули, он был телом, находящимся в покое, и потому не сопротивлялся, а стал проводником чужого импульса. И так как импульс тела измерялся массой, помноженной на скорость, и так как толкнувший был больше Исаева, а Исаев был больше толкаемого... — тут Исаев остановился и перевел дух. Он подумал, что, наверное, вот так люди и сходят с ума, потому что сопротивляются данности, как он, испугавшись прошлого, или, как поломанный мальчик, испугавшись падения, и решил, что враждебность рождает напряжение, а напряжение — поломку ума или тела; и потому кошки, летящие вниз, так редко остаются калекami и еще реже бьются в лепешку.

Из окон факультета Исаев смотрел на рукодельный палисадник, по которому сновали студенты и кошки, хоть это запрещалось табличкой письменно и завхозом устно. Жизнь внизу представлялась плоской и безвредной, как пауки и скорпионы рядом с массивными сапогами отца.

Исаев понял, что пауки и скорпионы бессильны перед сапогом отца, кошка — перед студентом, студент — перед факультетом, факультет — перед метеоритом, метеорит — перед земной короной, земная кора — перед землетрясением. Потом он понял, что и человек может быть бессилён перед скорпионом и перед кошкой, а может оказаться сильнее и тридцатиэтажного дома, и даже земной коры. И это то, что Исаеву нравилось в его специальности, и то, что пугало его в ней.

Ночью Исаев увидел себя во младенчестве на руках соседки, родившей мертвеца, и вспомнил свой первый страх. Утром он подумал, что в Земле есть ядро, во Вселенной — Бог, и нет никакой другой абсолютной силы. Он отвел близнецов в детский сад и пошел заниматься автоматизированными системами управления космическими аппаратами.

Какой бы враждебной ни казалась Исаеву жизнь, ему нравилось быть в ней человеком, чтобы замахиваться на роль творца и подчинять своей воле механизмы. При работе с механизмами и боеприпасами Исаев воображал момент смерти и думал над тем, кто будет плакать по нему, и приходил к тому, что никто.

В детстве Исаеву нравилось умирать понарошку, чтобы проиграть, как это будет. Самый главный момент — шествие на кладбище во главе с покойным — Исаев смаковал особенно. И пока занимался расстановкой гостей и очередностью речей, уставал так, что умирать передумывал: становилось скучно. В армии Исаев увидел ту же скуку на лице прапорщика, когда тот отходил по-настоящему. Одной рукой он схватился за сердце, другой — за Исаева и, пережив короткий момент боли, осел на пол с пустым и скучным лицом. Никакой трагедии в этом не было, а была знакомая Исаеву физика, и он увидел, что закон сохранения импульса кончается тогда, когда начинается скука.

Исаев продолжал умирать регулярно до тех пор, пока у матери не появились близнецы и другие дети. С ними ему никак не удавалось завладеть ее вниманием целиком. В последний раз, чуть только она в воображении Исаева припала к его телу и зашлась плачем, — за стенкой в плаче зашлись близнецы, и мать предпочла успокоить живых, потому что мертвому торопиться некуда. Исаев долго пролежал с каменным лицом, ожидая ее возвращения, но близнецы не унимались, и мать не шла. В конце

концов Исаеву надоело; он встал, переделся в удобное, повесив в шкаф неудобное, и вышел в кипящую жизнь города.

В армии Исаева тяготили обыденность и превосходство физического над умственным. Тогда он увлекся музыкой. Исаеву больше подходило пианино, потому что он не любил собственный голос, но в пианино не хватало клавиш, и Исаев освоил гитару.

Переключая песни про глаза, сердца и любовь, Исаев слушал про осень, родину и майский гром. И подбирал к ним аккорды.

Поссорившись с женой, ротный Исаева напивался и просил аккомпанировать ему в каптерке. Исаев сбивался, но ротный вытягивал паузы голосом и тихо пел «Это все, что останется после меня», подставив обветренный кулак под щеку. Забывая слова третьего куплета, потому что все место в его голове занимали устав, имена солдат, детей и жены, ротный останавливал пение и, подставив другой кулак под другую щеку, говорил Исаеву: «Я так и не понял: а что в итоге останется».

Когда Исаев вернулся из армии, исчезло многое и многое изменилось. Не считая лавандовой девушки, поломанного мальчика, лип и пары одноклассников с физфака, исчезли живший по соседству отчим, пейджеры и порошки, которые разбавлялись водой и выпивались как сок. Появились новые кинотеатры, мобильные телефоны и интернет. Исаев разобрал старый «пентиум», продал его на запчасти и начал ходить в кино и покупать новые книги.

В кино и книгах он открыл, что человеку нравится жить во враждебном мире, что режиссеры нарочно выдумывают врагов, в которых нужно стрелять, а писатели нарочно сочиняют страдания, чтобы мучить героя и тем наскребать в нем человека.

Исаев вспоминал грустного и пьяного ротного и отвечал на его вопрос: «Ничего». «Ничего?» — сам себя переспрашивал Исаев. И снова отвечал: «Ничего». И тогда вспоминал фокстерьера, который уже не ходил по следу, потому что не мог припадать к земле из-за твердых наростов на шее. Отец поехал за лекарством, но врач сказал: «Пустое», — и дал фокстерьеру два месяца.

В заповеднике буйствовала жизнь, потому что снег уходил в землю, а трава выходила наружу и населялась заново. Стало много звуков.

Исаев смотрел, как отец спускается с фокстерьером в овраг и снимает с него ошейник. Потом они уходят далеко, и отец сидит на траве, а Исаев бежит за капустницей. Мимо проходит шакал, наполовину шерстяной, наполовину лишний. Под небом становится ветрено, и капустницы улетают. Войско муравьев несет мимо Исаева жука-носорога как победный трофей. Исаев разоряет войско и отдает трофей отцу. Он спрашивает его: «А что после жука?», и отец говорит: «Трава». И потом он спрашивает: «А что после собаки?», и отец говорит: «Трава». И потом он спрашивает: «А что после тебя?», и отец говорит: «Ты».

Близнецы и другие дети стали школьниками, и у них появился свой отчим. Исаев встретился с ним глазами в зеркале прихожей и не увидел отличия. Он понял, что достиг того возраста, когда все, кто родились раньше него, были старше, но не взрослее, — и придумал съехать. Мать попросила навещать их почаще и отчего-то заплакала. Исаев вспомнил, как скучал по ней в детстве, ожидая ее с работы в доме соседки, родившей живого после мертвого. Он подолгу сидел, прилипнув к окну, и боялся, что она попадет под дождь, заболит смертельной болезнью и он никогда не почувствует ее запах. Завидев мать, Исаев вырывался из рук соседки и выбегал под дождь, чтобы спасти ее, а скорее — спастись самому.

В комнату вошел отчим номер два, и мать перестала. Отчим ушел, и Исаев обнял ее, но не почувствовал прежнего запаха. Мать становилась маленькой, а Исаев рос дальше и больше не верил, что от дождей умирают.

Однокурсни́к Исаева разыскивал сожителя, чтобы легче было платить за квартиру, и Исаев пошел санитаром в больницу, где лежали бежавшие рассудком от враждебности, которую теперь несли сами.

На третьем дежурстве он уснул прямо в наблюдательной, потому что был измотан учебой и заработком. Ночью на него набросились и стали душить. Исаев закричал во сне немим криком, а открыв глаза, увидел, что это кричит душивший его. Он отбросил его от себя и побежал на воздух.

«Делирий», — сказал главврач и бросил перед Исаевым карту больного. На карте Исаев увидел отчима номер один и взял ее в руки, чтобы удостовериться. «Что?» — спросил Исаев, но не его, а себя. «Белочка», — пояснил главврач и, прикрыв глаза, втянул воздух, пропитанный нейрорептиками. Он подал Исаеву руку и сказал: «До встречи». «До свидания», — сказал Исаев, но подумал: «Прощай». Главврач снова глубоко затынулся воздухом и подумал то же самое.

До выпуска Исаев добрался грузчиком и разнорабочим и ни разу не подвел соседа по квартире. С вечерними подработками его мирила действительность, точнее — нежелание возвращаться в собственную комнату, где под присмотром сознательных близнецов барахтался в манеже его новый брат.

Исаев не думал об отдельном жилье, пока душной майской ночью враждебность не подобралась к нему вплотную и пока неслышная молния и раскатный гром не разбудили в сожителе Исаева убийцу.

В ту ночь Исаев крепко спал, ничего не боясь в завтрашнем дне и ничего о нем не предчувствуя. Проснулся он оттого, что кто-то толкал его в грудь, и, включив свет, увидел страшное лицо сожителя. Тот дышал перегаром и шепотом кричал: «Я убил! Я убил! Помоги, Исаев!»

Он потащил Исаева на кухню, где были готовые, знакомые Исаеву по новым фильмам декорации, и если бы не запах, который фильмы не передавали, Исаев простоял бы на минуту дольше. И на минуту дольше смотрел бы на взрослое тело, подетски свернутое калачиком на полу, и на бурю, словно заржавелую кровь; и подумал бы еще, что не ромашки в вазах, не мумия фазана и не корзина с фруктами должны называться натюрмортом, а этот расписанный шпротным маслом холст стола.

Сожитель суетился и продолжал хрипеть, вталкивая Исаева вглубь кухни. Тот оттолкнул его, вернулся в комнату и вызвал милицию и скорую.

В окнах Исаева шевелилась зелень, пробуждая в нем жажду жизни. Внутри же Исаева шевелилось знание: чему быть, того не миновать, — и он возненавидел того, кто внушил ему это знание, потому что ему хотелось миновать.

Когда квартира наполнилась людьми в форме, халатах и штатских одеждах, сожитель, пытаясь спрятаться за Исаева, как когда-то Исаев прятался за мать, кричал, что он слабый — и потому не мог, а Исаев сильный, потому что был в армии.

«Я даже не пью», — сказал Исаев и ушел в ванную, где его вывернуло наизнанку.

Получив диплом, Исаев легко нашел работу на предприятии оборонного производства и поступил в аспирантуру. Чем враждебнее становилось в мире, тем больше работы доставалось Исаеву и тем быстрее писалась его диссертация.

На работе Исаевым интересовались пожилые ученые и молодые женщины, потому что первые думали о возвышенном, а вторые — о насущном. Ученых заботили разработки Исаева в вопросах дальности полета боевых снарядов, а женщин — беспроцентная ссуда на жилплощадь для молодых семей. Исаев же думал обо всем сразу, но, устав от жизни, в которой выбирали его, он решил выбрать сам.

Все женщины в блоке Исаева ходили в белых халатах и отличались только по голосу. Все рабочее время Исаев проводил, не поднимая головы от расчетов и узнавая на слух, кому принадлежит голос. И только голоса одной девушки Исаев никогда не слышал и потому не знал, что она существует. Заработавшись однажды допоздна, он не заметил, как все разошлись, и, услышав незнакомый голос, поднял глаза.

У нее не было научного будущего и родственников, проживающих в городе Исаева, а было лицо, полное напряжения до шести вечера и полное радости после шести. Когда Исаев впервые увидел ее, было около девяти.

«Зачем же вы тут работаете, если не любите физику?» — позднее спросил ее

Исаев, вспоминая лавандовую девушку. «Я люблю, — ответила девушка, — но не такую сложную». «А что любите больше?» — спросил Исаев. «Детей», — ответила девушка и через месяц ушла школьным учителем. Исаеву же не хотелось оставлять после себя траву, и он пошел за кольцом.

К окончанию диссертации Исаева определили на полигон, где он проводил по несколько недель и где не было ни животных с шерстью, ни сотовой связи, но были неохватная степь, двухэтажный сруб и баня из кирпича.

Закончив испытания, Исаев спешил в дом, чтобы сидеть у огня, писать расчеты и думать о жене. Снег доходил ему почти до колен и не давал упасть. Вынимая ноги из глубоких лунок, он пробирался медленно, выставив руки вперед и защищая лицо от свистящей наледи. Из дома кричали и размахивали фонариками, но Исаеву казалось, что это кричит ветер и обманывает его человеческими голосами. Из дома кричали: «Сюда!», а до Исаева долетало: «Туда!», будто указывая на огневые позиции, где еще недавно разрывались снаряды и где теперь бушевала метель. Он не помнил, чтобы хоть раз за время испытаний стояла хорошая погода, а вокруг было бы то, что и должно быть на природе, — тишина. За что он любил ее, того ни разу не получал здесь, и потому решил, что это нормальная плата за его к ней враждебность: ведь в мире, о котором Исаев тосковал и в который не верил, «Солнцепек» должен был напоминать о лете, а «Буратино» — о золотом ключике.

Весной у Исаева родился сын, а осенью он закончил диссертацию и выехал на полигон для окончательных испытаний.

На пятый дождливый день с ним связались по рации и участливо, но сбивчиво сообщили, чтобы он срочно выезжал домой по семейным обстоятельствам. Исаев увидел напарника, прятанного глаза. Его лицо стало как выжженная степь, и он спросил: «Живы?», но диспетчер, воспользовавшись помехами, повесил трубку.

Пока Исаев летел в забытый до дома, чтобы окончательно убедиться во враждебности мира и чтобы раз и навсегда объявить его непригодным для жизни, к диспетчеру подошел человек и сказал, что они напутали с фамилией и с названием полигона. Но диспетчер сказал, что он не ворон, и если хотят, пусть звонят сами.

Когда Исаев вошел в квартиру, там было тепло и шумно, как бывает только от живых людей. Он посмотрел на обувь и увидел незнакомую женскую пару от широкой разлапистой ноги. В кухне у плиты стояла хозяйка этой пары, похожая на пожилую медведицу, и помешивала кашу. Исаев представил, как она выключает плиту, вынимает из каши топор и разливает ее по деревянным мискам перед ревущими всклокоченными медвежатами.

Жену и сына он нашел в детской, в которой за время дороги уже представил себя больным осиротевшим стариком. В комнате после ремонта еще не хватало мебели. Она была чистая и замершая от ожидания большого светлого будущего.

Увидев отца, сын заревел и протянул к нему руки; и этот крик, отбившись от голых стен, ударил по Исаеву, как весь его прожитый опыт.

Он взял его на руки и заглянул ему в глаза. Это были глаза, готовые увидеть увиденное Исаевым от момента, когда Исаев болтался в воздухе в отведенных от тела руках соседки, и до момента, который Исаев не мог угадать. И тогда он вышел из детской, рассчитался с медведицей и сказал, что ребенку лучше с матерью.

Абдухамид Парда

Белые ворота

С узбекского. Перевод Вадима Муратханова

* * *

Я потомок древних земных племён,
Но божественным словом навек пленён.
И душа моя от начала времён
Жаждой слова томится, утратив сон.

Жажда слова — её желать не могу
Даже злейшему в этом мире врагу.
Но как чуден сад, где растут слова!
Я в душе аромат его берегу.

И по саду вечно бродить готов,
Сердце раня шипами его цветов.

Памяти Рауфа Парфи

Я тебя читаю вслух,
И сжимается от боли
Сердце. С худшей из разлук
Свыкнуться ему легко ли?

Входит осень в город твой,
Но твоё пустует место.

Плачет осень день-деньской,
Словно вдовая невеста.

Тем, что время от потерь
Лечит, зря себя мы тешим:
Честью равных нет тебе
В этом мире опустевшем.

Абдухамид Парда (Пардаев) — поэт, литературовед, переводчик. Родился в 1958 году в селе Каракуйли Букинского района Ташкентской области. Окончил факультет журналистики Ташкентского университета. Автор нескольких сборников стихов. Переводил на узбекский стихи Дж.Донна, Байрона, Тагора, Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина, Бродского и др. Живет в Ташкенте. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

Вадим Муратханов — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1974 году в г. Фрунзе. В 1990-м окончил факультет зарубежной филологии Ташкентского университета. Один из основателей объединения «Ташкентская поэтическая школа», альманаха «Малый шелковый путь» и Ташкентского открытого фестиваля поэзии. Автор нескольких поэтических книг. Живет в Подмоскowie.

Узор

В самом сердце кишлака
Высится кирпичный дом.
Звёзд узор издалика
Различим на доме том.

Три сестры укрыты в доме.
Старшая — звезда. Луна —
Средняя. Но сердцу, кроме
Третьей, младшей, ни одна

Не желанна. Злая участь —
День за днём в разлуке с ней
Жить, воспоминаньем мучась.
Мимо запертых дверей

Прохожу я с давних пор,
Робко замедляя шаг.
И на сердце звёзд узор
Не стирается никак.

Белые ворота

Вы всех мечтаний моих предел,
Мелодий тайных моих предел,
Моё оправданье и цель моя,
Душевных мук колыбель моя.
За вами рвётся времени нить,
Дано не каждому вас открыть,

Ворота белые, словно снег!

Вы в новый мир потаённый вход,
Где солнца вовеки не меркнет свет.
Прекрасная девушка там живёт,
Не зная печалей, разлук и бед,

Ворота белые, словно снег!

Над вами сверкают вершины гор,
От них белеет моя голова.
За вами поются, сплетаясь в хор,
Единственно правильные слова,

Ворота белые, словно снег!

Пусть мир за вами мне незнаком
И свет ослепляет с его вершин,
Но только в нём обретёт свой дом
Бессонная птица моей души,

Ворота белые, словно снег!

В сумерках

Опустились сумерки. Во дворе
У соседа запел перепёлок хор,
Словно некто к губам приложил свирель —
И мелодия полилась легко.

Наконец я снова в родном кишлаке.
На айване горячий чай не спеша
В этот вечер пью, и с каждым глотком
Оживает, теплеет моя душа.

И хлопочет мама вокруг меня,
Тихой речи разматывает клубок:
«Все друзья твои семьями обзавелись,
Ты один не женился пока, сынок».

Под орехом раскидистым мать и сын.
Утекает беседа в густую ночь.
«На примете есть девушка у меня,
И тебе подходит она точь-в-точь».

Нет, другая живет, красотой слепя,
С давних пор в моём сердце. Но невдомек
Это маме: «Есть девушка для тебя.
Надо свататься. Не возражай, сынок».

Закономерность

Капля мала, ускользает от взора,
Но вырастают из капель озёра.

Короток времени шаг, но доселе
Не отклоняется время от цели,

И для него через тысячу лет
Старости нет и усталости нет.

Короток, нетороплив его шаг,
Только ты с ним не поспоришь никак.

Ты не услышишь ни крика, ни зова,
В книге судьбы не прочтёшь ты ни слова.

По истеченьи отпущенных дней
Время с улыбкой склонится над ней

И, избавляя тебя от тоски,
Вмиг уберёт, как фигуру с доски.

* * *

Пусть иду земным путём,
Небо — истинный мой дом.
Пусть я сын родной земли,
Звёзды — спутницы мои.

Хоть неярк я на вид,
Но во мне огонь горит,
И Всевышнего печать
Сердцу не велит молчать.

Скрыт во мне огромный мир,
Где Зухра и с ней Тахир,
Где Меджнун и с ним Лейли —
Все приют себе нашли.

Зеркало моей души —
Для своих и для чужих.
Каждый, кто душой открыт,
Суть свою в нём разглядит.

Жизнь

Долго настраивал струны души.
Кто их услышит в ночной тиши?
Мир этот словом пронизан насквозь,
Но за слова мне платить пришлось.
Знаю, что жизнь не сыграешь с листа.
Что ж так народная песня проста?
Что ж не пытается у жизни мудрец,
В чём её цель и далёк ли конец?
Лет не считая, смотрит вперёд,
Словно негромкую песню поёт.

Завещание

Если умру, желание одно:
Не задрожала б слеза на ресницах.
Сердце печалью будет полно,
Даже когда перестанет биться.

Вымойте, оботрите меня,
Спойте мне песню, склоняясь над постелью.
Ту, что в конце бесконечного дня
Пела мне мама над колыбелью.

Борис Лейбов

Рассказы

Из цикла «Штукарство»

Люди с Гончарного переулка

Грязь. Весна. «Народная» улица. Ресторан. Суббота. На бруске паштет из кролика, политый смородиновым вареньем. Смотришь мимо людей, мимо черных курток. По ту сторону пыльных окон — тротуарное месиво из серого снега. Ливневки, похожие на оконца камер. Пошлость во всем: в интерьере с принтами европейских замков, обрамленных в тяжелую золотую пластмассу, в придурковатом халдее с рожей Петьки и табличкой «Пьер». С закрытыми глазами жизнь веселее. Тьма и паштет. Если выйти из окружения и выключить кухонный лязг, многоголосье и автомобильный гул, то можно наблюдать себя со стороны. Я в высоких сапогах стою по пояс в осоке. У ног во всей готовности Гасконская гончая. Мы вышли из Поншато на рассвете и долго шли в сторону Луара. Реку еще не видно, но до нас уже долетает ее рев, иногда прерываемый ветром. Но вот мы встали. Не я один услышал зайца. Он скользнул по мокрой утренней траве, невидимый. Одна его ошибка, один его шорох, и...

— Фирсман, Борис Леонидович?

За моим столом двое гостей. А я думал, что успею позавтракать. Видимо, телефон надо было оставить дома. А как в змейку не поиграть, пока без дела ждешь блюда? Старшего знаю. Лет пять назад начинал. Бродил по рядам вернисажа, спрашивал, где золота можно взять. Николаевских десяток. Представлялся посредником цыганского барона, якобы до сотни килограммов собирал на свадьбу в приданное дочери, баронессы то есть. И легенда чепуха, и не надо быть провидцем, чтобы мента от спекулянта отличить. Нет ничего более неловкого, чем видеть, как актер неумело играет пьяного. Такие громко говорят и кривляются, а лучше б молча, только глазами. Одним взглядом, который мажет и устремляется чуть мимо цели. Юрфак и семейную ментовскую породу с орденоносцем-дедом, с героем труда матерью, с госдачами не смыть с белобрысого лица. Не продам я тебе золота, мусор, сколько ты его «рыжьем» ни называй.

— Вы теперь, верно, майор?

— Майор.

— Поедем в отделение?

Он кивнул.

— Вы меня задерживаете?

— Зачем же так, Борис Леонидович? Мы просто побеседовать. Про вчера.

— Так давайте тут?

Улыбнулся. С какой же радостью этот комсомолец надел бы на меня противогаз и задыхающемуся вставил бы кипятильник в задний проход. Недаром эти правильные, семейные, волевые отцы, точно знающие, что хорошее — белого цвета, а плохое — черного, латентные педерасты. Я тоже улыбаюсь. Сегодня мне сложно дается это выражение. У меня траур. Но я улыбаюсь. Ничего он мне не сделает.

— Майор, заплати за меня? Хорошо? Кошелек забыл. Я в туалет и буду готов.

Следом за мной пошел второй. Такая же белесая нечисть. Увидишь раз — не запомнишь. Да и со второго тоже.

— Юноша, вы со мной в кабинку зайдете?

Растерялся, как будто он не милиционер. Они что, правда, только пытаться умеют? Сел, достал телефон. «Генрих Казимирович, SOS. Я в ОВД Таганский. Вчера с обеда и до ночи я был у Вас». Сообщение отправлено. Телефон надо сразу выключить, чтобы не оставить покровителю возможности перезвонить, все выяснить и того гляди отнекаться.

Снаружи тоска. Она во всем. В умирающей грязной зиме, в мокром черном снеге. Голые, редкие деревья. Безлюдный пешеходный переход. Зеленый глаз светофора, похоже, редкий источник жизнерадостного цвета в панельной окраине центрального округа. Мы садимся в «Ниву». От плохого к худшему. Но от худшего к аду — когда войдем в их терем. Вонючие, сырые пролеты и коридоры. Потолки, как в поместье карликов. В кабинетах коричневая советская мебель. Белорусский массив! И паркет! Он не на полу, там волнистый линолеум, он на стене. Зачем? Зачем это все? Или за что? За что салатный телефон с диском? Моложавый помощник вкатывает уродливую конструкцию с телевизором и видеоплеером и молча выходит.

— Борис Леонидович, — на стол ложатся три фотографии. — Что вы можете сказать об этих лицах?

— Интеллигентные люди. Москвичи. Хорошие лица, запоминающиеся. А что? Что-то случилось?

— А вы не знаете?

— Знаю я все, майор. Знаю.

Мучительное общение с мразью — никогда нельзя заигрывать, ни за что. Но и хамить нельзя. Это только в сериалах преступники дерзят власти. В жизни — никогда.

— Где были вчера вечером?

— В гостях. У Генриха. Моего приятеля. До поздней ночи.

— Откуда вы знаете о случившемся?

— Откуда все. Спросите на Таганке. Все знают.

— Слушай сюда, сука! Генрих твой тебя не выгащит, понял? Давай. Про каждого. Что знаешь?

ОВД «Таганский» — чужая область. «Суку» придется не заметить. Но уже ясно, откуда ноги растут и кому так срочно нужен виновный. С этого и начнем тогда. Я беру самую левую из трех карточек. На ней молодой, в отличие от остальных двух, приветливый человек.

— Это Костя. Кличка Авель. Безобидный парень. Сын цементных заводов.

Выдерживаю паузу. Смотрю на майора. В точку! Теперь мы оба знаем, что это старик, Костин папа, собрал всех генералов и велел всю Москву изрыть. В таких случаях виноватый до суда не доживет, и умирать он будет долго и некрасиво. Кровожадные советские старики... Конечно. Не видать теперь Костику заводов. А его убийце — покоя.

— В клубе недавно. Увлекался монетами. Россия, девятнадцатый век. Собрал

хорошую подборку полировок. Я помогал советами. Он только начинал. Не люблю, когда хорошим людям фуфло продают.

На самом деле Костя был классическим лохом, пластилиновым. Из него можно было лепить коллекционера любой темы. А именно той, что я на тот момент продавал. Отцовские деньги не знали конца, а глупый Костя, видимо, доказывал папе, что не зря закончил Финансовую академию, и скупал все подряд, втридорога, но, как он думал, в рост. Последний наш разговор состоялся в «Шоколаднице», три дня назад. Я продал ему пятачок 1904 года. За девяносто тысяч долларов. Шестьдесят он передал сразу, а тридцать остался должен, теперь до того света. Но прибыль все равно исключительно московская. Триста процентов за четыре месяца! Нет в других городах таких ослов и таких денег, и таких денежных ослов.

— Хороший человек, значит? Как ты думаешь, что он делал вчера в компании этих двух, — он ткнул зажигалкой в фотографию Витеньки, — хороших тоже людей?

— Полагаю, играл в карты. Мы по пятницам играем в этом ресторане в карты. В дальней комнате.

Как же быстро они переходят на «ты» на своем поле. На вернисаже тыкнул бы так лет пять назад. Нельзя. Нельзя напоминать и шутить про табор.

— Кто еще об этом знает? Почему ты не играл?

— Не было настроения. А знают все. Бывает и по десять человек собирается. Дайте ручку, я перечислю всех, с кем играл за последний год.

— Не надо!

Майор закурил. Хороший, правильный мужик, а еще недавно был хорошим советским парнем. Дослужится однажды до лампас. Умрет достойно. За книгой про рыбалку, на своей даче, в плетеном кресле, летом. Похоронят его в Троекурово, а не в безымянном овраге. Квартиру оставит дочери с ее мужем-капитаном, где-нибудь на «Полежаевской» в ведомственном доме. Ох как, не спеша, он затушил бы в моей ушной раковине сигарету. Да я понимаю, что же, не человек что ли. Сидит напротив, сытая самонадеянная рожа. За один только жидовский нос можно утюгом забить. Но майор сдержан. Он выбрасывает окурки в форточку.

— Этот?

Он постучал по Витеньке.

— Этот — мой давний друг Виктор. Москвич. Его дед — матрос, брал Смольный. Потом рассказывал, что основной целью был винный погреб дворца. Там Витин дед впервые попробовал игристое вино. Его сын, Витин отец, герой войны. Стоял на крыше нынешней гостиницы «Балчуг» у зенитки. Первого мая сорок второго сбил над Москва-рекой немецкий самолет в районе Пречистенской набережной. Ждал, что будет представлен к награде. Но уже через пять минут к дому подъехали машины. Командира застрелили на месте, на крыше, при отряде, всех остальных — на Лубянку. Ну, вы понимаете, парад вот-вот начнется, а тут фашисты в километре от Сталина.

Майор смотрит на меня в недоумении, как на юридического. Нельзя допустить паузы. Время уже не просто деньги. Время — здоровье. Генрих, явись!

— Витиною отца пытали сном три недели. Он сознался во всем. В деталях рассказал, как помогал немецкому летчику обойти непроходимую систему воздушной обороны. Но началась битва за Москву, и на фронт бросили всех, кто был. Витин отец был разжалован в солдаты и отправлен в арестантском вагоне. Когда он вернулся, то практически перестал разговаривать, и чтобы окончательно не сойти с ума, увлекся собирательством монет. Маленького Витю он в шестидесятые водил на сход коллекционеров в Нескучный сад. Там собирались наши люди, по воскресеньям, под мостом, у Зелёного театра. Это теперь мы на Таганке стоим, а раньше нет. Так демонстративно нельзя было. Спекуляция, тунеядство, валюта... Выбирали места побезлюдней. Витя мне рассказывал, что уже тогда ваши могли заявиться и начать проверку документов. И тогда все бежали врассыпную. Спрячутся за куст какой и сидят с отцом, червонцы глотают, чтобы к вам с пустыми руками попасть.

Майор не выдержал и треснул по столу.

— Фирсман, ты издеваешься?

Он поднял трубку, затем бросил ее, встал и подошел к двери.

— Степанов, уведи его вниз.

«Вниз» не обещает ничего хорошего. Чем ниже, тем сложнее достать.

— А что такое, майор? Сами сказали рассказать, а теперь обижаетесь.

Блондин Степанов зашел и встал за моей спиной.

— Чем занимался Виктор? Какие у него дела с Костей были?

— Монеты собирал. С детства. Ничего плохого сказать не могу. Менялись с Костей, наверное, они же оба коллекционеры. Да нормальный он парень был, майор. Дочери у него остались. Вот не так давно жена бросила.

— А чем он на жизнь зарабатывал?

— Да откуда я знаю. У нас же клуб по интересам. Знаю, что МИЭМ закончил с отличием. Знаю, что Серёже Мавроди с математикой помогал, они с одного курса. Финансами, наверное.

— Все, Фирсман, заткнись. Степанов, включи кассету.

На экране появился стол. Изображение плохое. Сверху вниз бегают полосы. За столом Витенька, Авель и седой Николаев. Последний сдает карты. Авель что-то показывает Вите. Тот что-то говорит. Костя смеется. Витя передает предмет Николаеву. Тот откладывает карты и достает из нагрудного кармана линзу. Одобрительно кивает, передает предмет Авелю и хлопает его по плечу. Николаев несколько раз утюжит белоснежную бороду ладонью, видимо, шутит. Трое посмеиваются. Начинается игра.

— Степанов, мотай. Еще. Все. Вот отсюда. Любуйтесь, Борис Леонидович.

Николаев падает со стула. Происходящее выглядит абсурдным, возможно, из-за отсутствия звука и черно-белого цвета. Если бы фоном играл тапер, то мы наблюдали бы фарс. Авель и Витя, не сговариваясь, бросают карты и пьются к стене. В кадре появляется человек в балаклаве с пистолетом. Легко, как по дуновению ветра, Костя ударяется о стену и сползает на пол. Пистолет поворачивается в сторону Витеньки. Он что-то говорит. Наверное, «не-не-надо» или «тэ-тэ-ты что?» Выстрел. Куда делся Витенька, не видно. Человек в балаклаве обходит Николаева, нагибается к Косте, достает тот самый предмет и, выпрямившись, делает Косте контрольный в голову. Два раза. Он уходит. Больше ничего не происходит.

— Всем встать, суд идет! — дверь подчинилась ботинку Генриха, как будто была его домашней дверью. — Фирсман, на выход!

Я с радостью подчинился и вышел в коридор. Майор что-то пытался возразить. Но неуверенно и невнятно. А вот Генрих прогремел, как Зевс над Олимпом.

— Что? Хер из-за щеки вытащи! Что ты сказал? Нет? Из цементного завода и мне звонили в управление. Я их по всей Москве собираю, а ты их тут спрятал. Всех собираю, понял? Всё. Вольно! — это он, видимо, Степанову, который, наверное, и так не дышал и не моргал. — Идите жуликов ловить. И шлюх с наркоманами. И кого там еще?!

Генрих Казимирович вышел из кабинета и доброжелательно подмигнул мне, затем разразился:

— Чего смотришь? Вперед пшел, гнида, — и ласково улыбаясь, пнул меня ботинком. Почти все отделение прилипло к окнам и наблюдало, как меня запикивают в черный микроавтобус без номеров. Степанов меня, наверное, и пожалел. А вот майор понимал, что это цирк. Понимал и, видимо, горел от бессилия. Ох и достанется ночью его жене. Завтра не сядет.

— Борь, а ты чего такой кислый?

С тех пор, как мы начали общаться, я проникся неподдельным уважением к старику. Он был чем-то из детства. Каким-то советским богом, каких теперь нет, не поднебесным и заоблачным, а земным. Русское, конкретное, северное лицо. Губ нет. Какие-то сжатые земляные черви. Глаза светло-голубые. Глубокие, как лесные озера. Белая щетина, о которую можно зажечь спичку. И ровная, как выжженная земля, лысая голова.

— Да как сказать, Генрих Казимирович? Друзей у меня убили. И я видел, как.

— А как насчет «Спасибо, Генрих Казимирович»? Ты знаешь, сколько папа того мальчика озвучил? Они вас как клопов передают теперь.

— Спасибо, Генрих Казимирович. Нет, правда. Большое спасибо.

— Тебя до машины отвезти? Она там, откуда ты мне эсэмэс прислал?

— Нет. Спасибо. Можно я тут выйду?

Мы ехали по Гончарной улице.

— Ладно, Боря. Сочувствую тебе. Ты не дури сегодня. Завтра жду тебя у себя. Нет. Послезавтра. Пришлю за тобой. Дело есть.

Я вышел у Болгарской церкви. В звездочках на ее синих куполах заходило холодное мартовское солнце. Дверь скользнула и защелкнулась. Проехав пару метров, автомобиль остановился во второй раз.

— Боря, — позвал Генрих из окна. Я подошел. — Слушай, мой внук в восторге. Французское охотничье ружье — просто сказка. Мушкетер! Главное, чтобы теперь подвески не попросил. Он засмеялся.

— Трогай, — машина покатила в сторону Калининского, Кутузовского, Рублевки.

Загорелись фонари. Людей прибавилось. В голове было пусто, как в зимней Ялте. В ларьке у метро я купил Хеннесси и пакет. У меня есть привычка переживать потрясения под землей. Спускаюсь по эскалатору, сажусь на кольцевой и качусь рядом с живыми, пока не выгонят, или пока не буду готов вернуться обратно вверх. Следующая «Павелецкая». Что же теперь будет с Витиными девочками? Как же так? Они же теперь совсем одни. И как же Валера смог всех убить? Всех. За ничтожный пятак 1904 года.

Чрево Кита

Самое постоянное место жительства — твоя могила. Так шутил мой дед. Коренной москвич. Настолько коренной, что знал, где в Москве был похоронен его дед. Теперь он сам погребен справа от стены Донского монастыря. Слева от дочери Пушкина. А до смерти жил недалеко от своего памятника, на Ленинском проспекте, в доме двадцать шесть. И дед его жил тут же, только в собственном деревянном доме, на бывшей Большой Калужской. Дед понимал скоротечность жизни и был равнодушен к суете. Как сытый к хлебу. Из подъезда мы выходили прямо в лес, в Нескучный сад, и никогда не гуляли. Мы делали сотню шагов и садились на скамейке. Мрачные шутки и беседы, настоящие, про женщин, водку, работу и беды — будто с ним сидел не октябренек в шортах, а товарищ по шахматной доске. Он рассказывал, что время — это перелистывание страниц автобиографии, с грустными главами и веселыми, бездарными и нет. Главное, что любая история конечна, она похожа на миллионы других, и помнить их некому. Зря я вчера спустился в метро. Зря купил коньяк. И уж точно, надо было ехать домой, а не выныривать на Октябрьской. Теперь в двадцать шестом доме пивная. Там продают пиво по пятьдесят долларов за пинту. Просто пиво. В нагрузку кормят чешской бочковой легендой, но это все равно не стоит пятидесяти долларов. Главное, чтобы люди знали, что ты там ел и пил. Это сигнал. Дела твои в порядке. Вот только я не встретил ни одного знакомого лица. Не было и машин у входа. Были форды. И были еще худощавые парни, однотипные и веселые. На стене повесили портрет их молодого президента. Улыбчивые ребята, чуть ли не братья, с черной пустотой в глазницах.

Первое эсэмэс с утра от Генриха: «Я тебе говорил не пить? Нахер ты в пивную ходил? Завтра в 17 у меня на даче. Привезешь Анну третьей степени. Это твое спасибо». С неизвестного номера. Но голос старика звенел в каждой «з», и «хер» особенно отчетливо вырисовывался в воздухе спальни. Херррр. Генрих картавил подозрительно выборочно. Никогда на «р» внутри слова и всегда, если «р» — последняя буква.

Я хоть и был тяжелый, быстро собрался и вышел из пивной на проспект. Молодые

охранники не то чтобы смущали, они были совсем чужие. Как англичане в Дублине. Их было много, и были они со своей иконой. А после пропитой полторы сотни долларов (пять газированных градусов нежно окутали сорок два) лицо со стены зазвучало в голове.

«Не успел Витенька в Лондон? Не успел! Вот! А насчет нас прав был». Я добрел до кладбища, и, как это часто бывает, как по воле волшебника, в руке снова был коньяк. В сказках еще был такой неразменный рубль. А у меня всегда была неиссякаемая бутылка. Бесполезное это дело — с похмелья восстанавливать минувший день. Как фотоальбом листать, такой, где четыре карточки на странице, а вокруг изображений много белого поля, и херрр знает, что нам происходило. Ворота перелез, как школьник. Порвал куртку по-моему, надо будет посмотреть. Сторож сонный. «Милиция! Милицию позову!» Раза два точно приложил и посадил на снежок. Еще что-то бесконечно глупое сказал, по-моему: «Тихо, отец, не торопись к тем, кого охраняешь». Господи, как стыдно. И воды на столике нет. Остается мычать и мучить себя дальше. Могилу нашел быстро. Не плутал. Автопилот довел. Что еще? Ну пил коньяк, говорили, как двадцать лет назад, плакал, как любой русский мужик на могиле деда-еврея... Где же вода?

Похмелье — страшная тюрьма. Пожалуй, самая страшная. В ней решетки отлиты из собственных мыслей, и они не дают просочиться в уютные места, туда, где ты трезв, здоров, богат и не в Москве. Точно! Я же обещал ему не нарушать больше заповеди. Ну? И как мне теперь работать, дед? Ладно. Я же не сказал, когда. В 2001 брошу. И пить тоже. Смотрю на часы. Пытаюсь свести два циферблата в один и вскакиваю. Валерка приедет через час. Меньше. А еще Анна третьей степени. Так. Надо срочно обмануть карму, чтобы это ни значило, и выбраться из внутреннего заточения.

Снял часы, цепь, браслет с левой. На голде — ладошка Мириям, с реальную ладонь ребенка. По центру — изумрудный глаз. Нет, не ты меня сберегла, а Генрих. Поцеловал камень и забыл. Костик Авель тоже золотого чудотворца в триста грамм под рубашкой носил. Складываю металлолом в одну горсть. Всё. Только деньги. Никаких больше гирлянд. Нужна Анна? Будет Анна. В перевязанные пачки под паркетом не залезу. Нечего. Окно настезь. Снова сыплет снег. Река течет все в ту же сторону, из жопы мира к Кремлю. Всё хорошо. Всё хорошо. Разделся. То есть догола! Заправил кровать. Посмотрел. Поправил край одеяла, а то неровно. Теперь ровно. На кухне две бутылки с водой. Газированная и нет. Совсем не помню, как в подъезд заходил, но радуется, что все еще забочусь о себе завтрашнем. Мама, наверное, права. Нет, точно права. Мне надо искать жену. Жену Анну. Анну третьей степени. Пора тормозить. Брею голову. Никогда ее раньше не брил. Пока не ясно — зачем, но сердце говорит, что надо. Прямо из-под ребер: «Боря, тебе надо остричь голову». Раковина заполнилась черным ковром. Ледяной душ. Досчитал до ста. Не легче. Всё не то. Не так. Что еще сделать, а? Сердце? Молчишь? Поднял с пола порванную куртку. Проверил карманы. В мусорный мешок! Джинсы туда же. Все куртки! Все джинсы! Гардероб, как после спектакля, пустой, холодный. Закрыл окно. Лысый, голый, замерзший. Старая одежда сложена в пакеты. Спортивные костюмы, кроссовки — все. Серые брюки, черный свитер и английское пальто. Неброское. Мама из Лондона привезла. Со всемирного слета ревнителей Некрасова. Посмотрел в зеркало, и самому страшно стало. Я бы сам у себя закурить не спросил. Ничего русского не осталось. Осталось! В холодильнике. Складываю ювелирку в портфель. Если б не пистолет с глушителем, мог бы сойти за петербургского нигилиста-западника второй половины девятнадцатого века. Глупости всё. «Я такой же, как прежде». Просто похмелье необычное, как будто чужое, прилетело. А сосед сейчас моим мучается. Смешно и немного легче. В холодильнике смородиновый Absolut. До Валеры четверть часа. Мысли, как струна. Осторожно строятся. Ограждения из замкнутого круга рефлексии, как ледяные пики. Их разморозит только спирт. Хлоп.

Вот уже и снег, не вероломно наступает на мой дом, а так, играючи кружится. Большая черная собака с упорством чешет ухо задней лапой. С автомобильных крыш

слетают сугробы, с тех, что резко рвут на светофоре. Белые снежинки ложатся ровно, поверх вчерашних, серых и, как оказалось, не последних этой весной. В парадную арку въезжает «лэнд круизер». Это за мной.

— Ого! А ты и правда на кондора похож!

Так я узнаю свое прозвище. Моя шея и правда тянется не вверх, как положено, а выдается вперед. Мой нос еще в школе прозвали клювом. Велик и горбат, как гора Арарат.

— Вот и Фирсман поспел, — говорил учитель математики. — А клюв твой тебя минут на пять опередил.

Ну, ему шутки про профиль были простительны. Отчество у него было Иосифович. Ну, это как только нигда может звать нигту ниггой.

Видимо, лысая голова сакцентировала Валерино внимание на моих нелицеприятных чертах. А может быть, я просто мерзок, и чем старше, тем отвратительней.

— Борь, не стоило перед работой пить. Ты же знаешь. Нормально так подвисяешь.

И правда, так загрустил о себе в школьные годы, что не заметил съезд на Преображенку.

— Все в порядке. Вчерашнее. На верник зайдем на семь минут. Хорошо?

— Хорошо. Воскресенье, дороги пустые.

Вернисаж — живой организм. Спекулянты и торговцы — это мелкая рыба, которая еще жива в чреве огромного Кита. Их всех втянуло со случайной водой. Но они еще не знают об этом и по инерции носятся с золотом, иконами, столовым серебром, банкнотами. Чем-то даже похожи на биржевых брокеров развитых стран. Но это все — закат. Портрет в кабаке не сохнет.

Местные не только ничего не спрашивают, как мы, но и не удивляются. Это дурной тон — удивляться. Удивляется мужик молнии. У ближайших ко входу ребят, их имена я не то чтобы забыл, я их не знал, зато знал их в лица и сделал все и сразу. Скинул свое золото — шесть тысяч восемьсот долларов. Поторговались из-за камня. Угостился чашкой коньяка, которым они размеренно грелись. Я выпил, оглядываясь, нет ли позади Валеры. Нет. Заказал орден.

«Запомнил? Анна, третья степень, не фуфло, но можно убитый, в подарок, не в коллекцию».

Я еще говорил «в коллекцию», а мальчишки уже не было видно. Он успел затеряться среди таких же озадаченных и напряженных спин. Молодежь работала на зависть безупречно. Я не успел докурить первую сигарету этого дня, как Анну мне вложили в перчатку. Все при ней. Нимб. Горы на горизонте. Две сосны слева. Три справа. Один из четырех лучей заменен. Но Генрих не заметит. Красная эмаль приемлема. Сколов нет.

— Сколько?

— Две тысячи.

Можно было бы поторговаться до полутора. Ребята классные, но все-таки видно, что молодые. Глаза еще не зеркальные. В одном глазу читается, что взял на комиссию за тысячу двести, в другом — что за полторы отдаст.

— Итак. Вот ваши же шесть восемьсот. Пять я оставляю себе. Ровно, и цифра красивая. Тысячу восемьсот я возвращаю. Или держи обратно вещь.

— А что ты такую убитую взял? Я б тебе лучше достал.

Валера нервничал, и ему пришлось объяснить прогулку по рядам. Я показал покупку.

— Я в курсе, Валер. В подарок взял. Хорошую и сам бы достал.

— Ну да. — Помолчали. — Ты что, опять пил?

— Нет. Вчерашнее выходит.

— Ну да...

Про вчера говорить не хотелось никому. Впереди стелилась дорога в Суздаль.

Долгое заряженное молчание. Возвращения к прошлому уже не будет никогда. Валера не выдерживает первым.

— Ты слышал, Николаев-то жив. И исчез. Нет его ни в больнице, нигде нет. Говорят, и в стране нет.

Удивляться — дурной тон, знаю. Можно повторять себе до бесконечности. Но это не тот случай. Валера посмотрел на меня и поверил, что я не знал. Теперь мы оба в курсе, кто заказчик. Такие правила. Нельзя чуть-чуть умереть. Выжил — виновен. Машина сбавила ход и съехала на обочину.

— Борь, выйдем, покурим на свежем воздухе, — это такой парадокс, как пить за здоровье. Видно, настал момент объяснений.

— Ты знаешь, зачем Николаев так поступил?

Мы все умеем считывать с лиц, но Валера особенно. Он может не моргать годами. Такому не соврешь. Мало того, что свой, так еще и умный, вернее, самый умный из нас двоих.

— За пятак четвертого года.

— За него тоже. Ты знал, что Витенька в Лондон собирался валить?

— Нет.

Заснеженные ели по обе полосы. Сколько их? Не пересчитать. Пустая трасса. Чернота, выглядывающая из-за стволов. Ничего красивого. Под тяжелыми облаками дышит неровно. Только страх, никакой красоты. Страх больше красоты. Он великолепен. А красота не спасет, никого, никогда.

— Нет, не знал.

Кажется, поверил.

— Он Николаеву все свои монеты на комиссию отдал. Чтоб тот без суеты торговал как своими, по реальным ценам, а ему частями отправлял. Обещал десять процентов.

— Бедный Витя.

— Да, я позаботился о похоронах, ребят отправил к матери. Это пока тебе никто дозвониться не мог. Пока ты бухал.

Вдыхаю. Вдыхаю. Ступаю на лед. Тихо. С Богом...

— Валер, а кто стрелял-то?

— Так это вся Москва спрашивает. Особенно Костин папка. Здесь кто его первым найдет, того и голова. Николаев всплывет, всё вскрыется.

Как же ты, Валер, убедителен. Какой, наверное, венок с ребятами отправил. Самый-самый. В золотых лентах. Невозможно на него смотреть. Я же узнал тебя, Валера. На пленке узнал. Что-то неприметное. Поворот плеча, взвод курка. Какое-то необъяснимое вещество, которое может принадлежать только одному человеку.

— Я, Валер, вчера выпил лишнего. Это после того, как на Таганке три часа допрашивали. Ты убил? За что убил? Ну ты знаешь...

— Животные.

Мы сели в машину своими людьми. Так казалось Валере. Я надеялся, что ему так казалось.

— А где может быть Николаев?

— Ну, пробуем сейчас Николаев и Одессу.

Как зовут Николаева я не знал. Николаев он был потому, что приехал из Николаева. Не еврей. В теме разбирался превосходно. По-моему, в восьмидесятые сидел. Он в свое время и Валеру ввел в клуб по интересам и способствовал его карьерному росту, как Валера — моему.

— А ты знал, что он профессиональный художник?

— Нет. Я про него ничего не знаю.

— Он в семьдесят каком-то получил заказ из Москвы, на одну картину. Не знаю какую. Лежала в загашнике одесского музея. Не с экспозиции. Там какие-то астрономические цифры озвучивались. Николаев потратил полгода на подготовку. Спецхран, все дела. Так в Москве думали. В итоге он попал в подвал и подменил

оригинал на копию. А копии он делал, ну сам понимаешь. Картина растворилась в Москве, а Николаев стал очень богатым вором.

— Похоже на него.

— Суть не в этом. Он полгода никуда не ходил. Он всё это время писал такую копию, что она без подозрений сошла за подлинник. Он вообще ничего не крал. Супер вор.

— Красиво. А сидел-то за что?

— А так. По валюте посыпался. На мелочи какой-то.

Вот же старая тварь. Ну ладно Валера, у него еще полвека впереди, если не споткнется. Но зачем столько денег старику? Конечно, чужое считать нехорошо. Конечно, деньгам все возрасты покорны. Но не людей же с улицы убил. Своих. Старая, жадная тварь. Если Витьке не жить в Лондоне, то и ты не в своей постели умрешь.

— Валер, нас время не поджигает?

— Вроде нет. — Валера блеснул рыжим браслетом, хотя часы были на панели — просто посмотри. Привычка.

— Меня поджигает. Тормозни здесь, ладно?

Я вышел и в новых туфлях пошел в лесополосу, по колено проваливаясь в сугробики. Когда «крузер» стал маленьким, я встал за дерево, расстегнул зачем-то ширинку и достал из кармана телефон.

«Анна у меня. Есть разговор. Я знаю виновных. Приеду ночью. Как смогу».

Удалил эсэмэс из отправленных, застегнулся и оторопел. За спиной рычали. Я медленно обернулся. Три черные собаки, оголодавшие по виду, стояли по грудь в снегу и скалились. Портфель! Всегда надо брать портфель! В нем пистолет, а он нередко бывает нужен. Только сейчас я понял, что выдохнул последнее алкогольное облачко, и еще то, что мне по-настоящему захотелось в туалет. И так, и этак. Не помню, что надо было делать в таких ситуациях. Поднимать руку? Смотреть зверю в глаза? Спокойно пятиться? Я рванул и бежал по снегу без оглядки, под ногами не чуя весны. Было не до мокрых носков. Я захлопнул за собой дверцу и усталился в лес. Никого не было. Они не преследовали.

— Ты чего?

— Собаки. Чуть член не оторвали.

Валерка заржал. Я посмотрел на портфель.

— Все, давай уже в твой Суздаль. Людей живых хоть увидим.

Суздаль оказался крошечным, как я понял. Мы въехали в город и выехали из него минуты за три. Валера, я заметил, приобрел привычку творить крестные затмения, пролетая мимо храмов. Так что всю трехминутную улицу он водил перед собой тремя перстами непрерывно.

— Может, мне руль поддержать?

Валера не отреагировал. Видимо, в духовной части его мозга было постно и чисто. Ирония там не приживалась. Интересно, а Витьку с Костей в какой отсек своей бессмертной он поселил?

За городом ехать сложнее. Закончились фонари, и стало заметно, что смеркается. Мы сворачивали то на одну, то на другую дорогу. Включали свет, вертели карту с обозначенным крестиком. В итоге нашли нужную деревню, и дом нашли — по черному «Гранд Чероки».

В небе кружилась стая ворон. В Москве такого не увидишь. Даже в наступающей темноте черные тела были различимы. Сотня или несколько сотен птиц молча вывелили круги. Ни одна не каркнула. Отчего-то сильно захотелось домой, на кухню, где есть свет и холодильник.

— Боря, всех пересчитал? Может, ты тут подождешь?

Прямо перед дверью Валерка дернул меня за плечо, склонился и шепнул:

— Что бы ни случилось. Ни в кого не стреляй. Мы просто покупатели. Хватит смертей, понял?

Он вошел первый. Посередине отсыревшей светелки, около разбитой печи, чью трубу разобрали на кирпич, сидели и закусывали близнецы Пётр и Архип. Мы поздоровались. Ступать приходилось осторожно. В избе горели две свечи и практически отсутствовал пол. Между земляными холмиками, похожими на свежие могилы, был кратер.

— Все уже в багажнике, — сказал Пётр или Архип.

Они мне не нравились. Я таких знаю. Русский рок. Козлиные бороды. За Русь сопьюсь. Ну и так далее. Я присел на дряхлый подоконник и стал любоваться торгом. Валере показали поллитровую бутылку, что-то бонифонт шампань 1865. Сработали парни верно, не на удачу. Подняли карты из архива, нашли барский дом, потом не нашли его на постреволюционных картах. С большой вероятностью, в разбойничьем экстазе усадьбу спалил трудовой элемент. Но мы-то знаем: где стоял русский дом, должен быть и русский погреб. Улов, конечно, средний. Ящик коньяка. А значит, дворяне спаслись. Если бы не спаслись, были бы и деньги. Валера, видимо, тоже зажирел и не стал опускаться до победного. Купил одиннадцать бутылок по двукру за штуку. За контрольную, ту, что вскрыли, он платить не стал. Я поднял тяжелую коричневую восковую пробку. Омерзительный запах клопа — гарант хорошего коньяка.

— Его даже пить нельзя, — возмутился лохматый и отпил. — Здесь всего градусов десять. — Брат его тоже сделал глоток. — Двенадцать.

Валера положил перед ними две пачки по десять тысяч, по третьей он провел большим пальцем и ногтем остановил счет на двадцатой банкноте.

— Двадцать две, парни. Счастливой охоты. — Валера хотел было пожать им руки, но те заржали и усадили его обратно.

— Подожди, Валерий! — сказал первый. — Деньги счет любят.

— И тишину, — добавил второй.

— А дуб любит кальмаров. А шкаф любит волейбол. Что за херню ты несешь, мудила? Ты за кем пересчитывать собрался? — Нервы ни к черту, конечно, но у меня всегда так, когда слышу «крайний», «ихний» или «поджелудочная сахарок любит». Патлатый вскочил и вытащил из грязных джинсов пистолет. Стоит, целится в землю и тяжело дышит. И страшно, и оскорбление не в силах снести. Я тоже «вытащил из ножен шпагу». Только неторопливо. Вытянул руку и уперся в лоб его брата холодной стальной трубкой. Леший Архип зачем-то навел свое что-то откопанное, маузер вроде, на Валеру. Брат его поднял руки, и так мы замерли. Я знал, что всё обойдется, и знал, что сейчас, через секунду или две, Валера разрулит это недоразумение, но одна простая мысль не хотела мириться с обещаниями, данными деду, пускай и с отсрочкой до конца года. «А что, если я сейчас убью оруженосца. Потом вернусь к голове Петра. А пока Валера будет крыть меня и забирать из руки покойного свои деньги, я обойдусь яму, вытащу трофей и положу Валерку, здесь и навсегда. Месть, бабки, товар».

— Так, Боря. Убери пистолет. Спокойно.

Я послушался.

— В портфель убери и застегни его. Отлично. — Валера посмотрел на Архипа, тот зачем-то отдал ему пистолет. Пётр опустил руки. Выдохнули. Когда прощались, я все-таки не удержался и спросил: «Ну что, парни, встанет Россия с колен?» Валера посмотрел на меня, как смотрят отцы на придурковатых подростков. Я ответил рассеянной улыбкой.

Под талым снегом чавкала грязь. Мы перенесли ящик из одной черной машины в другую. Пришло время прощаться, как говорили в Артеке друзьям из жарких стран.

— Борис, — ко мне подошел один из русичей. Ночь повисла над Суздалью, и их уже невозможно было различить. Голоса у них тоже были одинаковые.

— Борис, я слышал, что ты профессиональный нумизмат. Сколько стоит?

И он протянул мне монетку. Я поднес зажигалку.

— В двери, что ли, нашли? — ласково спросил я.

— Ага, — честно ответил то ли Архип, то ли Пётр.

— Ну... Хороший николаевский полтинник. Сохран классный. Хочешь сто долларов, в знак примирения?

— Хочу, — честно ответил парень.

Я отдал банкноту, убрал монету во внутренний карман и попрощался.

— Сейчас отъедем, и ты поведешь, хорошо? Устал я что-то.

— Нет, Валер. Я тоже устал. Боюсь заснуть. Да еще вдруг не весь выветрился.

Валера был недоволен. С каких это пор я езжу только трезвым и не реагирую на просьбу старшего как на приказ?

— Боря, и что это было? Ты чего там начал трясти?

— Так он сам начал, Валер. Ты его пистолет не видел, перед носом?

— Да он чуть не обоссался, Борь. Чего ты начал над ним глумиться? Ну ты же его спровоцировал. Нет? Согласись?

— Валер, это он меня спровоцировал. Дремучестью своей. Слушай, а ты не забыл, как палил за хречку, хречку, хречку?

Он засмеялся. Надо было держаться друзьями.

— Слушай, а что ты у него этот мусор за сотку взял. Она пять долларов стоит.

— А? Включим свет?

Суздальского городского освещения явно не хватало.

— Дай руку. — Я положил Валере полтинник на ладонь. — Гурт потрогай.

Валерка дал по тормозам, и мы встали посередине центральной улицы. Благо воскресным вечером в Суздали за рулем были только мы.

— Не может быть. Я только одну видел. Не может... Боря, это же тысяча десять.

— Не меньше, Валер.

— Думаешь, они запомнили ее? Проверят потом...

— Ну и что. Я предложил цену, он согласился. Какие могут быть претензии?

Валера был поражен. Такие приятные моменты.

— Валер? — я убрал монету обратно в карман и застегнул его.

— А?

— Давай я за работу с тебя ничего не буду брать. Я и так заработал. Считаю, по дружбе сгонял.

— Давай! — Валера был ни рад, ни расстроен, он все еще был в оцепенении.

Я опустил спинку кресла и смотрел, как минуту-другую над нами пронеслись фонари. Похоже было на то, как сканер елзит по бумаге в темноте. Когда оранжевые вспышки закончились, стало ясно, что Суздаль мы покинули. Надеюсь, навсегда. Не люблю старину в виде среды обитания. Люблю, когда старина умещается в кармане. А в моем сейчас — Орден Святой Анны третьей степени и полтинник с гладким гуртом. Между ними — стена из пятерки. Гладкий гурт... То ли пробник, то ли заводской брак... Их очень-очень, невероятно мало. Неввероятно, но нашлась. Я заснул до самого дома. Когда проснулся, помнил только, что снился яблоневый сад. Зеленый. Значит, во сне было лето.

Мировое господство

— Непривычно тебя видеть лысым. — Валера протянул руку. Только бы он не заметил черный заведенный микроавтобус у моего подъезда. — Завтра я на Таганке дежурю, а во вторник сгоняем еще в одно место, в область.

— По рукам.

— Не пей завтра!

Да что же они, сговорились?

— Завтра у меня мамин день. Не получится.

Мы расстались. Я шел к подъезду. Медленно шел. Хотел услышать, как за спиной уезжает машина. А она стояла. Может, звонит кому? Я решил войти в подъезд. Лишь бы водитель Генриха догадался. Нельзя мне кивать, подмигивать. Никаких знаков. Но

даже если пройду мимо, поднимусь в квартиру и включу свет. Ну и что? Отчего-то Валера не едет. Я остановился между двух автомобилей и двух миров. Посмотрел на часы. Почти полночь. Валера не уезжал. Я поискал сигареты, хотя знал, где они. Прикурил, не с первого раза. Валера не уезжал.

— Да пошел бы он на херрр, — подумал я голосом Генриха. — Всё он понял. Ну и херрр с ним.

Пора уже соответствовать дому и соседям. Пусть лучше старик будет меня гонять за газировкой для внука, чем я умру за случайной игрой в карты. Вот же люди. Семьями в Болгарию ездят, а потом прирежут за полтинник с гладким гуртом. Я подошел к фургону, открыл дверь и обернулся. Валера был совсем не удивлен. Всё, кончилась дружба. Черное стекло поднялось, и он наконец уехал. Я зашел внутрь и сел на диван. Я еще никогда не был в квартире на колесах.

— Ты это видел? — спросил я водителя.

— «Крузер»? Конечно.

— А если бы я прошел мимо тебя, ты бы махнул? Ну, или дальником моргнул бы?

— Нет, — улыбается. — Я бы подождал, чтобы ваш водитель уехал, Борис Леонидович.

— Водитель? — Я нервно засмеялся. — Ты знаешь, кто это был?

— Нет.

— Слушай, а ты часом не генерал? А то страшно представить, кто я, если у меня такие водители?

— Нет, лейтенант.

Не буду думать о потерянном друге. Я его еще в ОВД потерял, по сути. Когда узнал его. И увидел, как Костик с Витенькой попадали. Буду думать об этой чудомашине. Видимо, тут должны были быть ряды сидений. Стало быть, их выдрали. Стены обшиты кожей. На полу ковер. Стекланный столик. В деревянной тумбочке, поди, коньяк с фужерами.

— Классная машина, лейтенант. Вчера меня на другой подвозили.

— Та служебная, Борис Леонидович.

— А эта? — я закинул ногу на ногу.

— Эта — жены Генриха Каземировича.

— Красиво. А куда она ездит. Обычно?

Лейтенант молчал.

— А, ну да. Извини. Я так просто полюбопытствовал.

Он кивнул.

— Слушай, я тут на пару дней выпал из информационного поля. — Мы въехали на Садовое. До чего же оно хорошо. Мигает, блестит. Шлюхи мерзнут и перетаптываются. А дома-то! Дома! Какая там Суздаль. Спала тысячу лет. Нас проспала. И еще столько же проспит. Вот мелькнул мой любимый желтый с несуразной гигантской аркой. За ним, по другую руку, второй мой любимый, с колоннадой под крышей. Здорово, наверное, там летом. Стоять, как атлант, над городом, голым, подперев колонну, и смотреть на Курский вокзал. На сотни, тысячи приезжих в поисках лучшей жизни. А всё зря. Все вы почти уедете ни с чем. Страхнет Москва вас, как безруких с качелей. — Что по новостям?

— В Чечне наши взяли очередное село. Путин победил в первом туре. Вроде бы все.

— Извини, тебя как зовут? — Опять промолчал. Ладно. Пускай. — Лейтенант, а это хорошо или плохо?

— Это вы лучше у Генриха Каземировича спросите.

Неплохой парень, но дурак. Или умный? Нет, по большому счету, дурак. Я забросил ноги на диван и заложил руки за голову. Приятно быть лысым. Приятно и ново.

— Лейтенант. У меня с собой портфель, в нем пистолет. Когда приедем, он останется в машине. Я с ним к хозяину не пойду.

Водитель заметно повеселел. Ему было приятно услышать «хозяин» из чужих уст, и он, видимо, оценил мою «оперативную смекалку». Будь он советским, он бы, наверное, сказал: «Вот это правильно, Борис Леонидович, вот это по-нашенски». Но он просто кивнул.

— Ого, тут еще и крыша стеклянная!

— Да, стеклянная.

Точно дурак. Уже вроде бы выработали беззвучный кивок согласия. Над головой — шахматные ладьи крыш и звезды. Если звезды, значит, похолодало. Значит, снег больше не идет. Будь ты проклят, Валера. Я закрыл глаза и тотчас оказался в яблонево́м саду. На этот раз я узнал его. Это был вполне конкретный сад. Без тропинок. Неблагоустроенный. Просто скопление отцветших яблонь. Сад этот много лет назад стоял в Коньково. Куда ни посмотри — белые дома-кирпичики, поставленные на ребро. Ничего зеленого. Только этот участок. Иду по земле. Жарко. Полдень. Гром. Я не один. Мы остановились. За спиной съезжались автоматические ворота.

— Вот туда.

В глубине участка стоял белоснежный дом с подсветкой. Передняя дверь была приоткрыта. На крыльце, размером со страну, стоял еще один «лейтенант». Дорожка от парковки к дому была освещена фонарями, горящими из-под земли. «Ни одного под снегом», — заметил я. Сколько же здесь персонала? Я шел в мартовской глубокой тишине, не нарушаемой гудением насекомых. Доносился только одинокий однородный гул. Какое-то тяжелое, вечное движение. Я знал, что это. Где-то рядом бежала река. Москва-река. Я на Николиной горе, в районе лейтенанта Шмидта. Хозяйский дом великолепен. Новый, но сложенный, как боярская палата. Белый, с маленькими окошками. Он казался настолько нерушимым, что ему хотелось поклониться. Вот где Русь-то, это не развалины Золотого кольца. «Бэбэбожественно», — сказал бы сейчас Витенька. Всё знал заика. Войдя в дверь, я попал в старое-новое время. Атмосфера в холле неоднозначная, как партсобрание в храме. Над головой — Георгий Победоносец, доска века семнадцатого, не позже. Над стариком — огромный абстрактный портрет, на котором без труда угадывался Дзержинский. Старик сидел в кресле. В спортивных штанах и в белой майке с ляжками. На столике перед ним стояла кружка с кефиром.

— Привет, Борис. Больше меня ночью не тревожь. Запомнил? — Я кивнул. Генрих указал мне на стул. Он сидел, скрестив ноги, и болтал тапком. — Давай.

— Костю заказал Николаев.

— Знаем.

— Николаев жив.

— Ну, потому мы и знаем. Что еще?

Мне было неприятно его раздражение.

— Исполнитель Валера.

— Уверен?

— Уверен. Я его на пленке узнал.

— Я ее видел. Это недоказуемо. Придется тебе самому этот вопрос решить. Завтра постараюсь встретиться с Костиным отцом. Я напишу, куда приехать.

Генрих отвлекся от тапочка и посмотрел на меня.

— Что с прической! От цепей избавился, молодец. Часы поскромней купишь — правильно. А голову-то нахеррр?

— Залысины пошли, — соврал я. У меня не проходило ощущение, что меня прорабатывают, как на комсомольском собрании.

С парадной мраморной лестницы послышались шаги.

— Ну вот, блядь. Внука разбудил.

К Генриху подбежал мальчик лет пяти, сел рядом и обнял за шею. Он был в больших, не по размеру, боксерских трусах и в майке, как у старика.

— Деда, ты когда спать пойдешь? Страшно!

— Сейчас, сынок. Через десять минут. Ступай. — Мальчик встал и увидел меня.

— Здравствуйте, — он протянул руку, смешно так, как когда мальчики стараются казаться мужчинами и наигранно серьезны и строги.

Я встал и учтиво ответил рукопожатием. Внезапно Генрих стал весел. Он что-то вспомнил.

— Анну! Анну-то привез?

— Конечно, — я извлек из внутреннего кармана орден и вручил старику.

— Так, иди сюда, — Генрих даже не посмотрел на предмет. Он открутил замочек и проткнул иглой лямку на майке внука. Дед старательно завинчивал награду. Он был сосредоточен. Света от настольной лампы не хватало. Зал был задуман для государственных приемов, а не для междусобойчиков с кефиром. Старик так старался, что не заметил, как высунул язык и водил им, как его настенные часы водили маятником.

— Вот! Это за то, что ты вчера утром собаки в лесу не испугался. Другой бы дернул, как кот. А ты палку поднял. Всё, как дед учил!

Мальчик светился от гордости. Ему было вдвойне приятно, что посторонний узнал о его подвиге.

— Всё. Теперь ступай. Я скоро.

Мальчик убежал. Вернулись тишина и напряжение.

— Генрих Казимирович. Валера знает, что я стукач. И знает, что я всё знаю.

— Так, Борис. Валера твой сейчас уже в аэропорту или топит в Белоруссию. С женой. С деньгами. Так, потом всё... Не среди ночи. — Он встал, чтобы меня проводить. Бессонница внука занимала его больше, чем мои неприятности. — И еще. Ты, Боря, не стукач. Ты майор милиции. А вчерашний майор — больше не майор.

— Это шутка? — Я не был уверен, что да.

— Еще раз ночью припрешься, и ты капитан. Я вижу, ты уже почувствовал перемены в себе, а еще должен почувствовать перемены в стране. Давай уже, Борь. Пиздуй домой. Без команды не высовывайся. Дел будет много. Надо будет еще покреститься и жениться. Про то, кому, сколько, чего, как — потом все... Давай. Жди звонка.

— Спасибо, Генрих Казимирович, — я уже плохо понимал, где я и зачем. Происходящее могло быть продолжением сна. Да! Я на заднем сиденье. Только которой машины?

— Товарищ генерал, — поправил старик и захлопнул дверь относительно тихо, чтобы не разбудить домашних, но достаточно гневно, как за провинившимся слугой, а не за гостем.

— Товарищ майор, — подошел ко мне водитель.

— Да, лейтенант, — я перешел на шепот.

— Можно Сергей. Ваш портфель!

Я сел на тот же диван, где еще недавно спал другой человек, человек обыкновенный. Я сел на ладони и вытянул шею. Сейчас, еще мгновение, и я превращусь в кондора.

— Серёжа. А что с родителями мальчика? Его генерал растит?

— Генерал. Зятя генерала бандиты убили. Дочь спилась. Только это — между нами.

Серёжа разглядывал меня в зеркальный прямоугольник. Оставшуюся дорогу ехали молча. Метров за двести до дома я попросил меня высадить.

— У меня инструкция, — начал Сергей.

— Серёж, а у меня голова сейчас взорвется. Мне надо вдоль реки пройти.

— Можно я за вами медленно поеду?

— Нет. Нет! Да ты что, совсем? Слушай, а ты не устал? Уже часа четыре утра.

— Три. Я на службе не устаю.

— Так, всё. Давай домой.

— До завтра! — крикнул в окно Серёжа и отдал честь.

Я перешел улицу и устался в Язу. Не успел еще отъехать фургон, как зазвонил телефон.

— Алё.

— Забыл сказать. Я знал еще вчера. Что это не ты был. Сосед показал, что ты был дома. И с матерью ты говорил тоже из дома. Из-за Валеры не переживай. Найдем.

— Так точно.

— Вот ты ж... Ладно. Спокойной ночи. И да, ты больше не пей.

Генрих повесил трубку. Все так же, наверное, сидит с кефиром на троне. Сколько у него таких дел, как моих? В действительность не верилось. Странные дни нашли нас. Хорошо мне сделали или совсем плохо? Яуза ответов не даст. Морозная ночь не дает справок. В холодильнике остался «Абсолют». Надо до него дойти, выпить напоследок и пропасть в Коньковском саду, пока не разбудят звонком.

Где-то очень близко разорвался воздух. Два неестественно громких взрыва. Теракт! Это первое, что я успел подумать. Потом заревел мотор, засвистели колеса. «Резко стартанул», — подумал я. Слетел, наверное, с крыши сугроб.

Потом загорелась спина. Стало невыносимо больно жить. Я упал на колени и пытался хлопнуть себя по пояснице, чтобы потушить пламя. Но огня не было. Ладонь была черной от крови. Я, видимо, от рождения туповат. Ко мне уже бежала какая-то женщина и кричала на всю набережную: «Человека убили!», «Милиция!» Она раньше меня узнала. Я дополз до ограды и бросил в воду портфель. Вдруг пронесет. Вода приняла дар. Каблуки всё ближе. Нет, не пронесет. Я стек по ограде и подумал об одном: лучше смерть, чем этот костер под пальто, под свитером, под кожей.

С черной тяжелой цепи, которая провисает между оградительными столбами, прыгнула чайка. Она вывернула шею, чтобы посмотреть мне прямо в глаза: «Херрр тебе, а не мировое господство». Тварь говорила голосом Генриха. Отвратительные создания — птицы. Мерзкие на ощупь. Хотя совы нормальные. Надо мной кричала женщина. Она ходила взад-вперед и обращалась к Господу.

— Полей спину водой. — Кровь пошла изо рта.

— Что? Что, простите? — Повторить сил не было. Яуза забурила. На поверхности показался Виталик. Затем Витина жена. Совсем близко всплыл Игорёк. Они все были мертвыми, но новенькими, без кровавых отверстий. Потом еще и еще. Они покачивались, как поплавки. Их было достаточно, чтобы по их животам можно было пройти до другого берега. Господи, страшно. Сил хватило только закрыть глаза.

Гранатовый сад

Бог меня балует. Как баловала мама. Подует на коленку, плюнет на подорожник, прилепит, поцелует. Никакие жизненно важные органы не пострадали. Пострадали не жизненно важные.

— До свадьбы заживет, — потрепал по плечу Генрих, и где-то между ребер и еще чем-то зажгло, а повязка потемнела. На затылке щетина. Как же приятно ее гладить, да и просто шевелить собственной рукой. За окном палаты лес, Раздоры. Красивое название. Генрих что-то деловито говорил, а я лежал и думал, как имена собственные влияют на выбор поступков. Вот что, если мальчик родился в Братеево и на дачу ездил в Базарово. Ну? Топонимы правят нами, как жители Раздоров жителями Кузнечиков-2. Генрих водил руками в пространстве. Очень эмоционально. Таким я его наблюдал впервые. Разыгрывалась сценка о гибели двух братьев-близнецов.

— Нет, ну только подумай, из-за обиды. А? За гладкий гурт? За то, что не знали? Ведь подсказал им кто-то, — и Генрих подмигнул. Архип и Пётр погибли при задержании. Первый при попытке бегства. Второй при попытке бегства с пакетом на голове и со связанными за спиной руками. Бег с препятствиями. Вот и весточка о свежей крови. С добрым утром, Боря! А Генрих все размахивал и целился из табельного «Макарова» в пустоту, туда, где я должен был представить целлофановый пакет на голове обидчика. Мне казалось, что старый сокол машет крылами над подбитым

молодым кондором. Обдувает его свежим воздухом. Рассеивает эфир. Впереди охота и падаль. Вставай, друг. Нас зовет золотой горн. Но я уснул. Надеюсь, он не обиделся.

— Ладно, спи, майор, — старик провел ладонью по моему мокрому лбу. — Спи.

Я так и сделал.

Снился мне сад. Я его хорошо знал. На задворках Коньково был такой зеленый островок, зажатый панельными домами. Мы с одной девочкой как-то неумело в нем целовались и пытались спрятаться от летнего дождя, бесполезно, под яблоней. Сад цвел, как прежде, белым. Но было явно, что это сон. Листья не шевелились, как на искусственных цветах, а ветер, между тем, дул. Сон был неглубоким. Я понимал, что дует на меня из бортового вентилятора, но выныривать не хотелось. В саду стояла девочка, похожая на ту, из молодости, не внешне, чем-то неуловимым. Она была голой и стыдливо прикрывала треугольник рыжих волос.

— Курица или рыба?

В ее руке разломанный надвое гранат. С неба сыплются серебряные чешуйки вместо капель. Поднимаю. Нет, не царские. Более ранние, период феодальной раздробленности, в дореформенном весе. Знаю этот тип. На аверсе человек убивает рогатиной зверя — собаку с головой медведя, на реверсе — в три строчки «Сторожа на безумного чело».

— Курица или рыба?

Сама курица. Всё. Больше я не усну. Я не боюсь летать. Я просто не понимаю, как это происходит. А того, что мы не понимаем, мы как бы сторонимся, нет? Никогда не пойму, как эти тонны железа пробираются через облака. Мне кажется, что мы взлетаем молитвами Туполева, летим с Божьей милостью и садимся на авось. Не понимаю, как не понимаю блютус. Генрих в клинике показывал: из моей раскладушки в его фотография по воздуху перелетает. Когда увидел, подумал, что наркоз отходит, но нет, так и было, из одного в другой. Так что по возвращении трупы Валеры и Николаева перелетят в телефон Костиного отца. Я понимаю старика. Для него это бальзам. Был бы моложе, еще бы и передернул на изображение. Закрываю окно иллюминатора. Странно это — быть на небесах раньше времени.

— Вы тут не одни, — говорит тетка, которая показывала что-то в иллюминатор своей рыжей дочке-подростку.

— Ошибаетесь. Я тут один.

Они отворачиваются и делают вид, что ничего не слышали. Все-таки есть мазаль над моей лысой головой. Стрелять в человека из археологии... Есть же на свете идиоты. Если б в то утро ладошку Мириам не загнал, того гляди еще промазали бы. Отдам долг Родине. Надену китель. Стану во главе отдела по борьбе с черной археологией, заберу от Костиного папы конверт, получу орден «За усмирение непокорных» и куплю новую ладошку. Глупости всё, но не мешает.

— Уважаемые пассажиры, пристегните ремни... Температура за бортом... Погода в Амстердаме солнечная и безветренная... Спасибо, что выбрали... — Я ничего не выбирал. Паспорт, водительское удостоверение, блокнотный лист с двумя адресами и билет Генрих мне вручил в день выписки. Обожаю наших.

«Хилтон» консервативен, строг и удобен. Достаю из чемодана коробки с лего, кроссовки, черные треники, кофту с капюшоном и сломанные очки. Не совсем сломанные, с открученной дужкой.

— Позовите консьержа.

Прошу самую маленькую отвертку, еще прошу кофе, даю двадцать долларов, показываю очки.

Кофе подают раньше. За окном — красивый Ленинград, не обшарпанный, не растрескавшийся и не бледно-розовый, но Ленинград.

Приносят отвертку — «Сэр».

Сэр? Товарищ начальник!

Ножом для писем вспарываю коробки с конструктором. Достаю трубочку, левую и правую части рукоятки, миниатюрный барабан. Хорошо, что безденежное детство

я потратил на модели истребителей. Все мама с бабушкой. Шатался бы по Борисовским прудам, еще не ясно, кем бы вырос. Истребитель! Как емко! Собираю экспериментальный швейцарский шестизарядный револьвер, двадцать пять грамм, почти как петровский рубль. Кажется, что от него и прикурить нельзя. В ванной откручиваю крышку шампуня и выливаю на дно душевой кабинки. Протираю патроны. Пули как кошачий ноготок. Заряжаю. Готов! Рюкзак на спине. Починенные очки. Револьвер в глубоком мягком кармане.

Карта. Улица. Дом. Квартира. Брюки, ботинки, рубашка в рюкзаке. На выходе отдаю консервную банку еще двадцать и права, прошу арендовать машину, достать карту дорог и отметить достопримечательности на пути в Гаагу. Не знаю, почему Гаага. Название красивое. Как будто гуся душат. Нельзя отвлекаться на архитектуру. Нельзя бродить. Ни мысленно, никак. Нельзя думать о ненависти. Нельзя себя обманывать и оправдывать. Всё что я делаю — я делаю для себя, для своего удовольствия, по своей воле.

Толкачи, проститутки, кофешопы, велосипеды, однополые пары. Все это веселье сейчас мимо. В глазах только кирпичные дома, в мыслях только вечность. На доме Николаева табличка «1725 год». Сколько жизней прошло в нем? А если судить по газону в саду, пройдет еще больше. Звонка нет. Вместо него — золотой лев с кольцом в пасти.

— Die?

— Сторожа на безумного человека. Открывай. Свои.

Несколько тяжелых мгновений — сомнения, и замок поворачивается. Николаев закаленный преступник. Бежит взглядом по переулку, мимо меня. В дом не зовет, приглашает на скамью перед крыльцом. Правильно. Мы на ладони улицы и всех ее домов и окон.

— С чем пожаловали, Боря?

Николаева нельзя однозначно назвать стариком. Он на границе. Мужчина с добродушным лицом, ласковыми глазами, ухоженной седой бородой и глубоким певчим голосом. Я такими представлял купцов Замоскворечья. Но Николаев вор. Опытный, старый вор, проживший незаурядную жизнь. Интересно наблюдать за человеком, стоящим у края. Он говорит последние слова. Курит последнюю сигарету. Если Бог есть, он так же любит последние минуты своего создания, упиваясь своим знанием и всемогуществом?

— С плохими новостями.

Сидим. Мимо проезжает велосипедист. Николаев спокоен.

— Николаев, верни Витину коллекцию, и пяточок мой верни, и все про все забудут.

— Да, Боря. Смешно! Забудут! Ты скажи мне... ты как частное лицо приехал или...

— Или, Николаев. Или. Хорошо. Они не забудут. А я — да! Пяточок верни.

Хорошо в апреле не в Москве. Да и в феврале тоже, наверное. И в декабре.

— Иди ты на хер, Боря, и Генриха своего захвати.

Он встал и повернулся ко мне спиной. Он же не глупый человек. Таких мало. Единственное, о чем он сейчас думает — куда и как, и когда переехать. Николаев, как это ни смешно, думает о жизни. Вряд ли он собирается прощаться и оборачиваться. Жду, когда дверь откроется. Он делает первый шаг вовнутрь. Я стреляю в спину, под лопатку. Пуля всего два миллиметра. На ощупь она — отломанный кончик спицы. Если пробил легкое — хорошо. Вот только звук. На выстрел совсем не похожий. Как будто языком щелкнул великан. Этот щелчок отзывается мгновенной тревогой. Всё-таки в моих руках игрушка, а не оружие. Пока Николаев твердо стоит на ногах и только заломил руку, пытаюсь дотянуться до лопатки, туда, откуда из нового крошечного отверстия расползается боль и страх. Высаживаю еще два патрона, оба в спину, и быстро вталкиваю теперь уже точно старика в прихожую, захлопнув за собой дверь. Вот теперь ты только мой, та улица, на которую ты так надеялся, теперь далека, как действительность от Раздоров. Мы же сами придумали двери, чтобы спастись от улицы. Парадоксальное изобретение — дверь.

— Николаев, монеты где?

Чешется и ползет по полу.

— Неужели не скажешь? Из вредности? Ладно.

Поднимаю купца. Сажаю за стол.

— Николаев, перестань ерзать.

Бью кулаком в голову. Это первобытное знание — новая боль отрезвляет и выводит из шока. Очевидно, что коллекцию он не отдаст. В доме ее нет. Она в ячейке Бог знает какого банка и какой страны, и отыскать ее менее вероятно, чем заработать на рулетке. Но я не за ней пришел.

— Пиши записку.

На голой стене в антикварной раме прекрасная маринистка. Еще не подписанная.

Достаю из рюкзака листы, конверт и гелевую ручку. Гелевой ведь красивей, нет?

— Николаев, — протягиваю канцтовары, — ты умрешь сегодня. Обманывать не стану. Напишешь письмо — в одну секунду, в голову. Будешь упрямыться — я в тебе еще три отверстия сделаю, а потом начнем ногти стричь... Договорились?

Кивает. Говорю же, глупых людей мало. Мне не попадались.

— Пиши.

— Не могу, — старик тянется к спине.

Видать, там прилично разгорелось.

Взвожу курок — следующая в пах. Пиши через «не могу».

— Если меня найдут убитым, — надо предельно просто, — в смерти моей виноват Валерий Шерстов. Заказчик убийства он, а возможно и исполнитель. Он неоднократно угрожал мне, требуя передать ему коллекцию петровских рублей, ранее принадлежащую Виктору Черникову. Шерстов убил его в Москве, в марте 2000 года. Он также убил Константина (фамилию не знаю) как свидетеля. Если в моей квартире не будут обнаружены серебряные рубли (53 шт.) 1700-1724 гг. и 5 копеек 1904 года, то они у него. В настоящий момент он проживает в г. Торревьеха, Испания, где скрывается от Московского уголовного розыска.

— Боря, тебя ждет то же самое.

— Да, но ведь бывает хуже, а? Николаев?

Прячу конверт между книгами на полке. О! Да тут одни маринисты.

— Как скучно ты жил. Ну ладно тебе. Ну что ты как маленький.

Плачет Николаев. Кровь из носа идет. Сползает со стула.

— Ну давай, с Богом.

Стаскиваю на пол. Накровил уже лужу. Три щелчка в голову. Вот же дрянь. Ни одна коробку не пробила.

— Да не мычи ты. Сейчас.

Иду в кухню. Надо сказать, Николаев, как старый вор, жил скромно. В двушке — книги, газеты, аукционники, никакой лишней техники. Мебель не выбирал. Купил или снял с тем старьем, что было. Но очень чисто. Возвращаюсь с пакетом. Николаев не шевелится уже. Старый циркач. Неужто подумал, я так уйду? А он еще распекает надежду на «девять-один-один». Пакет затаен. Вот и зашевелился. Полминуты. Минута. Последний выдох в белом пластиковом мешке с логотипом продуктового. Переодеваюсь. Перчатки, треники, пакет, револьвер, кроссовки в рюкзак, ну и все вилки с ножами, чтобы со дна не поднялось. На улицу выходит уже другой человек. Человек причесанный. В отремонтированных очках, синих брюках и остроносых коричневых ботинках.

Дверь оставляю открытой. А как иначе растревожить прохожих? Почему гражданин открыт нараспашку? Почему не защищен? Почему эта дверь выбивается из схемы? Рюкзак на дне канала, а я выписываюсь из гостиницы. Спать я буду теперь только в Испании. Странно! Странно, что «Фольцваген Гольф» округлился, как барышня. А у нас всё еще на рубленых и угловатых разъезжают. Мир становится гладким и дружелюбным? Карту держит консьерж. Он услужливо объясняет достопримечательности и рассказывает мне, с чего бы стоило начать, а впереди Бельгия, вся Франция и пол-Испании. В Испании поеду вдоль моря. Оно приятнее.

Я неоднократно представлял встречу с другом. Безлюдный пляж. Бирюзовые волны, как на холсте Николаева. Из воды идет Валерка. Идет и всё понимает. Я сижу в костюме на песке. Портфель со мной. Он не станет бороться и расспрашивать. У нас же не принято. Он остановится в нескольких метрах, поднимет полотенце, посушит волосы и станет на колени, спиной к палачу, лицом к морю. Театрально! Счастлив пока что Валера. Счастлив, пока я заправляюсь в Леоне. У него еще сутки неведенья в запасе.

Моё шоссе ведет в рай. Ведь так? Оно же выстлано одними плохими намерениями. А как хороша Испания на рассвете! Не хуже вечерней, или послеобеденной, но все же. А ты, Валера, наверное, спишь и во сне улыбаешься, ведь денег тебе должно хватить еще надолго. У тебя двое детей. Они здоровы. Жена. Уж любит или нет, не знаю. Но тебе ведь неважно. До завтра, дорогой друг.

Поздно вечером самого долгого в моей жизни дня я въезжаю в город Торревьеха. Ну как город? Поселок городского типа, из одних белых домов, приветливых кустов акации и единственной гостиницы «Берлин». Счастье ли, совпадение, что с моего высокого этажа хорошо просматривается Валерин дом. Его несложно было найти, в трех улицах и двух переулках.

На высоких потолках лобби медленно вращаются вентиляторы с деревянными лопастями. Медленно и лениво. Они не противятся духоте ночи, как я не должен был бы противиться сну, но я так долго думал и двигался, что уже не хочу проваливаться в беспмятство.

Я исходил номер, как белочка клетку. С колеса соскочил, а остановиться не могу. В доме Валеры не горят окна. Веранда пуста. Зеленые шезлонги треплет почти что летний ветер. Он идет со стороны Африки.

— Вы точно не хотите вид на море? Это не будет дороже.

— Нет. Хочу вид на ваш чудесный город.

— Как знаете. — Новый консьерж дивится глупости.

— Что-нибудь еще, сеньор?

— Да. Горячую испанскую женщину. Мне надо скрасить ожидание. И две бутылки «Мартель».

Консьерж поклонился. Старый бэлбой с карикатурными бакенбардами, одетый в красный — не иначе — мундир, укатил мой единственный невесомый чемодан. Сколько же раз я прошел от памятки о пожарной безопасности до окна. Стук! В дверях — полная русская девушка. Невысокая. Карие глаза. Длинные каштановые волосы. Пройдешь не обернешься.

— Ты и есть горячая испанская женщина?

Кивает. За ее спиной с коньяком в руках перетаптывается носильщик.

— А зовут тебя как?

— Маша.

— Маша, а ты сможешь в этой дыре кокаин достать?

Опять кивает.

Через час мы пьяные и веселые, а всё дело в предоплате за два дня вперед, врем о чем попало. Я не поспеваю за самим собой. Рассказываю, как только что примчался из Германии, как фрахтую грузы, как вылечу в Литву принимать товар. Маша рассказывает, как учится в университете. Как любит своего мальчика из Барселоны. Разнюхиваемся. Слушаем Лагутенко.

— Откуда ты, Маша?

От нас только что вышел курьер-марокканец. И я уже говорю со скоростью звука, мне интересно всё, в руках твердость и воля, сердце ровное, как после долгого сна.

— Из Москвы. Коньково.

— А ты там яблоневый сад не помнишь?

— Нет, — честно говорит она.

— Я там от дождя один раз прятался. Твоя мама, наверное, тебя в коляске провозила невдалеке.

Вижу, что Маша немного пятится. Видимо, я начал пугать ее прогонами.

— Ладно, — становлюсь я простым и понятным, — раздевайся.

Бутылки катаются под ногами, к пятке прилип окурок, из ноздри в глазное яблоко стучится дятел росточком с ногтей. Машу не узнать. Что-то теплое. Какой-то свет, весь изрешеченный отверстиями, которые нужно заткнуть, раз за разом, чтобы удержать лучи и не дать чему-то плохому и писклявому взорваться в сосудах головного мозга.

Меня разбудил вой полицейской сирены. Он такой же, как дома. Ставлю ступни на пол. Какие же тяжелые конечности. Вторая бутылка не допита. Счастье. Беру за горлышко и упираюсь лбом в стекло. Уставшая игрушка спит крепким сном. У входа Валериного дома толпятся люди в форме. Мать, как положено, прижимает к себе крошечных, перепуганных сыновей. Валеру в одних трусах, с застегнутыми за спиной руками выводят во двор. Он ничего никому не говорит. На домашних не смотрит. Ничего не обещает. Спецтранспорт разъезжается. Двор пустеет. Женщина ведет детей в дом. Беру телефон.

— Генрих Казимирович, доброе утро. Первый пошел. Второго повязали. Не успел.

— Боря!

— Да, генерал!

— Твои новости, как золотые зубы.

— Это как?

— Это пиздец, Боря. Завтра чтоб у меня. Фото есть?

— Есть только первого.

— Хорошо. До завтра.

Машина сумка приоткрыта. Коньяк бесповоротно выпит. Лезу в разные отделы в поисках сигарет. На дне нахожу наручники и бутафорскую синюю фуражку с пластиковым значком «Police». Надеваю. В ванной есть высокое зеркало. В нем сутулый человек с пустыми глазницами. На лысой голове фуражка шлюхи. Не спеша подвожу ладонь к виску.

— «Служу России».

И мой клюв расходится в страшной улыбке.

Как ты просил, Витенька. Записал.

Сергей Захаров

В доме семь комнат

Рассказ

А все потому, что в доме было семь комнат, но всего четыре стены. Иногда, правда, у него возникали сомнения на этот счет и чтобы развеять их, он выходил на каменное крыльцо, отсчитывал ногами три невысокие ступени и обходил бунгало по периметру. Все верно — стен было именно четыре. Потому что легкие деревянные перегородки внутри на полноценные стены никак не тянули. И все-таки комнат, благодаря им, было семь — целых семь комнат. Кухня, гостиная, их с Мелиссой супружеская спальня, спальня дочки, спальня для еще одного их ребенка, если бы он надумал вдруг родиться, гостевая спальня, его рабочий кабинет — и это не считая двух совмещенных санузлов и кладовки.

Иногда, в особенности по утрам, когда дом бывал пуст, он, как будто позабыв все на свете, задавался вопросом: зачем ему семь комнат? Это слишком, это чересчур много, ей-богу! Тем более, что сам он в конце концов вполне научился обходиться одной: съездил в райцентр, купил легкую и прочную кровать, привез домой, скрутил, задвинул в угол кабинета — и его рабочее место «обрело законченность шедевра». Теперь он, при желании, мог и спать там же, где работал — да частенько и поступал так.

В новом веке все переменялось. Вот раньше было, например, такое выражение — «ходить на работу». А сейчас не нужно никуда ходить, и ездить тоже: сидишь у себя дома, опутанный мировой паутиной, и занимаешься, скажем, программированием и веб-дизайном — как он. «Делаем продающие сайты — эффектно, ярко, дорого, прибыльно! Разработка сайта под ключ, наполнение контентом, продвижение, интернет-маркетинг, повышение продаж. Индивидуальный дизайн, копирайтинг, адаптивная верстка, программирование, настройка рекламных кампаний...» Он и его команда делают все, от и до — и не просто делают, а создают высококачественные штучные шедевры в противовес убогой массовой интернет-индустрии.

Есть огромные фабрики, миллионами пар штампующие безликую обувь по усредненному лекалу. А есть мастера ручного труда, шьющие тщательно, с любовью и на заказ. Если кто-то еще не понял, он и его ребята — не фабрика. Он и его ребята

Захаров Сергей Валерьевич родился в 1976 году. Закончил Гомельский государственный университет. Работал преподавателем английского языка, переводчиком, переводчиком-синхронистом, сотрудником газеты, грузчиком, охранником, фермером, экспедитором, консультантом и т.д. Печатался в «Новом Журнале», «Неве», «Новой Юности». Живет в Гомеле.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 2.

из «Прибыльных сайтов» — те самые мастера по пошиву самой лучшей интернет-обуви, в которой любой бизнес легко доберется до самых вершин! Девять лет, пятьсот уникальных проектов — от стоматологии до аренды вилочных погрузчиков. Результаты клиентского бизнеса, говорящие сами за себя. «Наши сайты и услуги стоят дорого — но они того действительно стоят!»

За эти девять лет ему удалось собрать под своим началом великолепную команду, которой всякий мог бы гордиться. Золотые перья копирайтинга, ювелиры контент-маркетинга, боги программирования... И никого из них он никогда не видел вживую, — и, возможно, никогда не увидит. В новом веке все переменялось.

Неважно, в какой стране ты живешь: программист Женя, например, встречается новый день в Пензе, копирайтер Алла пьет утренний кофе в Тель-Авиве, ее коллега Верочка обедает ежедневно в Потсдаме, настройщик рекламы Вадик любит закатами в Бостоне... Но если кто-то думает, что все эти люди — не сплоченный и прекрасно сработавшийся коллектив — такой человек крупно и даже непростительно ошибается.

Сам же он, создатель и руководитель проекта «Прибыльные сайты» — простой уральский парень с мощной лысиной и кривой армейской татуировкой в виде парашютного купола — давно уже жил в аккуратной евродеревеньке, а деревенька жила в долине, которую со всех сторон обступили совсем-не-Уральские горы. У самого края гор, на расстоянии в пару километров друг от друга, восставали охранным рядом пирамиды мергельных холмов с крутыми, почти в отвес, склонами и срезанными, будто ножом, верхушками.

Там, где порода проступала наружу, это был пыльный, твердый и совершенно мертвый цемент, но в местах, где почве каким-то образом все же удалось за него зацепиться, все буйствовало и зеленело, а на плоских, как столешницы, вершинах под шапками пиний росла густая изумрудная трава. К основанию одного из таких холмов-часовых и прилепилась его деревня с черепичными крышами.

Ему нравилось жить в этой ухоженном и нарядном, как большая игрушка, евроселе. Круглосуточно по деревне медленно курсировал полицейский автомобиль, оберегая покой граждан; на ночные улицы, случалось, забегали на длинных ходулях-ногах умеренно дикие кабаны из соседнего леса — тыкались длинными мордами в закрытые ворота и вежливо убирались прочь; люди с самого утра зачем-то улыбались, да и вообще — человек человеку здесь был не волк и даже не татарин. И звезды висели ниже и светили ярче, а воздух и вовсе хотелось есть, намазывая его на хлеб и уплетая за обе щеки — так он был свеж и вкусен.

* * *

...По традиции он работал с двух до пяти утра, после спал до одиннадцати, а проснувшись, сварил кофе и наладился гулять ежедневным маршрутом — то есть карабкаться на вершину холма. В защитного цвета рюкзак он уложил две большие бутылки воды, бутерброд с хамоном и сыром, термос с кофе, бинокль и лэптоп — там, наверху, работалось не хуже, чем дома.

Перед тем как выбраться за ворота, он прошел на задний двор, где в углу неухоженной лужайки была устроена зона барбекю. Под навесом на белокаменных столбах стояли три складных деревянных стула и большой круглый стол между ними. Забытая накануне вечером дочкой кукла-блондинка скучала на столешнице, обернув голову к бассейну, и смотрела на близкую воду с явным укором. Да и было отчего: на мутной поверхности плавали сухие листья, а нежно-голубое неглубокое нутро едва просматривалось под грязевым слоем. Он внезапно устыдился до жара в щеках.

— Нехорошо, нехорошо. Надо бы вызвать срочно людей, пусть почистят, —

пробормотал он, но подозревал, что точно такие же слова говорил себе вчера, позавчера и еще не один раз — и, похоже, тут же забывал о бассейне напрочь.

Вернувшись и проходя мимо гаража, он смалодушничал и в раздумьи привстал: штурмовать почти вертикальный холм было всегда непросто — и в особенности в такую жару. По опыту вчерашнего, такого же изнуряющего дня он знал, что пропотеет насквозь, не раз задохнется и порядком выбьется из сил, пока доберется до верха — а на машине можно было бы подъехать к холму с обратной стороны и по грунтовой дороге подняться почти до середины его высоты. Но тогда мероприятие сильно сократилось бы по времени и, главное, утратило бы всякий оздоровительный смысл — а это совсем не входило в его планы.

Пободавшись с собой самую малость, он решительно двинулся дальше, и машина — большой, забрызганный грязью внедорожник с поднятым левым крылом — осталась на своем месте. Мест, собственно, было два, и машин в семье было столько же — но одно привычно для этого времени суток пустовало. Мелисса отвезла Катюшу в школу и сразу оттуда подалась, как обычно, в столицу. Маникюр у нее, педикюр, стрижка-укладка, массажный кабинет, шопинг, самба, потрещать в кафе с подружками-бразильянками — что-то из этого или все это вместе. Мелисса и вообще не любила сидеть дома: он вечно занят, а скучать в одиночестве, да еще и в деревне, она не любила и не привыкла — слишком уж жаркая бежала в ней кровь.

Ступая по дорожке, выложенной крупными травертиновыми плитами, он, не заметив, задел ногой игрушечную детскую коляску, брошенную вчера Катюшей, — та, коротко и с обидой громыхнув, завалилась набок. Наружу из нее вывалилась и заплакала вредным голосом кукла — еще одна. Вздохнув, он поднял коляску, аккуратно установил ее на прежнее место и уложил куклу обратно.

За кованым металлом ворот сразу началось восхождение. Деревня в эту пору была пустынна, как сама пустыня: близилось время сиесты и пика жары, и он знал, что за весь путь в лучшем случае встретит одного или двух стариков на террасе дома престарелых с дурацким названием «Благостный закат», а то и вовсе никого.

Дом уже просматривался в самом конце улицы, нелепо розовея фасадом. На террасе под тентом действительно восседал в инвалидной электроколяске Жозеп — и, завидев его, махнул издали корягой-рукой.

Подойдя ближе, он поздоровался. Жозеп выглядел самым старым из всех виденных им за жизнь стариков. При взгляде на него невозможно было поверить, что когда-то он, как и другие люди, был ребенком. Казалось, его уже родили таким — сморщенным, как печеное яблоко, и древним, как Моисей, извлекли из такого же древнего чрева, отряхнули тысячелетнюю пыль, усадили в коляску и выпихнули в мир — жить вечным старцем.

— Ужасающая жара, — проворчал Жозеп. — Если такая простоит еще неделю, половина постояльцев нашей прекрасной богадельни прямиком отправится в рай. При таком пекле это немудрено. Тут не то что нашим доходягам — а и молодым несладко приходится. Вчера в Таррагоне умер девятнадцатилетний парень. Работал, бедняга, на солнце — и не знал, что все может закончиться так скоро. Каким местом думает эта молодежь!? Не знаю — но не мозгами, это точно! Я-то держусь огурцом, мне все нипочем — но не все же такие, как я. Как там твои девочки? Как красавица Мелисса? Как Катюша?

— Отлично, как и всегда. Катюша в школе. Ночью или утром у нее выпал еще один зуб — я нашел его на столе кухни. А Мелисса умчала в город — как обычно. В городе у нее всегда куча дел найдется — деревенская жизнь не по ней!

— Да... Такую красоту в деревне не удержишь — это точно! Убойная штучка твоя Мелисса. Красавица, одно слово! А задница... У бразильянок и вообще задницы — мое почтение, но у твоей... — Жозеп даже причмокнул языком от удовольствия. — Будь я

помоложе, малыш, — уж я бы за ней приударил! Ты как-нибудь снова прихвати ее с собой, ладно? Сделай одолжение — дай хоть глазами полюбоваться!

— Ладно, — сказал он. — Ладно, Жозеп. Как-нибудь обязательно прихвачу.

Махнув старику на прощанье рукой, он зашагал дальше.

Домов по мере того, как склон крутел, делалось все меньше. В конце концов, они перебрались на узкие террасы, нависая один над другим. Дома представлялись ему непомерными зверями, каждый из которых, норовя переплюнуть соседа, в последнем, отчаянном усилии вздергивал свою тушу уровнем выше — да так там, в изнеможении, и окаменевал.

Ага, «окаменевал» — он хмыкнул, не соглашаясь с собой. Это только кажется, что дом — неодушевленная материя. Еще какая одушевленная! Ты придумываешь дом, строишь его, начинаешь в нем жить — и даже не подозреваешь, что все это время он незаметно и неостановимо прорастает в тебя. В конце концов он слепляется с тобой в единое целое, становится такой же неотъемлемой твоей частью, как рука, нога или ухо — и, когда по каким-то причинам ты решаешь расстаться с домом, то с удивлением обнаруживаешь, что без хирургической операции здесь не обойтись.

Раньше у меня никогда такого не было — может быть, потому, что это первый мой дом. Дом, который построили именно для меня и по моему проекту. Я придумал этот дом сам, от начала и до конца — на радость себе, Мелиссе и Катюше. Да, на радость всем — я же помню, как счастливо обживали мы дом после переезда из тесноватой квартиры в столице!

Но сейчас, когда он перестал мне нравиться, в особенности по утрам, и я все чаще задумываюсь о том, что нужно бы продать его — я понимаю, что сделать это будет совсем не просто: дом глубоко пустил в меня корни, дом оплел и спеленал меня узловатыми путями напрочь и не желает, видишь ты, меня отпускать... Что за глупости? Оставайся и живи — велит он. Ты меня породил — а теперь хочешь бросить? Не понимаю! Ну, а если все-таки хочешь сбежать — знай, что придется резать и рвать по живому, и не факт еще, что ты не загнешься от потери крови! Вот такие дела, оказывается, с этими домами — кто бы мог подумать!?

Из-за жары ему трижды пришлось останавливаться и скидывать рюкзак, чтобы напиться. Зато наверху, в густой тени пиний, было почти хорошо. Здесь всегда дул ветер — и сейчас он был особенно кстати.

Четыре столика со скамьями выстроились в ряд всего в нескольких метрах у отвесного края. За ними, еще ближе к обрыву, цеплялись отдельной группкой за край еще три пинии и — ухала звонко и страшно вниз пустота. Испанцы всегда поражали его ничем не оправданным, веселым и каким-то детским легкомыслием. Край обрыва не был абсолютно ничем огорожен.

Два года назад, летом, во время праздника, парнишка-школьник сорвался вниз и, как и следовало ожидать, разбился насмерть. Бедняга перепил пива и просто хотел отлить. Смерть человеческая бывает нелепой — но от этого не перестает быть смертью. Несколько раз они забирались сюда всей семьей — он, Мелисса и Катюша — но, похоже, нравилось это только ему. Девочки не находили в карабканьи наверх особого удовольствия — и после пары-тройки раз отказались от этих прогулок наотрез — решительно и навсегда. Да он, если честно, и не настаивал, и даже рад был: с ними он не мог сосредоточиться, как следует, на работе, потому что вынужден был постоянно следить, чтобы шустрая Катюша не приближалась к опасному краю.

Два часа он прилежно работал: отвечал на письма клиентов, звонил Вадику в Бостон и Алле в Тель-Авив, обсуждая кое-какие детали по текущим проектам; после прилежно изучал тему пищевых добавок — в работе было сразу два сайта по этой тематике. Когда-то он начинал как копирайтер и сейчас не собирался бросать это занятие, зная, что вряд ли кто-то лучше его способен сделать яркий, короткий и

эффектный текст, задачей которого является привлечь, зацепить, убедить и заставить сделать покупку.

В конце концов утомившись, он выпил воды, лег на теплую траву и стал смотреть в бесконечное небо.

* * *

Да, он считал свою работу лучшей из всех. Когда-то давно, в армии, их забрасывали на неделю в дикую природу, без еды, воды и приборов ориентирования на местности — учили выживать, выполняя при том боевую задачу. Научили — он и сейчас еще помнил армейский навык и выжил бы в любой глухомани — и не как Беар Гриллс, а взаправду. За этот навык он советской армии был благодарен — невзирая на все ее закидоны. Вот и нынешнюю свою работу, им же и созданную, он прежде всего ценил за то, что она дает возможность выжить и жить в любом месте Земли и при любых обстоятельствах — жить, да еще «выполнять боевую задачу». «Забросьте меня в пустыню, тундру или тайгу, дайте мне интернет, кофе и возможность сосредоточиться — и я достану из паутины все!» — любил повторять он, и это было сущей правдой.

Подобно фокуснику, он умел извлекать из виртуальной пустоты вполне осязаемые и реальные вещи — и не каких-то там жалких кроликов! Из этой кажущейся «пустоты», в которой он добывал свою руду, был и переезд в другую страну, откуда любить Родину было много сподручнее, и дом-бунгало, о котором он мог когда-то только мечтать, и даже Мелисса с Катюшей... Да-да, даже своих любимых девочек он, по большому счету, материализовал из той самой «пустоты»! Вспомнив, как это было, он улыбнулся.

...Тогда они делали сайт для кабинета эстетической медицины. Заказчица оказалась землячкой, из Перми, но жила, как и он, в Барселоне. Она планировала выйти на новый уровень — и по рекомендации одной своей клиентки (блондинки-адвоката, которой он сделал сайт по оказанию юридических услуг) обратилась к нему. Заказчица готова была платить вперед — платить щедро, наличными и прямо сейчас. Подивившись ее на редкость писклявому и какому-то «мультишному», что ли, голосу из телефона, он быстро сменил шлепанцы на кроссовки, прыгнул в машину и поехал на другой конец города встречаться с ней лично.

Рина — вообще-то звали ее Мариной, но она предпочитала именно такой вариант — оказалась неожиданно крупной дамой черт-знает-какого-возраста и, что интересно, без единого изгиба или выпуклости, ради которых, как полагал он, в заведения подобного рода и обращаются желающие подкорректировать свою оболочку люди.

Фигурой своей Рина походила на идеальный цилиндр, увенчанный массивным шаром головы, зачем-то обряженный в облегающее короткое платье, не способное (или не желающее) толком прикрыть арктически-белые трусы, и установленный на тонюсенькие подпорки ног. Морщин у Риной, как и изгибов, не имелось вовсе, а еще не было губ, полное отсутствие которых она компенсировала избытком вопяще-красной помады. На белой плоскости лица кровавый рот ее казался наивным и неряшливым рисунком ребенка или сексуального маньяка.

Иными словами, на ходячую рекламу своего продукта Рина ничуть не тянула — а между тем дела ее кабинета шли чудесно. Совершенно лысый кот с огромными ушами, которым она не преминула любовно прихвастнуть сразу после приветствия, обошелся ей, например, в пять тысяч евро и был куплен больным. На лечение его она тратила огромные деньги — но что такое деньги, когда речь идет о любви? К тому же кот обладал уникальной способностью ловить и безжалостно уничтожать тараканов; в результате этого тараканьего холокоста на этаже Риной не осталось ни одной усатой твари — при том что остальной дом просто кишел ими. Все это она выложила ему в первые же пять минут знакомства, пища так, что перпонки его готовы были лопнуть. Внезапно прервав свой энергичный писк, она спросила:

— Скажите, Виктор, а вам не нужен микрофон? Я очень хорошо делаю, клиенты в восторге!

Он поднял недоуменно брови. Поражаясь его неосведомленности, Рина пояснила, что одной из самых модных операций у мужчин является глобальное увеличение головки полового члена, после которого она (головка) гарантированно подрастает на два сантиметра в длину и на столько же раздается вширь.

— Вот и получается микрофон, на радость вам и вашей партнерше! — торжествующе завершила она. — И стоит, я уверяю, недорого — а вам еще и скидку сделаю!

Заражаясь, как вирусом, ее простотой, он тут же оттянул резинку шорт, а потом и трусов, заглянул внутрь, недолго подумал и решил, что «микрофон» ему, пожалуй, ни к чему.

— А у женщин? — спросил, уже настраиваясь на деловой лад, он. — Какая самая популярная процедура у женщин?

— Бразильская подтяжка ягодиц! — без малейшего промедления заявила Рина. — Бразильская попа, если по-простому. В последние пять лет женщины всего мира сходят по ней с ума! А глядя на них — и мужики тоже. У тебя есть жена? Приводи — сделаю и скидку хорошую дам!

Жены у него не было. А о таком сверхмодном тренде в мире косметологии, как бразильская попа, он, к стыду своему, не подозревал. Ну и ладно, делов-то — он о многом не подозревал или имел крайне смутное представление — например, о тех же виловых погрузчиках. А потом, выполняя заказ, брался за дело вплотную, с головой погружался в вопрос, как умел только он, — и выдавал тот самый результат, за который ему и платили.

— Рина, мы беремся за ваш сайт прямо сейчас! — заявил энергично он, принимая задаток. — Ждите скорого результата!

Вечером того же дня он позвонил копирайтеру Алле.

— Правда, что у бразильских девушек самые красивые задницы? — спросил сходу он.

— Ну, тебе-то как мужику должно быть виднее, — засмеялась она. — Вообще, правда, что бабы в последние годы просто помешались на этом. Только и слышишь повсюду: «бразильская попа, бразильская попа»... Сама процедура, если ты вдруг не в теме, заключается в том, что у пациентки откачивают лишний жир с бедер и живота, а затем этот жир имплантируют ей же в ягодицы. Название мероприятия, кстати, связано прежде всего с тем, что хирург, придумавший процедуру, родом из Бразилии. Фамилия у него еще такая забавная — Питанги, кажется. А вот что до естественной природной красоты бразильских женщин, в смысле их поп... Знаешь, была я как-то в Рио — так мне все больше попадались сисястые тетеньки в лосинах и с раскормленными задницами. А если без лосин — то та же задница, только совсем расплывшаяся, да еще сплошной целлюлит. А как иначе, если они из кондитерских не вылезают, а спорт, насколько я поняла, у них не в чести. Единственные красивые задницы, которые мне довелось там увидеть, принадлежали иностранным туристкам. Наслушались, поди, о несравненных бразильских тылах и полгода вкалывали в спортзале, прежде чем приехать, — вот и результат.

Сама Алла, насколько он мог судить по фото в ее профиле и видеозвонкам, принадлежала, скорее, к миру двухмерных объектов — он подумал, что не совсем удачно выбрал собеседника для обсуждения темы.

«Правильный» собеседник нашелся на следующий день. Ближе к вечеру он, в рамках работы над заказом, вознамерился посетить публичный дом и заказать себе именно бразильянку с настоящей бразильской задницей — чтобы изучить вопрос досконально. Из собственного опыта он давно знал, что по-настоящему топовый сайт получается лишь в том случае, если во время его создания ты буквально живешь

бизнесом клиента, стараясь проникнуть в самую его суть. Вот он и решил — проникнуть, изучить, а заодно и потрахаться — у него давно не было женщины.

Вечерний город-дракон дышал раскаленным асфальтом. Перед тем как идти «на задание», он заказал мороженое в кафе на Бульваре, выбрал столик, поднял глаза и остолбенел: предмет его исканий, обтянутый лосинами, находился в двух метрах от него и принадлежал мулатке, которая шумно двигала стулья, собираясь усестся за соседний столик.

Крутнув своей пятой точкой, владелица ловко усадила ее на стул — не будучи экспертом, он сходу успел понять: вот она, эталонная бразильская попа: тяжеловатая, но подтянутая, фактурная, рельефная и тугая.

Он повел глазами выше, чтобы разглядеть остальное: небольшую, но такую же упругую грудь; талию, при существенных габаритах низа казавшуюся особенно тонкой; кожу цвета кофе с молоком — такой цвет бывает, когда молока добавлена самая чуть... И белки глаз, и такие же иссиня-белые, на фоне смуглой кожи, зубы, когда девушка, заметив, как пристально и в открытую он таращится на нее, засмеялась. В голове у него замельтешил внезапный и жаркий сумбур.

— Извините, я вот что хотел спросить, — пытаюсь справиться с внезапным наваждением, сказал, обращаясь к девице, он, — правда, что все бразильские девушки очень любят сладкое?

— Да, правда. Бразильские девушки жить без сладкого не могут, это да, — у нее тоже был акцент, но более мягкий, а сам голос — очень уж низкий для девушки ее лет. — Да и с чего бы им лишать себя такого удовольствия? Посмотри на мою порцию мороженого — она в два раза больше твоей! И я не уверена, что расправившись с ней, не закажу еще одну такую же. Я, например, из Рио, но это ничего не меняет: не только кариоки, но и все бразильские женщины — от рождения сладкоежки. При этом все меньше наших девчонок готовы без устали вкалывать в спортзале, чтобы сбросить вес и выглядеть прилично — скорее, они предпочтут подкопить денег и лечь под нож хирурга. Но если бразильская девушка следит за собой, ведет активный образ жизни, много двигается, занимается спортом или танцует — в красоте с ней не сравнится никто. И если такая девушка втиснется в платьишко потеснее да покороче и пройдет сотню метров по улице — поверь, каждый из попавшихся ей на пути мужчина будет счастлив предложить ей руку и сердце.

— Я, кажется, уже готов — руку и сердце, — пробормотал он, и девица, вздернув победно подбородок, рассмеялась и посмотрела на него с выражением: «вот видишь, я же говорила!» Кожа ее от гладкости, казалось, светится изнутри, а тяжелые и длинные, с блеском, волосы были черней антрацита.

С ним, жестким уральским парнем слегка за сорок, автором вполне успешного интернет-проекта, творилось что-то неладное — и дело было вовсе не в идеальной попе собеседницы. Чего-чего, а женских задниц за сорок лет жизни он навидался — выше крыши, и попадались среди них и исключительно славные экземпляры! Но тут... Впервые в жизни ему сделалось стыдно за свой лишний живот, и захотелось, внезапно и до дрожи, сбросить десяток лет, чтобы снова быть жилистым, резким и красивым.

— Ты-то, похоже, много двигаешься, — сказал он первое, что пришло на ум.

— Да, — согласилась она, — я родилась, чтобы танцевать. Самба, форро, фрево, ламбада, фанк, босса-нова — я танцую все наши танцы. А видел бы ты, как хороша я была в капоэйре! Да и бути-дэнс в моем исполнении — это что-то потрясающее, хотя придумали его не у нас. Но самба — моя страсть и моя душа. Я, кстати, учу людей настоящей самбе в танцевальной студии, и попа у меня — настоящая, а не из кабинета хирурга, как ты наверняка подумал. Это от природы: приглядишься к черным девушкам или к тем, у кого в жилах течет хотя бы часть негритянской крови — и сразу поймешь, почему всех остальных они называют плоскозадами. То, за что остальные выкладывают

немалые деньги, черным достается бесплатно. Я, конечно, не совсем уж черная — но кое-что от мамы мне, как видишь, все-таки перепало.

— Ни про какие кабинеты хирурга я и не думал, — возразил он. — Сразу видно, что ты девушка спортивная! Как ты оказалась в Барселоне?

— Барселона, Барселона, — принялась она напевать в ответ мотив популярной песни. — Барселона... Кто не любит Барселону? Да и потом: в Рио полно отличных танцовщиц, а здесь они — куда более редкие птицы. Да и платят здесь намного больше. Интересно, ты предлагаешь руку и сердце каждой девушке с красивой задницей?

— Нет, — сказал он честно. — Ты первая, кому я произнес эти слова. И твоя задница — надо признать, отличная! — здесь совершенно не при чем.

Прозвучало это на редкость фальшиво, неискренне и даже пошло — так часто бывает, когда говоришь чистую правду. Она поглядывала на него лукаво — но номер телефона, перед тем, как расстаться, все-таки дала.

Визит в публичный дом он, неожиданно для себя, отменил, а оказавшись дома, пошел к зеркалу посмотреть, кого он увидит там. На него смотрел лысый, как яйцо страуса, по-козлиному бородатый, обмотанный основательно жирком взрослый мальчик с Урала. Всякий правильный уралец опознаваем влет: он обязательно носит лицо осторожного нахала, причем если степень осторожности на этом лице может сильно варьироваться, в зависимости от обстоятельств, а часто исчезать вообще, то основательная степень наглости всегда остается неизменной.

Он уже девять лет жил в Европе — но продолжал носить это уральское лицо и знал, что снимет его только со смертью.

Он, при всех своих дипломах и сертификатах, продолжал безбожно «чокать» по поводу и без, он говорил «колидор» и «заоднем», и никакая сила в мире не смогла бы его отучить от этого.

Он не мог, да и не собирался отказываться от корней, и тот факт, что в силу определенных причин ему пришлось в свое время покинуть Родину, ничего не менял. А что он действительно мог, и что он должен был бы сделать — так это выписать себе из Екатеринбурга или области одну из множества статных и ярких девок, которые курвились и вянули там зазря, разбазаривая красоту в тускло-пьяное никуда... Да, мог бы — и каждая из этих уральских красавиц с радостью примчалась бы к нему в европы, чтобы «чокать» здесь с ним на пару и любить его по-русски. Он, коренной уралмашевец, мог и должен был сделать именно так — но вместо того потерял голову от мулатки-танцовщицы из Рио, с которой, по причине бедности своего испанского, и общаться-то толком не мог.

— На экзотику тебя потянуло, друг мой, — сказал он зеркальному себе. — Хочешь, чтобы она научила тебя танцевать настоящую ламбаду? Ну, научит. И чо? Чо дальше? Дальше-то чо? Ты же ей, неразумной, даже не сможешь объяснить, почему в день Ильи-пророка надеваешь тельняшку, встречаешься с осевшими здесь же парнями из Войск Дяди Васи, цивилизованно, но крепко закладываешь за воротник и совершаешь обязательное омовение в одном из барселонских фонтанов. Вот попробуй объясни ей, зачем ты это делаешь! Девчонке с Урала, заметь, ничего объяснять не понадобилось бы! Она с детства в теме. А эта — из Бразилии, «где много диких обезьян» — вот и все, что тебе известно об этой стране! Ну, что там еще? Бассейн реки Амазонки, карнавал в Рио, Роналдо и Пеле, новоявленный ему доктор Иво Питанги с бразильской подтяжкой ягодич — и все те же чертовы обезьяны! Обезьяны, бл***ь! Она из Бразилии и по-русски — ни бум-бум, как птица неразумная. Вот чо ты будешь с ней делать?! Чо?

Через месяц они поженились.

* * *

...Он съел бутерброд с хамоном и сыром, запил его чашкой кофе и снова прилежно трудился. Жар добрался наконец и до вершины холма, мучил и жег с час — и пошел на убыль. Солнце катилось умирать по скользкому от пота небосводу. Он посмотрел на часы, достал из рюкзака бинокль и подошел к самому краю обрыва.

Часы показывали ровно половину шестого. Снизу, издалека, донесся едва слышный школьный звонок. Он приложил бинокль к глазам, сходу нашел интересующее его место — чувствовался навык — и принялся наблюдать.

— Ага, ага, вижу! — воскликнул удовлетворенно он. Мелисса — а вот и Катюша! Где, интересно, Мели припарковала машину?

Поискав, он обнаружил «Купер» жены на соседней улице. Бинокль был мощный, и с высоты холма он мог при желании разглядеть всю деревню в деталях. Метнувшись в сторону, он отыскал свой участок с продолговатой черепичной крышей бунгало, после, вернувшись к дочке и жене, проводил их глазами до красного, с двойной белой полосой, «Купера», дождался, пока они усядутся и машина тронется с места — и стал собираться сам. Теперь, когда его девочки вот-вот будут дома, сидеть в одиночестве на вершине холма ему совсем не хотелось. Он и так не видел их — целый день. Уложившись и приладив рюкзак за спину, он заспешил вниз.

* * *

«Благостный закат» встретил его пустою террасой — как и всегда на обратном пути. Еще на подходе к воротам своего дома он услышал голос жены во дворе. Мелисса о чем-то громко спрашивала Катюшу, та неразборчиво отвечала ей, а потом обе дружно засмеялись — и он сам тихонько засмеялся с ними в лад. Он ощутил, что за целый день в одиночестве так соскучился по своим девочкам, что готов, кажется, даже прослезиться, оттого что сейчас, вот-вот, через секунду увидит их и сможет обнять.

Снова они были с ним, совсем рядом, с обратной стороны ограды, а вместе с ними дом наполнили запахи и звуки. Он отчетливо различил аромат жареного мяса и вспомнил, что сегодня Мелисса обещала ему шурраско. Да, с тех пор, как они стали жить вместе, Мелисса приобщила его к фейжоаде, ватапа и прочим бразильским яствам, а он, в свою очередь, научил ее лепить пельмени — в рамках культурно-кулинарного обмена между Бразилией и Россией. Зона барбекю была совсем рядом, за густой стеной нестриженной зелени — он слышал, как Мелисса напевает, позвякивая посудой.

Он так сильно хотел их увидеть, что даже остановился, испугавшись на миг, что войдет сейчас за ограду — и не найдет их там. Так, должно быть, всегда и у всех бывает: чем больше ты любишь кого-то — тем сильнее боишься потерять. Он и вообще каждый раз останавливался у калитки и медлил перед тем, как войти — из-за этого страха.

— Да чо уж скрывать, признайся, — сказал он себе. — Ты так любишь их, своих девочек, что, возвращаясь, всегда до смерти боишься войти внутрь — и не обнаружить их там, хотя прекрасно знаешь, что этого не может быть. Даже отсюда, из-за ограды ты чувствуешь, что дом — живой, дом уже не кажется ни пустым, ни излишне огромным, как утром; дом полон запахами и звуками, дом полон до краев твоими девочками — слышишь, как они снова смеются?

Но ты, как и вчера, и еще бесчисленное множество раз, медлишь у высокой калитки с двумя седыми гномами на столбах — потому что боишься. Боишься, и в то же время — оттягиваешь удовольствие. Продлеваешь предвкушение счастья, понимая, что можешь оборвать паузу в любой момент. Ты знаешь досконально, что случится, когда ты войдешь — но в этот краткий миг остановленного времени хочешь еще раз представить себе, как все произойдет.

Первой его заметит Катюша, его девочка-дочка: тоже, как и Мелисса, цвета кофе с молоком, вот только молока в этом кофе куда больше, и это его молоко, это его кровь и его молоко — заметит, оставит голубую игрушечную коляску и помчится к нему, улыбаясь во всю ширь временно щербатого рта, помчится, крыльями раскинув ручонки и готовясь взлететь — и взлетит на его руках, и закричит, обмирая от счастливого страха и заходясь смехом, когда он, подхватив ее, подбросит пару-тройку раз в ближайшее небо...

А там, заслышав их шум и возню, появится, улыбаясь, Мелисса — и пойдет ему навстречу, пойдет, как умеет ходить только она; пойдет такой королевой, что он специально остановится, чтобы посмотреть, как она идет — о, как она идет, всегда зная себе цену, и зная, что цена эта самая наивысшая! — а он, опустив Катюшу на землю, обнимет жену, обовьет ее крупным собой, с головой зарываясь в привычные и всегда новые для него запахи: бабассу, авокадо, гуараны; ощущая под тонким слоем ткани ее маленькое, крепкое и жаркое тело, вспыхивая и сам от жара его быстрее, чем сухая трава, представляя это излюбленное им тело во всех мельчайших подробностях и деталях...

Да, да — они жили вместе достаточно долго для того, чтобы он мог освоить восхитительную географию ее тела до глубины поистине академического знания: все его холмы и долины, впадинки и бугорки, ущелья и пещерки; все его родинки, все его чудесные волоски, с каждым из которых — если он обнаруживался в неполюбованном месте — она вела непримиримую, насмерть, войну; все его двадцать ногтей, за которыми она, как истинная кариока, следила с тщательностью одержимой, проводя в маникюрно-педикюрных салонах немалую часть времени жизни...

Все это он мгновенно представлял себе, обнимая ее, — и так же мгновенно и неудержимо твердел и начинал топорщиться той серединной частью себя, которую она сразу же ощущала в районе своего пупка, и, выпутавшись из объятий его, отступала на шаг, легко проводя своей рукою по его руке, от плеча к ладони, и, на мгновение задержав его указательный палец в маленьких, почти детских, своих, полуобернувшись, обещала глазами: да, да, я хочу того же, как и ты, я хочу этого так же сильно, как ты, а может быть, и еще сильнее — но подождем до вечера, подождем, а там уложим Катюшу спать, и все будет, будет, ты же знаешь...

Это ведь тоже удовольствие — ждать и предвкушать, зная, что все обязательно будет... Они жили вместе еще недостаточно долго для того, чтобы охладеть к телесной оболочке друг друга — и обоим решительно не верилось, что зима между их телами вообще когда-либо наступит.

Да, все произойдет именно так. Они поужинают под навесом, уйдут в дом и, устроившись на огромном диване, будут смотреть втроем телевизор — «Голос», еще какое-нибудь дурацкое шоу или новый голливудский блокбастер — раньше занятие это он совершенно не переносил на дух, но теперь предавался ему с удовольствием — а все потому, что рядом были жена и дочь... Потом он отнесет уснувшую Катюшу в постель и уже на выходе из дочкиной спальни услышит приглушенный шум душа...

И после, когда он извергнет в Мелиссу накопившуюся за день страсть, а потом еще и еще, и они будут лежать, обессиленные, в постели — Мелисса уснет первой, а он еще успеет подумать о том, что за все годы, которые они провели вдвоем, у них и скандала-то настоящего не случилось ни разу — что, учитывая его уральскую вредность и ее горячий бразильский нрав, само по себе удивительно.

Возможно, мы несколько отдалились друг от друга в последние годы — должен будет признать он. Дом с участком обошелся значительно дороже, чем он рассчитывал. Пришлось залезть в кредиты, кредиты нужно было отдавать, и деньги — любые и всякие — приветствовались и даже вожделились. А заработать деньги мог только он, и мог единственным способом — извлекая их из той самой «пустоты», откуда взялось все. Он начал брать все больше и больше работы, брать столько, что приходилось

пропадать в «пустоте» сутками, и он не мог не чувствовать, что Мелисса начинает тосковать.

Катюхе уже исполнилось три. Утром Мелисса отвозила ее в школу, а потом до пяти вечера оставалась наедине с собой — то еще удовольствие, особенно в их живописной и глухой провинции! Вот почему он сам настоял, что ей обязательно нужна своя машина — не его квадратный внедорожник, который припарковать в столице практически невозможно, а что-то более подходящее для девушки — машина, на которой она сможет гонять ежедневно в столицу, на побережье или куда сочтет нужным — пока он работает. Машину она выбирала сама — и выбрала именно ту, о какой мечтала, и радовалась ей и новообретенной мобильности, и все вроде бы наладилось — но он продолжал носить в себе смутное чувство вины: из-за работы он не мог дать ни жене, ни дочке столько любви, сколько они хотели и заслуживали. И все-таки серьезных ссор у них с Мелиссой никогда не было — разве что однажды.

Да, один раз они все же разругались: Мелисса наконец-то уговорила его слетать всей их семейной троицей в Рио, и он уже согласился, и были куплены билеты, и родители ее готовились к первой встрече с непонятным лысым зятем из малахитовых краев — но навалилось сразу несколько срочных, и выгодных, и нужных до зарезу заказов, и он решил остаться.

Да, он мог бы работать и в Рио — но совсем не в том объеме и не с той интенсивностью, которой требовал момент. Он решил остаться и знал, что имеет на это право, более того: как добытчик и глава, он обязан был остаться — но Мелисса слишком долго ждала этой поездки, да и планы его переменились внезапно и в предпоследний миг — поэтому гнев ее он вполне в состоянии был понять.

Она раскричалась тогда так, что вторить ей принялись даже соседские собаки, подлаивая Мелиссе в такт — но он выслушал все ее тирады с каменным свердловским лицом, не проронив в ответ и малого рыка: он знал, что так буря ее иссякнет скорее. Так и вышло. Ко дню отъезда мир полностью был восстановлен. Когда он предложил отвезти их в аэропорт, Мелисса убедила его, что это ни к чему: она поедет на своем MINI и оставит машину на стоянке в аэропорту — а через десять дней на ней же вернется обратно.

Работы действительно было невпроворот, и он не стал настаивать. Да, да... А кроме того случая, они никогда больше не ссорились. Никогда, ни одной серьезной ссоры — удивительно, право слово! Удивительно и хорошо.

Так размышляя, он засыпал — и просыпался в абсолютной тишине, ощущая на своей руке ее невесомую тяжесть. Она спала так неподвижно и так неслышно, что он начинал даже тревожиться и тихонько, тихонько, стараясь не разбудить ее, прикладывал свою руку к ее левой груди — и с трудом отыскав ровное упрямое биение, успокаивался.

Зато его собственное сердце стучало все тяжелее и громче, вскоре ему начинало казаться, что еще чуть-чуть — и от стука этого задрожат оконные стекла. Это означало одно: время подкралось к двум утра — а значит, пора вставать и браться за работу. Он аккуратно освобождал свою руку и уходил из спальни в кабинет.

...Все это он представил в одно мгновение, представил и лихорадочно-счастливо пережил, по-прежнему медля у ворот. Он слышал, как они снова заговорили, жена и дочь, после опять на два голоса рассмеялись — и не в силах больше тянуть, вошел.

* * *

...И все-таки семь комнат — это много. Это никуда не годится — семь комнат! Особенно, если в доме четыре стены. Перед тем как начать привычное восхождение на холм, он обошел бунгало по периметру, чтобы убедиться в этом. Все верно — стен было именно четыре. Кукла, оставленная дочкой на столе, печально смотрела на мрачную воду, и он до алого жара устыдился — надо бы позвонить, чтобы приехали и

привели бассейн в порядок. Идя к воротам, он сбил ногой игрушечную детскую коляску и, повздыхав, аккуратно установил ее на прежнее место.

Да, по утрам, когда в доме никого нет и он кажется от этого огромным и пустым, я не люблю его — подумал он. По утрам мы с ним не ладим — каждый раз, когда я просыпаюсь, дом как будто напоминает мне, что однажды я совершил большую ошибку — но не уточняет, какую именно. И я мучаюсь, пытаюсь вспомнить и сообразить — но ничего не получается, и это еще один повод не любить его — этот дом. По утрам я почти ненавижу его и подумываю о продаже — но не так-то все просто. Все не так просто — потому что придет вечер, и все переменится.

Вечером, когда я вернусь, дом будет полон моими девочками — и все снова обретет смысл. Дом ни разу еще не подводил меня — каждый раз, когда я возвращаюсь, меня ждут и встречают мои девочки, и дом сразу начинает казаться тесным: в нем так много любви, что вскоре, чтобы вместить ее и нас в придачу, придется выбрасывать мебель. За это счастье, которое дом дарит мне вечером, я готов простить ему все — так что продавать его я все-таки не буду!

В конце улицы нелепо розовел «Благостный закат». Стариков в этот раз было двое: Жозеп, махнувший ему издали неуклюжей рукой, и еще один — этого он помнил хуже.

— Чертова жара! — проворчал Жозеп, когда они поздоровались. Видишь, сегодня и Антонио выполз из норы — решил погреть свои дряхлые кости. Как дела? Как твои девочки?

— Все чудесно — отвечал он. — У Катюши выпал еще один зуб — утром я нашел его на столе кухни. А Мелисса в городе — как и всегда. У нее куча дел в столице — ты же знаешь.

— Знаю — сказал Жозеп. — Такую красотку, как твоя Мелисса, в деревне не удержать, это точно. Счастье твое, малыш, что я уже не так молод — иначе пришлось бы тебе поволноваться! Береги голову от солнца, Виктор! Солнечный удар — коварная штука: он подкрадывается незаметно и может треснуть так, что мало не покажется. Вы, молодые, совсем не думаете о таких вещах — а зря!

* * *

Слегка сутулясь, он пошел прочь, а старики долго и молча смотрели ему вслед.

— Поляк? — спросил, наконец, Антонио.

— Зачем поляк? Русский! — возразил Жозеп. — Хороший парень этот Виктор. Пару месяцев назад подарил мне коробку сигар — настоящих, кубинских, не какого-нибудь дерьма. SONIVA BENIKE 52 — ты, поди, и не слыхал про такие. Я название завел в интернет — и челюсть едва не потерял. Таким цена — под сотню штука. А в коробке их десять, понял? Я и не просил его ни о чем — а он заметил, что я не прочь побаловаться сигарой — взял да подарил! Сигары отличные — я и не курил-то таких никогда.

— Вот дела! С чего это он так расщедрился? — удивился Антонио.

— Да говорю же — хороший парень! И сигары — замечательные!

— Вот какие тебе сигары, в твоем-то возрасте? Ты же меня на добрый десяток лет старше! — мягко упрекнул Антонио.

— Я тебя еще переживу на те же десять лет, не сомневайся! — отрезал Жозеп, прищамкивая. Он извлек из кармана сигару (ту самую, с Кубы), ловко обрезал кончик и сноровисто занялся раскуркой. — И по мужской части у меня все в порядке — как у молодого. Я вот улучу момент, сбегу из этой богадельни да напрямик к девочкам в «Виллу Белью» рвану. Ты-то, поди, и не был там ни разу — а зря! Отличные шлюхи там работают — и красавицы все, как на подбор. Да — в «Виллу Белью»! Прямо на коляске и поеду — а что? Ночью движения нет, да и ехать-то десять километров, и все вниз — аккумулятора как раз хватит. Потрахаюсь всласть, у меня уже и деньжонки на это дело

отложены — а назад пусть забирают сами. А еще лучше, если бы я прямо там, на какой-нибудь девке и помер бы! Вот так — кончил бы и помер бы. И прямиком к Богу — из одного рая в другой. Вот здорово было бы, э?

— Тебе не о шлюхах, а о Боге подумать пора, — сказал Антонио. — Какие тебе шлюхи? Из тебя же песок сыплется — того и гляди, помрешь!

— Не каркай! — отрезал Жозеп, выпуская облако сигарного дыма. — Да, хороший парень, — продолжил он, помолчав. — Жаль только — сумасшедший. Совсем чокнутый. У него жена с маленькой дочкой в прошлом году разбились на машине — здесь же, в нашем ущелье. Навстречу фура груженная шла, водитель не справился с управлением... Насмерть сразу обеих — и жену, и дочь. Там и опознавать-то особо нечего было. Вот после того он и спятил. Рехнулся начисто. До сих пор уверен, что они живы. Рассказывает мне о них каждый раз — как о живых. А нам тогда Хуанита, сиделка, в газете читала, да и в новостях показывали... Ты тогда еще не жил с нами — потому и не помнишь. Да... Сука она, эта жизнь. Дочку Катюшей звали. А жена у него красавица была — Мелисса, мулатка, танцовщица, фигурная, и задница у ней, эх... Такая, скажу я тебе, девочка... Я их видел однажды, жену его и дочку, вместе с ним — незадолго до того, как все случилось.

— Вот дела, — сказал сокрушенно Антонио. — Жалко парня — хуже того, что случилось, и придумать-то ничего нельзя. Тут любой рассудком тронуться может. А ты зачем ему подыгрываешь? Зачем врешь?

— А ты будто не понимаешь! Потому что он спит, — сказал Жозеп. — Он спит, и я не собираюсь его будить. Ему хорошо, пока он спит. Может быть, он и жив только, пока спит. Что с ним может произойти, если он проснется — одному Богу известно. Ты знаешь, что может произойти? Вот-вот — и я не знаю. Но ничего хорошего, это уж точно! Поэтому будить его я не собираюсь — даже в мыслях не держу. И ты не смей! А Мелисса его, говорю тебе, настоящей красавицей была! Будь я помоложе, уж я бы эту Мелиссу не упустил!

— Да, дела-а-а... — протянул Антонио, опечалившись. — Надо же! А с виду — вполне нормальный парень, ничего такого и не подумаешь... Если кого и можно здесь назвать чокнутым — так это тебя, Жозеп! Совсем ты выжил из ума, старик! И в рай тебя уж точно не возьмут — с такими мыслями в аду тебе самое место, — Антонио вроде бы возмущался, но глядел на Жозепа с затаенной завистью.

Жозеп презрительно промолчал, занимаясь сигарой. Дым окутывал его ароматным облаком, и в дыму том мерещились Жозепу кубинские дамы с губами-«бембами» и подушечного объема задами, обтянутыми желтыми лосинами. Представив картинку крупным планом, он даже закатил почти иссякшие глаза от удовольствия. Да, что бы там ни говорили, а в жизни есть приятные моменты!

Надя Делаланд

По верлибру снега

* * *

всё началось с предельной простоты
с голодной точки начавшей делиться
расти стучаться биться шевелиться
расти расти
мир не произошёл ещё но я
уже любила бархатистый запах
прозрачной тьмы и мне тогда казалось
она моя
она моя вселенная и с ней
я буду длиться вечно раскрываясь
но мир распался и она распалась
и стала свет
но там внутри меня на самом дне
следы её тоски животворящей
росли во мне сверяясь с настоящим
росли во мне

* * *

Прозрачная нежить палаты чумной
нагие кровати и тумбы
всё это лежало сегодня со мной
туда проводив и оттуда
всё это осталось и брезжило мне
как на остановке трамвая
серебряный звон пролетевший над ней
смеётся над ней выживая
я вышла из бледной больницы роясь
и страхи пуская наружу
я вышла боясь и пошла растворясь
мне было легко и не нужно

Надя Делаланд — поэт, литературный критик, арт-терапевт, кандидат филологических наук. Родилась в Ростове-на-Дону. Окончила Ростовский университет (ныне — Южный федеральный университет), кандидат филологических наук, преподаватель университета. Автор нескольких книг стихов. Живет в Москве. В «Дружбе народов» печатается впервые.

и вот я пришла на дорогу в огне
и ангел спросил глуховато
что было особенно ценным во мне
и в чём я была виновата
но слёзы текли по молчанию вдоль
я села на медленный камень
и глухонемыми про боль и про боль
я всё объяснила руками
и ангел вздохнул и взмахнул и взлетел
всем голубем на голубое
и я открываю глаза в темноте
и мне уже больше не больно

* * *

О, выправи мне слово, логопед,
пока седлает осень лисопед
и, как лиса, летит к опушке леса,
роняя листья — хрустки и сухи,
мне кажется, что я пишу стихи
(о, как ни назови их — будет лестно!).
Я всё ещё крапива красотой
осенней, засыпающей, вон той —
небесной, упоительно закатной.
Как будто бы я тоже ухожу...
Нет, еду, еду, руль я не держу,
смотри, он сам везёт меня обратно!
Впадая в прелесть лёгкого письма,
любуюсь тем, как красная тесьма
кленовой строчки прилегла уютно,
как всё совпало точно и само
всей радостью везёт меня домой,
мы едем-едем, ангелы поют нам.

* * *

закрываешься в музыку и идёшь
наблюдая ритмичность всего во всём
если зонтик оставить то будет дождь
выйдешь в чёрном слетит тополиный снег
и мелодией станет кружить и жить
даже в офисе не оставляя нас
если голову на руки положить
то заходит начальник который раз
два три раз удивляется два три
раз удивляется смотрит во все очки
но снаружи не слышно когда внутри
здесь вступают скрипки а здесь сверчки

* * *

Фонарь улыбчивый, лучащаяся ртуть,
немного бедствует в листве ошеломлённой,
в лице меняется и наполняет грудь
забытым ощущением полёта.
И если цвет его запомнить наизусть
и ночью выдать в полусне, не раскрывая
ресниц над озером, сияющим внизу,
то выпьешь, выйдешь по глотку к истоку рая.
В зелёном облаке мятущегося льна
и шёлка выстояв, но всё-таки поблекнув,
фонарь роняет золотые семена —

и в нарастающем истаивает блеске,
и переходит в застывающие ветки,
и надевает прошлогодние балетки,
сажает лето.

* * *

Открываете дверь, а она там стоит босая,
говорит, запинаясь в дожде, стекающем на сандалии:
«я играла вам на свирели, а вы не плясали,
я вам пела печальные песни, а вы не рыдали».
У неё в глазах зацветает и плодоносит
то ли вишня, то ли яблоня, то ли слива,
на глазах весна превращается в лето, в осень,
и белеют волосы холодно и красиво.
«Я играла вам на свирели», — стуча зубами,
повторяет, пока вы поите её чаем,
укрываете пледом, пытаетесь улыбаться, —
«я вам пела, а вы молчали, не отвечали».
Засыпает, и в тусклом свете горелой лампы
вы потом припомните, как у неё горели
щёки, волосы вились, пах невесомо ландыш,
и всё время кто-то играл на свирели.

* * *

то идут по верлибру снега
горожане в шапках и капюшонах
отрешённо и медленно как снежинки
в этой жизни они притворяются нами
именами собственными нарицают
отрицают память и созерцают
созерцают память и отрицают

Елена Нестерина

Зигфрид с коляской

Рассказ

Субботним утром середины мая по городу ехал Лёха Быков. Он сидел за рулем мотоцикла с коляской, был одет в новую телогрейку классического образца, нейтральные штаны и кирзовые сапоги всмятку. Отреставрированный советский мотоцикл звали Зигфрид, и больше Лёху Быкова с европейскими культурными ценностями ничего не связывало. Когда-то он учился в школе, но по причине переезда их с мамкой на новую квартиру старую школу пришлось оставить. В день, когда Лёха забрал документы, учителя устроили банкет и веселились до утра. Вот как он был дорог этому заведению.

Ни в какую другую школу Быков поступать не стал, жизнь давала ему возможность заниматься самообразованием, и в свои шестнадцать лет он был хитер, свиреп и держал округу в страхе.

А сейчас торжественно выехал на Зигфриде, завершения ремонта и покраски которого он ждал так долго.

В это же самое время по улице шла Арина Балованцева. Когда-то она училась в той же школе, что и Лёха, правда, классом младше. Год назад тоже эту школу оставила — и тоже по причине переезда. Ее уход учителями отпразднован не был, теперь она мирно заканчивала девятый класс в другой школе и планировала продолжать учиться дальше.

Арина! Прекрасная Арина! Лёха предлагал ей покровительство, любовь, дружбу, Арина отказалась от всего, но пообещала дать ему возможность когда-нибудь ей пригодиться. И вот этот час настал! Арина явно шла по делам — а это повод пригодиться и подвезти ее!

Резко перестроившись, Лёха затормозил у обочины. Окликнул Арину и поздоровался. Арина узнала его. Быков робко предложил подвезти — в успехе он все же не был уверен.

Арина, с восхищением глядя на мотоцикл выпуска пятидесятых годов прошлого века, обрадовалась:

— Вот это машина! Подвези, спасибо! Неужели настоящий?

— У меня все настоящее, — заявил Лёха, вознося про себя хвалы Зигфриду.

— Тогда поехали! — нетерпеливо сказала Арина.

Елена Нестерина окончила Литературный институт им.А.М.Горького. Член Союза писателей Москвы. Проза и драматургия печатались в журналах «Урал», «Современная драматургия», «Знамя». Автор книг «Женщина-трансформер», «Разноцветные педали», «Первое слово дороже второго», «Красные дьяволята — гетаке» и др. Живет в Киеве. Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 5.

— Садись. — Лёха хлопнул позади себя по сиденью в виде носатого гриба с ручкой. Мысль о том, что Арина будет ехать и держаться за его живот и спину, прижимаясь на виражах, сладко прожгла Лёху.

Но Арина, мелькнув тонкими ногами, забралась в коляску.

— Никогда в мотоцикле с коляской не ездила! — азартно крикнула она оттуда.

Отменив хвалы Зигфриду, чье прицепное устройство сейчас было явно лишним, Быков свесился с седла, нырнул в недра коляски и вытащил оттуда мотоциклетный шлем.

— Надевай-ка.

— А ты? — спросила Арина, взяв могучий шлем.

— А мне и так хорошо. — заявил Лёха. — Нравится с ветерком.

— Нарушаешь?

— Х-мм.

— Ну и я с тобой.

И Лёха дал по газам.

Зигфрид с деликатным ревом мчался по улице. Арина махала прохожим шлемом и хохотала.

Они должны были уже вот-вот доехать, но тут впереди возникла пробка: кто-то в кого-то врезался, следующий не успел затормозить и тоже врезался, грузовая машина, ехавшая перед Зигфридом, тюкнулась носом в зад впереди идущего авто. Быков, уводя от удара Арину, повернул вправо, отчего на освободившийся кусочек дороги въехал следовавший за ним «Лексус», не ударившись ни во что. Цепочка попавшего в аварию транспорта на этом прервалась, но от удара из кузова грузовой машины съехал, разорвавшись, брикет с чем-то зеленым и жидким.

— Спасибо, брат! Отлично рулишь — спас, спас меня, я ведь без страховки! — принялся обнимать Быкова водитель «Лексуса».

— Вбей сюда свой телефон. — сунул ему в руки мобильник Лёха.

И бросился к Арине.

Та медленно вылезала из коляски. Зеленая и липкая. Вся.

Подвез бандит красавицу.

— Лёха, мне к одиннадцати. — сказала она и протянула Быкову шлем, в котором плескалась зеленая жижа. — Надо хотя бы позвонить. Но руки...

— Я их отмою! — воскликнул Лёха, вытащил Арину из коляски и поставил на асфальт.

Послышались звуки полицейской сирены. Арина оглянулась — и Лёха знал, что она умчится любая: и зеленая, и в крапинку, и в титуле графини, если ей что-то не понравится. Поэтому он, забросив шлем в коляску, одной рукой крепко сжал Ариныны пальцы, а другой принялся рыться под сиденьем.

— Я все сделаю, Арина! — пообещал Быков, мгновенно открутил болты, которыми крепилась к мотоциклу коляска, бросил под ее колеса красный аварийный треугольник. Усадил Арину в седло. Арина взялась руками за резиновый бублик-ручку — держаться за Лёху, как тому очень хотелось, при всем желании, у нее не получилось бы. — Я тебе пригожусь! Я тут рядом живу. Ты не опоздаешь!

Зеленая жижа оказалась концентратом удобрения растительного происхождения, пахла скошенным газоном, отмывалась неохотно. Особенно с волос. Арина почти бутылку шампуня извела. Распечатала уже вторую мочалку — так драила себя, что первая в клочки изорвалась. Хорошо, что у Лёхиной мамки мочалок оказалось в запасе много.

Пока Арина мылась, Лёха Быков сидел в кухне над тазом с вещами. Голубая курточка, юбка цвета желания, гольфики и джемпер — все это не торопилось расстаться с зеленчатыми пятнами. Лёха наливал и сливал воду, перемешивал одежду,

засыпал ее то отбеливателем, то стиральным порошком, полоскал, отжимал. Казалось, зелень отступает. Пусть и неохотно.

В ванной перестала литься вода. Приоткрылась дверь, и раздался голос Арины:

— Давай!

А давать все еще было нечего. Лёха кинулся к шкафу.

— Вот тут у мамки халаты есть. С этикетками. Выбирай любой. — с этими словами он принялся запихивать в приоткрытую дверь хрустящие пакеты.

Арина быстро вышла, завернутая в махровый халат, схватила свой телефон.

— Опоздала... Сейчас позвоню и хотя бы перенесу.

Пока она звонила, Быков положил ее одежду в стиральную машину и включил режим сушки. Очень тщательной и быстрой сушки.

— На двенадцать тридцать. Отлично! Спасибо, бегу!

Арина появилась в кухне, где яростно вертелся барабан стиральной машины, набирал обороты электрический чайник, а Быков Лёха надраивал щеткой ее бывший голубой тапочек с бывшими белыми шнурками.

Чайник вздрогнул и отключился. Лёха отложил тапок и щетку.

— Кофе, чай?

— Спасибо тебе, Лёха, — улыбнулась Арина и заглянула в иллюминатор стиральной машины, — это мое? Зря ты, в пакет надо было просто сложить, я б домой увезла. А теперь я побежала — такси вызвала, сейчас приедет.

— А вещи? Одежду-то? — будто отрывая Аринину одежду от сердца, спросил Быков.

Ведь Арина уходила — и больше не было у них никакого повода пообщаться, ничто не связывало их, и даже Зигфрид. Накатались.

— Да как-нибудь встретимся, заберу. — беспечно сказала Арина, смахнув персиковый капюшон с мокрых волос.

Еще раз встретятся! Чтобы вещи передать — встретятся. Хвала одежде!

В это время машинка отключилась. Арина открыла дверцу. Потянула одну за другой свои вещички. Но что это теперь были за вещички! Мятая, как будто ее пожевал бык, юбка, ужатый до гномьего размера джемпер, куртка-мочалка, разной длины гольфики в разводах от отбеливателя... Быков понял, что встречи не будет.

— Прости меня, Арина! — сердце его готово было разорваться. — Что же я наделал...

Никогда хулигану, а ныне заслуженному авторитету Лёхе Быкову не было так больно, стыдно и обидно. Он упал на стул, замер. И просто смотрел в глаза Арине.

— Это же просто вещи, Лёха, — Арина погладила его по плечу.

Быков подставил второе плечо, правда, Арина этого не заметила, потому что оглянулась на большие кухонные часы. Но Лёха воодушевился:

— Я куплю тебе все новое, точно такое же! И даже лучше.

— Не надо, Лёха. — улыбнулась Арина. — Подари мне этот халат. И все.

— Ты в нем поедешь? — удивился Лёха. Хотел сказать, что у мамки есть много одежды — новейшей, разумеется, только выбирай. Но не решился.

— Да я быстро до такси-то добежу... — пожала плечами Арина. — А там мне любой будут рады.

— Куда ж ты едешь-то?

— В салон красоты.

Интуиция опять не подвела Лёху. Мог бы брякнуть, что Арина и без салона красивая, но не стал. Вместо этого сказал: «Понятно» и отправился провожать — Арине перезвонили диспетчеры такси. Видимо, авто подано к подъезду.

— Как — еще пятнадцать-двадцать минут? — раздалось тут. — Я и так опаздываю! Что значит стихия? Как это — все поплыли?!

С этими словами Арина примчалась к окну, дернула ролл-ставни, которые

предотвращали доступ дневного света в квартиру. Батюшки! За окном стеной шел дождь. Ливень. Вот вам и поплыли.

Большие часы на Быковской кухне показывали 12.20...

Теперь уже Арина плюхнулась на стул и замерла, погрузившись в размышления. Напрасно Лёха пытался прочесть их направление по ее непроницаемому лицу.

Не меняя его выражения, Арина снова взяла телефон.

— А завтра? Воскресенье, да... В понедельник мне уже поздно. Спасибо, будем искать...

Арина принялась водить пальцем по экрану телефона. Лёха смотрел на чудо в своем доме. Арина искала информацию.

Шло время. Шел дождь.

Арина искала.

Лёха любовался.

Ему звонили подручные, отчитывались, что Зигфрид и коляска благополучно воссоединились в гараже, оба чисто отмытые, ухоженные. Лёха благодарил за верную службу, давал указания.

— Ну что, Лёха, сгоняешь со мной в коттеджный поселок Гоглобино-Дальнее? — отложив телефон, спросила Арина.

— На Зигфриде?

— Если такси не поедет, то давай на Зигфриде. — кивнула Арина. — Но надо сегодня.

Понятно, что Лёха был готов везти Арину хоть на край света, экипировав во все мамкино, сухое и теплое. Вот только какие дела, если на улице ливень стеной?

— А что за дело-то такое срочное? — с опаской проговорил Быков. — Я понимаю, что красота, но дождь же...

— Мне надо уши проколоть. Срочно. — сказала Арина.

— Понимаю. — закивал Лёха, напрягая мощную шею, отчего ожерелье, которое висело на ней, зловеще защелкало.

Арина узнала этот звук. Присмотревшись, и ожерелье разглядела. Оно, оно самое — нанизанные на шнурок зубы, выбитые Лёхой у врагов. Все в школе знали о существовании этого ожерелья — и старались не быть Лёхиными врагами, чтобы своими зубами не пополнить его коллекцию. И только Арине Быков признался, что набрал зубов в стоматологической клинике, заставил приятеля насверлить в них дырок, повесил на шнурок и распространил эту легенду по району. Арина никому Лёхин секрет не рассказала. Легенда до сих пор работала, а ожерелье Быков носил теперь только на удачу и по праздникам. Сегодня у него как раз совпали праздник и удача.

— Тогда поехали. — Арина поднялась со стула и деловито поправила халат. — К нам завтра бабушка приезжает. Будет мне фамильные серьги дарить.

— А-а-а!

— Что — «А-а-а»? — нахмурилась Арина. — Фотографироваться со мной в них будет. Спросила моего папашу: «У Ариночки ушки-то проколоты?» А тот вот так, как ты, отвечает: «Да-а-а!» Если не помнит — хоть бы у меня сначала спросил. Бабушка тогда бы перстень подарила. К тому же папа мне только вчера об этом сообщил. Я скорей записалась к мастеру, который уши прокалывает. Но добраться до него у меня маленько, как ты понимаешь, не получилось. Поискала сейчас другого — но по всему городу или все заняты, или выходной. Только салон «Элит-косметик» в поселке Гоглобино-Дальнее готов принять. И даже пропуск мне, так и быть, выписать в их особо ценное поселение. На три часа у меня прием. Но поедем уж с запасом. По навигатору это отсюда сорок километров с пробками.

Быков выглянул в окно. Майский ливень еще бушевал, гнулись деревья, летели сломанные ветки. Ехать можно, в коляске кожаный чехол для укрывания от непогоды

имеется. И шлем отмыт. А он, Лёха Быков, ни дороги, ни непогоды не боится. Но зачем куда-то ехать, если...

— А давай я тебе сам уши прокалю? — предложил он.

Арина удивленно посмотрела на него.

— У моей мамки есть специальный пистолет для стерильного прокалывания ушей! — принялся объяснять Быков. — Отличного качества, совершенно новый...

— С этикетками, — добавила Арина.

Лёха не обиделся:

— Конечно! У мамки ж у моей интернет-магазин. Все такое дамское. Прямые поставки из Китая! Только самое лучшее. Вот я у нее сейчас и...

— Ты что, Лёха, это ж мамин бизнес! — с этими словами Арина бросилась останавливать Быкова, который уже умчался с кухни вглубь квартиры.

А Лёха распахнул дверцы большого шкафа и оглядывал его недра.

— Техника, техника... Вот она! — наконец крикнул Лёха. — Нашел.

Он торопливо дернул коробку из середины стопы. Только благодаря тому, что набито было под завязку, все это богатство из шкафа не вылетело.

Захлопнув дверцы, Лёха усадил Арину на диван. Раздраконил при ней пленку упаковки. Раскрыл коробку.

— Да верю я, Лёха! — закивала Арина. — Конечно, вижу, что новый.

— У нас с мамкой все общее. — гордо заявил мамкин сын.

— Не сомневаюсь.

В это время зазвонил телефон Арины. Это была ее мама, беспокоилась, где Арина пережидает ливень.

— Мама, я в салоне, — прекрасная Арина отлично умела врать родителям, — и в полной безопасности. Да, уши проколола, нормально все...

Так Лёха Быков понял, что Арина доверяет ему свои нежные уши.

Витя Рындин подъезжал к дому Балановцевой. Вез его обычный городской автобус. Дождь лил, автобус плыл. Арина не перезвонила и встречу не отменила, а значит, Витю ждет. Он знал о ее визите в салон красоты. После салона Арина должна была вернуться домой, отобедать с семейством и только после этого выходить гулять.

Звонить он начал как обычно, от остановки. Арина взяла трубку не сразу. И первое, что услышал Витя от выдержанной обычно Арины, был крик:

— Брось, брось отвертку! Ножиком попробуй! Привет, Витя...

Пистолет для прокалывания ушей и вправду выглядел как настоящий пистолет, только со спилленным стволом. Черный-черный. Лишь золотым был спусковой крючок, который соединялся с длинной, тоже золотой фигуркой, на которую насаживалась сережка-пуссета, напоминающая обычный «гвоздик».

Из предложенного набора пуссет Арина под давлением Лёхи выбрала микро-изумруды, хотя еще дома планировала серебристые шарики.

Зарядив пистолет изумрудом и сверясь с пошаговым видео-роликом для прокалывания ушей начинающими, Лёха смело подошел к Арине. Она сидела на стуле посреди ярко освещенной кухни. Она улыбалась Лёхе, она совершенно не боялась — и тот готов был набить Арине хоть тысячу изумрудных и бриллиантовых пирсингов, сережек, татуировок.

Не знающий страха беспощадный Быков лишь коснулся розового уха ваткой со спиртом, и рука его дрогнула. Он опустил пистолет.

— Ты что? — удивилась Арина, фукая носом и прогоняя спиртовой запах.

— Я боюсь... — признался Быков. — Тебе будет больно.

— Но тут же написано, что не больно и безопасно! — Арина щелкнула пальцем по коробке.

— Тут по-английски написано... — буркнул Быков. — Мало ли чего они понапишут...

— Да я же все прочитала! И в ролике говорят, что это всего мгновение. А сережка сделана из медицинского сплава. Быстро заживляющего. Давай, Лёха.

Быков снова поднял пистолет, пристроил его к мочке Ариного уха. Вспомнил, отдернул пистолет, протер ухо спиртом. Страдая, сморщил лицо. Отошел.

— Не бойся, Лёха, не бойся! — ласково взяла его за руку Арина.

Ватка выпала из Лёхиных пальцев...

— Или давай я сама. — Арина вскочила со стула и собралась бежать вон. — Давай пистолет. Где у вас зеркало, в ванной?

Быков перехватил ее. Обхватил за плечи, прижал к себе.

— Я сейчас на себе попробую. — с этими словами Быков, не отпуская Арину, пристроил боевую часть пистолета на мочке своего уха. Глядя Арине в глаза, нажал на спусковой крючок. Чик — и вот уже в ухе Быкова торчит сережка-«гвоздик». Изумрудом, правда, наизнанку, но отлично торчит!

Зажав пистолет под подбородком, Лёха потрогал сережку.

— И все?

— Да. — с трудом вздохнув, улыбнулась Арина, у лица которой опасно гулял тяжелый черный пистолет.

Лёха схватил его, спрятал за спину. Набывчившись, быстро заморгал, отпустил Арину и сел на пол.

— Ты прости. — Глядя на нее снизу вверх, проговорил Лёха и прижал к себе ту руку, которой только что обнимал Арину. Казалось, что рука еще хранит биение ее тела.

— Давай, я тебе сережку-то застегну, — с этими словами Арина присела рядом и аккуратно накрутила металлическую гаечку на гвоздик пуссеты. — А как заживет, мы тебе изумрудом вперед переставим.

— Переставим. — эхом ответил Быков. Все, что касалось темы «мы», грело его и заставляло вздрагивать в неясной надежде.

— Будешь модный. Ну, заряжай теперь вот эти розовые шарики, раз серебряных нет, — скомандовала Арина, вытаскивая из набора пару новых сережек. — Будем мне их вдевать.

Наверное, пережитое не оставляло Лёху, а предстоящее добавляло ответственности, поэтому серьезный пацан нервничал. Сережку он вставил в пистолет так, что его заклинило. Как ни давил Лёха на спусковой крючок, как ни командовала им Арина, как ни пытались они вместе вытащить застрявшую серьгу из пистолета, ничего не получалось.

Вот тут и выяснилось, что к ручному труду Быков не приучен. Набор инструментов в его доме оказался скуден. Зато было два меча, катана и арбалет — и не из интернет-магазина мамки, а Лёхины личные. Отвертка гнутая, шило тупое, но и ими со всей яростью Лёха лез в пистолет. Потому что очень хотел починить его, очень.

Арина потеряла счет времени, поэтому вспомнила о прогулке только тогда, когда позвонил Витя. Он приехал, несмотря на дождь. Он уже возле дома...

Арина перезвонила маме. Врать для спасения, так уж последовательно.

— Мама, за мной сейчас зайдет Витя, а тут все еще дождь... — деловито начала она. — Ты передай мне с ним, пожалуйста, сухую одежду. И сапоги резиновые, да! Он в салон мне привезет. Конечно, отлично!

Так, меньше чем через полчаса, на пороге квартиры Лёхи Быкова стоял Витя Рындин. На его звонок в дверь Лёха ринулся как за порцией эликсира вечной жизни. И расстроился — потому что ждал он своего подручного Дрона, который был по телефону отправлен на мамкин склад — вдруг там второй такой пистолет есть?

Витя и Лёха тоже были знакомы со времен общей школы, в которой из всех троих Витя Рындин остался теперь один. Отдавали должное физическим и моральным качествам друг друга. И совершенно не общались.

Да, Лёха отметил, как засияло лицо Арины, когда она увидела Витю. А чего ему не засиять? Витя прямо рыцарем при Арине прописался, ему не нужно проситься пригодиться... Но все меняется. Обаяние личности еще никто не отменял.

Куда вот это она пошла? Да, менять его халат на Витину сухую одежду. Вернулась в джинсах и бледной кофтейке, прекрасный халат персикового цвета сложила, глянула на Лёху. Ясно, подарок теперь без надобности. Но Арина погладила его, как персидского кису, спрятала в пакет. С благодарностью улыбнулась Лёхе. Витя, наблюдая за этим, опустил резиновые сапоги на пол. Он старался понять, что тут происходит.

Лёха фиксировал все. Ошибка соперника — шанс усилить свои позиции.

Арина схватила злосчастный пистолет:

— Витя, посмотри, что можно сделать? Заело этого собаку.

Витя вытащил раскладной ножик, раскрыл плоскогубцы. В отличие от Лёхи ремесла он любил. И — да-да, не сразу, но все-таки — он извлек из пистолета сплюсненную сережечку! Повозился, выпрямляя механизм, который нетерпеливые Арина и Быков закрутили штопором. Вставил новую серьгу-пуссету.

— На мочалке попробуй! — Арина метнулась в ванную и вернулась с потрепанной мочалкой.

К мочалке приставили пистолет, щелк — и она стала красавицей. Все снова работало.

— Я! — Быков молниеносно наложил руку на пистолет. — Я буду колоть.

— Чегой-то ты-то? — поинтересовался Витя и пистолета не отпустил.

— Я умею.

— Я вижу, как ты умеешь. — Витя красноречиво покосился на воткнутую задом наперед серьгу в Лёхином ухе.

— Это концепт. — не растерялся Быков.

— Это у тебя руки не из того места растут.

— Зато очень больно бьют.

— По барабану.

В этот момент раздался звонок в дверь. Лёха бросился открывать, но пистолета из рук не выпустил. Витя тоже не выпустил, так что открывать они пошли вместе.

Хорошую команду подручных сколотил Быков из бывших юных гопников! А может, удача по-прежнему была сегодня на его стороне, но на пороге квартиры оказался Дрон с новенькой коробкой набора для прокалывания ушей.

Лёха отпустил пистолет старенький, вмиг распотрошил коробку, зарядил пистолет изумрудом. И с победным видом прицелился в Витю, пистолет которого не был заряжен.

— Ты сначала инструкцию прочитай, Быков, — усмехнулся Витя, — это же другая модель.

— Разберусь, — буркнул Лёха. Он очень хотел остаться в судьбе Арины тем человеком, который проколол ей уши! Изумруды его она, может, и выбросит, а память — нет.

Но пистолет-то и вправду был другой. Серебристый, маленький. Заряжался проще первого, удобный. Что не так-то?

Пока Быков размышлял, пока наблюдал, как Арина заводит в кухню промокшего Дрона и шуршит пакетом с мамкиными плюшками, собираясь поить подручного хозяйским чаем, Витя зарядил черный пистолет пуссетой из старого набора. Отвлёк!

Быков свирепо фыркнул. Они с Витей стояли в разных концах прихожей. Уступать никто не собирался. Витя многозначительно помахивал пакетиком с

одноразовой бактерицидной салфеткой, дезинфектор, посмотрите-ка. Лёхин спирт и ватка остались в комнате, вход в которую за спиной у Вити...

Конечно, сейчас выйдет Арина, выберет Рындина. И никого не будет волновать, что это Лёхин дом, Лёхины пистолеты, Лёхина идея, в конце концов! Лёха Быков еще не знал, что в мире царит вот такая несправедливость. Ладно, ему казалось, в делах все нечестно, но в чувствах-то... «Ну выбери меня, Арина!» — молил он про себя, сожалея, что рядом не было верного Зигфрида, который только одним своим видом наверняка склонил бы Арину Балованцеву к правильному выбору. Он сожалел, что был таким нерешительным в самом начале — все давно уже было бы закончено, изумруды сияли бы в нужных ушках, а не задом наперед в его могучей мочке. Но что теперь сожалеть, хоть обсожалейся...

Из кухни вышла Арина. Увидела пистолеты в руках Вити и Быкова. Какая же она была умная!

Встав между ними посреди прихожей, Арина разбила волну напряжения.

— А давайте так: ты правое ухо проколешь, ты левое. — сказала она. — Если согласны, пойдёмте в кухню, там светлее.

Витя и Лёха одновременно прошли в дверь.

— Вить, что там у тебя заряжено? — спросила Арина.

— Аквамарин, — ответил Витя.

— Пойдет.

— У меня изумруд.

— Помню.

...Дрон забился в угол кухни и наблюдал, как, наведя пистолеты на Арину и контролируя друг друга, Быков и Витя выстрелили. Одновременно. Так же одновременно отошли на шаг в стороны.

В ушах Арины Балованцевой засияли аквамарин и изумруд. Временно.

Андрей Васильев

Ордубадские лимоны, кенгерлийские воины и хыналыгские небожители

Есть два основных способа потребления веселящих напитков: с повышением градуса и с понижением оного. Первый рассчитан на продолжительное застолье и постепенное улучшение мнения об окружающих. Мизантропический эффект, возникающий на следующее утро, у него минимальный. При использовании второго способа, несмотря на быстрое достижение желаемого состояния, картина мира тускнеет с каждой выпитой рюмкой, а масштаб неизбежных последствий растет.

Некоторое время назад мне пришло в голову, что первый метод вполне применим при сборе материала для оптимистичного географического очерка. Взять, к примеру, нашу Россию. Если, в отличие от большинства зарубежных туристов, не ограничиваться посещением Москвы и Санкт-Петербурга, а двинуться дальше в провинцию, то по мере понижения «градуса прогресса» ваше моральное и физическое состояние неизбежно будет ухудшаться, как и мнение о Российской Федерации. И совсем другое дело, коли двинуться в обратном направлении, проникаясь по мере приближения к столице все большей уверенностью в счастливом будущем страны.

Поэтому, рассказывая об Азербайджане, по которому мне пришлось немало поездить и который мне хотелось бы представить в силу моей любви к нему лучшим образом, я начну с окраин и лишь к концу поделюсь впечатлениями о Баку. Тем более что и в советское время он считался одним из самых красивых городов СССР.

Самая окраинная окраина — это, конечно, Нахичевань или, как ее называют азербайджанцы, Нахчыван. Лет сорок назад я услышал от пограничника, успевшего послужить на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, то есть не избалованного климатом и благами цивилизации: не дай, мол, бог попасть в Нахичевань. Дескать, там и Кушка раем покажется. С убеждением, что от этого места надо держаться подальше, я и жил. Но не так давно мне предложили слетать туда — другого способа добраться из Баку до Нахчыванской автономной республики не существует. Нахичевань — эксклав, окруженный со всех сторон другими государствами. Командировка предполагалась короткой, да и любопытство заедало — так что же не слетать!

Васильев Андрей Владимирович — шеф-редактор издательства IRS Publishing House, журналист, автор сценариев документальных фильмов и более двадцати книг, среди которых «Боснийское интермеццо и другие повести», сборник рассказов «Прозаическая сага», исторические исследования «Сны старой крепости», «Зачарованный город», «Волшебные сказки Тебриза» и другие.

Предыдущая публикация в «Дружбе народов» — 2018, № 5.

Вид из иллюминатора самолета полностью подтверждал определение, данное Нахичевани в энциклопедическом словаре, — «горная страна»: вершины и пологие склоны; крутые обрывы и сложное переплетение хребтов; рыжие, желтые, серые, черные скалы всех форм и размеров. Казалось бы, трудно найти более неприятное место, чем эта часть Закавказского нагорья.

Действительно, большая часть автономной республики — горная. Она поднялась к небосводу Даралагезским и Зангезурским хребтами, прорезанными глубокими ущельями и долинами рек. Меньшая — юго-западная часть Нахичевани — равнинная, хотя и ее высота над уровнем моря составляет 600—1100 метров. Она узкой полосой протянулась вдоль левого берега Аракса — реки, не менее знаменитой в древности, чем Тигр и Евфрат.

В общем, для привольной жизни места мало. Настолько мало, что не совсем понятно, почему предки современных азербайджанцев решили здесь обосноваться. Между тем, город Нахчыван ведет свою историю из той давней поры, когда Римской империи не было даже в проекте. Ему четыре тысячи лет. С высоты столь почтенного возраста и Афины, и Рим смотрятся зелеными юнцами. А первые поселения в Нахичевани возникли еще раньше, в добиблейские времена. Во всяком случае, всех туристов в обязательном порядке водят к мавзолею, под которым, по преданию, находится могила Ноя.

Чтобы больше на этом не останавливаться, сразу перечислю и остальные достопримечательности, без которых полной картины Нахчывана все равно не получится. По старшинству сразу же после праведника идут копи Дуздага — Соляной горы. Их разработка началась восемь тысяч лет назад. Похоже, они самые старые в мире. Я, конечно, прошелся по этим штрекам. Сейчас в них разместился Физиотерапевтический центр, в котором очень успешно лечат просоленным до последней молекулы воздухом заболевания органов дыхания.

Побывал я и в святилище Асхаби-Кахф. Оно находится в самом конце длинного горного ущелья, спускающегося чуть ли не от вершины хребта. Паломникам, чтобы добраться до него, приходится преодолеть несколько сотен ступеней. Но место того стоит, ведь это та самая «Пещера семи спящих», упомянутая в 18-й суре Корана!

Делясь впечатлениями от посещения этого края, начинаешь себя чувствовать ведущим программы «Магазин на диване», потому что, закончив рассказ об очередном знаменитом месте, невольно хочется заявить: «Но и это еще не все!»

Действительно, тут за века накопилось столько всего интересного! Поэтому, раз уж вы попали в Нахичевань, непременно придется осмотреть и наскальные рисунки Гемигая, и творения великого зодчего древности Аджеми, и дворец нахичеванских ханов, и, конечно, город Ордубад, основанный в VII веке.

Последний прославился не столько старинными зданиями, сколько выращиваемыми в окрестных садах фруктами. Главный «бренд» Ордубада — лимоны. Почему они так ценятся в Азербайджане, ни один ордубадец не смог мне объяснить. Тем не менее стоят они на бакинских рынках раз в десять дороже любого тропического фрукта. А уж если вам подадут чай с долькой ордубадского лимона, то наверняка сообщат об этом, чтобы, не дай бог, вы не упустили возможности насладиться деликатесом.

Ордубадские сады на протяжении веков были главным богатством местных жителей. Яблоки, хурму, гранаты и персики вывозили в другие страны по проходившему через город Великому шелковому пути. Здесь останавливались для отдыха купцы, в караван-сараях шла бойкая торговля, затихавшая, лишь когда голос муэдзина призывал правоверных на молитву. Но сами ордубадцы при этом оставались как бы в стороне от страстей, связанных с прибылями и потерями. Другим не завидовали, но и свое достоинство берегли, благо городом гордились и считали его лучшим местом на Земле.

Их мнение разделяли соседи, именовавшие Нахчыван «украшением мира». Возможно, такая оценка сегодня покажется завышенной, но до XVI века, когда началась длинная череда турецко-персидских войн, этот край и вправду процветал, вызывая восторг у посещавших его путешественников.

Нахчыванцы свою историю знают, гордятся ею, но, пожалуй, этим и ограничивается их связь с легендарным прошлым. Как и всех людей на Земле, их больше заботит день сегодняшний. Конечно, ситуация сейчас несравненно лучше, чем в 1991—1993 годах, когда из-за войны в Карабахе регион оказался в экономической блокаде. Поставки газа и электроэнергии были прерваны. Чтобы не замерзнуть — а зимой температура падает ниже двадцати градусов, — вырубили все парки и скверы. Сейчас энергетическая проблема решена, и вместо каждого срубленного дерева посадили десять новых. Разобрались и с другими вопросами, в том числе полностью обеспечили себя продовольствием, но надо двигаться дальше, а этому здорово мешает то, что ввозить и вывозить товары приходится через Иран и Турцию. Все по старой поговорке: «За морем телушка — полушка, да рубль — перевоз».

Тем не менее никто не жалуется. Я, во всяком случае, жалоб не слышал. Нахчыванцы — гордый народ, а Нахчыван — это своего рода азербайджанская Сицилия. Они даже внешне чем-то схожи. В одежде нахчыванцы, как и сицилийцы, предпочитают темные тона. Гавайская рубашка и шорты здесь будут смотреться столь же неуместно, как фрак на национальном празднике готтентотов. Этикет соблюдается строго, чем при дворе английской королевы. Тут молодому человеку и в голову не придет знакомиться с девушкой на улице. Кто-то скажет, что такое поведение старомодно. Пусть так. Зато невозможно представить себе, чтобы здесь женщине или пожилому человеку не уступили место в автобусе или, к примеру, перебили его в разговоре.

Слово старшего — закон. Видел своими глазами, как отец, простой крестьянин, всю жизнь проковырявшийся в земле, не выезжавший дальше Нахичевани, отчитывал своего сына — богатого предпринимателя из Баку. И сын стоял перед ним навтыжку, не смея возразить, почтительно внимая каждому слову отца.

Вернувшись в Москву, я рассказал приятелю-азербайджанцу о подсмотренной сцене. Он поглядел на меня с недоумением.

— А что тут такого?

— Ну, как же! Я хорошо знаю этого человека. Он — преуспевающий бизнесмен. Закончил университет в Англии. Из заграницы не выезжает. Их знания несравнимы.

— Ты не понимаешь! В финансах старик, ясно, не разбирается. Но он прожил много лет, знает людей и не хочет, чтобы его сын совершил нехороший поступок и опозорил себя. Кроме того, он — нахчыванец, — и приятель махнул рукой.

Уважение к старшим, забота о родителях — святая обязанность детей. В Нахчывани, можно с уверенностью утверждать, никогда не привется такая форма социального попечения, как дома престарелых. Нахчыванец, решивший передать отца, мать или оставшегося одиноким родственника в такое, пусть и самое замечательное, учреждение, неизбежно станет изгоем в обществе. На него будут смотреть с презрением. Ему не подадут руки.

Да что там говорить! Я не встретил на улицах Нахичевани ни одного человека, просящего милостыню. Этого здесь не может быть по определению. Соседи, родственники, друзья, знакомые не позволят дойти до такой степени отчаяния, чтобы молить прохожих о помощи. Сами предложат свои услуги, сами все сделают и даже слов благодарности слушать не станут. И не потому, что очень гордые: просто они считают, что совершенно естественный поступок не требует благодарности.

Здесь вообще не принято выставлять напоказ свои чувства. Сдержанность — основа поведения нахчыванцев, а честь и неразрывно с ней связанная верность данному слову служат доминантой бытия, доходя подчас до абсолюта.

Во время поездки по краю я совершенно случайно попал на местный праздник. Сейчас даже не помню, чему он был посвящен, но это не так важно. Народу на него

собралось много. Был конец лета, шел сбор урожая, и люди были рады хотя бы денек передохнуть.

С организацией мероприятия особо не заморачивались: на школьном футбольном поле за селом были поставлены торговые палатки, развешаны транспаранты и сколочена сцена. Районное начальство быстренько отчиталось с нее о достигнутых успехах и уступило площадку представителям самодеятельности.

Мне подобные концерты пришлось отсиживать много раз. Все они строятся по одной и той же схеме. Первой идет песня о Родине, потом ансамбль народных инструментов, затем классический вокал, под который притомившаяся публика начинает перешептываться. И только под конец подают «сладкое» — что-нибудь современное, от которого gloхнешь в первые же секунды. Здесь отличие было в том, что все выступления зрители принимали на ура. И ашугов, и кеманчистов, и даже исполнителя мугамов с довольно слабым, совсем не мугамным голосом. А когда объявили танцоров, разразились такие аплодисменты, о которых наши фанерные «звезды», ежегодно приезжающие в Баку на фестиваль «Жара», не смеют и мечтать.

Плясали действительно здорово. С азартом и от души, но, на мой непросвещенный взгляд, несколько однообразно, повторяя, пусть и с большим воодушевлением, одни и те же танцевальные па. Я уж было заскучал и стал подумывать о том, как бы незаметно покинуть почетное место, на которое меня усадили, но тут на сцену вышел новый коллектив. Мужчины были одеты в черные, отделанные серебром архалыки, девушки — в яркие лазоревые платья. Но дело не в костюмах, а в том, как эти люди держались. Пожалуй, самые точные слова, что я могу найти, «строго» и «сурово».

— Кенгерлийцы, — шепнул мой сопровождающий.

Я много слышал об этом славном народе, живущем в горах Нахичевани. Служба составляла содержание и смысл их существования. Ничто не могло заставить кенгерлийцев отказаться от выполнения взятых на себя обязательств. Их воинская выучка была выше всех похвал, и при численности племени приблизительно в 10 тысяч человек они представляли грозную военную силу. Все знали, что они способны пойти сотней против нескольких тысяч, выполнить приказ или умереть. В чем-то кенгерлийцы напоминали элиту британских колониальных войск — подразделения непальцев-гуркхов. Орденов, которыми были награждены вышедшие из их среды военачальники, хватило бы на небольшую армию. И вот что странно: именно этот народ подарил Азербайджану тонкого лирического художника, основателя азербайджанской живописи Бахруза Кенгерли. Но он, пожалуй, исключение. Основная масса кенгерлийцев по-прежнему всем другим занятиям предпочитает военную службу.

Нахчыванцы вообще люди воинственные и свободолюбивые. Их характер формировался в те века, когда эта земля была ареной бесконечных нашествий и только мужество и упорство помогали выжить, когда лишь взаимовыручка и сплоченность гарантировали то, что ты увидишь завтрашний день. Свободу они ценят превыше всего. Многие думают, что распад СССР начался с прибалтийских государств. Это не так. За много месяцев до них, 19 января 1990 года, чрезвычайная сессия Верховного Совета Нахичеванской АССР приняла постановление о выходе Нахичеванской АССР из Союза ССР и объявлении независимости.

А во всем остальном жители Нахичевани ничем не отличаются от, скажем, бакинцев или москвичей. Те же заботы и радости. Люди работают, воспитывают детей, занимаются повседневными делами, которых, сколь ни уснащай свой быт домашней техникой, все равно много.

И Нахчыван самый обычный город, конечно, за вычетом исторических памятников, которых здесь немало. У него вполне, как принято говорить, «европейский вид»: широкие проспекты, магазины, рестораны, очень приличные гостиницы, множество научно-исследовательских институтов и заводов. На окраине Нахичевани расположен кампус университета. А воротами в город служит современный международный аэропорт, оборудованный по последнему слову техники. Другими словами, ничего необычного или непривычного для глаз.

Поэтому, если хочется экзотики — а она здесь есть, — надо забираться подальше в горы. Более того, по нашим российским понятиям, ее там более чем достаточно. Во-первых, прекрасные дороги в каждое, даже самое удаленное село. Во-вторых, газ. Он есть в любом крестьянском доме. А что это значит для села, объяснять не надо. В-третьих, электричество и вода, за которой не надо бегать с кувшином к роднику. В-четвертых, повсюду стоят новые школы и поликлиники. И это реальность, а не «потемкинские деревни». Маршрут-то я выбирал сам.

Гедыбей. Маленький город с девятью тысячами жителей на северо-западе Азербайджана. Больше всего известен выращиваемой здесь картошкой. Воскресный день. На центральной площади столпотворение. Из окрестных сел приехали за покупками крестьяне. В багажники легковушек укладывают мешки с мукой и рисом, инструменты, кто-то грузит на прицеп мебель, тащат клетки с возмущенными таким обращением курами. Из кафе оглушающе звучит музыка. С трудом находим место, чтобы припарковаться. Водитель убегает в магазин, а мы с фотокорреспондентом, чтобы нас не снесло потоком людей, жмемся к стене.

Возле нас останавливается женщина. Еще не старая, лет пятидесяти. Одета в традиционное для сельских жителей темное платье. На плечи наброшен теплый платок. На ногах растоптанные туфли. Осторожно нас рассматривает, потом все-таки решается.

— Из России? — по-русски спрашивает она. Акцент у нее сильный, но все понятно.

— Из Москвы, — сообщаю я, совершенно не представляя, зачем мы ей сдались.

— Я в русской школе училась. У нас русские живут, молокане. Я к ним в школу ходила. Много русских подруг было, — с гордостью говорит женщина.

— Не забыли язык? — интересуюсь из вежливости.

— Забыла. Совсем забыла. Мало на русском говорю. Нехорошо.

Даже и не знаю, что сказать в ответ. Дипломатично пожимаю плечами.

— В гости приехали? — не унимается женщина.

— Нет, по работе. Будем делать материал о вашем районе.

— Из газеты, — кивает она.

— Из журнала, — уточняю я.

— Хорошо, — женщина улыбается золотозубой улыбкой. — Поехали!

— Куда?! — удивляемся мы с фотографом в один голос.

— Ко мне в деревню. Отдыхать будете. Мужу скажу барана зарезать. Гости из Москвы. Честь для нас. Соседей позову.

Ну, что тут скажешь? С трудом отговариваемся срочной работой. Женщина явно расстроена. Прощаемся с ней, как со старым другом.

Давно хотел попасть к пастухам, посмотреть, как они живут. Как-никак одна из древнейших профессий на земле. Но все не получалось. Кого ни спросишь, в ответ: «Проблем йок!», а потом выясняется, что отара высоко в горах, погода не та, и вообще неизвестно, сможем ли мы их найти. На всякий случай даже спросил знакомого пилота из «Азербайджанских Авиалиний» и, конечно, услышал традиционное «Проблем йок!». Правда, за ним последовало обнадеживающее: «Завтра тебя устроит?»

Ох, лучше бы не устраивало. Куда полезней для здоровья было бы сидеть на какой-нибудь нудной конференции или копать в пыльном архиве. И скажу больше: были такие моменты в поездке, когда я был готов променять место рядом с моим знакомым на скамейку в полицейском «обезьяннике». Не хочу описывать те фигуры высшего пилотажа, которые этот воздушный ас выписывал по тропинкам и склонам. Он не подъехал к пастбищу, а приземлился на него.

У брезентовой палатки сидели двое пастухов. За палаткой паслись стреноженные лошади. Тот, что помоложе, готовил еду в котле, а старший курил. Самые обычные

люди, и одеты они были не по-пастушьи — то есть ни бурок, ни косматых папах, — а во что-то городское: курточки, кроссовки...

Поздоровались, представились, объяснили цель визита. Те удивились, посмеялись и пригласили к костру. Из завязавшегося разговора выяснилось, что отару пасут вчетвером. Овцы в основном хозяйские, но есть и принадлежащие пастухам. Двое сейчас приглядывают за стадом, а они вернулись в лагерь, чтобы обед приготовить и передохнуть. Продукты им привозят раз в десять дней, а выбраться домой удастся редко. Что касается условий, в которых они живут, то «вот они все условия» — старший мотнул головой в сторону палатки.

— А поменять работу не хотите? — не смог удержаться я от вопроса.

— Мы ничего больше не знаем, — ответил старший. — Привыкли.

Хотел бы я так «не знать». Пастух, он и ботаник, и ветеринар, и наездник, и охотник. Он должен уметь ориентироваться в горах, проходить каждый день десятки километров. А уж по части выносливости и умения выживать пастух даст сто очков вперед всем телевизионным «путешественникам», которых столько развелось в последнее время. Не согласны — попробуйте перегнать хотя бы десяток коз с одного пастбища на другое в ноябрьское ненастье.

У современного путешественника и рация, и куча приспособлений, облегчающих ему жизнь, а труд пастуха за тысячелетия не претерпел никаких изменений. Он и сегодня остается предельно тяжелым, сложным, а подчас и опасным. Ведь пока овца подрастет, сколько километров надо отшагать по горам, сколько ночей мерзнуть у костра, сколько раз рисковать жизнью, отыскивая в слепящий буран потерявшегося ягненка.

Пастух всегда один на один с природой, его быт прост и суров. Укрывается курткой или ватником, спит в палатке или хижине, горячую пищу ест раз в день. В горах проводит от восьми до десяти месяцев. И была бы его работа совершенно непосильной, если бы не надежные помощники, те самые, которых далекий предок приручил и обучил, — конь и собака.

Конь пастуха — не тяговая крестьянская лошадь, хотя ему и приходится перевозить тяжелые выюки с нехитрым хозяйством. Он небольшого роста, сухой, легконогий. Без него никак не управиться, не поспеть, когда под твоей опекой стадо в несколько сот голов. Такой конь и крутой склон легко преодолеет, и по узкой горной тропе, не отступаясь, пройдет.

А как не сказать доброго слова о пастушьих собаках?! Если бы на них составляли характеристики, то буквально про каждого пса пришлось бы написать «верный, надежный, стойкий, бесстрашный». Есть в их работе — они именно работают, а не служат — солидность и основательность мастера, хорошо знающего свое дело. Они не будут по-пустому лаять, бегать взапуски, и уж никак нельзя их представить гоняющимися за бабочками или выпрашивающими подачку. Не спеша, экономя силы, такой пес obeжит стадо, а затем заберется на камень или кочку, с которой он все и всех видит, и будет внимательно следить за порядком. И стоит какой-нибудь овце лишь отбрести в сторону, как пес уже рядом. Он даже рычать на нее не станет. Своевольница и так поймет: надо вернуться, порядок нарушать не позволено. В мире установлено много памятников собакам — проводникам, спасателям, собакам-полицейским. Такой чести заслуживает и пес, помогающий пасти стадо. Он-то, понятно, об этом не попросит, но людям пора оценить его труд.

Впрочем, и статуями пастухов парки и площади мало где украшали. Возможно, в силу того, что работа их мало кому была видна, словно она протекала в параллельном мире. Да и сейчас вблизи их можно увидеть, лишь когда отара пересекает дорогу. К тому же труд пастухов редко становился объектом почитания и воспевания. Правда, поэты и художники от пастухов не отворачивались, но их буколические козопасы не имели ничего общего с реальными людьми, пасущими стада в горах и на равнинах. Так что эта тема еще ждет своего Гомера или Фидия. И, наверное, рано или поздно появятся посвященные пастухам и хорошие фильмы, и увлекательные книги, и замечательные

скульптуры. Ведь труд их очень нужен и важен, и каких бы высот ни достигли наука и техника, пастухи все равно по весне погонят отары в горы.

Три тысячелетия назад Шеки был одним из самых известных городов легендарной Кавказской Албании¹ — государства, основанного в III веке до н.э. и просуществовавшего до XIII столетия. Город входил в систему Великого шелкового пути, и когда-то на шекинских площадях шумели огромные базары, а купцы на десятках языков зазывали в палатки покупателей, соблазняя их чудесными ароматами специй, радугой роскошных тканей, блеском драгоценностей и остротой мечей.

Знаменит Шеки и тем, что еще в I веке сюда было принесено учение Христа. По преданию, храм, сохранившийся в лежащем рядом с городом селении Киш, был заложен побывавшим здесь пророком Елисеем. В IV веке христианство было объявлено албанскими царями государственной религией. Были открыты бесплатные школы, труды европейских богословов переводились на албанский, многочисленные монастыри служили пристанищем для торговых караванов. Всего же, как утверждают археологи, в Шеки и вокруг него насчитывается не менее двадцати пяти албанских церквей, датированных IV—VIII веками. При этом здания храмов часто стоят рядом с исламскими памятниками более поздних эпох. Ни один из мусульманских правителей Шеки не позволил разрушить их.

И обязательно надо сказать о Дворце шекинских ханов. Побывавший в Шеки турецкий поэт Назым Хикмет записал: «Если не было бы других древних сооружений Азербайджана, то было бы достаточным показать всему миру только Дворец шекинских ханов».

Дворец выполнял роль летнего павильона. Свет, проникающий внутрь дворца через большие витражи-шебеке, отливает всеми цветами радуги. Это создает особое радостное ощущение. И оно еще больше усиливается видом фантастических росписей, которыми покрыт каждый сантиметр стен, многочисленных ниш, сталактитовых переходов к плафонам и самих плафонов.

В 2019 году дворец и средневековая застройка центральной части Шеки были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И совершенно заслуженно. Я в этом небольшом городе с длинной историей был трижды и каждый раз приезжал сюда с особым удовольствием. Вообще-то таких городов в Азербайджане много. Чистенькие, нарядные, уютные, они сразу располагают к себе. Здесь нет обезлички мегаполисов, где человек не житель, а всего лишь часть населения. Причем очень маленькая.

Дома под красными черепичными крышами. Во дворах пышные сады. Асфальт усыпан не удержавшимися на ветках абрикосами. Окраинные улицы в полуденный час пусты, чего не скажешь о центре. Здесь жизнь кипит. Разноязыкие группы туристов перетекают из лавки в лавку. На набережной реки Гурджаначай выстроилась вереница сверкающих стеклом автобусов.

И, понятно, многолюдно на рынке, который вполне можно внести в список туристических объектов, поскольку в Шеки это еще и аттракцион. Шекинцы — люди веселые, ценящие шутки и острое слово. Каждая покупка — это целое представление, в котором с удовольствием участвуют и продавец, и покупатель. Конечно, все тонкости шекинского юмора без знания языка оценить довольно сложно, но смысл разыгрываемых сценок обычно понятен без слов.

Шеки памятен мне еще и тем, что здесь я первый раз побывал на азербайджанской свадьбе. Мероприятие это настолько масштабное и впечатляющее, что я еще долго приставал к знакомым с вопросами: «А зачем это нужно?» И, естественно: «И это все родственники?!» Последний вопрос был вызван количеством гостей. Их было более

¹ Не путать с названием страны на Балканах, оно также встречается в топонимике Италии и Шотландии.

трех сотен, не считая детей, которые хаотично перемещались по залу, где проходила свадьба, и поэтому учету не поддавались.

Меня пригласил троюродный дядя жениха, что автоматически повышало мой статус до «ближайшей родни» и давало массу привилегий, в том числе право присутствовать на всех этапах церемонии. А она очень сложная, и подготовка к ней занимает много месяцев.

К свадьбе в Азербайджане отношение самое серьезное, за строгостью соблюдения ритуала, как правило, следят весьма пристально, искренне надеясь, что это убережет новую семейную пару от ошибок и разочарований.

Конечно, опасности, подстерегающие вступивших в брак юношу и девушку, сегодня иные, и некоторые традиции в свете этого кажутся архаичными, но поскольку продиктованы они любовью и заботой, стремлением укрепить связи молодой семьи со старшим поколением и родом, воспринимают свадебные обычаи с почтением и редко вычеркивают их из программы. К тому же большинство из них красочные, веселые, превращающие свадьбу в событие, о котором долго еще вспоминают и говорят.

Порядок подготовки свадьбы состоит из множества этапов, но точкой отсчета, как и везде в мире, является взаимное чувство. А вот дальше начинается высокая дипломатия. Причем первую скрипку играют женщины, обычно старшие родственницы жениха. Именно они наносят неофициальный визит в дом невесты. Раньше этому дипломатическому зондажу придавалось огромное значение. В ходе его выяснялись такие важные вопросы, как благосостояние девушки, социальный статус семьи, влияние рода и, естественно, отношение родителей к кандидатуре жениха. Кстати, отказ, полученный на этом этапе, не причинял особого ущерба достоинству соискателя, к тому же избавлял от многих довольно обременительных расходов.

Но если семья невесты не против, наступает время официального сватовства. Первой с родителями невесты знакомится сопровождаемая близкой родственницей мать жениха. Без их «экспертного заключения» к следующему этапу, когда к переговорам подключается и отец, не переходили (вот вам и бесправное положение женщин в мусульманской семье!). У жениха устраивается большой семейный совет, который решает, какой быть свадьбе и что понадобится молодым. Одновременно его сестры, родные или двоюродные, должны выяснить пожелания невесты. И наконец, после бесчисленных закулисных консультаций в дом к родителям девушки отправляется официальное «посольство».

«Протокол» проведения сватовства запрещал начинать его с вопроса: «Готовы ли вы отдать свою дочь за нашего сына?» Сначала следовало, словно на встрече глав правительств, обсудить погоду и политический момент. И лишь потом, как бы между прочим, поинтересоваться согласием. Хороший тон требовал сделать вид, что предложение неожиданное и его «необходимо обдумать». При следующей встрече (расширенной по составу и сопровождаемой обильным угощением) тот же вопрос задавался вторично. И только тогда оглашался официальный ответ.

Теперь можно было переходить к обручению. Близкий родственник жениха отвозит суженой кольцо. Она встречает посланника окруженная подругами, которые также его примеряют. Это считается хорошей приметой. А потом в доме невесты устраивают большое обручение. И тут уже гостей не считают: обычай требовал пригласить и самых дальних родственников, и всех соседей. Но являться надо было обязательно с подарками, которые должны были составить основу благосостояния будущей семьи.

Церемонию обручения положено начинать с деловой части: обговаривается размер выкупа за невесту (он обычно включается в приданое, так что эти деньги из молодой семьи не уходят) и подписывается договор, который обеспечивает женщину средствами, если муж решит с ней развестись. Европа и Америка додумались до брачных контрактов куда позже.

Подготовка непосредственно к свадьбе могла занять и месяц, и год. И все это время жених должен был поддерживать чувства невесты бесконечными подарками.

Впрочем, накануне долгожданного события их перевозили в дом жениха. А невесту тем временем готовили к церемонии. Одевали, украшали, хной наносили на ладони узоры. Проводившие эти обряды родственницы и подружки при этом пели, танцевали и поедали тонны сладостей. В общем, веселились от души.

И самое интересное. В старину свадьба проводилась отдельно. Жених гулял с мужчинами, а невеста отмечала ее с женщинами. В XX веке два этих дорогостоящих мероприятия стали объединять. За невестой приезжает делегация от жениха, конечно, опять с подарками. Родители обвязывают вокруг талии или руки невесты красную ленту, обводят ее трижды вокруг светильника, чтобы оберечь от злых духов, и вручают свое дитя доверенным лицам. Музыка звучит, не умолкая ни на минуту. Танцуют в доме, во дворе, на улице (в основном женщины, мужчины предпочитают курить и беседовать). А дальше — торжественный обед, переходящий в ужин, и веселье до утра.

Впоследствии мне пришлось побывать еще на двух свадьбах. На этот раз в Баку. Размах был такой, что свадьба, описанная Марио Пьюзо в «Крестном отце», может показаться скромным семейным торжеством. Считать гостей я даже не пытался — их было от пятисот до тысячи. И если в одном случае сочетались браком дети миллионеров, то во втором жених и невеста были скромными менеджерами. Откуда же деньги на кортеж из джипов, на фотографов и операторов, визажистов и стилистов, банкет, на котором было столько перемен блюд, что не было сил даже попробовать их? По секрету мне сказали, что жених взял ссуду в банке, чтобы не ударить лицом в грязь перед родственниками. И, мол, это самое обычное дело. Конечно, против традиции не попрешь. Но вот ведь какая штука: через полгода менеджерская пара развелась...

Расположенный в ста километрах от Баку, Хызынский район отмечен в туристических буклетах фотографиями охристо-красных скал, густых горных лесов и восторженными строками о чистейшем прохладном воздухе. В летние месяцы измученные жарой жители столицы при первой возможности переезжают в Хызы, увеличивая население района вдвое и втрое. Здесь я договорился встретиться со старым знакомым, занимающим ныне очень ответственный пост в Азербайджане. Имя его я, понятно, не называю, как и фамилии других людей, на мнение которых ссылаюсь. Наши беседы были сугубо частными.

Сидели мы в небольшой чайхане, любовались лежащей под ногами долиной, где стараниями местного предпринимателя устроен большой зоопарк. Видно было, как по просторным вольерам, не обращая никакого внимания на толпящихся у заграждений детей и взрослых, бродили олени, джейраны, антилопы и прочая рогатая живность.

— И как жизнь? — осторожно начал я после обмена дежурными вопросами о здоровье и друзьях.

— Если брать в среднем, то неплохо, — так же осторожно ответил мой собеседник.

— То есть из кризиса вы вышли?

— Когда цены на нефть обвалились вдвое, больше было испуга, чем реальных проблем. Конечно, пришлось на пару дырок затянуть ремень, но и экономическая, и финансовая системы выдержали. А потом начали работать «закладки» — проекты, которые мы запустили в благополучные времена. Ведь наш Нефтяной фонд придерживается несколько иной политики, чем ваше министерство финансов. Он вкладывается в основном в экономику Азербайджана, а не в зарубежные ценные бумаги.

— Про туризм я знаю. Он действительно с каждым годом приносит все больший доход. А прочие «закладки»?

— Ничего нового вам не сообщу: транспорт, логистика, сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственных продуктов, — перечисляет мой знакомый.

Нельзя с ним не согласиться. В последние десять лет в этих областях и вправду наметился серьезный прорыв. Эмблема грузовой авиакомпании Silk Way Airlines известна теперь по всему миру, а ее флот что ни год наращивается новыми самолетами.

Видел я и гигантский морской порт Алят, возведенный в рекордные сроки в шестидесяти километрах от Баку. Работает с четкостью швейцарских часов. Слышал и о новой железной дороге Баку—Тбилиси—Карс. Пока российские политики убеждают друг друга в финансовой перспективности проекта «Великий шелковый путь», у азербайджанцев он уже работает. А что говорить о сельском хозяйстве! Площадь садов и виноградников ежегодно увеличивается, распаиваются заброшенные тридцать лет назад земли, растет поголовье скота. Цены на продукты лучше не сравнивать с российскими: можно получить нервное расстройство.

— Значит, все хорошо, — констатирую я.

— До «хорошо», как мы считаем, еще далеко, — усмехается собеседник. — И ошибок было сделано много, и некоторые негативные факторы оказались недооцененными. Наверное, хорошо будет тогда, когда каждый житель нашей страны, тщательно взвесив все «за» и «против», решит для себя и детей, что в Азербайджане им будет лучше всего.

— И надежда на это есть?

— Я уверен в этом.

В уникальной по красоте и многозвучию симфонии природы Азербайджана у гор — ведущая партия. Она начинается пологими холмами и лесистыми склонами, чтобы затем взмыть в запредельную высь вершин Большого Кавказа. В нее вплетены тысячи мелодий, веселых и звонких, как альпийские луга Лерика, стремительных и бурлящих, как водопады Илису, суровых и мрачных, как Шахдаг и Базардюзю. Однажды услышанная музыка гор остается в памяти на всю жизнь, чтобы звучать вновь и вновь, зовя вернуться к ним.

Путь в горное село Хыналыг, что лежит на севере Азербайджана, не столь уж длинен — немногим больше пятидесяти километров от районного центра Губы. Вот только добираться до заветной точки, лежащей на высоте 2400 метров над уровнем моря, придется не привычно по горизонтали, а в основном по вертикали, преодолевая бесконечные петли серпантина. Но то, что можно увидеть здесь за час поездки на автомобиле, стоит впечатлений от иного путешествия в сотни километров.

Сначала надо проехать через пронизанный зеленым светом лиственный лес, кроны деревьев которого так густы, что и в самый сильный дождь под ними можно спокойно гулять, не боясь промокнуть. Затем после бесчисленных поворотов дорога вынырнет на простор альпийских лугов, по которым медленно передвигаются от пастбища к пастбищу отары овец. А потом начнутся горы. Древние, в глубоких морщинах, проделанных бесчисленными ручьями, текущими с ледников, с белоснежными вершинами, уходящими в небо, и парящими над ними орлами.

Но надо подняться еще выше, хотя, как это сделать, совершенно не понятно. Дорога вливается в узкое ущелье, по дну которого спешит вниз, на равнину, река. Следуя за ее сумасшедшими изгибами, нитка шоссе то повисает над страшными обрывами, то жмется к крутым скалам, пронзая одно за другим отдыхающие в каньоне перед долгим путем к прикаспийским степям облака.

С каждым поворотом все выше и выше. И наконец открывается огромная чаша высокогорной долины, над которой высится Шахдаг, подавляя своим гигантским ростом все окрестные вершины. Отсюда до Хыналыга рукой подать.

Вы еще не у цели, но вы уже достигли цели, потому что открывшийся перед вами мир вечен и прекрасен. Его красота столь пронзительна и необорима, что все переворачивает в душе, заставляя переоценить то, чем ты жил и к чему стремился. Такую волшебную силу не измерить и не передать. Ее надо почувствовать. И это обязательно произойдет.

Жителей Хыналыга можно смело назвать «небо-жителями». Их деревня расположилась на вершине горы. Это самое высокогорное селение Европы. Но сами хыналыгцы — люди скромные, на вопрос: «Как вы оказались здесь?» пожимают плечами: «Очень надежное место». И ведь правы хыналыгцы: в этой необычной

деревне с домами, напоминающими ласточкины гнезда, можно спокойно пересидеть и природный, и социальный катаклизм.

Хыналыгцы — потомки одного из 26 племен, входивших в союз, основавший в I тысячелетии до н.э. Кавказскую Албанию. В пользу этого говорят и предметы, найденные археологами, и надписи на албанском, которые сохранились на некоторых камнях близ села, и развалины древней крепости.

Теперь в деревню ведет отличная дорога, в каждом доме газ, электричество, Интернет, повсюду тарелки телевизионных антенн. Что касается воды, то проблема с ней была решена давно. Водопровод в Хыналыге, возможно, старше римского. Остались прежними и родовые жилища: неказистые, но основательные, с толстыми стенами, защищающими и от пронизывающего ветра, и от зимних тридцатиградусных морозов. А вокруг только камень, ни деревца, ни кустика — некомфортно растительности на такой высоте. Лишь по весне побалует природа зеленью лугов да крохотных огородов, разбитых на плоских крышах домов живущих ниже соседей.

Народ промышляет в основном скотоводством и сбором лечебных трав. Местный чиновник уверяет, что этого вполне хватает на жизнь. Понятно, очень скромную. Ничего новее «жигулей» я на улицах села не видел. Из-за этого молодежь перебирается вниз, в долины. Там сытнее. Однако заколоченных, оставленных хозяевами домов в Хыналыге нет. Я вообще за годы поездок в Азербайджан не видел ни одной заброшенной деревни. Есть побогаче, есть победнее, но всюду видны признаки жизни. Полагаю, дело тут не только в правильной политике правительства или в особой привязанности азербайджанцев к родному очагу. Есть еще ответственность и порядочность. Мой друг рассказал о двадцатилетней девушке, с которой он познакомился в маленьком селе под Исмаиллы.

— Почему не уезжаешь? — поинтересовался он и получил ответ:

— Я — сирота. Из родственников только пожилая тетка осталась. Пока она жива, я буду с ней.

Эта девушка — не исключение. Пожилых людей на произвол судьбы не бросают. Из семьи — а они здесь все многодетные — кто-то обязательно остается с родителями. Это нерушимый порядок. Во многом благодаря ему и деревни не умирают.

А что касается Хыналыга, то есть надежда, что ситуация тут скоро улучшится. Новая дорога даст толчок туристическому бизнесу. Вид-то отсюда какой открывается! Выше только заснеженная вершина Шахдага, до которой, имея человек крылья, лета всего несколько минут. Впрочем, все крылатые — в основном горные орлы — парят внизу, под ногами. На хыналыгцев этим гордым птицам приходится смотреть, порядком вывернув шею, снизу вверх.

Сидим в летнем ресторане в Илису и едим вкуснейшую бугламу — мясо, тушенное в овощах. Вечер еще не поздний, но это юг, и темнеет рано. Склон соседней горы почти неразличим. Между тем биологи из Илисуйского заповедника говорили, что из ресторана можно увидеть, как на водопой спускаются безоаровые козлы — прирожденные альпинисты. Впрочем, тут, в горном районе, и коровы умудряются взбираться на такие кручи, что от одного взгляда на них страшно становится.

Компания подобралась примерно одного возраста: и профессору химии, и переводчику поэзии, и художнику, и генералу — всем за шестьдесят. Все родом из этих мест, и поэтому вначале разговор идет о том, что мне еще надо непременно увидеть. Но постепенно, как это бывает у пожилых людей, неизбежно сползаем к критике и начинаем перечислять, в чем сегодняшняя молодежь уступает нам. Посетовав на то, что она одинаково равнодушна и к Пушкину, и к Насими, единодушно приходим к выводу, что мы жили интереснее. Генерал, подумав, говорит:

— Жить стали лучше, чем при Советском Союзе, а стали притом беднее.

Что он имеет в виду, всем понятно. Профессор соглашается:

— Возможности были иные. Таких фундаментальных исследований мы сегодня

не ведем. У вас их, кстати, тоже стало намного меньше, — поворачивается он ко мне. Я только развожу руками.

Художник согласно кивает.

— Больше встречались, говорили, идеями обменивались, выставки совместные устраивали. Не знаю, как у вас в науке, а мне этого сильно не хватает. Не должен ученый, художник только в своем казане вариться.

— Но и не очень хорошо, если все подгонять под рецептуру, которую в Москве составляли. У нас народ к бозбашу привык, а нас заставляли исключительно русские щи варить, — возражает переводчик и тут же делает оговорку: — Не буду спорить, сейчас много книг на азербайджанском издается, но хочется, чтобы тебя прочитали и на Украине, и в России.

— Как у вас, у русских, говорят: «Другое время, другие песни», — грустно усмехается генерал. — Могли бы мы оставаться с Россией в одной стране? С новой Россией, подчеркиваю, появившейся после 1991 года, Скорее всего, нет. А одно тянет за собой другое. Если независимость, то непременно должна быть граница и, конечно, приоритет национального.

— Так и есть! Это реальность, и игнорировать ее глупо. — Профессор разливает коньяк. — И все-таки давайте выпьем за то, чтобы дети сохранили нашу дружбу. Границы могут разделять государства, но не должны разделять народы! Мы столько веков дружили, такое вместе перенесли! Нельзя о дружбе забывать!

Едем в город Шамкир, рядом с которым археологи раскопали средневековую крепость. Останавливаемся на въезде в какое-то село, чтобы размять ноги. По обочине дороги идет стайка школьников. Мальчики и девочки лет восьми-десяти. Должно быть, закончились занятия в начальных классах.

На наше «Привет, ребята!» они дружно отвечают по-русски: «Здавствуйте!»

Полтора десятилетия назад, приехав в Баку, я с огорчением констатировал, что русская речь практически исчезла с улиц. Но прошло время, и русский вернулся. Его охотно изучают в школах и в высших учебных заведениях. И не только в столице, как я неоднократно убеждался.

Вышагивала ребятня серьезно и чинно. До неимоверной чистоты отмытые и подчеркнуто аккуратно одетые, они были очень трогательны в своем желании выглядеть перед незнакомыми людьми по-взрослому. А им и стараться особо не надо было, чувством ответственности они наделены в избытке с молодых ногтей.

Дети в Азербайджане — особая привилегированная группа. Чем больше их в семье, тем более счастливыми чувствуют себя родители. Но сразу же надо оговориться: за подобным чадолюбием не кроются экономические причины, как, скажем, в Индии или Пакистане, где каждый новый ребенок означает дополнительные рабочие руки, а значит, и рост благополучия хозяйства. Детей любят совершенно бескорыстно, им позволяют любые шалости, правда, до определенного возраста.

С семи-восьми лет их начинают приучать к труду и дисциплине. Они обязательно помогают по дому вне зависимости от социального статуса и доходов родителей. В селе ухаживают за домашним скотом, работают вместе со взрослыми в поле. У них есть постоянные обязанности, к которым они относятся очень ответственно. Вернулся из школы, прежде чем сесть за учебники, помоги матери с домашними делами, последи за младшими.

В городе у детей свободы, конечно, больше. Но и они не будут ждать команды взрослых: «Помоги матери!» Сами соберут на стол, вымоют посуду и никогда не позволят себе мешиваться в разговор старших. Более того, если пришли гости, их, скорее всего, даже не посадят за стол. Зато малыши будут ходить на головах. И все будут в восторге.

Ничего необычного в этом, казалось бы, нет. Вот только лично я не знаю ни одной десятилетней московской девочки, способной приготовить еду хотя бы себе или зашить разорванные джинсы. Да и наши московские мальчишки лучше ориентируются

в компьютерных играх, чем в садовом инвентаре. Мне обязательно возразят: «Другое время!» Но какое бы оно ни было, без привычки к труду, без готовности прийти на помощь, без чувства ответственности молодежи будет тяжело.

Это поистине фантастическая картина, когда на рассвете в еще только начинающее голубеть небо поднимается стая розовых фламинго. Кажется, что порыв ветра подхватил лепестки цветущего персикового дерева и понес их над неподвижной гладью залива. А затем выбираются из камышей и другие постояльцы этой гостиницы для пернатых: серые гуси, надменные белоснежные лебеди, тяжеловесные пеликаны, длинноногие цапли, хлопотливые утки, скромные темно-серые лысухи, гордые султанки с оперением, отливающим кобальтом, и множество других птиц — ярких, разноцветных, больших, малых и совсем крохотных. В общем, все пестрое население и многочисленные гости Кызыл-Агачского заповедника, расположившегося на берегу Каспийского моря в Ленкоранском районе.

Рядом с заповедником в акватории Малого залива устроен заказник, который разрешено посещать туристам. Хотя размеры его велики — 10 700 гектаров, — птичье столпотворение и шум тут такие, словно накануне открытия кинофестиваля в холле центрального отеля. Кстати, это сравнение вполне уместно, поскольку пернатые «звезды» в заповеднике совсем не редкость. Наблюдательный натуралист здесь может увидеть в естественной природной среде и серебристую чайку, и мраморного чирка, и краснозобую казарку, и черного аиста. А если выбраться в лежащие в юго-западной части заповедника степи, то там можно встретить разгуливающих между кустиками травы турачей, дроф и стрепетов. Ну, а в небе барражируют хищники: орланы-белохвосты, беркуты и могильники.

Но как бы ни был интересен Кызыл-Агач, есть и другие уникальные места. Сложно найти страну со столь разноликой природой, как Азербайджан. Даже беглый взгляд на карту откроет, насколько разнится ландшафт от западного побережья Каспия до восточной части Южного Кавказа, от Закавказского нагорья на юге до горных массивов Большого Кавказа на севере. В Азербайджане роскошная растительность субтропиков соседствует со снегами, лежащими на горных вершинах, тенистые леса и искрящиеся на солнце водопады — со знойными степями.

Из 800 грязевых вулканов нашей планеты почти половина расположена в Азербайджане. 100 из них находятся на Апшеронском полуострове, в Гобустане. Здесь, на сравнительно небольшом участке, обосновалась целая колония шумно дышащих, периодически истекающих разноцветной грязью — брекчий — кратеров. К слову сказать, далеко не все из них безобидны. В редкие дни, когда вулкан пробуждается к жизни, можно наблюдать, как в воздух взмывает гудящий от ярости столб пламени высотой до 500 метров. И даже более того, подводные вулканы, существующие в акватории Апшерона, способны за несколько часов «плодотворной работы» возвести целый остров.

Из общего числа распространенных на Кавказе растений абсолютное большинство можно найти в Азербайджане. Это около 4500 видов, из которых примерно 240 являются эндемиками. Здесь обитают 12 тысяч видов животных, в том числе косули, благородные олени, безоаровые козлы, муфлоны и леопарды. Страна — настоящий рай для биолога, а воды Каспия, рек и озер славятся обилием рыб ценных пород.

В Азербайджане десять заповедников и девять национальных парков, каждый из которых со своим «лицом» и своими «примами». В Апшеронском парке можно наблюдать жизнь каспийских тюленей. В Гирканском увидеть реликтовые леса, сохранившиеся со времен третичного периода кайнозойской эры. А жемчужина Гейгельского парка — озеро Гейгель. Этот бриллиант удивительной чистоты заключен в оправу из покрытых густым лесом высоких скал. Надежной стеной стоят они вокруг озера, чтобы никакая непогода не потревожила безмятежной глади вод. Даже живущие здесь птицы стараются перекликаться вполголоса, будто боясь нарушить покой этих

зачарованных мест. А выше Гейгеля прячутся в неприступных скалах еще несколько соединенных протоками озер.

В Ширванском национальном парке на первых ролях, конечно, джейраны. Этих небольших и очень грациозных животных здесь более двадцати тысяч. Увидеть их можно, отъехав всего пару километров от магистрального шоссе, по которому днем и ночью несутся потоки машин. Людей джейраны совершенно не боятся. Давно уже привыкли к тому, что человек не представляет для них опасности. А в шестидесятые годы прошлого века из-за хищнической деятельности людей поголовье джейранов в Азербайджане сократилось до критической численности в сотню голов. Этот вид животных был на грани полного исчезновения, но благодаря упорной работе ученых и сотрудников парка их теперь расселяют и по другим заповедникам. Иначе как подвигом это не назовешь.

Впрочем, чтобы полюбоваться дикой природой и ее обитателями, в Азербайджане не обязательно забираться в национальный парк. Красивых мест здесь хватает, а диких животных и птиц берегут как зеницу ока. Они такое же национальное достояние, как архитектурные памятники и исторические артефакты. А эти сокровища только растут в цене.

Гянджа. Второй после Баку город по численности населения. Гянджинцы уверяют, что ему четыре тысячи лет. Историки считают, что пока документально можно подтвердить только две с половиной. Но и те, и другие согласны с тем, что это самый «непоседливый» город в Азербайджане. За время своего существования он пять раз сменил прописку. Понятно, не по доброй воле. То война, то землетрясение, то набег врагов. И снова собирай те немногие пожитки, что не сгорели, и перебирайся на новое место, строй дом, разбивай сад, мости улицу. И ведь опять возводили такой город, что восхищенные путешественники называли Гянджу «цветником империи».

Она и сейчас очень красива, и я не раз порадовался, что в Новруз оказался именно в Гяндже. Праздников в Азербайджане не меньше, чем в любой другой стране. Государственные, региональные, отмечаемые только в данной местности, религиозные, семейные. Есть среди них особенно красивые — Цветов, Граната, Роз. Есть торжественные — с военным парадом и вечерним салютом. Но самый любимый — Новруз. День прихода весны. Он же и самый древний, возникший еще в дописьменную эпоху человеческой цивилизации. Его традиции и ритуалы древнее египетских пирамид, и он сам по себе не менее интересен, чем сохранившиеся до нашего времени мегалитические сооружения и античные храмы. Потому что Новруз — это само время. А еще потому, что Новруз продолжает жить.

Конечно, европейцу понять те чувства, с которыми в Азербайджане ждут Новруз, сложно. Как, впрочем, и человеку, выросшему в традициях восточной культуры, будет непонятно то лихорадочное возбуждение, которое овладевает сотнями миллионов христиан перед наступлением Рождества. Все-таки «Запад есть Запад, Восток есть Восток», и помимо бросающихся в глаза отличий, которые на самом деле не столь уж и важны, немало существует в каждой из этих цивилизаций вещей таинственных и сакральных, для познания коих нужно не только желание, но и время. Однако даже без них ничто не мешает получить удовольствие хотя бы от внешней атрибутики праздника.

Чтобы оценить все составляющие Новруза — а их так много, что даже специалисты-этнографы путаются, — надо приехать в Азербайджан: в Баку, Шамаху, Габалу, Гянджу. В каждом городе свои обычаи, свой неповторимый окрас этого праздника. В любом случае впечатлений будет не меньше, чем от знаменитого бразильского карнавала. С той только разницей, что по сути Новруз отмечают более месяца, переходя от одного красочного действия к другому, сопровождая каждый этап играми, песнями, наговорами, сложными обрядами и не в последнюю очередь обильным угощением.

Венец всем приготовлениям 21 марта — День весеннего равноденствия. Готовясь к нему, каждая из хозяек стремится превзойти подружек. А при разнообразии

азербайджанской кухни для их кулинарных фантазий простор открывается поистине бесконечный. Правда, есть одно условие: на столе должны обязательно присутствовать семь традиционных блюд, начинающихся на букву «s». Выстави их, а уж дальше демонстрируй свое мастерство, удивляй близких. Непременно также готовится плов. Однако главное — не изобильное застолье, а то, что его радости необходимо разделить с родственниками и друзьями. Поэтому в обычае в этот день и приглашать гостей, и самим в гости ходить. А уж коли знакомым забежать недосуг, то им посылают хончу — медный поднос, густо заставленный различными лакомствами.

Отсидев положенное время за праздничным обедом, перепробовав кучу сладостей, среди которых обязательно будет несравненная азербайджанская пахлава, спешат на улицу, поскольку самое веселье именно там.

В Новруз весь центр Гянджи покрывается эстрадами и нарядными шатрами. Певцы, актеры, музыканты, многочисленные профессиональные оркестры и самодеятельные коллективы показывают свое мастерство. Не меньше аплодисментов от публики получают и соревнующиеся в силе богатыри-пехлеваны. Кстати, состязания последних совсем не шуточные. И гири, которыми с легкостью жонглируют спортсмены, настоящие, и единоборство ведется не понарошку.

Самые большие толпы собирает дуэт насмешников-обманщиков — Кесы и Кечала. Эти герои азербайджанского фольклора так забавно высмеивают горожан и гостей праздника, что от смеха не могут удержаться даже не слишком хорошо понимающие все тонкости их юмора иностранцы.

При этом давно подмечено, что у людей с хорошим настроением аппетит бывает отменным. И как тут не откликнуться на манящие запахи, которые струятся из каждого ресторана, от каждого мангала. Если надо всего лишь заморить червячка, то можно тут же, на улице, съесть изумительный по вкусу шашлык или люля-кебаб, а уж коли есть желание порадовать себя всерьез, то смело заходите в ближайшее кафе. В Гяндже они различаются только дизайном интерьеров, а кормят везде одинаково хорошо, разнообразно и с выдумкой. Гянджинец на эту похвалу лишь снисходительно усмехнется. Дескать, уж готовить наших поваров учить не надо. В еде мы толк знаем.

Но, понятно, не хлебом единым жив человек. И за качество духовной пищи Гяндже краснеть не придется. В 2017 году была торжественно открыта новая филармония. Без всяких скидок на местный патриотизм надо признать: таким зданием может похвастаться не каждая европейская столица. Есть здесь театры, картинные галереи, музеи и огромный парк — третий по размерам в мире — с огромным количеством аттракционов, детских и спортивных площадок, летним театром и искусственным озером. И уже заложен большой стадион.

В общем, Гянджа может проводить любые мероприятия, даже международного масштаба. Город принимал и фестивали, и чемпионаты, и деловые конференции. И каждый раз делалось это с размахом и неизменным гянджинским гостеприимством.

Как-то пришлось слышать, что гянджинцам свойственна надменность. Мол, город всегда был столь богат, что его жители смотрели на остальных свысока. Думается, это поклеп или недопонимание. Да, гянджинцы — гордый народ, но и очень приветливый. В ответ на ваше: «Здравствуйте!» все лица расцветают улыбками. «Салам, добрый человек! Входи в дом! Будь гостем! Мы тебе рады!»

Давно уже заметил: биографии что российских, что азербайджанских олигархов написаны мало того что без выдумки, но еще и под копирку. История их восхождения, по официальной версии, выглядит примерно так. До какого-то момента они были никем, но однажды «по шучьему велению, по чьему-то хотению» наутро проснулись чудовищно богатыми людьми. Чудеса, да и только! Но поскольку я сказки давно уже разлюбил, мне куда интереснее генезис успеха публики попроще.

Есть неподалеку от города Гах хозяйство, владелец которого — один из самых бескорыстных правителей мира. У него 40 миллиардов подданных, трудолюбие которых давно вошло в пословицу, как, впрочем, и отвага. Он один из самых известных

пасечников Азербайджана, председатель правления Ассоциации пчеловодов этой страны. Зовут его Бедреддин Гасратов, и его биография достойна включения в справочник «Self-made men», буде такой когда-нибудь создан.

Он среднего роста, сухопарый, подвижный и улыбчивый. На вид ему лет 45-50, хотя на самом деле уже разменял седьмой десяток, воевал в Афганистане и был там тяжело ранен. Он об этом умолчал, рассказал его друг, а сам Бедреддин говорил большей частью о пчелах. История его романа с ними удивительна.

И дед, и отец были чабанами. Другой дороги для сына не видели, поэтому вполне логично после окончания школы оказался он с отарой на пастбище. Дальше я передаю рассказ Бедреддина без купюр и редактуры. Как он сохранился на диктофоне.

— Овцы пасутся, я сижу под деревом, читаю. Книги с детства очень люблю. У меня и сейчас большая библиотека. Вокруг дикие пчелы летают. Я заинтересовался, стал за ними наблюдать. И так мне любопытно стало, что едва вечера дождался. Побежал в село, нашел в библиотеке книгу о пчелах. С этого все и началось. Перечитал все, что удалось достать. И чем больше узнаю о них, тем сильнее мне хочется на пасеке работать. А их в районе у нас не было. И родители против. Что делать?! В один из дней собрал чемодан и тайком уехал в Москву. Почему так далеко? Боялся, что в Баку найдут и домой вернут.

Приехал в Москву. Ни знакомых, ни денег. Три месяца жил на вокзале, чтобы с голода не умереть, ходил вагоны разгружать. Потом мне один человек сказал: «Иди в министерство, которое пчеловодством занимается. Может, помогут».

Нашел это министерство. Прихожу к ним. «Я, — говорю, — из Азербайджана. Очень хочу стать пчеловодом». Они удивились, как далеко я забрался. Но хорошие люди оказались, направили в подмосковный совхоз. Его директором чеченец был. Он мне говорит: «Я с Кавказа, и ты с Кавказа. Землякам помогать надо. Возьму тебя пасечником».

Как я был счастлив! Всю неделю на пасеке, а по субботам ездил в Академию сельского хозяйства слушать лекции о пчеловодстве. Их настоящие ученые читали. Познакомился с ними. Они мне подсказали, что еще прочитать. Через два года я уже был заместителем директора, заведовал всеми пасеками.

На этом месте Бедреддин, возможно, намеренно прервал рассказ и, извинившись, ушел в дом. Возвратился через минуту с подносом, уставленным различными видами меда. Понятно, собственного производства. Антракт, который ушел на «ахи», «охи» и чмокание губами (это когда уже не хватало слов, чтобы выразить восторг), занял не меньше часа, поэтому на лакуну в повествовании хозяина никто не обратил внимания. А продолжил он с деваностых годов. Не хотелось ему, видно, вспоминать ни Афганистан, ни ранение, ни долгое выздоровление, которому опять же поспособствовал пчелиный прополис.

— Вернулся домой, когда узнал, что мама заболела. Что в Азербайджане творилось тогда, вы знаете. Как жить? Никто не знает. Но мысли о пчелах меня не оставляют. Думаю, прикидываю, считаю. Помню одну ночь. Пишу на кухне бизнес-план. При керосиновой лампе. Электричества в доме нет. Вышла жена, заглянула в бумаги. У меня там миллионы, а дома куска хлеба нет.

Бедреддин засмеялся, а мне, честно говоря, плакать захотелось. У скольких хороших людей в те годы судьба была изломана. И ради чего... Или все-таки ради кого?

— Но как-то вывернулся. Купил несколько ульев. Потом присмотрел участок под пасеку. Фирму организовал. Теперь поставляем мед в Японию, Катар, ОАЭ, Англию. 1260 ульев, 6 тонн меда ежегодно, а еще прополис, цветочная пыльца и много еще чего. Пчелы дают 14 видов продукции. А самое главное что? Они же растения опыляют. Там, где пасеки, всегда хороший урожай.

У пасеки образцовый вид. Рядом с ней большой дом, где размещаются лаборатории и школа, которую создал Бедреддин. В ней на полном пансионе обучаются юноши и девушки — будущие пчеловоды. А с прошлого года он стал проводить семинары для всех желающих приобщиться к этой сладкой профессии. Много ездит по стране, читает

лекции, выступает в школах. В 2016 году добился организации Ассоциации пчеловодов, получил финансовую поддержку государства.

Правда, это на бумаге все так здорово выходит. А чтобы создать Ассоциацию, он два года ходил по кабинетам чиновников и ходил бы до сих пор, если бы не удалось пробиться к первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Та выслушала рассказ о его мытарствах и, ничего не обещая, лишь кивнула. Не успел он доехать до дома, как те, что раньше и говорить с ним не хотели, обрывали телефон. А летом 2019 года чуть ли не каждое СМИ сочло своим долгом доложить: производство меда выросло более чем в два раза, его готовы покупать многие страны. Кто-то Гасратова упомянул, большинство же предпочли процитировать разного ранга «ответственных лиц».

— Я свой бизнес-план пока до конца не выполнил. Но как закончу, передам хозяйство и заживу с несколькими ульями. Устал очень, — признается Бедреддин. — Все это такой кровью далось...

Вот такая история *Dolce vita* — «сладкой жизни» Бедреддина Гасратова.

Баку прекрасен. Это город-мечта, город-феерия, город-сказка. Одетые в гранит берега Бакинской бухты опоясывает зеленая лента Приморского бульвара. Его протяженность 15 километров, он один из самых больших бульваров в Европе. И, несомненно, самый красивый. Здесь яркие цветники сменяют экзотические деревья, а под тенистыми чинарами устроились кафе и рестораны, где можно и чаю выпить, и плотно пообедать. По каналам Бакинской Венеции медленно плавают надменные гондолы, а струи музыкальных фонтанов взмывают к небу, чтобы рассыпаться сверкающей на солнце водяной пылью.

Выше поднимаются кварталы делового центра. Он очень своеобразен. Здания начала прошлого века в неоготическом стиле и рядом знаменитый бакинский модерн и неоклассицизм. И тут же высотки отелей, торговых и бизнес-центров. В общем, эклектика, а смотрится здорово. Преобладающий цвет бело-кремовый, поскольку дома облицованы плитами апшеронского ракушечника. Когда наступает вечер и небо темнеет, город светится, будто огромный белый опал.

А дальше начинается Старый Баку. Точнее, начинался, потому что от него осталось лишь несколько кварталов. На их месте теперь разбит многоярусный Центральный парк. Сожалений по поводу сноса сотен домов, конечно, масса. Признаться, гулять по узким улочкам Старого Баку было приятно: экзотики на них было с избытком. Но вот жить в этих двухэтажках с прогнившими лестницами, висящими на честном слове балконами, в соседстве с крысами, тараканами и клопами было хлопотно.

В конце концов, те, кого заедает ностальгия, могут посетить находящийся за стенами Бакинской крепости Ичери-Шехер. Там — изобилие построек и XVIII, и XIX веков. И, конечно, высится знаменитая Девичья башня, с которой связано несколько легенд, непременно пересказываемых экскурсоводами и составителями туристических буклетов. В каждой присутствуют красавица, ее жестокий отец и молодой человек, добивающийся любви девушки. Естественно, кончается все трагически. К реальному назначению башни они, скорее всего, никакого отношения не имеют, и пересказывать я их не буду. А тем, кому любопытно узнать, как выглядит это загадочное строение, рекомендую купить коньяк «Баку». На его этикетке изображена Девичья башня во всех деталях. И башню можно рассмотреть, и хороший коньяк попробовать. Мне же она за годы поездок в Азербайджан порядком намозолила глаза, поскольку присутствует на всех видах сувенирной продукции, на плакатах и постерах. И, понятно, не мне одному. Увидеть около башни бакинца так же трудно, как и москвича на Красной площади.

В центре Ичери-Шехера находится дворец Ширваншахов. Вид у него волшебный. Он словно перенесен из «Тысячи и одной ночи». Некогда хранившиеся в нем сокровища были неисчислимы. К тому же это был один из самых блестящих дворцов Востока. Да и сейчас, спустя многие века и разорительные нашествия врагов, дворец

поражает воображение соразмерностью и изяществом строений. Ичери-Шехер и дворец Ширваншахов внесены ЮНЕСКО в список Всемирного наследия человечества.

В конце XIX века Баку считался самым красивым городом на Кавказе. Он стал столицей нефтяной провинции. Надо отдать должное азербайджанским нефтепромышленникам: они не только строили особняки для себя, но и изрядно вложились в Баку, украсив его великолепными зданиями. Достижения тех архитекторов оставались непревзойденными долгое время. Даже монументальные «сталинские» ансамбли, которые возвели в столице Азербайджана после войны, смотрятся неуклюжими рядом с дворцами периода нефтяного бума.

Но самые поразительные изменения в облике Баку произошли в последние два десятилетия. Строят очень много, и строят хорошо. Самое невероятное здание, сразу признанное всеми экспертами планеты мировым шедевром, — Центр Гейдара Алиева, творение великой Захи Хадид. Оригинален дворец Baku Crystal Hall, построенный к «Евровидению-2012». Он похож на огромный бриллиант. Не может не вызвать восхищения Олимпийский стадион на 64 тысячи зрителей, возведенный к Первым Европейским играм! Или Международный центр мугама! Офисные здания Порт-Баку! Новые кварталы Белого города! Музей ковра или бакинский бренд — три двухсотметровых небоскреба Flame Towers, сооруженные в виде трех языков пламени!

Баку внимательно отслеживает все тренды градостроительной моды, но при этом умудряется сохранять и лицо, и свой неповторимый стиль города парков и музеев, картинных галерей и выставочных залов, театров и бережно сохраняемых старинных зданий, по-восточному яркий и по-европейски рациональный, умеющий до седьмого пота работать и широко, от души отдыхать. И еще очень доброжелательный. Здесь не заблудишься, не пропадешь. Обязательно подскажут, помогут. А узнав, что ты из Москвы, непременно сообщат, что кто-то из родственников живет или работает в России. Дескать, мы — не чужие люди.

Гостеприимство немыслимо без хлебосольства, а в нем азербайджанцы великие мастера. Но даже если случилось так, что в гости вас не позвали и вы предоставлены сами себе, поверьте, не пропадете. Хорошо поесть тут не проблема. Невкусно готовить в Азербайджане не умеют. Здесь первые кулинарные книги появились почти восемьсот лет назад. Проблема — выбрать, что съесть, поскольку даже в самом маленьком кафе на окраине города, где и меню-то считают излишней роскошью, хозяин предложит вам такое количество блюд, что голова пойдет кругом, если, конечно, она не пошла кругом раньше от аппетитных запахов, доносящихся с кухни. Поэтому смело заходите в любой ресторан и не сомневайтесь — еда будет высшего сорта. Ну, нет тут другой!

На территории Азербайджана географы насчитали девять климатических зон из одиннадцати, существующих на нашей планете. Особенности флоры и фауны каждой зоны, безусловно, наложили свой отпечаток на рецепты и способы приготовления блюд. Как, впрочем, и некоторые другие факторы: традиции, предпочтения, образ жизни. Так что шашлык, который вам приготовят в горах Лерика, на юге страны, будет массой вкусных нюансов отличаться от шашлыка с севера, из Закатальского района.

Баку стоит на Апшеронском полуострове, где летом дожди выпадают крайне редко, а зима, как правило, бесснежная. Поэтому скота здесь от веку выпасали мало, садоводство и огородничество не процветали. Мясо, овощи, зелень стоили дорого, поскольку большей частью их везли издалека. И рачительные, по-восточному мудрые здешние хозяйки старались готовить как можно больше блюд из теста.

В этом и состоит специфика бакинской кухни. Безусловно, придя в ресторан, имеет смысл отведать и кебаб из разных видов мяса, и плов, рецептов которого азербайджанцы насчитывают не менее четырехсот, но при этом обязательно следует попробовать такие блюда как дюшбара, гюрза, хамраши, хингаль и, конечно, несравненные бакинские кутабы.

Дюшбара восхитит самого привередливого гурмана. Она состоит из крепкого наваристого бульона, сваренного с душистыми травами и корнями и заправленного крошечными пельменями (если вы не знаете, что это такое, процитирую классический

толковый словарь XIX века Владимира Даля: «вареные пирожки с мясом»). Размеры пельмешек в дюшбаре таковы, что столовая ложка вмещает от 10 до 15 штук, хотя особо искусные хозяйки умудряются делать их еще меньше. Это по-настоящему ювелирная работа.

Гюрза — это тоже пельмени, но покрупнее, начиненные по-особому приготовленным фаршем и подаваемые под самыми разными подливами. Хамраши — первое блюдо, которое готовится на основе фрикаделек из баранины, фасоли, лапши и шафранового настоя. Хингяль по-азербайджански хоть и делается из пельменного теста с фаршем, но совершенно не похож на грузинское блюдо «хинкали», которое представители этого народа прославили по всему миру. В азербайджанском варианте хингяль ближе к итальянской лазанье. Но главное, конечно, не все эти межнациональные сходства или различия. Главное, что это очень вкусно!

Ну и, наконец, несравненные кутабы. Это небольшие плоские пирожки из очень тонкого теста, по форме напоминающие полумесяц. Начиняют их мясом с зернышками граната или разнообразной пряной зеленью. Пекут на толстой чугунной сковородке («садже») или в тандыре (большом глиняном сосуде, вкопанном в землю, на дне которого горячие угли). Затем готовые кутабы смазывают маслом и подают на стол с кислым молоком. Обычно с них начинают обед, хотя они настолько вкусны, что ими же хочется его и продолжить.

И в ресторане, и в гостях вам предложат не только эти, но еще три десятка блюд. Вы — гость, для вас — лучшее. Но сами азербайджанцы обычно питаются довольно скромно. Основу их рациона составляют хлеб, которого едят очень много, сыр, масло, зелень, мед и какое-нибудь горячее блюдо раз в день. Довольно равнодушно они относятся к сосискам и колбасам. Реклама «Мираторга», пожалуй, не вызвала бы у них восторга.

Спиртное потребляют не то что умеренно, а разумно. За сорок лет поездок в Азербайджан ни разу не видел пьяного. Точнее, видел, но это были наши туристы. Никто не станет насильно вливать в вас водку или вино, уговаривать опрокинуть еще стопочку. Если скажете, что не пьете, отнесутся к этому с пониманием.

Впрочем, сколько можно о хлебе насущном, когда вокруг такая красота! Баку очень живописен с моря. Не менее интересно попытаться рассмотреть его с какой-нибудь высокой точки — благо их в центре более чем достаточно, — но чтобы почувствовать все очарование этого самого необыкновенного города на Южном Кавказе, надо прогуляться по нему. И не один раз. Свое мнение навязывать не стану. Каждый определит маршрут в соответствии со своими предпочтениями. Мне лично особенно нравится Торговая улица. Тут и яркие витрины, и нарядная публика, и маленькие кафе, где можно с комфортом посидеть, рассматривая гуляющих бакинцев.

Мужчины вас едва ли удивят: рубашка да брюки — такая же традиционная униформа, как у всех жителей восточных столиц. К тому же у азербайджанских мужчин всегда было принято одеваться скромно. Но вот бакинки... В течение пяти минут вы убедитесь: все, что писали о них средневековые поэты, — чистая правда. В их красоту нельзя не влюбиться, их изяществом нельзя не восхищаться. А с каким вкусом они одеваются! Да, немного по-иному, чем парижанки. Но ничем не хуже. Со своим особым восточным шиком, что вполне объяснимо: Баку на много тысяч километров восточнее, и у него собственная история, в том числе и женского национального костюма. Между прочим, весьма своеобразного и очень сложного.

Еще одно замечание. Расположившись в кафе, не заказывайте кофе. Не умеют его здесь варить и не хотят учиться. Возможно, и правильно, потому что чай в Азербайджане бесподобный. Азербайджан без чая невозможен.

Люди, не бывавшие в этой стране раньше, наверное, считают, что больше всех на Земле чай пьют англичане и русские. Ничего подобного! По сравнению с азербайджанцами эти два народа просто иссушают себя жаждой. Чаем в Азербайджане начинают обед и им же заканчивают. Его пьют утром, вечером и днем. Во время деловых переговоров и дружеской беседы. Грушевидный стаканчик «армуд», который

так долго хранит аромат чая, самый верный спутник азербайджанца с первых лет жизни и до ее последних минут. В чаепитии, если хотите, заложен немалый смысл: не надо торопиться и спешить, принимая важное решение. Оно должно быть взвешенным, а каждый последующий шаг продуманным. Попробуйте такое проделать, используя в качестве реквизита маленькую чашечку кофе, — ничего не получится. Придется этих чашечек выпить немереное число, в результате чего заработаете сердцебиение.

Азербайджанское чаепитие — это стиль жизни, это ритуал. Может, менее сложный, чем японская чайная церемония, но столь же символический. И, кстати, более вкусный. Японцы, как известно, используют размолотый в порошок очень горький зеленый чай. Азербайджанцы предпочитают черный, хороших сортов, в том числе выращиваемый на юге страны, в Ленкоранских субтропиках. В него обычно добавляют чабрец и другие горные травы. К чаю полагаются мелко наколотый сахар и варенье, готовить которое азербайджанки большие мастерицы. В качестве исходного материала для него используются все растущие здесь ягоды, фрукты и даже овощи. Иногда создается ощущение, что азербайджанская хозяйка может сварить варенье из табуретки. И вы никогда об этом не догадаетесь. Во всяком случае, в последние сезоны в Баку очень модно готовить варенье из оливок и баклажанов. Получается очень вкусно.

А еще надо помнить, что, если чай придумали китайцы, то самовар изобрели... азербайджанцы. Глиняный прадедушка самоваров был найден при раскопках в Шеки. Археологи определили его возраст в 3700 лет. Так что, когда во II веке до н.э. чайный лист был завезен в Азербайджан по Великому шелковому пути (во всяком случае, именно в этом столетии знаменитая трансконтинентальная магистраль заработала в полную силу), устройство для его приготовления уже всюду функционировало, снабжая аборигенов крутым кипятком.

Возможно, в память о столь важном событии — соединении чая и самовара и возникновении чаепития — в Ичери-Шехере на одной из площадей установлена скульптура, изображающая чайник, на котором высится пирамида из армудов.

...Теперь, когда вы с удобством устроились, а официант снабдил вас всем необходимым для чаепития, можно и побездельничать. С моря дует легкий влажный ветерок, терпко пахнувший йодом. В прорехах между кронами деревьев светят пушистые южные звезды. А за спиной сияющим огнями амфитеатром поднимаются белоснежные здания новостроек Баку.

...Я люблю бывать в Азербайджане. Но, как было сказано в одном анекдоте, не надо путать туризм с эмиграцией. Из окна гостиницы не разглядеть всех проблем, с которыми ежедневно сталкиваются жители этой страны. А они, конечно, есть. И бедных людей здесь хватает, и крестьянский труд очень тяжел, и жилье дорого стоит, и зарплаты не слишком высокие, и медицинское обслуживание не как в Швейцарии. Все так. Но я вспоминаю Азербайджан 1992 года. Горы мусора на улицах, повсеместная нищета, чудовищная по масштабам безработица, чиновники занимаются откровенным вымогательством, в городах орудуют вооруженные банды, в Карабахе идет война. Единственное желание жителей — бежать куда угодно, в любую страну.

За три десятилетия объективно сделано очень много. И что особенно важно, изменения затронули не только, как в России, небольшую группу населения, объявившую себя элитой, но всех граждан. Пусть понемногу, по чуть-чуть, но жизнь всех азербайджанцев с каждым годом становится лучше, сытнее, комфортнее. Этот вектор развития общества прослеживается очень четко. И у человека появляются цель и средства, чтобы ее достичь, и уверенность в завтрашнем дне.

Юрий Каграманов

Нежданный зов аристократизма

Как бы ауканье лесное
Иль эха чуткого ответ,
Порой доходит к нам бывшее.
Дойдет ли к внукам? Да иль нет?

К. Случевский

Его слышали даже американцы, традиционно гнушавшиеся европейскими аристократами и представлявшие их себе по большей части в карикатурном виде. О перемене взгляда свидетельствует необычайный успех таких экранизаций, как телесериал «Аббатство Даунтон» (2010—2015) с его полноэкранным продолжением (2019) и телесериал «Война и мир» (2016—2017). Вся эта продукция — английская, что не удивительно: Англия — родина либеральной демократии и зачинатель промышленного капитализма, а вместе с тем в ней до сих пор сохранились разного рода «уголки» феодализма; включая «красный угол» — монархию. Кому же еще, как не англичанам, братья за тему аристократии!

Кинофильм «Аббатство Даунтон» сравнительно с сериалом¹ ничего существенно нового не показал. Его появление обязано главным образом нетерпению миллионов *фанов*, жаждущих продолжения полюбившейся истории. Это примерно тот же круг зрителей, что оценил по достоинству другой *хит* — экранизацию «Войны и мира».

Люди устали от хамства — в этом, наверное, главная причина успеха названных фильмов. Хамство ведь — это не просто бытовая грубость, это склад души или, если угодно, бездушие. По Щедрину, хамство проистекает из уверенности, что земля представляет собою выморочное пространство, где можно плевать во все стороны («Господа ташкентцы»). Другой наш классик, Мережковский, пророчил в знаменитой статье «Грядущий Хам»: не от пожара и не от наводнения погибнет в следующий раз мир, но от хамства.

Аристократизм, по крайней мере в идеале, несовместим с хамством. Вероятно, суть его можно передать старинным словом *вежество*, по смыслу соединяющим в себе образованность и учтивость. Нам показывают, как подстригают газоны вокруг аббатства Даунтон — наверное, так же их подстригали пресловутые триста лет. И все это время шла обработка душ обитающих в замке — воспитание в них внешней сдержанности, вежливости, благообразия, участливости в жизни не только ближних, но и дальних. Своими манерами люди «верхнего яруса» заражали тех, кто трудился на «нижнем ярусе» замка, а в какой-то степени и всех живущих окрест. Обуздание инстинктов — работа веков; оно началось в среде привилегированных и распространялось по социальной лестнице вниз.

¹ О сериале я писал в статье «Возвращение в аббатство Даунтон» («Русская idea», 29.03.2018).

По нынешним временам должен вызывать зависть порядок в отношениях полов. Он был продиктован христианством, но аристократия привнесла в него красоту. Как привнесла она изящество в быт и манеры поведения. В этой среде утвердилась нормативная речь, охранять которую потом заступили филологи, вроде профессора Хиггинса («Пигмалион» с продолжением в виде мюзикла «Моя прекрасная леди»).

«Аббатство Даунтон» — добрый, местами благодный фильм (имею в виду кинофильм), раздающий всем сестрам по серьгам, в своей благодности местами несколько приторный. Его финал избыточно оптимистичен: когда старая графиня Вайолет говорит «аббатство Даунтон будет всегда», она выдает желаемое за неизбежное; если, конечно, не иметь в виду камни этого великолепного здания.

Сухой лес еще стоит некоторое время, но потом приходит и его час.

Опрометчиво замечание английского журнала «The Wup» (18. 9. 2019), так оценившего успех «Аббатства»: «Аристократы выигрывают войну классов». Выигрывают они только на экране и только в глазах определенной, пусть даже неожиданно многочисленной аудитории. Волны хамства — шкурничества, невежества, брутальности — распространяются не только вширь, но и ввысь, отчасти захватывая и привилегированные слои. В прежние времена все «низкое» вмещал социальный «поддон»: описанные Диккенсом лондонские трущобы, где дети росли без призора и ухода, портовые кабачки, где разноплеменные матросы, накачавшись Жёлтым Джеком (ромом), дрались на ножах; Филдинг и Дефо жаловались тогда, что матросы — те же дикари и язык их — одна грубая брань. Сегодня грубая брань «прилипла» к языку публики, которую в прежние времена называли «чистой»; сам профессор Хиггинс в наши дни, наверное, не стал бы пренебрегать базарными словечками, подучившись им у торговки Элизы Дулитл.

Точности ради заметим, что и тогда, когда на сцене был поставлен «Пигмалион», культурные слои Европы начинали сдавать свои позиции. Как говорит один из персонажей Достоевского, «уже не сор прирастает к высшему слою людей, а напротив, от красивого типа отрываются, с веселою торопливостью, куски и комки и сбиваются в одну кучу с беспорядствующими и завидующими». Цитата из «Подростка» напоминает, что движение сверху вниз началось еще во второй половине позапрошлого века.

Успех «Войны и мира» объясняют не только высоким качеством сериала (режиссер Том Харпер), но и тем, что аудитория «Аббатства Даунтон», замороженная сериалом, была уже настроена на определенную волну и ждала «чего-то похожего». Многие ниточки связывают два фильма. Режиссер и сценарист сериала «Аббатство Даунтон» (в кинофильме — только сценарист) Джулиан Феллоуз во время работы над сценарием перечитывал, по его словам, роман Толстого. В творческих коллективах двух фильмов замечены одни и те же лица. В частности, актеры: Лили Джеймс, блеснув в роли леди Роуз, «переселилась» в московский дом Ростовых, где она сыграла Наташу; Таппенс Мидлтон, сыгравшей Элен Безухову, в новом «Аббатстве» пришлось довольствоваться ролью служанки (правда, с перспективой стать леди); Кейт Филлипс, сыгравшая «маленькую княгиню» Болконскую, наоборот, в новом «Аббатстве» возвысилась до уровня королевской дочери; Том Берк, сыгравший Долохова, мелькал в новом «Аббатстве» где-то на заднем плане. Рецензент журнала «New Yorker» даже назвал «Войну и мир» «Аббатством Даунтон» с выездом в Россию.

У нас сериал по роману Толстого был принят с прохладцей, что отчасти объясняется ревностью, отчасти напряженными отношениями с Англией в политическом регистре. Но какими бы они ни были, надо держаться убеждения, что «хорошее от всякого хорошо». Из всех экранизаций романа, которые я видел, а я видел их, кажется, все, начиная с американской 1956 года, эта — самая близкая к тексту. Фильм снят с любовью к роману, что вызвало у еще одного американского критика

ироническое замечание: похоже, англичане любят Россию, как родную. Впечатление верное, если только уточнить: *некоторые* англичане любят *ту* Россию, как родную.

Большинство образов удачно воплощены на экране; особенно это относится к Пьеру Безухову, старому князю Болконскому и Марье Болконской. О последней стоит сказать отдельно. Княжна Марья — один из самых обаятельных женских образов в русской литературе, а ее роман с Николаем Ростовым не менее волнующ, чем все три романа Наташи Ростовой вместе взятые. Трудность ее воплощения на экране в том, что она некрасива (что несколько раз повторяет Толстой). Как же мог бравый гусар красавец Николай влюбиться и сохранять влюбленность, можно сказать сильнее, почитание ее в браке? Известна ведь мужская слабость: любят красивых (примечательно, что в фильме Сергея Бондарчука Марья исчезает с экрана сразу после смерти отца и никакого ее романа с Николаем здесь нет). Я бы назвал это казусом Меджнуна из классической поэмы Низами «Лейли и Меджнун»: у Лейли заурядная внешность, и надо быть Меджнуном, чтобы увидеть ее красоту. Но ведь не может быть Меджнуном целая аудитория!

Режиссер решил задачу, удачно подобрав исполнительницу на роль Марьи. Ирландская актриса Джесси Бакли моментами выглядит почти дурнушкой, но моментами ее окружает аура мягкой красоты; но главное — актриса прекрасно справилась с ролью. Впервые на экране княжна перешла из круга второстепенных персонажей в круг главных действующих лиц.

Конечно, близость сериала к тексту романа не исключает того, что многое в нем не может быть переведено на язык экрана. Как, например, состояние влюбленности у князя Андрея, описанное у Толстого в следующих словах: «Главное, о чем ему хотелось плакать, была вдруг живо сознанная им страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределенным, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам и даже была она (Наташа)». Как это можно показать? Никак. Или вот ключевой момент в романе Николая с Марьей — в Воронеже, в церкви, где Николай «подсмотрел» за молившейся и не замечавшей его Марьей и увидел в ее лице такую внутреннюю красоту, что ему даже «стало страшно». Тоже никак не покажешь. Или вот другой эпизод. Музыку семейных отношений в доме Ростовых показать можно, но как показать так, чтобы это было понятно зрителю, внезапное охлаждение князя Андрея в последние часы его жизни к близким и дотоле любимым им людям (Наташе и Марье)? Умиравшему уже приоткрывается высшая реальность, а остающиеся живыми вызывают скорее жалость. И это тоже не покажешь на экране.

И как все это далеко от современной жизни! Рецензент английского журнала «Mail online» (в номере от 30.8.2017) пишет, что «картины жизни русской аристократии в "Войне и мире" заставили сегодняшних сверхбогачей выглядеть мусором, так, будто они живут в Брэдфорде с открытыми туалетами». Не знаю, что это за место такое, Брэдфорд, неладное, должно быть, место. Вроде того, что показано в английском фильме «Зверь» (2018), из жизни современного маленького городка, где толчея в пабах нередко переходит в пьяные потасовки, на улице мужчины пристают к женщинам, а ночами маньяк-киллер бродит в поисках жертв. Между прочим, в главной роли здесь та же Джесси Бакли, а для меня она так срослась с Марьей Болконской, что, увидев ее, я в первую минуту мысленно запричитал: «Бедная княжна, куда вы попали! Как вас сюда занесло?»

Многие нити связывают русскую аристократию с английской исторически. Если брать время действия «Войны и мира» (1805—1820), то в эти годы даже захолустное дворянство у нас зачитывалось романами английских писателей, в особенности С.Ричардсона (вспомним пушкинскую Татьяну: «Она влюблялась в обманы// И Ричардсона, и Руссо»), воспитывавшего в читателях чувствительность и, в частности и главным образом, деликатность в отношениях полов. А Толстой и его круг, как писал

Г.П.Федотов, «в Европе только в англосаксонской стихии чувствуют себя дома. Только ее они способны уважать»¹. Сдержанность, тактичность, изящная простота и то, что Федотов назвал «усмешкой над передним планом бытия», сближают этот круг русских людей с англичанами того же социального уровня. Равно как и готовность ассимилировать выходцев из других сословий.

Но наиболее совершенный автопортрет европейской аристократии вышел из-под пера именно русского, а не английского писателя. Разумеется, «Война и мир» — не только автопортрет аристократии, это панорама русского мира (а Бабель заметил, что если бы мир мог рассказывать о себе сам, он делал бы это так именно, как делал это Толстой).

Конечно, русская аристократия, став частью европейской, оставалась все-таки русской. Трудно представить какого-нибудь лорда, который захотел бы пойти по стопам Пьера Безухова, нашедшего «учителя жизни» в лице простого солдата Платона Каратаева (как о нем говорится в романе, «олицетворения всего русского, доброго и круглого»). Еще труднее представить леди, способную разделить желание княжны-рюриковны Марьи Болконской сделаться Божьей странницей, для чего ею уже была припасена соответствующая экипировка, от черного головного платка до лаптей и дорожной котомки (от этого шага ее удержало лишь нежелание огорчать отца и любовь к осиротевшему племяннику).

Слегка перефразирую Иосифа Бродского: зачем нужен был XX век, если был XIX? Ну, а XXI нужен, наверное, или для того, чтобы поправить, где можно, XX, или довести историю до трагического конца.

Время действия «Войны и мира» нельзя назвать золотым (как нельзя назвать таковым никакое другое время), примесь неблагородных металлов не позволяет так поступить, но доля золота в нем такая, коей ни в каком другом времени в истории России не было. Даже американский критик, посмотрев британский сериал, пишет: «Побывав в России 1805 года, нам уже очень не хочется оттуда возвращаться»². Недаром Толстой выбрал именно эту эпоху как наиболее благодарную для отображения (первоначально он, как известно, собирался начать роман с восстания декабристов). Она заполнена войнами, но в войнах есть возвышающий душу трагизм, и потом в тех войнах еще была красота (и еще можно было позволить себе сказать, как сказал герой двенадцатого года гусарский генерал Яков Кульнев: «За что люблю Русь: всегда мы где-нибудь воюем»). А итогом их было возвышение России до положения самой сильной в мире державы — под аккомпанемент великолепного гимна Осипа Козловского «Гром победы, раздавайся». Александр Благословенный, «Агамемнон среди царей», сделался фактическим гегемоном континентальной Европы, и не только благодаря силе русской армии, но и благодаря духовной силе Священного союза (его, между прочим, высоко оценил Генри Киссинджер, для которого Священный союз был его научной «специальностью»), инициатором и фактическим главою которого он был. А если он и вправду примерял, подобно княжне Марье, лапти странника и в один прекрасный день превратился в «старца Фёдора Кузьмича» (что пока не доказано, но почти наверное произошло в действительности — к этому склоняется большинство исследователей), то этот эпизод — изумруд в цепочке событий русской истории.

В плане внутренней жизни это была эпоха относительного равновесия, какого ни раньше, ни позже достичь не удавалось. С какой стороны ни посмотри, это было *акме* русской истории. И аристократия, вообще дворянство в лучшей своей части достойно справлялась с ролью национальной элиты. (Даже сильно ослабевшее дворянство не совсем растеряло прежние свои качества. В годы Первой мировой

¹ Федотов Г.П. Россия и свобода. Нью-Йорк, 1981. С. 88.

² Michigandaily.com/arts/epio-war-and-peace-sight-behold

философ Ф.А.Степун, фронтовик, писал, что только дворяне и патриотически настроенные интеллигенты понимали, за что идет война, а солдатская масса, эти крестьяне, одетые в шинели, имели самое смутное представление о таких понятиях, как «империя» и даже «родина»; только «царь» было для нее значимое слово. Не удивительно, что по свержении царя армия стала быстро рассыпаться и только с появлением нового «царя», хотя бы и в кавычках, годы спустя вновь превратилась в грозную силу).

Невеселая картина складывается сегодня, через двести лет: по всем основным показателям Россия стала второстепенной державой. Только усилия «левшей» из военно-промышленного комплекса пока еще позволяют нашему государству «держаться грудью колесом».

Но эпоха «Войны и мира» стала также временем зарождения нашей мягкой силы, как ее теперь называют. И.А.Ильин писал, что духовную силу России в первом приближении олицетворяют персонажи нашей классической литературы: Пётр Гринёв и Татьяна Ларина, Лиза Калитина и Максим Максимыч, Пьер Безухов и Алеша Карамазов (все, заметим, родившиеся в дворянской среде) и многие другие. И эта мягкая сила, как мы могли убедиться, еще покоряет англичан, и не только их. Так же, как мягкая сила, исходящая от Шекспира и Диккенса, покоряет нас. Есть, скажем так, соединенная мягкая сила Большой Европы, от Сан-Франциско до Владивостока (via Атлантический океан), христианской по своим истокам Европы, которую угрожают разрушить (и методически разрушают) народы южных цивилизаций. В союзе с нашим внутренним хамством.

Есть ли будущее у *этой* (замечательной своей мягкой силой) Европы? И есть ли будущее у аристократизма?

В Соединённых Штатах, считающих себя твердыней демократии, можно встретить понимание того, что пора отказаться от традиционного предубеждения американцев против аристократии и аристократизма. Так, бывший президент Йельского университета Энтони Кронман пишет: «Очень важно сохранить несколько островков, проникнутых аристократическим духом, как ради них самих, из-за редкости и красоты того, что они защищают, так и для блага всей демократической культуры»¹. Такими островками, по мнению Кронмана, должны стать университеты, по крайней мере, некоторые из них, и упор в учебных программах сделать на гуманитарные науки, в последние годы оттесняемые на задний план; ибо только гуманитарные науки способны воспитать вкус к аристократизму.

Неплохая как будто идея, только в нынешних условиях, как говорится, по bankable, ибо слишком далека от реальности. Как раз университеты и в первую очередь университеты привилегированной когда-то Плющевой лиги (Йель в их числе), стали очагами хамства, распространившегося по стране со времен культурной революции 60-х годов. Сейчас там задают тон наследники хунвейбинов, среди которых, кстати, становится все больше разноцветных особей, свысока относящихся к белым как к «неполноценной» расе.

Еще один американец, историк и публицист Оливье де Милль в книге «Будущая аристократия»² тоже считает, что Америка нуждается в достойной аристократии, на замену нынешней плутократии, которая довела страну до состояния хаоса. И он тоже считает, что новая аристократия станет таковой благодаря соответствующему высокой задаче образованию, но, в отличие от предыдущего автора, не возлагает надежды на университеты, откуда, по его словам, выживают нормальных профессоров, места которых занимают пропагандисты и агитаторы глобализма и неолиберализма в

¹ *Kronman A. The Assault on American Excellens. New York, 2019. P. 17.*

² *De Mille O. The Coming Aristocracy. Boston, 2009.*

различных его вывертах. Выход из положения де Милль видит в распространении домашнего образования (это вообще модный сейчас в Соединённых Штатах тренд) и в последующем, по достижении определенного возраста, самообразования. В помощь желающим пойти по этому пути де Милль составил список «ста великих книг», которые следует прочесть — начиная от «Илиады» Гомера; где-то в середине там, конечно, есть и «Война и мир» Толстого.

Что касается домашнего образования, то оно останется недоступным для многих способных детей, так как зависит от уровня подготовки родителей или же от их достатка, позволяющего приглашать на дом учителей по своему вкусу. Совет прочесть «сто великих книг» — дельный, но, во-первых, в мире книг лощан, как известно, не бывает лишним, а во-вторых, те (наверное, все-таки относительно немногие), кто последует совету, образуют, скажем так, россыпь духовных аристократов, но не среду и, тем более, не социальный институт, и вряд ли окажут сколько-нибудь существенное влияние на общественную жизнь.

Заметим: оба американских автора, глядя в будущее, главной задачей считают формирование личности человека. Не лишенной хотя бы некоторых аристократических черт.

Перенесемся в наши пенаты. Нередки вздыхания о том, что в нашей жизни не хватает аристократизма — их легко найти в интернете. Но я нашел только одного отечественного автора, который пытается дать ответ на вопрос, как вернуть утраченное — это писатель Александр Мелихов¹. Ответ, увы, неудачный: задачу возрождения аристократизма автор возлагает как раз на социальный институт, но это научное сообщество.

«Ученым, — пишет Мелихов в статье «Мы соль земли, мы украшение мира» («Дружба народов», 2015, № 12), — пристали не демократические, но аристократические убеждения, убежденность в том, что не менеджеры и не трудящиеся и торгующие массы, но именно они, ученые, суть соль земли и украшение мира». Мелихов оговаривается, что имеет в виду не всех ученых, но подвижников науки, увлеченных разгадыванием очередных природных «загадок». Но и такие ученые не годятся на роль водителей человеческого «стада». «Обаяние» науки осталось в прошлом: ей не удалось изгнать из мира Тайну; «покрывало Изида», несмотря ни на что, остается там, где оно извечно было. На месте разгаданных появляются новые «загадки», их становится все больше и больше, «твердые» знания становятся все более зыбкими, и мир с научной точки зрения делается все менее понятным.

К месту процитировать Блока:

И когда вам мерцает обманчивый свет,
Знайτε — вновь он совьётся во тьму.

В практическом плане наука дала много чего, но это «много чего» может быть употреблено не только на пользу, но и во вред человечеству. И она дразнит воображение, заменяя прежние химеры новыми. И прививает людям досуха рациональное мышление, рисуя чертежи и схемы там, где уместно мягкое наложение красок. И оставляя в небрежении «вопросы правой руки» — религии, искусства.

Ученый — не тот тип, на который равняются массы. Не случайно в кино, от наших фильмов 30-х годов до современных американских фильмов, ученый не всегда, но в большинстве случаев выглядит хотя бы чуть-чуть комической фигурой, хотя бы немножко чудачком. А на аристократа традиционно равнялись окружающие его

¹ Мелихов А.М. «Национальная идея — возрождение аристократии» («Нева», 2006, №5); «Аристократы казармы» («Дружба народов», 2006, №7); «Аристократия и национальная идея» («Октябрь», 2007, №8) и др.

(это показано и в «Аббатстве Даунтон»). Точнее, так: лучшие из аристократов находили подражателей в наиболее восприимчивой части его окружения. Когда-то мне довелось общаться с выходцами из крестьян, получившими университетское образование до революции и потом прошедшими шлифовку в дворянско-интеллигентской среде: может быть, глаз у меня не воспринимает некоторых тонкостей, но я не заметил, чтобы эти «простые» люди в чем-то существенном отличались от потомственно «благородных» — язык, манеры и, главное, этос личных отношений (независимо от идеологического выбора и политических пристрастий) были те же.

Но примеры аристократизма могут показывать не только «вершки», но и «корешки». «Дворянское» благородство могло обнаружиться у мужика, не имевшего сколько-нибудь близких контактов с теми, у кого «грамоты на благородство» имелись с рождения. Н.А.Бердяев (сын киевского генерал-губернатора и внук графини де Шуазёль) писал, что есть аристократизм унаследованный, а есть тот, что дается «в порядке благодати»; поэтому аристократические черты можно наблюдать и у простолюдина. «Я, — писал Бердяев, — знал чернорабочих, которые были более аристократами, чем многие дворяне»¹. Левин в «Анне Карениной» называет подлинными аристократами тех, «которые в прошедшем времени могут указать на три-четыре честные поколения, находившиеся на высшей стадии образования...» Но дальше: «дарование и ум — это другое дело»; речь о тех, кто по социальным причинам не мог получить образование, но по складу характера близок лучшим человеческим образцам.

Все же образование — самый верный путь к возобновлению хотя бы некоторых элементов аристократической традиции (в каком-то ином контексте, который невозможно сегодня представить). Весь вопрос — в его составе, в его качестве. Но чтобы говорить об этом, надо пытаться услышать «Клии страшный глас»: каким она назовет следующий эон, через который должно пройти человечество?

Мережковский писал: «противостоять грядущему Хаму может только Христос».

Сторонники теории циклов (Арнольд Тойнби, Питирим Сорокин — называю только самых именитых) согласны в том, что европейскую цивилизацию в самом недалеком будущем ждет аскетический эон, который должен прийти на смену нынешнему, развращенно-чувственному. Похоже, что так оно и будет. В России уже сейчас раздаются голоса о неизбежности какой-то разновидности пуританства. Хотя пуританство — это западное явление, у нас его никогда не было.

О.Сергий Булгаков писал, что христианство аристократично по своим заданиям. Надо полагать, однако, что задания эти выполнимы только для небольшого числа «верных». В массе верующих некоторые «тонкости» христианства не воспринимаются. А пуританство — упрощенное христианство, ставящее в центр внимания ветхозаветный Закон, а к эстетике жизни, к артистизму более или менее равнодушное.

Если, например, в Англии возобладают нео-пуритане, они, наверное, снова сожгут «Глобус» (шекспировский театр, не так давно восстановленный), а в аббатстве Даунтон совлекут со стены в гостиную портрет казненного Карла I в ненавистных пуританам кружевах. Но может быть и так, что Даунтон снова станет католическим аббатством: в этом случае портрет Карла I останется висеть там, где он висит, но прежних веселий в замке уже не будет. Такой оборот дел кажется сегодня невероятным, но еще вчера показалось бы невероятным, чтобы мечети в Англии могли потеснить англиканские и католические храмы. Грозный ангел Джабраил, который, спускаясь на землю, черными крылами своими заслоняет небо (так по мусульманским представлениям), ложится тенью на всю Большую Европу, обещая ей порядки, более суровые, чем те, какие может установить пуританство.

¹ Бердяев Н.А. Философия неравенства. М.: Хранитель, 2006. С. 154.

Но аскетический эон, говорят нам сторонники теории циклов, будет переходным. Пишет П.Сорокин: «Лучи заходящего солнца все еще освещают величие уходящей эпохи. Но свет медленно угасает, и в сгущающейся тьме становится все труднее ясно различать и надежно ориентироваться в обманчивых сумерках. На нас и на будущие поколения начинает опускаться ночь этого переходного периода со своими кошмарами, пугающими тенями, душераздирающими ужасами. За ней, однако, занимается заря новой великой... идеалистической культуры, встретить которую придется уже, вероятно, людям будущего»¹. Если, придется оговориться, не прервется само существование человечества.

Идеалистической Сорокин называет культуру, устанавливающую некоторое, хотя бы относительное и подвижное равновесие между потусторонними и посюсторонними устремлениями. Миновав период «очистительной» аскетики, общество вновь станет восприимчивым к благородно-чувственной культуре минувших веков, ко всему, «что на земле сложилось стройно» (А.К.Толстой). Это будет подобие Ренессанса: *Ans commovendi* (волнующее, переворачивающее души, провоцирующее на великие дела искусство) прошлого поучаствует в лепке душ новых поколений, которые будут читать «Войну и мир» и другие великие книги. Если «Илиаду» читают спустя три тысячи лет после того, как она была записана, можно надеяться, что и «Войну и мир» будут читать через три тысячи лет (а если русский станет к тому времени мертвым языком, будут специально изучать русский, чтобы читать нашу классику). И подобно Одиссею, наполнят тени минувшего живой кровью, чтобы они вошли в живую жизнь.

И может быть, вместе с великими книгами дойдут до потомков и некоторые кино- и телепроизведения, в их числе экранизации великих книг. В этих книгах есть глубина, недоступная для экранизаций, но у последних есть преимущество наглядности. Представим, как интересно было бы увидеть воочию героев «Илиады»: как они выглядели на самом деле, как говорили, ходили, жестикулировали.

Классическая культура, которую в сгущённом, «выстоянном» в замках виде представляет аристократизм, включает в себе, наряду с преходящим, нечто вечное, сообразное человеку, каким он создан Богом; что, наверное, не может воздействовать на воображение даже далеких потомков. Это воспитание художественного вкуса, стремление к красоте, поскольку она возможна в жизни, в быту; забота о «качестве» человеческих душ (впрочем, и тел тоже); культ дома, родного гнезда, живое ощущение преемственности поколений; домашняя оседлость — в сочетании с духовной безбрезжностью; органическое принятие иерархического порядка, бытийственного и общественного, — в сочетании с демократическим чувством и соответствующим ему в определенных измерениях общественным устройством.

Если сейчас существует, как мы видели, «запрос» на аристократизм, то, наверное, он и в отдаленном будущем сохранится.

¹ Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. С. 790. В оригинале книга вышла на английском языке в Нью Йорке в 1957 году.

Слом иерархий: блогеры обживают реал

Литературные итоги 2019 года

В этом номере — размышления Марии АНУФРИЕВОЙ, Ольги БАЛЛА, Ильи БОЯШОВА, Евгения ЕРМОЛИНА, Марии ЗАКРУЧЕНКО, Константина КОМАРОВА, Евгения КОНОВАЛОВА, Елены САФРОНОВОЙ, Яны СЕМЁШКИНОЙ, Булата ХАНОВА

По традиции мы предложили участникам заочного «круглого стола» три вопроса:

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2019 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Наиболее продуктивные, на Ваш взгляд, литературные полемики и дискуссии этого года.

Впервые в обсуждении участвуют не только писатели и литературные критики, но и книжные блогеры.

Мария Ануфриева, прозаик (г. Санкт-Петербург)

«Главное — умение прокачать...»

1. В минувшем году мне довелось стать участником двух интересных литературных проектов, идейно друг с другом связанных. Это первый фестиваль экранизаций «Читка», состоявшийся в Москве в июне 2019 и включавший питчинг под названием «Рынок литературных прав», и августовская Открытая литературная школа «Россия: диалог культур», прошедшая в Фонтанном доме-музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге при поддержке журнала «Дружба народов». Составляющей этих мероприятий стала читка профессиональными актерами отрывков из произведений авторов: в первом случае — участников питчинга, во втором — ведущих мастер-классов. Режиссер Ксения Никитина подготовила писателям сюрприз: репетиции шли за закрытыми дверями, результат каждый автор видел впервые наравне со зрителями.

Отрывок из моего романа показывали дважды, с изменением актерского состава менялись и акценты в постановке. Любопытно наблюдать, как приобретает новое звучание и даже иные смыслы один и тот же персонаж в исполнении разных актеров. Не у всех авторов есть опыт сценических постановок, поэтому формат читки — весьма полезен, не говоря о том, что и слушатели имеют возможность за 10-15 минут получить представление о романе или рассказе. Конечно, не исчерпывающее, но весьма зримое, побуждающее прочитать текст целиком.

Кстати, актеры отмечали, что и для них опыт читки прозы, да еще в присутствии автора, внове. Обычно все-таки читают пьесы. Такой формат взаимодействия писателя, актеров, режиссера и аудитории стал для меня в минувшем году открытием. Думаю, это начинание стоит поддерживать и развивать.

Открытая литературная школа, которую возглавил Андрей Аствацатуров, имела успех — все 12 занятий, транслировавшихся еще и в онлайн-режиме, прошли при полном аншлаге и набрали огромное количество просмотров, в том числе на сайте Культура.рф, что тоже говорит о востребованности идеи. Рецепт не так уж сложен: собрать в одном проекте авторов, не ограниченных жестко темой выступления, попросить их поделиться секретами мастерства, добавить вводную лекцию преподавателя СПбГУ, слушать которого уже не одно десятилетие ходят студенты-гуманитарии из всех вузов, сделать встречи бесплатными и доступными: единственное условие — предварительная регистрация.

Радуюсь, что в 2019 вышли долгожданные книги петербургских прозаиков: у Анаит Григорян в начале года — «Поселок на реке Оредеж» (издательство Э), у Киры Грозной под конец года — «Кудряшка» («Лимбус-Пресс»).

Хочу отметить получение премии Гоголя в Петербурге Светланой Забаровой (сборник повестей «Сигналы», издательство «Петрополис»). Автор безусловно талантливый, начисто лишенный способности навязчивого самопиара, а оттого известный не такому большому кругу читателей, как того заслуживает. В повестях Забаровой оживают забытые, совсем не популярные сегодня герои: полярники, геологи, геодезисты, вездеходчики, — люди беспокойной судьбы и сильных характеров. Знаю, что весь год она работала над новым романом «Ватыркан» (в переводе с чукотского — сухое истощенное место). «Край географии» — так в среде изыскателей окрестили побережье Берингова моря. Действие происходит в тяжелый период 90-х годов, когда Чукотка оказалась на грани выживания. В романе затронуты современные проблемы северных территорий, но он при этом не является ни производственным, ни этнографическим, ни политическим. Скорее речь идет о драме поколения, ставшего невольной жертвой истории, о судьбах людей, которые выпали из поля нашего зрения на долгие десятилетия, исчезли за «краем географии». Появление его в 2020-м году, объявленном годом Антарктиды, символично. Помимо собственно двухсотлетнего юбилея открытия Антарктиды, наверняка будут подняты и вопросы освоения не только Антарктики, но и Арктики.

2. Считаем ли мы Донецк ближним зарубежьем? Если да, сообщая, что перечитала поэму «Шахтерская дочь» Анны Ревякиной. Попыталась познакомиться с творчеством одного молодого украинского прозаика, который написал роман, заинтересовавший меня по отзывам, но оказалось, что, увы, отзывами все и ограничится. Написанный выходцем с восточной Украины роман повествует о военных событиях последних лет на украинском языке.

До всех событий на майдане мне довелось побывать на Львовской книжной ярмарке в сентябре 2013 года. Волонтерами на ней работали молодые ребята — студенты младших курсов вузов. Нас с подругой сопровождал толковый, начитанный парень, который совершенно искренне стремился показать как можно больше красот Львова за строго отведенное число дней. Это были волонтерство и общение не для галочки и уж точно без камня за пазухой. Мы сохранили интернет-дружбу и в

последовавшие непростые годы. Так вот он, при всем хорошем знании русского языка, иногда подбирает слова, чтобы выразить что-то сверх разговорной речи, потому что упор в школьной программе явно был не на русский. Рассказывал, что к своим 17 годам много где побывал, но в России не был ни разу, интересно до Москвы доехать.

Вот и на моем пути знакомства с заинтересовавшей книгой встал языковой барьер. Писать на том или ином языке — неотъемлемое право автора. Жаль, что ждать перевода с мовы на великий и могучий придется долго.

3. Наверное, тут надо говорить про феномен котиков, но я хотела бы осветить феномен жопы. Именно так, да простит меня уважаемая редакция, но раз первое в стране издательство не погнушалось...

Уж не знаю, чем я так провинилась перед контекстной рекламой, но минувшие два месяца виджет известного интернет-магазина, аффилированного понятно с кем, наряду с Пелевиным и другим пулом авторов буквально в первых рядах сообщал мне: «Твоя жопа в твоих руках» — и так по кругу. Я не то чтобы не верила своим глазам, но думала: может, рекламный ход такой — прилепили поверх обложки виртуальный ярлычок для заманухи... Книженция фитнес-блогерши, именуемая бестселлером, все мозолила и мозолила глаза, поэтому я не выдержала и решила уточнить детали. Вот что выяснилось. Обложка реальная — в таком виде и с таким слоганом книга вышла из печати. Оказывается, ранее подобные творения другого, с позволения сказать, автора уже радовали свет под более скромными названиями навроде «О-па-попа! Качаем попку дома и в зале» (АСТ, 2019, 176 страниц прокачки), слоган на обложке: «Уходя, оставь о себе сильное впечатление». На этом фоне «Твоя жопа в твоих руках» на ярко-красной обложке выглядит куда более смелым и дельным заявлением, бьет прямо в цель, глядит в кошелек покупателю и, главное, содержит сермяжную правду жизни: ведь и впрямь все в наших руках, а уж габариты пятой точки и подавно.

Так вышло, что полемики и дискуссии литераторов и сочувствующих в минувшем году наблюдала только на пространстве фейсбука. И все больше деструктивные, отсылающие, как ни странно, к слогану на обложке того, что пытаются выдать за бестселлер. Когда почти для всех с продвижением, а для многих и с изданием оказывается полная о-па (речь, разумеется, идет не о «писателях года» и обладателях золотого пера с проза.ру, что закономерно, а о многих вполне достойных авторах, что обидно), интернет-активные литераторы берут все в свои руки и подчас действительно оставляют о себе сильное впечатление — той бурей в стакане воды, что умудряются развести вокруг своей персоны.

Но сильнее всего по всем фронтам, как в Интернете, так и вне его, стараются не литераторы вовсе. Мне кажется, за минувший год количество людей, не имеющих ничего общего с литературой, кроме своей собственной непоколебимой убежденности в причастности, возросло. И если с тренерами и сторонниками ЗОЖ все ясно, их практические навыки и умения облачаются в письменную форму без претензий на писательство, то как быть, например, с «Мятной сказкой», недавно выпущенной АСТ? Жанр: современная российская литература, детская проза. Как отмечается в аннотации, «отрывки из книги сразу разлетелись по всему Рунету и принесли известность автору еще до печати книги» и вообще автор «последние несколько лет очень много писал: в троллейбусах, автобусах, очередях к кассам в магазинах — где угодно». Достаточно просмотреть несколько страниц текста, чтобы понять, что полемизировать и дискутировать тут в принципе не о чем, только тенденция налицо: не важно, как и о чем ты пишешь, главное — умение прокачать созданную своими руками о-пу, чтобы показать редактору и издателю, что ее удастся продать.

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2019 года?

Ольга Балла, литературный критик (г.Москва)

«Год подведения итогов и множественных начал»

1. Что касается тенденций — начнём сразу с них — то уже случилось писать, не грех и теперь повторить, что этот год представляется мне, с одной стороны, годом подведения некоторых итогов (скажем: предыдущего этапа культурной, интеллектуальной истории), с другой — множественных начал, точек возможного роста. В частности, он стал годом появления больших поэтических «сумм»: вышли суммирующие, охватывающие десятилетия поэтической работы сборники Сергея Стратановского («Изборник», Издательство Ивана Лимбаха) и Григория Кружкова («Пастушья сумка», «Прогресс-Традиция»).

В начале года в «НЛО» вышел большой — за два с лишним десятилетия — сборник интервью Ольги Седаковой «Вещество человечности», примерно в середине года в екатеринбургско-московском издательстве «Кабинетный учёный» — собрание статей Ильи Кукулина о русской поэзии конца XX — начала XXI века «Прорыв к невозможной связи», а в петербургском «Симпозиуме» — «Полное собрание рецензий» Самуила Лурье.

С другой стороны, несмотря на явные утраты, которые могли бы дать (да как бы и дают) основания говорить об обеднении литературного поля — прекратился поэтический журнал «Арион», закрылся после семилетней работы литературный журнал «Номо Legens» — появилось нежданно много новых литературных площадок и проектов — что вроде бы составляет обнадеживающий противовес тенденции его (литературного поля) предполагаемого обеднения. Степень жизнеспособности и плодотворности всего нововозникшего нам ещё предстоит узнать, но само количество его наводит если и не на мысль, то по крайней мере на чувство насыщенности нынешней литературной жизни движением и энергиями.

Среди таковых должны быть названы (возможно, я что-то забуду!) литературный портал «Формаслов», русско-украинский двуязычный журнал «Парадигма» (соредакторы — Анна Грувер и Владимир Коркунов), сайт, целиком посвященный современной поэзии (!) «Грёза» под руководством Галины Рымбу, новый толстый бумажный (!) журнал «ДК», замысленный Даной Курской, Олегом Бабиновым, Игорем Силантьевым и Вадимом Седовым (пока ни один номер плоти не обрел) и ещё один бумажный литературный журнал, пока тонкий — 60 с небольшим страниц — «За стеной», под руководством Михаила Бордуновского. Первый номер уже вышел.

Челябинский поэтический фестиваль «InВерсия» запустил в этом году собственную книжную серию с тем же названием, в которой успел издать сразу три поэтических сборника: «девочкадевочкадевочкадевочка» Юлии Подлубновой, «Ну или вот о нежности» Александра Маниченко и «Движение скрытых колоний» Марии Малиновской. Независимо от того, что все три книги датированы 2020 годом, они существовали уже в начале декабря 2019-го и в нём же были прочитаны.

Собственный книжный проект появился и у литературных чтений «Они ушли. Они остались», посвященных рано умершим поэтам. В этом году вышла его первая книга — сборник поэта и переводчика Владимира Полетаева (1951—1970) «Прозрачный циферблат».

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Наиболее продуктивные литературные полемики и дискуссии этого года.

Новую книжную серию, открывшуюся книгой Линор Горалик и Марии Вуль «203 истории про платья» (вышла в издательстве «АСТ»), начал проект «PostPost.Media».

Кстати, трудами Сергея Костырко и дружественным расположением сайта «Горький» возобновился оставивший нас было прошлой осенью «Журнальный зал» и заработал очень оперативно, не перестает радовать.

Вообще, появилось — по крайней мере заявило о себе в публичном пространстве — несколько ярких молодых авторов и по меньшей мере один сложившийся, явившийся как Афина из Зевесовой головы сразу готовым — Богдан Агрис, издавший в «Русском Гулливере» небольшой, но жгуче-насыщенный сборничек «Дальний полустанок».

Что касается интересных молодых, то среди поэтов — среди тех, кто попал в поле моего зрения — я бы назвала Елизавету Трофимову, Василия Нацентову, Евгению Юдину (у этих троих в 2019-м вышли уже и первые книги: у Трофимовой — «Улица Сердобольская» в «Стеклографе», у Нацентов — «Лето мотылька» в АО «Воронежская областная типография», у Юдиной — «Бегство ромашек» во владивостокском издательстве «niding.publ.unltd»), Ростислава Ярцева — все из поколения двадцатилетних. Премия Аркадия Драгомошенко открыла нам яркого двуязычного, русско-украинского молодого поэта — львовянина Даниила Задорожного, ставшего лауреатом этого года. Среди прозаиков надо назвать Степана Гаврилова, опубликовавшего в «Знамени» в мартовском номере роман «Опыты бесприютного неба».

Теперь о важных и интересных книгах и текстах.

Упомянутый уже «Кабинетный учёный» — по-моему, одно из самых интересных гуманитарных издательств сейчас — выпустил интереснейшую книжку «Культура путешествий в Серебряном веке: исследования и рецепции» (датирована 2020-м, но пренебрежём, — вышла из типографии в 2019-м и уже читается). Составлена она поэтами Юлией Подлубновой и Екатериной Симоновой и названа на учёный лад «коллективной монографией», представляя собой на самом деле нечто куда более любопытное: собрание рефлексий на эту тему и исследовательских, и эстетических, и поэтических, — тем интереснее высматривать лежащее в их основе неявное единство. И сразу же — о «географических», а на самом деле вовсе не географических рефлексиях (касающихся внутреннего, смыслового пространства) — антология «Венеция в русской поэзии» (1888—1972), составленная Александром Соболевым и Романом Тименчиком» («НЛО»): собрание русских стихов о Венеции независимо от их художественного уровня и культурной значимости, с вниманием единственно к образу города в них, к венецианскому мифу в русских головах, к его общим местам, тенденциям, к его власти над восприятием и воображением.

Очень важно, что в «Новом литературном обозрении» под конец года вышла книга прозы погибшего двадцать лет назад петербуржца Василия Кондратьева (1967—1999) «Показания поэтов», составленная Александром Скиданом. Ещё не держала книги в руках, но давно знаю, что Кондратьев — один из важнейших авторов не только нашего поколения, но и всего позднего русского XX века. Наконец он получает возможность быть прочитанным систематически и большой аудиторией и систематически же продуманным.

Из книг петербургского издательства «Jaromir Hladik Press» (создатель и руководитель — поэт Игорь Булатовский), деятельность которого развернулась практически целиком в этом году — и уже двенадцать, если я хорошо считаю (не факт, считаю я обычно плохо), книг, одна другой ярче, я хочу особенно отметить книжечку (они выпускают именно книжечки, форматом в ладонь, что придаёт книгам черты записных блокнотов, устанавливает с ними личные чувственные отношения) Александра Скидана «Сыр букв мел» об Аркадии Драгомошенко. По форме — это

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2019 года?

собрание написанных в разное время эссе, по существу — мини-монография (все тексты укладываются в одну смысловую линию), где автор показывает своего героя как поэта-мыслителя, из тех редкостных, что «меняют сознание, сам способ мыслить», как мыслителя-практика, работающего с границами не только языка, но и мысли (в пределе — и с самим непредставимым), растягивающего границы возможного — может быть, границы человеческого вообще; своей поэтической практикой создававшего в русской культуре область особенной чувствительности и к собственным возможностям культуры, и к тому, что за её пределами. Это очень важная книга, которая должна быть внимательно прочитана.

Персонально меня — уверена, не только меня — порадовало, что наконец собрала свои стихи в книгу Евгения Вежлян, поэт, критик, теоретик литературы. Это сборник жестко, как я понимаю, отобранных текстов автора за первые двадцать лет текущего века (девяностые оставлены за скобками), «Ангел на Павелецкой» («Воймега»). На мой взгляд, в этой книге важно, что поэтическая речь показана здесь как разновидность мышления, оставаясь притом именно поэтической.

Мне ещё очень интересно было прочитать подряд большой сборник Андрея Чемоданова, вышедший в той же «Воймеге», — «Пропущенные вызовы. Стихи 1993—2019» (тоже в своем роде большая сумма его поэтической работы за двадцать шесть лет); Чемоданов пишет и издается очень давно, но, стыдно сказать, в этом году он стал моим персональным открытием, я его увидела в целом, в единстве его эстетики и этики. Хочу теперь использовать повод об этом сказать. Первое, чем он поражает, — удивительная, внимательная и без иллюзий нежность ко всему сущему, особенно — к неказистому, изношенному, усталому, случайному, мелкому, неудачному, не попавшему в цель или вовсе никогда её не имевшему, к малым вещам мира, которым — как и герою-повествователю — зябко на ветру существования; чувство драгоценности всего этого и родства со всем этим. И честное признание своего неудачничества — без всякого утешения, без всякого стремления казаться лучше, значительнее и т.п., чем получается. Без страха быть смешным, нелепым, уязвимым, отвергнутым — хотя с глубокой горечью от всего этого. В своем почти (или не почти) религиозном смирении он видится очень родственным Веничке «Москвы—Петушков», только пафоса у него ещё меньше — собственно, нет совсем. Внимательный к малому, он открыт бездне — разве что вслух этого не говорит (принципиально). От первых страниц книги к последним герой-повествователь (да, есть соблазн прочитать эту книгу насквозь, как роман, как (квази?)автобиографическое повествование, тем более что большинство текстов написано от первого лица), конечно, меняется — но не радикально, не по существу — скорее, в способах выражения. Он делается суше, горше, застенчивее. Иногда — напоказ — притворяется циником (должны же быть у человека какие-то способы защиты). Но это у него редко и неубедительно: ну, то есть убеждает не в том, в чем (наверное) хотелось бы убедить. Не в циничности говорящего этими стихами, а в такой нежнейшей его ранимости, которая у многих с возрастом проходит и на которую вообще не всякий отваживается. В общем, для меня это одна из важнейших книг года.

Сразу две книги издал в этом году Александр Иличевский — роман «Чертёж Ньютона» (АСТ: «Редакция Елены Шубиной») и книгу эссе «Воображение мира» (Издательство Ивана Лимбаха), и они напрашиваются быть прочитанными одним взглядом как стороны одного целого — антропологического трактата, выстроенного художественными средствами.

Надо хотя бы упомянуть — подробно буду говорить позже — две книги Михаила Эпштейна: «Постмодернизм в России» («Азбука») и «Детские вопросы» («ArsisBooks»).

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Наиболее продуктивные литературные полемики и дискуссии этого года.

Валерия Пустовая, известная до сих пор как критик, издала книгой «Оду радости» («Эксмо») — в подзаголовке названную «романом», близкую скорее к эссеистике аналитическую исповедь, аналитический плач (то, чего, казалось бы, не может быть) — о почти совпавших во времени болезни и смерти ее матери и рождении ее сына, о разлуке и встрече, о невозможности и любви.

Вышел первый (до сих пор у автора, к сожалению, уже умершего, вообще не было книжных изданий) и сразу большой сборник «Река быть» Евгения Герфа (1937—2006) — поэта, публиковавшегося в «тамиздате», по эту сторону нашей границы не замеченного и, как сказал критик Игорь Гулин, практически забытого еще при жизни. Гулин назвал эту книгу, ставшую фактически открытием Герфа для здешнего читателя, «очередным доказательством того, что история советского поэтического андерграунда еще не написана». Мы всё ещё продолжаем восстанавливать (во многом и переписывая её при этом) историю русской словесности советского времени пока не скудеют источники.

Да, ещё необходимо упомянуть вышедший в «Новом издательстве» небольшой сборничек Михаила Гронаса «Краткая история внимания» — первый после «Дорогих сирот», вышедших и читавшихся в совсем другую историческую и культурную эпоху (17 лет назад!), и сразу два после довольно большого перерыва появившихся поэтических сборника, тоже небольших, Марии Степановой: «Старый мир. Починка жизни» и «За Стиви Смит». Пока не читала, так что говорить о них подробно буду в 2020 году.

У Григория Кружкова, который не только поэт, но и историк литературы, вышла великолепная книга в «Прогресс-Традиции» — «Ветер с океана: Йейтс и Россия» — о транснациональных, транскультурных особенностях и тенденциях мысли и воображения Йейтсова времени. Медленно думаю над ней.

Совсем уже под конец года вышла дивная книга историка и теоретика культуры Ирины Сироткиной «Танец: опыт понимания. Эссе. Знаменитые хореографические постановки и перформансы. Антология текстов о танце» («Бослен») — по существу, о культурных смыслах тела и движения. О ней буду внимательно думать в 2020-м.

Был ещё интересный текст Игоря Вишневецкого, читанный мною в (электронной) рукописи (он должен был выйти в декабре в одном из толстых журналов, почему-то [пока] не вышел): поэма «Видение», дантовскими терцинами описывающая метафизическое странствие по персональному универсуму автора, увиденному как некоторое целое с собственной структурой. Текст, в первом приближении авторефлексивный (обзор и осмысление автором написанного им до сих пор), по глубокому же существу — онтологический: персональная онтология, устройство им самим наговоренного мира, личный вариант «Божественной комедии».

И ещё под конец года взял да выложил на Яндекс-диске свои избранные стихи за 2005—2019 год нежно и внимательно мною любимый Василий Бородин (<https://yadi.sk/i/kqu93jIZZGG6nw>). Вот бы книгой это всё!

В 2019 году в русских переводах вышли книгами сразу два важных венгерских текста: романы «Меланхолия сопротивления» Ласло Краснахоркаи (перевод Вячеслава Середы, «CORPUS») и «Свечи сгорают дотла» Шандора Марай (перевод Оксаны Якименко, «Носорог»). Я надеюсь, что будет внимательно прочитан еще один венгерский автор, Геза Сёч, важный для своих соотечественников (притом по преимуществу как поэт), но практически неизвестный у нас (отдельные публикации были, но до сих пор у них, кажется, не было оснований сложиться в цельный образ);

сборник его прозы и драматургии «Небесное и земное» в переводах Юрия Гусева и Вячеслава Середы выпустило издательство «Три квадрата».

И раз уж мы заговорили о переводах, то стоит упомянуть русский перевод романа хорвата Миленко Ерговича «Gloria in excelsis», выполненный Ларисой Савельевой. Вышел он в издательстве «Центр книги Рудомино» в 2018-м, но мною был читан в этом году — и почти одновременно с главами из романа «Вилимовски» того же автора, переведенными Ларисой Савельевой, опубликованными в октябрьском, «хорватском» номере «Иностранной литературы» за 2019 год. Оба этих текста, будучи прочитаны вместе, наводят на мысль о том, что русский облик обрел один из самых интересных работающих сегодня европейских авторов, делающий то, что делают вообще немногие, и не только сегодня, а во все времена: создающий собственную оптику, собственный принцип устройства повествования.

Всё это — совсем, совсем не исчерпывающий список, но уже чувствую, что сильно выхожу за рамки дозволенного объёма текста.

2. Лидерами этого года в моём «ближнезарубежном» чтении оказались белорусы — два опубликованных в их русских версиях больших романа (столь же ярких, сколь и проблематичных и неровных, но тем интереснее): «Ночь» Виктора Мартиновича («АСТ») и «Собаки Европы» Ольгерда Бахаревича («Время»).

Забегу вперед — появились в этом году и отложены для чтения две украинские книги — «Стовп у центрі Європи» Петро Мидянки — о Закарпатье как особенном культурном регионе и «Дни яблук» пишущего по-русски Алексея Геденова, продолжение его вышедшего три года назад романа «Случайному гостю» (обе — киевское издательство «Laugus»).

3. Виновата, ничего такого на ум не идет. Но дело в основном в том, что я слежу за этим не слишком внимательно.

Илья Бояшов, прозаик (г. Санкт-Петербург)

«Железный конь идет на смену крестьянской лошадке»

1. Что касается прочитанной в 2019 году литературы то, так как ваш покорный слуга является ответственным секретарем журнала «Аврора», по долгу службы ему приходилось «глотать» очень много прозы текущей и в большей степени «проходной». Попадалось (что неудивительно!) несметное количество текстов слабых, очень слабых и просто графоманских. Все эта беллетристика (как правило, начинающих авторов) довольно часто вызывала дикую тоску, ощущение собственной бесполезности и некой литературной бессмыслицы, но времени, а главное, сил сожрала очень много. К сожалению, именно возня с подобной дичью не особо способствует встречам с серьезной литературой, но тем не менее наряду с обязательным разгребанием приплывающих в журнал «текстов», удавалось «отвлекаться» и на значимых авторов, среди которых, конечно же, запомнился известнейший Анатолий Ким. Его роман

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Наиболее продуктивные литературные полемики и дискуссии этого года.

«Фиолетовая осень Хокусая» как раз и был напечатан в первом и втором номере журнала, чем я, по совместительству еще и редактор, горжусь. Кроме того, все-таки удалось выудить из быстротекущей литературной реки нескольких авторов, незнакомых еще широкой публике и тем не менее музыкально прозвучавших, по крайней мере для меня, на общем фоне. Таков петербуржец Михаил Бурдуковский, по профессии врач-психиатр, напечатавший в этом году роман «Милосердие в аду» — повествование об одной, ранее малоизвестной, «деятельности» немцев под Ленинградом: уничтожении ими пациентов областной психиатрической больницы. Порадовала повестью «Кудряшка» главный редактор «Авроры» Кира Грозная (психолог по образованию и перспективная, на мой взгляд, писательница, с творчеством которой я ранее неоднократно знакомился), несмотря на то, что дерзнула осветить такое тяжелое явление жизни, как дети-аутисты. Из других «пойманных» за год авторов, конечно же, выделил для себя уже маститых Павла Крусанова с его рассказом «Лебеди, Катенька и Везувий» («Дружба народов», № 7) и Сергея Носова с вышедшей в издательстве «Лимбус—Пресс» первой книгой его стихов. Был мной с лету «проглочен» и роман Александра Етоева, номинанта на премию Национальной бестселлер 2019 года, «Я буду всегда с тобой» (жаль, что автор премию не отхватил: проза во всех отношениях достойная!).

Конечно же, это капля в море, но, увы, в связи с перечисленными объективными трудностями остались вне поля моего, и так-то не очень острого, зрения новые книги Евгения Водолазкина, Михаила Елизарова, Валерия Попова, Дмитрия Быкова, Захара Прилепина и еще десятков авторов, за творчеством которых стараюсь следить.

2. Писатели «ближнего зарубежья», увы, за отчетный период не попались, хотя ранее «Аврора» имела с ними дело: по договоренности с Международным сообществом писательских союзов мы из номера в номер печатали именно русскоязычных прозаиков и поэтов, проживающих на территориях Украины, Белоруссии, прибалтийских государств и т.д. К сожалению, по не зависящим от журнала причинам это соглашение было расторгнуто.

3. Значимые литературные дискуссии и критика тоже минули меня стороной. Судя по тому, что присылают в «Аврору», с этими жанрами в Петербурге большие проблемы. Но и «во внешнем мире», насколько я догадываюсь, дела обстоят не очень: критика исчезает необратимо, как и русская деревня. Железный конь (а именно залихватское ерничанье журналистов глянцевого журналов о выходящих книгах, уместаемое в два-три абзаца) идет на смену крестьянской лошадке. Настоящих профессионалов можно пересчитать по пальцам — Наталья Иванова, Татьяна Москвина, Валентин Курбатов. А вот с ними в этом году я так и не встретился, и виноват в этом сам. И уж если книг я прочитал кот наплакал (смотреть мой отчет выше), что уж говорить о полемике, дискуссиях и критике! Не до жиру...

Конечно, такие «литературные итоги года» меня не очень радуют — но что есть, то есть. По крайней мере, отчитался я честно.

Евгений Ермолин, литературный критик (г.Москва/Ярославль)

Тотальный метапраксис как литературная данность

1. Первый вздох — о грустном. Литература в духовном опыте современника маргинальна. Она не создает события и слабо входит в резонанс с теми событиями, которые происходят помимо нее.

Она никуда не движется. Новых идей, объемлющих литературный процесс, нет; да и сам процесс расплылся. Литературная жизнь в свою очередь маргинализируется. Пространств для общения и взаимопонимания все меньше. Кругом, куда ни бросишь взгляд, самоназначенные гетто («чужие здесь не ходят»), самодовлеющие информационные пузыри.

Разомкнутость навстречу читателям, открытость миру, готовность к дискуссии — сегодня дело личной воли, и воли этой страшно мало. Знаю по себе.

Зато в литературной жизни много свободы и авантюризма — и нет вообще хоть какой-то обязательности и предсказуемости.

Время сюрпризов, что сказать.

Иногда эти сюрпризы являют себя в относительно старых форматах литературы.

Скорее традиционна в своей прозе завоевавшая устойчивое признание Гузель Яхина, потому, возможно, и премиально заласканная, что создает мало спорной новизны. Есть тавро традиции и в яркой прозе финалиста «Лицея» Бориса Пономарева (сатирическая антиутопия «Плюсквамфутурум»), финалистов «Большой книги» Вячеслава Ставецкого (параллельная история в «Жизни А.Г.»), Григория Служителя (параболический животный эпос «Дни Савелия»)...

Но довольно часто сюрприз рожден на какой-то грани, внезапно размыкающейся навстречу новым возможностям.

Абсолютно нестандартна увенчанная премиальным лавром «Большой книги» биография Венедикта Ерофеева в исполнении Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского — конгениальный предмету литературный продукт, где впечатляет сочетание кропотливо-подробной и притом размыслительной биографической прозы — и той интеллектуальной поэзии, которая рождается в каждом акте виртуозного интертекстуального разбора (попорционно) ерофеевского текста.

В перманентной робинзонаде пребывает Илья Кочергин. Но в его новой книжке «Точка сборки» есть веяние небывалой еще свободы, которую автор себе позволяет, вынося авторскую субъективность за скобки. Свободы, рождающейся помимо желания или нежелания, приводящей к обновлению мира начиная от самых простых вещей и слов. И совсем другая разновидность робинзонады (заведомо неудачная, отчасти кафкианская, истерико-драматичная) — в книжке Владимира Новикова «Соломенная собачка с петлей на шее».

Талантливая дебютная книга Александра Гришина «Попутчики» — еще один пример трансфера не только в аспекте темы (ночные разговоры пассажиров в купе): в вагонном трепе анекдот внезапно перерастает в житие.

Или, скажем, замечательные книжки, родившиеся в 2019 году как продукт блогинга; каждая из них содержит оригинально решенную проблему претворения спонтанно-текучего литературного вещества в строгий формат печатной книжки.

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Наиболее продуктивные литературные полемики и дискуссии этого года.

Назову три абсолютно фантастические (каждая по-своему) книги прозы: «Оду радости» Валерии Пустовой (экстатическую женскую метафизику на грани рождения и смерти), «Прогулки с Чарой» моего однофамильца Владимира Ермолина (о-чарованный странник в современной Москве; метаморфоза «прогулок» Андрея Синявского), «Дайте свет» Ольги Коробковой (наполовину дневник — наполовину словарь, причем ретро-словарь деревенского обихода).

Ну и — двухтомник стихов Владимира Швейского, чья религиозная покаянная поэзия известна его фейсбучным читателям в формате постов.

2. В минувшем году я читал лекции в Ташкенте и участвовал в конгрессе ПЕНА в Алма-Ате. Кое-что и почитал.

Из ташкентских впечатлений выделяю книгу стихов Сухбата Афлатуни «Русский язык» (вышедшую, впрочем в «Воймеге», но Сухбат-то — сиречь Евгений Абдуллаев — ташкентец). Это книга человека, живущего в иноязычной, инокультурной стихии, для которого русский язык — сокровенное, интимное место личного бытия. Отсюда максимально свободная и лишенная формальной искусности манера: записки для себя.

Совершенно иной вариант русскоязычной поэзии — в «Трюке драматурга» Ербола Жумагула, нового алмаатинского сборника стихов поэта, когда-то получившего первую известность в Москве. Ербол не против сокровенного, но он — покоритель и завоеватель ментальных пространств, лирический экспансионист, изобретатель нового, остроавторского языка, который не обязан быть слишком похож на дискурс языковой метрополии. Он свеж, как утренний бог.

В Киеве, кстати, эта поэтическая антитеза слегка схоже реализуется в русскоязычном творчестве Александра Самарцева — и Александра Кабанова; стихи другие — акцент близкий: интравертированность/экстравертированность в среде, где язык не защищен, но и не ангажирован, не взят под опеку извне.

3. Дискуссионное пространство современной словесности с трудом улавливается традиционным бреднем. За спорами нужно пойти в интернет.

Там в наличии, скажем, сайт книжной ярмарки ДК им. Крупской (krupaspb.ru) с замечательной рубрикой «Спорная книга». Шанс стать спорной есть у любой книги, но этот характер ей придадут именно здесь, героически собрав и сопоставив разные мнения о книжке, разбросанные там и сям и существующие абсолютно дискретно. В этом есть элемент принудительности, модераторы сводят собеседников на randevu (иногда на дуэль), не спрашивая у них согласия. Но энергичный заряд читателю такие дискуссионные мобилизации, пожалуй, сообщают.

А наиболее живое пространство споров о литературе — фейсбук. В минувшем году там довольно интересно дискутировали о новых нобелевских лауреатах Хандке и Токарчук; о взгляде Дмитрия Быкова на Довлатова; о той же биографии Ерофеева; о новом Водолазкине и странной Горалик; о критическом дискурсе в сети (Иваницкая/Жучкова и пр.); мематически жонглировали именами писателей, ставших понятийно-образными иероглифами, арабесками...

Споры, легко утекающие в небытие, чаще всего сосредоточены на одной книжке или (максимум) на одном авторе; в них маловато глобальной рассудительности, они живут обаянием и наитием момента. Современность любит эксцесс и боится обобщений. Я чувствую себя в ней подчас неуместным реликтом громоздкой эпохи, масштабировавшей нюанс до бытийного закона. Теперь законов в литературе нет вообще, а где они, скажите, есть?

Впрочем, даже мне удалось пару раз организовать френдлов на совместный дискурс о литературе и языке, где помимо ерунды были и догадки и констатации метафизического свойства. Каждый может.

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2019 года?

*Мария Закрученко, прозаик, литературный критик,
ведущая телеграм-канала «Опыты Чтения» (г.Москва)*

«Постановка проблем без намерения их решать»

1. Если говорить о текстах, то главными в российской прозе для меня стали два произведения, прозвучавшие очень тихо на фоне других, которым больше повезло с пиаром. Это роман Алексея Сальникова «Опосредованно» и сборник рассказов Евгении Некрасовой «Сестромам». Новый роман Сальникова оказался слишком метафоричным для того, чтобы прогреметь, как это случилось с «Петровыми». Но размах поражает. Автор находит слова, чтобы вытянуть на поверхность и описать глубинные процессы, протекающие в душе, где жизнь связывается с творчеством (литературой) так сильно, что уже не может отделиться от него. Сборник Некрасовой из старых и новых рассказов и повестей в манере, близкой к русскому магическому реализму, обнажает затертые, неприглядные и непроговоренные стороны жизни людей. Это «тихая» литература, в своей особенности незаслуженно отошедшая на задний план. Тексты Сальникова и Некрасовой важно упомянуть в конце года как редкие самобытные литературные явления в современной русской прозе, на которые мы будем оглядываться из будущего.

В зарубежной переводной прозе, так получилось, в этом году вышли в переводе два важных текста, написанных очень давно. Это роман «Смерть сердца» английской писательницы Элизабет Боуэн и «Инферно» американского поэта Айлин Майлз. Оба эти романа оказали огромное влияние на писателей своего поколения. Из современной зарубежной прозы назвала бы «Мой год отдыха и релакса» Отессы Мошфег — роман, в котором описывается происхождение нового «потерянного» поколения молодых людей, но, к сожалению, в русском издании он был испорчен, и я могу порекомендовать читать его только в оригинале.

Если смотреть на тенденции, обращаю внимание на премии для молодых писателей. В отличие от «больших премий», прибранных к рукам маркетологами, в премиях для молодых еще возможны открытия. Так, третий выпуск «Лицея» порадовал несколькими сильными текстами. Из того, что я сама прочла, упомяну «Дрожащий мост» Анастасии Разумовой и «Западный перенос» Родиона Маричева. Примечательно и то, что среди лауреатов авторы сборников рассказов — Павел Пономарёв и Никита Немцев. По-моему, короткий жанр незаслуженно задвинут на задний план романом, и я рада, что он получает поддержку на высоком уровне.

Второй достойной внимания премией считаю ФИКШН 35, которая возникла как альтернатива премии НОС. Несмотря на неопределённость позиции (отсутствуют критерии оценки и цель, а возрастная рамка авторов задана только как ограничение от наполнения текстами), сильной стороной этой молодой премии является выход к читателю, отречение членов жюри от ярлыка «специалистов». Обсуждения текстов проходят в библиотеках и публичных пространствах. Таким образом, премия становится посредником между книгой и читателем, а привлечение к тексту — и есть основная задача любой литературной премии. Обсуждение шорт-листа и объявление победителя первого сезона ФИКШН 35 пройдет в феврале 2020 года, буду следить за продолжением.

Ещё одной важной тенденцией 2019 года я считаю выход литературы в «гражданскую» сферу. Примером здесь может служить поэтесса Оксана Васякина (также получившая первое место премии «Лицей»), одна из организаторов чтений

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Наиболее продуктивные литературные полемики и дискуссии этого года.

имени сестер Хачатурян летом в Москве. Мне эти чтения запомнились редким единением гражданской позиции с качеством подобранных текстов. Оказалось, что проблема насилия, о которой в наше время так любят «поговорить», наконец-то выплеснулась в словах. В текстах, с которыми не стыдно выйти на улицы. Драматургия уже давно работает с реальностью, поэзия в 2019 показала себя во всей своей мощи. И даже в прозе в этом году прозвучали первые вызовы к современным проблемам гражданского общества. Это упомянутый сборник «Сестромам» Евгении Некрасовой и роман «Средняя Эда» Дмитрия Захарова, появившийся под конец года.

2. Если под «ближним зарубежьем» понимать страны бывшего Союза, то нет, такие книги не встречались. Но если сделать охват чуть шире, то, с подачи Анны Агаповой, переводчицы с чешского языка, я прочла книгу Анны Болавой «Во тьму». Короткий роман о женщине-травнице, ведущей одинокую жизнь в чешской деревушке, наполнен гоголевскими мотивами, местным магическим реализмом. Одна из самых интригующих и тревожных историй, которые я прочла за год.

3. В 2019 году я окончательно убедилась в полном отсутствии продуктивности любых полемики и дискуссий, литературных — особенно. Почти все круглые столы и конференции, которые я лично посещала, придерживались принципа постановки проблем без намерения их решать. Изначально отсутствует принцип ответственности, без которого всё обсуждаемое нельзя воспринимать всерьёз. Мы наблюдаем перепроизводство мнений, деление на лагеря и выяснения отношений в каком-то невиданном масштабе, порой напоминающем базар. Люди, относящие себя к литературе, не могут договориться даже о том, существует ли литературный процесс. В этой среде я вижу бесполезность разговоров на любые темы. То, что происходит и обсуждается в фейсбуке, за дискуссии не считаю вовсе, поскольку это не останется нигде, кроме как в памяти участников, и мгновенно вымывается актуальной новостной повесткой.

Впрочем, есть два исключения. Первое, как я упоминала выше, это обсуждение списка премии ФИКШН 35, поскольку цели этих встреч как раз заключались в том, чтобы поговорить о книгах. Второе: конференция для переводчиков МГУ, устроенная Александрой Борисенко для своих студентов и выпускников в апреле 2019 года. Это был профессиональный разговор издателей из индустрии с будущими коллегами. Вскрывая проблемы отношений в рамках цепочки «издатель — переводчик», спикеры упоминали рыночные цены и условия труда, приводили примеры организации профсоюзов за рубежом, обсуждали степени ответственности сторон. Отличие от прочих «круглых столов» состояло в работе на практике и напрямую с контрагентами. Лично для меня это была отличная школа делового общения в книжном мире. Побольше бы таких разговоров по делу в следующем году.

Константин Комаров, поэт, литературный критик (г.Екатеринбург)

«Надо быть при слове...»

1. Тексты: в поэзии — стихи Ксении Аксёновой из города Липецка (чувствую, скоро мы о ней услышим полнометражно), в прозе — «Дождь в Париже» Романа Сенчина, в нон-фикшн — «Почти два килограмма слов» Алексея Поляринова.

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2019 года?

Тенденции: литература, похоже, начинает чувствовать свою обречённость в смысле конкурентоспособности по отношению к иным сферам, скажем так, «творчества» и поэтому начинает усиленно себя подбадривать. Но подбадривание это кажется мне несколько болезненным. В этом смысле мне очень нравится скобочное уточнение в вопросе. Событие — это фрагмент литературного процесса — фестиваль, премия, форум etc. Это правильно и нужно — например, неизменно радует деятельность Сергея Филатова и Фонда СЭИП по организации Форумов молодых писателей. Однако, как особенно стало очевидным в этом году, — внешнее становится для писателей всё более значимым, чем внутреннее, а это тенденция тревожная, если не сказать — угрожающая. Ведь подлинным событием литературы является со-бытие человека со словом, то есть любое талантливое стихотворение, рассказ, эссе, повесть, пьеса... Надо *быть при слове*, чего и хочу пожелать всем коллегам в наступающем году.

Очень огорчила победа сомнительной поэтессы Оксаны Васякиной в премии «Лицей». Я в этом вижу исключительно «прогиб» премии под общекультурные феминистские тренды, собственно к литературе отношения не имеющие никакого. Но если «Лицей» разочаровал локально, то новорожденная премия «Поэзия» разочаровала в принципе, скорбь от этого я уже выразил, повторяться не буду.

Ну а вообще — жизнь идет. Вот, например, появился крайне интересный журнал «Традиции и авангард», острый и дискуссионный формат которого, заявленный самим его названием, начал оправдывать себя уже в этом году, а в следующем, надеюсь, реализуется в полной мере. Отличный ресурс — «Формаслов» — создали поэты Анна Маркина и Евгения Баранова. Так что в уходящем году мы не только хороним журналы, но и приветствуем появление новых, хочется пожелать им доброго плаванья.

Но некоторые, кстати, не особо приветствуем — например, журнал «Артикуляция» и прочие «ультрасовременные», а на деле — кондовые и умозрительные прожекты кажутся мне откровенно лишними и избыточными на литературной карте России.

2. Я стараюсь ответственно отчитывать «Журнальный зал». Поэзию читаю полностью, критику — почти всю, прозу — диагонально, но заинтересованно и внимательно. Соответственно, в сферу моего внимания попадает и литература «ближнего зарубежья». Вспоминаю навскидку. Довольно сильным и любопытным мне видится казахско-узбекское писательское содружество: Заир Асим, Евгений Абдуллаев, Вадим Муратханов, Павел Банников. Радует проза Ованеса Азнауряна из Еревана. Всегда приятно почитать стихи Ивана Волосоюка. Ну и киевлянин Максим Матковский неизменно прекрасен.

3. Доказал свою профпригодность проект журнала «Вопросы литературы» «Лёгкая кавалерия». Это современный, действенный формат ведения литературной полемики. Лаконичные, острые, центростремительные тексты «кавалеристов» работают, как гранаты, заброшенные — чего уж там греха таить — во всё более заболачиваемое пространство литературной полемики. Я рад участвовать в этом проекте. Интересные, точные и точечные опросы проводят «Дружба народов», «Знамя», портал «Текстура» — это опросы о литературных иерархиях, о состоянии молодой литературы, о толстых журналах и т.д. Вообще формат опроса представляется мне перспективным, это как бы такой срез моментального состояния словесности, свидетельствующий о том, что рука на пульсе — держится. И дай бог.

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Наиболее продуктивные литературные полемики и дискуссии этого года.

Евгений Коновалов, поэт, литературный критик (г.Ярославль)

«Поэты осваивают сайтописание»

1. На вопрос о литературных событиях принято отвечать списком кораблей. Книги, публикации, премии. Но если ограничиться поэзией (а именно это и будет сделано), то хочется поступить иначе. Именно в 2019 году произошла внешняя кульминация тех внутренних окололитературных тенденций, которые набирали силу последнее время.

Заккрытие «Ариона», пусть и торжественное и непринужденное, стало важным событием. Журнал долго воспринимался главным русскоязычным поэтическим проектом. Думается, его роль уже сейчас может быть сравнима с ролью «Аполлона». Во всяком случае, оба издания с литературной физиономией. А если наше время беднее талантами, чем Серебряный век, так то не вина журнала. Прибавим к этому перманентные трудности еще остающихся на плаву «толстяков». Конечно, есть время обнимать и время уклоняться от объятий: журналы рождаются, живут и в свой срок умирают. Но разница между естественным ходом жизни и эпидемией — только в масштабах.

Очевидно, от нескольких авторитетных литературных площадок мы движемся в сторону большого числа мелких, сетевых, иногда за авторством даже одного человека. С этим же связана и другая тенденция — к «горизонтальной» самоорганизации авторов и к объединению воедино различных литературных форматов. Теперь и с претензией, даже с возможной монетизацией. Достаточно назвать различные проекты Дмитрия Кравчука вокруг сайта «stihi.ru» (для широкой аудитории) со всевозможными турнирами поэтов, экспертными клубами, изданием антологий, регулярными телепередачами и даже премией «Поэт года».

Другим примером недавнего времени стала деятельность Даны Курской по консолидации авторов более «профессиональных», при всей расплывчатости сейчас подобной категории. Это и ежегодный фестиваль, и продуктивное книжное издательство, и семинар для молодых авторов, и непременная премия, и затеянный совсем недавно литературный журнал. Частная поначалу инициатива уже стала заметным явлением на ниве столичного культуртрегерства. Хочется осторожно пожелать удачи столь разнообразно направленному и, во всяком случае, бескорыстному подвижничеству.

Приведенные примеры легко пополнить и менее масштабными образчиками. Думается, будущее принадлежит именно этому. Высотные многоквартирные литературные здания, весьма виртуальные, где обитатели нижних этажей за привилегию «жить в литературе» облагаются неким в меру добровольным налогом. Собранный же таким образом символический капитал может идти и на гонорары для образцовых жильцов, и на чай владельцу доходного дома.

Поэты разбираются с премудростями литературного менеджмента и осваивают сайтописание. Замах все больше: от персональных страниц к персональным «премиям» и «журналам». Кавычки не случайны. Всё-таки за этим кроются новшества сугубо технического характера. Впору предостеречь от дилетантизма. Литература чем-то да отличается от сетевого маркетинга или коллективного застольного пения, пусть сейчас и налицо, увы, их взаимное сближение.

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2019 года?

2. Поэты ближнего (да и дальнего) зарубежья оказываются в ситуации оскудения русского языка. От средства общения один шаг до средства искусства. Если редко кататься на конках, разучиваешься и прыгать. Поэтому шансы на появление в эмиграции нового Гоголя стремительно тают. Но тают они и в отечестве, и здесь я подхожу к главному.

Прошли времена, когда новым было то, что десятилетиями лежало в письменном столе. Сейчас новое — непременно молодое. И тут я не разделяю восторгов по поводу того или иного премиального списка или поэтического книгоиздания. Виртуальная реальность — прежде всего в головах — вещь если не прямо противоположная искусству, то, по крайней мере, ортогональная. Не стоит переоценивать новостные ленты или протестные настроения — для поэзии это не более чем материал, наряду со многим другим. Под собственно поэтической реальностью хочется понимать вещи краеугольные: пейзаж, смерть, любовь.

Один пример. В начале «Летней экологии» Бродского упомянуто 26 разных видов растений, включая дягиль, сурепку и люцерну. Кто из двадцати- или тридцатилетних авторов, увешанных премиальными регалиями, просто отличит их друг от друга? В общем, каким-то неожиданным поэтическим именем в «ближнем зарубежье» (как и во всех остальных частях света) за прошлый год насладиться не довелось. Общие тексты, общая интонация: физиология пополам с психологическими травмами или политикой по вкусу. Преимущественно верлибром.

В перспективе это не может не тревожить. Что касается поэтов, давно читаемых и чтимых, назову Сергея Пагына из Молдовы, хорошо знакомого читателям «Дружбы народов». Его негромкие и самоуглубленные стихи — редкий пример вещества лирической поэзии в наше суетливое время. За разнообразным творчеством Евгения Абдуллаева, и художественным и критическим, стараюсь также следить с неизменным интересом. Ряд замечательных поэтов живет на Украине.

3. Тяжелый вопрос. В эпохи упадка чахнет всякая полемика, дискуссия, вообще профессиональный разговор. Читатели отдельно, пресловутые эксперты отдельно, готовые говорить друг о друге и друг для друга. Недаром так расцвел жанр «рецензия на стихи лучшего приятеля», имеющий к критике такое же отношение, как и объяснение в любви. Всё опростилось до рекламы. В этой же связи вылупилась и подросла «блог-критика», которую почему-то упорно избегают называть ее настоящим именем — впечатлением обычного читателя.

Почти всякого теперь волнует не истина, а возможность встать и что-нибудь сказать в микрофон. Не только о футболе, но и за литературу. Будет общим местом упомянуть в этой связи о премии «Поэзия» и «дискуссиях» вокруг нее — еще одним ярким примером той коллективной самоорганизации авторов-экспертов, о которой шла речь выше. По моим ощущениям эта премия пока располагается (надолго ли?) где-то между почившей премией «Поэт» и тем же сайтом «stihi.ru», склоняясь к последнему.

Развернутая литературная полемика в том виде, как мы ее представляем, исчезла безвозвратно. Даже такая острая статья о современной поэзии, как моя собственная двухлетней давности («Двуликий Янус суггестивной поэзии» — «Арион», 2017, № 3), не вызвала никакого содержательного ответа. Всё ограничилось бурей в социальных сетях, где каждый сам себе и оратор, и трибуна, и литературный журнал, и выпускающий редактор, и выпускаемый пар. Что поделаться, издержки времени. Хочется надеяться, что искусство в целом не станет жертвой плюрализма мнений и возросшего темпа жизни в ущерб ее глубине.

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Наиболее продуктивные литературные полемики и дискуссии этого года.

Елена Сафронова, литературный критик, прозаик (г.Рязань)

«Очевидная историчность литературы»

1. Читать пришлось традиционно много книг, остановлюсь лишь на некоторых, которые прочертили для меня основную тенденцию года. Весной ознакомилась с новинкой Андрея Рубанова «Финист — ясный сокол» (еще до того, как он стал победителем «Нацбеста»). Я прочитала это огромное, стилизованное под дославянское фэнтези полотно как развернутую социальную сатиру, о чем и высказалась в рецензии на портале «Raga-gaga.ru» и еще в нескольких материалах. Любовная линия птичеловека Финиста и земной девки Марьи для меня тождественна истории современной Золушки, ставшей ценой адских усилий из уборщицы женой директора коммерческого банка и совладельцем его активов, только в ином антураже. Но еще более откровенная сатира звучит во всем миротворении рубановского романа. Прочитав себя: «Конструкция Вселенной, где есть высшая раса и "дикари", которые могут смешаться со сверхлюдьми лишь ценой невероятных усилий, выглядит как остросоциальная пародия. Похоже, Андрей Рубанов написал социальный роман, выдав его за сказочный фарс. ...получается, отечественная литература снова примеряется говорить эзоповым языком, и Рубанов — один из первопроходцев этого процесса?..»

Очень важно и то, на мой взгляд, что Рубанов в «Финисте...» поднимает исторические вопросы: «Нашего князя звали Ольг, или Олег, или Хелг, или Холк — кто как говорит. Край наш заселён негусто, от общины до общины по два дня пути. В каждой деревне свой говор. Одни произносят Ольг, другие — Халик, — рассказывает кожедуб (не правда ли, в зависимости от произношения меняется национальность прародителя?)» Вернее, современный подход к истории, в которой тема «правающей нации» и соответствующей мифологии порой гипертрофирована.

Исторической мифологии уделит внимание и Леонид Юзефович в новом сборнике «Маяк на Хийумаа». Ключевой рассказ, давший название книге, — гимн или приговор, кому как нравится, тенденции исторического мифотворчества. Писатель, кандидат исторических наук, знаток темы барона Унгерна, признается, что в своем представлении о предке монгольского карателя, эстонском бароне Отто-Рейнгольде-Людвиге-Унгерн Штернберге, попал в ловушку распространенного мифа о том, что этот аристократ был пиратом. Для того чтобы развеять такое логичное издалека знание, потребовалось всего-то лично посетить маяк на Хийумаа, с помощью которого злодей якобы губил торговые суда... Сборник Юзефовича — не только беллетризованное освещение исторических событий, не только яркое публицистическое высказывание о необходимости чуткого и взвешенного отношения к прошлому — неважно, человека или целого народа, но и литературно привлекательное отображение «изнанки» писательской работы.

В этот ряд художественных обращений к истории, которая никогда не отпускает современность, встала и новая книга Александра Бушковского «Рымба» о русском севере.

Знаковым литературным событием года стал для меня огромный труд историка Юрия Слёзкина «Дом правительства. Сага о русской революции» о печально знаменитом Доме на набережной. О нем я тоже писала (см. «Знамя», № 11 за 2019 год). Это не художественная книга, а беллетризованный нон-фикшн, изложенный прекрасным

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2019 года?

русским языком и содержащий огромное множество фактов о доме «верхушки» партии большевиков и подробностей судеб его обитателей. На мой взгляд, несмотря на богатую фактографическую основу, это не историческое исследование, а публицистическая книга, написанная для подкрепления собственной идеи — то есть еще один образец создания исторической версии.

Осенью 2019 года книге Юрия Слѣзкина «Дом правительства. Сага о русской революции» вручили спецприз «Неформат» премии «Просветитель» с таким обоснованием: жюри осознает, что мимо этого труда пройти нельзя, но его принадлежность к научно-популярному жанру спорна, это, скорее, мощное художественное исследование. Эксперты подтвердили мое скромное мнение.

Итак, тенденцией ушедшего года стала для меня очевидная историчность литературы. В том числе из-за нее нон-фикшн все популярнее в обществе и в профессиональных кругах и «побеждает» художественную прозу. Об этом говорят и итоги «Большой книги», где первый приз достался работе авторского коллектива о биографии Венедикта Ерофеева. «Веничка» как историческая фигура и отчасти мифологический (не без собственной воли) персонаж, безусловно, заслуживает исследования и описания. А насколько Олегу Лекманову, Михаилу Свердлову и Илье Симановскому это удалось, скажу после прочтения их труда «Посторонний».

2. «Ближнее зарубежье» в моем сегменте чтения в основном сводится к Донбассу — имею в виду книги Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад» и лауреата «Ясной Поляны-2019» Сергея Самсонова «Держаться за землю». О новинке Прилепина исчерпывающе выразился критик и публицист Станислав Секретов: это книга не столько о войне, сколько о писателе на войне. С Самсоновым все сложнее — это, безусловно, книга о Донбассе как особой территории со своей «шахтерской» ментальностью и о том, как и за что она стала воюющей. Но несмотря на злободневность этой темы (или благодаря ей?) литературно роман производит неоднозначное впечатление. Примерно такое же чувство в свое время вызвал у меня «Асан» Владимира Маканина. Чтобы изложить эту неоднозначность, нужно написать отдельную рецензию.

Еще мне довелось прочесть роман Полины Жеребцовой «45-я параллель» — в новом литературном журнале «Традиции & авангард», который возглавляет Роман Сенчин. Это не книга «из ближнего зарубежья», а видение России глазами уроженки Чечни, раненной при боях в Грозном, когда они с мамой переехали в нашу страну. Оказалось, война для них не осталась позади, а встретила их тут и называлась «битвой за выживание»... Дневниковый роман Жеребцовой исключительно тяжелый, но правдивый: в нем множество чудовищных российских реалий, которые мы встречаем каждый день. Для «нерезидента» они оказались почти непреодолимым препятствием...

И два слова о форматной прозе. Книгами «из ближнего зарубежья» можно назвать цикл детективных романов словака Роберта Брындзы о полицейском инспекторе Эрике Фостер. Как и сам писатель, Эрика — словачка, живущая в Лондоне. Ее славянская порывистость и горячность наталкивается на английскую чопорность и иерархичность британского общества. Получается эдакая «вражда народов» на уровне профессии. Жаль только, что от элегантных, подлинно детективных расследований первых книг Брындза перешел к более приземленному экшну...

3. В вопросе о полемике вряд ли буду оригинальна: это дискуссия вокруг новой премии «Поэзия», пришедшей на смену премии «Поэт». Кстати, в нее проникли некорректные реплики из серии «вражда народов», что не красит сказавших и не повышает авторитет литературного спора... Свое видение этой дискуссии я выразила

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Наиболее продуктивные литературные полемики и дискуссии этого года.

в статье «Землетрясение в Антарктиде» (см. «Бельские просторы», № 10 за 2019 год) — к этой метафоре оно и сводится. Из книг ста поэтов, вошедших в премиальный список (еще до волны самоотводов), мне удалось свободно купить лишь сборники Бахыта Кенжеева и Юлия Гуголева! Первый — в магазине «Fix price» в Гороховце Владимирской области, вот такое чудо, второй — на книжном развале фестиваля «Антоновские яблоки» в Коломне. Подавляющее большинство книг авторов из этого списка распространяется от поэта к другому поэту или критику... По-моему, факт показательный: при всех страстях, расколовших литературные круги, полемика — как и собственно поэзия — не имеет репрезентативности в обществе. Это что-то вроде корпоративной забавы. А мне, наивной, мечтается о литературной полемике, которая бы потрясла — или хотя бы затронула — все страты... Но это, прекрасно понимаю, утопия.

*Яна Семёшкіна, литературный критик, автор подкаста
Fabula Rasa (г. Москва)*

«Настоящее затормозило и стоит на паузе»

Главные тенденции 2019 года — созревание жанра автофикшн, острый интерес к вопросам феминизма, телесности и женской сексуальности, раскачивание литературного маятника от постмодерна к метамодернизму.

В уходящем году наконец, добравшись до России, термин «автофикшн» стал громче, отчетливее и смелее. Литература автофикшн на русском появилась гораздо раньше, однако ее понимание, как встроенный в западную традицию конструкт, обозначилось только в 2019 году. Открылись курсы Ольги Брейнингер по автописью в Creative Writing School, Арины Бойко и Натальи Калининковой в ЗИЛе, курсы автофикшн Write like a gpt1. Тренд на искренность и уязвимость — в современной литературе нашел выражение в авторской интонации, в документальном материале и пережитом опыте. Здесь границы литературы и психотерапии размылись, но одно нельзя приравнять к другому. При создании автофикшн конструкт героя не равен автору, литература предполагает форму, а не только содержание, литература, в отличие от арт-терапии, — выход за границы замкнутого на себе мира.

В 2019 году вопросы феминизма, женской сексуальности и телесности стали чаще проступать в текстах молодых авторов. Главное событие — появление фем-издательства No Kidding press, публикация переводных западных манифестов феминизма «Кинг-конг-теория» Вирджинии Депант, «Современная любовь» Констанс де Жонг, «Инферно» Айлин Майлз, «I love Dick» Крис Краус. Особенно стоит отметить сборник короткой прозы «Маленькая книга историй о женской сексуальности». Среди авторов Лиза Каменская, Арина Бойко, Светлана Лукьянова, Инга Шепелева, Эльмира Какабаева и другие. Стиль, язык и декорации нового мира остро фиксируют переживания, опыт и отношения женщины с собственной сексуальностью. Важный коллаж, полный современности, искренности и жизни. Сильное художественное высказывание о переосмыслении фертильности, манифест tinder-поколения и миллениалок. Узнаваемые зарисовки с натуры современной женщины, познающей себя и свое тело в контексте социального неравенства и патриархата.

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2019 года?

Выход первого русского перевода «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса (работа Алексея Поляринова и Сергея Карпова) вызвал в окололитературном пространстве споры о существовании метамодернизма и его принципиальных отличиях от постмодернизма. С «Бесконечной шуткой» связана и рецепция мирового тренда на медленное потребление как вещей, пищи, так и информации. Марафон книжного блогера Евгении Власенко (@knigagid), суть которого состояла в медленном синхронном чтении «Бесконечной шутки» весь 2019 год, сменил бесконечные списки прочитанного за месяц в среде литературного блогинга. Тенденция к замедлению, более осознанному потреблению информации в уходящем году вышла в пространство металитературы.

Культурный эпилог 2019 года — выход тонкого литературного журнала «Незнание». «Незнание» — манифест повзрослевших миллениалов, новой культурной прослойки, мыслящей о литературе и искусстве вне иерархии. Это голос поколения, которое не чувствует будущее как вектор (в России будущее как будто под запретом). Настоящее затормозило и стоит на паузе, а прошлое, выражаясь словами Владимира Сорокина, как ледник, наползает и давит настоящее. В этой ситуации «незнание» единственный способ фиксации действительности: мы не знаем, кто мы такие, где мы находимся, куда движемся и что с нами будет.

Булат Ханов, прозаик (г.Казань)

«Чем вы готовы пожертвовать ради великой прозы?»

1. Книга года для меня, безусловно, «Земля» Михаила Елизарова. Роман огромен и необъятен, но это тот случай, когда солидный объем (почти восемьсот страниц) совсем не в тягость. «Землю» я читал две недели, как и моего любимого «Мельмота Скитальца», и не мог нарадоваться. Сюжет, стиль, содержательный посыл — все на высоком уровне.

Книга напоминает «Обитель». И Прилепин, и Елизаров на свой лад пересоздают жанр производственного романа, притом внешне их произведения ничуть не советские эпопеи о героических заводчанах и колхозниках не походят: Прилепин маскирует производственный роман под лагерную прозу, а Елизаров придает «Земле» оболочку криминального боевика. Между тем история в «Обители» и «Земле» одна и та же: молодой человек попадает в чужеродную среду, которая функционирует по тщательно прописанным жестким законам, и в кратчайшие сроки достигает в ней завидного положения. Герой, минуя промежуточные иерархические ступени, добивается уважения у высшего начальства, перевыполняет планы и справляется с вредителями. Он завоевывает сердца лучших из лучших женщин и, что важнее всего, не поддается головокружению от успехов, остается собой. Как и центральные персонажи советских производственных романов, Володя Кротышев и Артём Горяинов — это свои в доску парни: волевые, хозяйственные, смелые, бесхитростные, честные с собой и потому обаятельные. Настоящие народные типажи, пусть и неизбежно идеализированные.

Елизаров доносит до читателя простую, но любопытную мысль: в современной России подлинным героем способен быть лишь человек из криминальных или

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Наиболее продуктивные литературные полемики и дискуссии этого года.

полукриминальных кругов. Не токарь, не сварщик и даже не искусный травматолог, сохраняющий присутствие духа в проклятой богами бюджетной медицине, а именно Володя Кротышев — многофункциональный сопричастник похоронного бизнеса.

Помимо прочего, «Земля» и прекрасно издана. Если зачитать книгу до дыр, эстетически она только выиграет.

Порадовали мои молодые коллеги: Степан Гаврилов с «Опытами бесприютного неба» (они скоро выйдут отдельной книгой в «Эксмо»), Михаил Фоминых с «Пятьюдесятью двумя воскресеньями на Чукотке», Виктор Чигир и его кавказский боевик «Утоление жажды». Даровитый Антон Лемесев на Форуме молодых писателей представил бесподобную повесть «Спи, кабан», бодрящую и искристую.

Что до переводных новинок, то нельзя обойти вниманием «Бесконечную шутку» Дэвида Фостера Уоллеса. Роман успел войти в множество списков мировой классики, а сам автор покончил с собой в 2008 году, прежде чем Алексей Поляринов и Сергей Карпов дерзнули взяться за перевод. По общему мнению, «Бесконечная шутка» заковыристей и запутанней «Улисса» и «Радуги тяготения» (длиннее их уж точно), а потому требует от двух до шести месяцев вдумчивого чтения. Книга может стать своеобразным краш-тестом, маркером вашей любви к литературе. Насколько вы прочны и устойчивы? Как вам даются затяжные испытания? Чем вы готовы пожертвовать ради великой прозы?

2. Авторы из ближнего зарубежья читаю редко (это не гражданская позиция и не эстетическая программа, просто так складывается), в этом году их круг ограничился писателями, представленными на страницах «Дружбы народов». Больше всего запомнился рассказ Джасура Исхакова «Деспот ты мой восточный!..» Это трогательная и вместе с тем динамичная история, настоящий микророман об испытаниях в любви. В рассказе частная история разворачивается в скромном уголке Советского Союза, с нежностью обрисованном. Человек творческий здесь подвергается тем же испытаниям, что и в сердце советской империи, а тихая будничность перемежается катаклизмами, метафорическими и неметафорическими. Зрелая, отменная проза.

3. Литпроцесс как литпроцесс, но отдельные явления выглядят многообещающими и знаковыми. Например, премия «Фикшн 35» для молодых литераторов, организованная критиком Владимиром Панкратовым. Родилась она самостийно, без протекции спонсоров и крупных функционеров. Панкратов кинул клич на «Фейсбуке», собрал молодое жюри из единомышленников, запустил сайт и организовал ряд обсуждений по длинному списку в разных городах. В отличие от крупных литературных премий, на «Фикшн 35» не раздают медали и не вручают деньги, зато о книгах говорят и осмысляют через них культурное поле современной России. И делают это предельно вежливо и вдумчиво, не в пример «Национальному бестселлеру». Занятно, что из всего этого выйдет, но в любом случае «Фикшн 35» — отличная низовая инициатива, способная внести искомое разнообразие в общий литературный контекст.

Также обнадеживает и возрождение «Журнального зала». Когда предыдущий сайт прекратил обновляться и продекларировал свою кончину, моя лента в «Фейсбуке» наполнилась погребальными интонациями (справедливости ради, причины на то были). Тем не менее мы положение исправили: собрали в срок сумму даже больше требуемой и коллективными усилиями дорогой нам ресурс воскресили. Пусть многие из моих друзей, особенно из заставших советские времена, не верят в коммунизм, однако восстание «Журнального зала» из мертвых — это не что иное, как результат коммунистического акта, триумф подлинного анархизма. Если уж литераторы, народ горделивый и самовлюбленный, между собой так легко договорились, то значит, что самоорганизация и самоуправление — это никакая не утопия в рамках целого общественного организма. В сущности, ведь не так уж и много нам надо, чтобы ладить друг с другом и уживаться в большом пространстве. Уж без контроля от госаппарата и подачек от воротил мы сами как-нибудь разберемся.

Андрей Танцырев

Рассказ о том, как...

О Давиде Самойлове. Записки малоизвестного поэта

Хотелось бы по существу,
Но существо неуловимо.

Давид Самойлов

...Иногда я сильно тосковал по этому человеку. Однажды, после почти двухлетнего перерыва в наших отношениях, тогда я еще жил в Свердловске, по-разному жил, то горько, то весело, так вот, однажды я увидел сон. В сущности, очень грустный.

Я поднимаюсь в свою квартиру мимо почтовых ящиков. Железные, деревянные (эти готовы полахать в любом сне), синие, зеленые, с замочками и задвижками, с дырочками для воздуха, они набиты ворохом корреспонденции, через щель можно извлечь плотный жесткий конверт, еще и еще. Радость. Горячая, высокая. Письма от всех, кого я любил когда-то, с кем давно расстался, и даже от тех, кто рядом, но не заходит, не звонит. Письмо от мамы. Письмо от Виктора. Письмо от Д.С., исполненное любви, уважения, надежды. На просторных белых листах размашисто и щедро один поэт писал другому.

Наутро я понял (это, конечно, неправда, ничего я не понял, скорее, ощутил горечь, тоску), что Д.С. для меня больше, чем учитель, мастер, резонер, объект для дипломной работы, всеблагий собеседник и проч. То ли молодой дед, то ли старый отец, а я непутевый, нелюбимый внук, сын, мамзик, трубадур.

Восемь писем на осьмушках то розовой, то голубой бумаги за одиннадцать лет знакомства. Жив-здоров, скоро выйдет книжка, пишите. Иногда теплее, иногда никак. Помню, у нас все по-старому, пишите, ваш и т.д. Никакой литературной переписки. Сам никогда не писал первым, но отвечал аккуратно. Восемь писем за одиннадцать лет. И я старался попасть в тон: жив-здоров, нигде не печатают, работаю, креплю семью, когда можно увидеться и т.д.

Таких снов видел парочку. А в нашей непечатной компании (Витя Смирнов, Женя Касимов, Сергей Гонцов, Сергей Кабаков и др.) почти в каждом «литературном» разговоре оберегал или очень по-родственному (какой бы он ни был, а я люблю его) касался его имени, стихов, жизни.

Танцырев Андрей Александрович — поэт. Родился в 1957 году в Свердловске. Окончил филологический факультет Уральского госуниверситета. Публиковался в журналах «Урал», «Всемирное слово», «День и ночь», «Таллинн». Автор нескольких книг стихов. Живет в Эстонии.

Когда мне было лет двадцать с небольшим, я с провинциальным запозданием длил увлечение Готье, акмеистами и Уайльдом. И где-то за обедом у Д.С. с петушиным задором процитировал Уайльда, что-то про нищего, который должен быть живописен, иначе ему и подавать незачем.

Как он мне врезал! До этого пил за меня, стихи хвалил, ворчал по-домашнему, с уютцем, а тут крылья расправил, вырос до угрожающих размеров и ткнул в мою сторону короткопалую кисть старого пулеметчика: с такими мыслями вы, Андрей, ни хрена не сделаете ни в жизни, ни в литературе. Я пробовал объясниться, но это было бесполезно. Он твердо стоял на своем, иногда приговаривая: я человек мудрый и проницательный, а вы меня нае..ть хотите. С тех пор во мне эстетизма поубавилось, хотя до их бывшего величия, самойловской и слущкой простоты мне, конечно, далеко. Но ведь неслучайно Д.С. любил фильмы итальянского неореализма, снисходительно симпатизируя Андрею Тарковскому?

Я смотрел «Зеркало» пять раз, а Д.С. был к этому фильму равнодушен, ему нравился «Андрей Рублёв». Я, конечно, посмотрел меньше итальянских фильмов, чем их поколение, но тоже люблю этот гвалт, слезы и смех, солнце и дождь, горе и счастье, булыжник и виноград, тюрьму и велосипеды, реку По и соломенные послевоенные шляпки, соленые шутки бывших партизан, деревенские груди римских красавиц, о нескончаемое перечисление! А еще я люблю итальянские фильмы шестидесятых. Там люди на два дня погружались в ссору, курили, пили вино, ломали руки (в смысле жеста), смотрели на дождь, ездили за город, любили друг друга то с отвращением, то страстно, исследовали свой внутренний мир и никуда не спешили. Плащ «болонья», сигареты, «фиат» и никакого Муссолини!

Тарковского-старшего Д.С. называл «старик Арсений». После смерти Ахматовой и Пастернака Д.С. считал лидерами русской поэзии Тарковского, Марию Петровых и Бродского. Впрочем, я могу и ошибаться. Кстати или некстати, вспомнил, как посетил поэта Рейна, похожего на брутального падре. Мы пили водку, и Рейн, узнав о моем знакомстве с Д.С., почему-то поинтересовался, кого Д.С. считает первым русским поэтом XX века. Я ответил, что Д.С. выделяет Бродского. Рейн бросил: м...к этот ваш Самойлов, первый поэт — Ахматова!

Едва ли не любимым выражением, во всяком случае, в контексте дней нашего общения, у него было: как положено.

Петька, сделай, как положено, Пашка, сделай, как положено и: сделайте, Андрей, как положено. То обращался ко мне на «ты», то на «вы». В минуту нестроения напевал, и тогда — всегда на «вы». Нестроение. Это слово я заимствовал из поэмы Д.С. «Сон о Ганнибале». То есть дурное настроение. А Пашка и Петька — это его дети, названные так чуть ли не в честь двух русских императоров. Тогда им было по десять лет, а может, и меньше.

Мне кажется, он всегда знал, *как положено*. Уже во вторую нашу встречу (в 79-м или 80-м, не помню точно) быстро отговорил меня от затеи рассылать наши с Виктором (В.Смирнов — прекрасный екатеринбургский поэт и мой друг) стихи по редакциям толстых и тонких журналов. Со знанием дела описал механику редакционных фильтров и барьеров. И что за фрукты рецензенты. Какого вида и сорта они бывают. И какого ранга. И кто чем занимается.

Дом? На своем месте. Друзья? Переписка? Каждому свой час и строка. Женщины? А как же. Дети? Никогда не терял присутствия духа и юмора. Алкоголь? Только в определенные часы. Работа? С утра пораньше. Война? Имел веские суждения. Государство, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачёв? Имел веские суждения. Императоры, Ленин, Сталин? А как же. Еврейский вопрос, диссиденты, поэзия Державина, творчество молодых, поэтессы, критикессы? Обо всем знал, все ведал. Табель о рангах зримо не читил, но объем и ранги держал в уме.

Было, было и то, о чем почти никогда не высказывался уверенно. Это если

добраться до сущности, снять верхний, светский слой беседы. Суеверно уходил от четких оценок и критериев. Работали две программы. Одна от Бога, от Моцарта с Шубертом, другая от государства, войны и наровчатовского Абсолюта. Тонкость прорисовки, мягкость чувств сердечных, легкость Батюшкова и Пушкина, чуткость Пастернака и акмеизм, вечность Ахматовой вдруг сменялись гудом и одом, Маяковским, Сельвинским, Наровчатовым.

Категорический императив прочно и скучно торчал посреди импрессионизма высокой пробы. Но, между прочим, сам признался в конце жизни, что любит поэзию с тайнами, ни о чем, с сумасшедшинкой, такую и хотел бы писать.

Два человека, два поэта. Дуализм известный. Павел Коган не советовал ему идти на войну. Его считали за домашнюю птичку (мамзика или соловья) — ифлийцы считали. А кто же «жарит соловьев»? Но он воевал и был ранен. И программа сдвинулась. Лирик и домашний мальчик потеснились. Фронтовик, знаток пулеметов, женщин, добра и зла, пули-дуры, простого народа, в том числе итальянского («Ближние страны»), Польши, истории, вина и водки, десантник и неунывака — таким он пришел в послевоенный мир. «Десантник» — это когда он надевал берет и Петька, один из сыновей, ласково тянул: ты, папочка, десантник. Он и впрямь походил в берете, лихо носимом набок, на ветерана некоего отборного легиона, в котором пулемет знают, как Пушкина, и наоборот.

Присутствие смерти обострило в нем природное жизнелюбие, а ранение научило понимать всё, чем человек страдавший отличается от тупого и глупого не страдавшего.

Кого он намечал в собеседники и кто его выбирал? В послевоенное время среди встреч были большие. Пастернак, Заболоцкий, Ахматова, Петровых. Особенно Ахматова. Чем он ее привлекал? Талантом, компанейством и умением водить машину (при ее болезнях и боязни переходить запруженные колесами проспекты)?

Он умел общаться, но не любил, если общение было пустым или касалось вопросов, ему безразличных.

Известна его хрестоматийная любовь к коньяку. Но это тело. А что дух? Дух превозмогал тело и, борясь со старчеством, дарил нас иногда чистыми и сильными стихами.

...Наше знакомство началось с моей дипломной работы, пристальной к его стихам 70-х, в которой я буквально под лупой исследовал его маргинальные вещи, например, «Поэт и старожил», «Окруженец» и др.

Что я к тому времени знал о Д.С. и его стихах? Библиография, состоящая в основном из его рецензий и рецензий на его книжки, насчитывала более пятидесяти названий. По-моему, я прочел все. Присяжные критики предрекали тогда скорую смерть поэзии и вяло поругивали молодых.

Пока я в ленинградской БАНе и в Салтыковке продирался сквозь бедные чувства и мысли рецензентов, добросовестно переписывая от руки какие-то пассажи, в городе разгулялась весна, стало нежно, ветрено и пьяно, и мне захотелось встречи с живым поэтом, а не с его библиографией.

Мое первое впечатление от встречи с Д.С.? Резкое несоответствие стариковского облика поэта моему образу поэта. Мощный баритон, богатый модуляциями, с хрипотцой давно курящего человека.

Щётка прокуренных желтоватых усов, чрезвычайно выпуклые линзы очков, шишковатый, сильной лепки лоб.

И рост — пушкинский. Только тело покрепче, покряжистее. На столе — хрустальная чернильница, за спиной — Пушкин с Кюхлей, лицеисты, и фотография, где вдвоем Ахматова и Пастернак.

Постепенно я перестал замечать этот контраст и, напротив, полюбил отыскивать

черты мощного духа в неможном теле. Голос стареет в последнюю очередь. Тогда голос был раскатист, молод, энергичен, потом потускнел, но не настолько, чтобы сказать о нем, как он сказал о Маршаке: «Я ему звонил с робким трепетом. У старых людей другое ощущение времени. Он уже лежал в постели абсолютно умирающий. Тела не было».

Старение было неприятно Д.С. Он уже ходил с палкой, плохо видел, но внутренняя пружина не была сломана, шаг был вкрадчив, он владел шагом, а не шагом им, короткопалая кисть сильно сжимала стакан с коньяком, голос и зимой и летом вольно оглашал улицу. Помню один летний денек в Пярну. Я подходил к дому и услышал (окно было растворено, ситцевая занавеска весело пузырилась) его голос и смех. Было время обеда, был «сочный разговор и особый, не то стеклянный, не то металлический звон, присущий человеческому питанию» (Набоков), и он тонким плотным кольцом окружал его дом, который в день нашего знакомства почему-то показался мне одноэтажным, оттого, наверно, что Д.С. и домочадцы занимали лишь первый этаж. Потом, когда был прикуплен и верхний, все равно домом Самойлова для меня остался первый этаж с просторным кабинетом и узкой столовой. В кабинете мы курили и говорили, в столовой — пили и ели.

Март, море под снегом.

«В Пярну лёгкие снега, так свободно и счастливо», сырой ветер, мы выходим из печного тепла на тихую улицу и неторопливо идем к ближайшему эйнелаудику¹. В этих крохотных, на три-четыре столика буфетах-кафешках было тогда обильное питье и обычная закуска. Д.С. отдавал предпочтение молдавскому от трех до пяти звездочек.

Там же он обронил фразу, которую я запомнил из-за ее афористичности. К тому же за ней стоял феерический опыт времен, так сказать, культа личности. Фраза была такая: «У меня было много женщин, от официантки до дочки фельдмаршала». Но эта фраза не была камертоном нашей беседы, она была просто деталью разговора старшего мужчины с младшим. На вопрос Д.С., как у меня с женщинами, я ответил, что совсем недавно женился на сверстнице. Он сказал, что слишком рано жениться плохо. Потом он спросил, пишу ли я стихи. Я ответил утвердительно, но тут же добавил, что я приехал ради Д.С. и диплома о нем и стихов читать не буду. Ему такой «великодушный» жест пришелся, кажется, по душе.

...Что такое возраст с пятидесяти девяти по шестьдесят девять? На моих глазах, видимо, снизилась энергетика Д.С. Но всплески бывали. А последствия оных все глубже и длительнее сказывались на нем. Он любил поэтический хмель в сцепке с виноградным. А это уже высоковольтное напряжение.

Он во всем знал меру, но в запоздалой любви читателей находил что-то очень притягательное для себя и часто жертвовал досугом и здоровьем ради скромных поэтических вечеров. Был человеком в чем-то общественным, эстрадным, но с опорой на глубокие уединенные тылы. Телевизионный вечер Д.С. в «Останкино» показал нам маленького человека в официальном костюме с галстуком, который заморозил зал своими стихами и простой, но не фамильярной интонацией общения.

Он берег не столько себя, сколько время, отведенное для разумных и приятных занятий. Или «поэтических» — выпивки с теми, кто по любви пришел к нему и мирно беседует.

¹ Буфет по-эстонски. В советском курортном Пярну на каждой улочке было по одноэтажной забегаловке с бутербродами, булочками, кофе, чаем и спиртными напитками. Давид Самойлов шутивно измерял расстояние в Пярну в «эйнеладах».

Иногда взрывался. Несколько взрывов адресовал и мне. Я не всегда чувствовал себя вровень (условие любого продуктивного общения), а он не всегда затруднял себя усилием создать такое общение. Вровень не по мысли — я понимал все, что он говорил, но, конечно, не все принимал — вровень на личностном уровне. У него, для облегчения задачи, видимо, быстро складывались образы собеседников, и он не любил их менять.

Я довольно часто тушевался и от этого был развязен, как юноша на свидании. К тому же порой он меня страшно ругал, я становился все неуверенней и возражал ему чаще всего уже потом, мысленно, в автобусе или самолете.

— Ваше поколение — говно, — убежденно и гневно говаривал он под горячую руку. — Вы все говно. Вы войны не знаете. Любви. Страха. Поэтому и стихи какие-то вялые. Инфантильные. Нет понятий. Где стихи с понятиями? Кому это нужно — про любовь, природу, кого интересует ваше страдание?

Это в нем говорил эпик, лирик умолкал.

Я сначала дергался, когда этот бич свистал над головой, потом рассудил, что у меня своя дорога. Но крови он попортил мне немало и стихов тоже. Ибо нет ничего хуже стихов с понятиями, каковые выпирают и торжествуют.

И потом, все понятия общие, их так же мало, как основных библейских заповедей. А если их больше, то наверняка столько же, сколько сказочных сюжетов по классификации Проппа. Сто двадцать что ли.

Но я почти не возражал. Терпел. Учился. Ему это запомнилось. Он как-то даже сказал, что это у меня хорошая черта — не обижаться на критику. Ничего себе была критика. Фельдфебельская. И вместе с тем отцовская. Нет, дедовская скорее. Чем-то я его раздражал. Неопределенностью своей или стихов? А ведь он не знал львиной доли моей писанины.

Не знал и не хотел знать. А иногда, как бы прозревая папочку с тесемками в моей сумке, предупреждал мое желание душевным разговором ни о чем или выпивкой «за жизнь». Однажды, разогревая домашние котлеты и поручив мне вскрыть банку эстонских консервов с мясом нутрии, очень проникновенно попросил: давай сегодня не будем о стихах.

Может быть, у него тогда был кризис (он по году мог не писать своего), может быть, разуверился во мне, а может, просто устал быть поэтом.

Это не мемуары, так, записки человека, в некотором смысле осиротевшего и в некотором смысле освободившегося.

...Недавно опять снился Д.С. В одном сне он был мягким и как бы прятал какую-то вину перед живыми. В другом вел себя как мэтр, что-то ворчливо говорил, потом решился слушать стихи неизвестного молодого человека, отвернулся от меня подчеркнуто, а после милостиво разрешил и мне почитать. Сюжет наших отношений был прерван на какой-то неопределенной ноте. В последние наши встречи он был щедр на похвалы, считал, что у меня в поэзии дело идет на лад. А я по-прежнему читал ему далеко не всё, утаивая почти все свои «экспериментальные» стихи.

Снисходительность по отношению к молодым вредна еще и потому, что она усыпляет их общественную чуткость, позволяет им беззаботно играть в бирюльки, вместо того чтобы сформулировать Вопрос эпохи применительно к человеческой совести и попробовать дать на него ответ.

Эти слова Д.С. произнес в январе 84-го года. Откуда у меня такая память? Я раскавычил цитату из газетной беседы Д.С. с критиком Сергеем Чуприниным.

Он сердился, что не видел сколь-нибудь состоятельных попыток задать Вопрос и ответить на Вопрос, в том числе и в моих стихах. Но, повторяю, он мало был знаком с моими стихами, но почему-то решил, что я на Вопрос не способен. А может, ждал проявлений, приметы искал и, не находя, нетерпеливо вздыхал и матерился.

Были ли эти приметы в стихах моих и в стихах моих друзей? Были, были. Но не это главное. Д.С. как бы заказывал нам открыть Индию, а мы открыли Америку. А

может, ничего не открыли, просто перестали писать в лоб и по лбу, и все подземные гулы и наземные тревоги нашли свое воплощение в наших стихах иначе, чем у Д.С. и его любимцев. Иногда он говорил мне, что мне не повезло. Он общался с Пастернаком, Заболоцким и Ахматовой, а я общаюсь с ним. Называл имена людей, с которыми мне следовало познакомиться, повариться в их среде. Они, дескать, помоложе, посовременней. Их стихи Д.С. симпатичны. Кажется, среди прочих он называл Олега Хлебникова, Мишу Поздняева и Андрея Чернова.

Сергей Аверинцев в одной из рецензий позволил себе несколько общих положений. Сказанное очаровывает какой-то изящной прямоотой и универсальной соотнесенностью с поэтами большими и малыми. Прочитую: «Когда младший поэт отталкивается от старшего и “преодолевают” его, это не манихейский конфликт добра и зла, не поединок святого Георгия со змием, а нормальная и здоровая форма преемственности. Для поединка избирается отнюдь не худший; что за честь одолеть худшего? ...преклонение пенится и весело закипает враждой, но вражда насквозь прохвачена самым серьезным уважением. В дальнейшем действует следующий закон: младшие способны более адекватно судить о сравнительном масштабе старших, чем наоборот, и это не потому, что старшие глупее младших, а потому, что реальная иерархия в стане младших может быть определена лишь по законам их поэтической системы, которой еще только предстоит быть выявленной. Грубо говоря, старшие почти всегда “ставят” не на тех младших, и это тоже нормально».

Д.С. то был прост, то вдруг взлетал туда, где судят по гамбургскому счёту. В последних книгах наметился какой-то перелом, переход к иному качеству, усилилось трагическое начало и вместе с тем как-то расступилась, размылась теснота стихотворного ряда — видимо, за счет употребления постоянных эпитетов и стертых поэтизмов. От этого мысль делалась приблизительной и банальной — по контрасту с другими его стихами, полными еготики.

У Маршака, в его лирике, да и у Твардовского тоже я нахожу такие же очень ясные и простые стихи, обращенные отнюдь не к провиденциальному собеседнику. И это скорее не от мудрости, а от усталости жить и мудрить.

Поэзия — это не прописные истины, которые надо утверждать с новой силой, это музыка значений, тайных и явных, смыслов, которые нам даны, быть может, только в предощущениях. Логически простое и очевидное тесно соседствует в ней с иррациональным, завораживающим. Д.С. это, конечно, понимал, но почему-то упрямо включал в сборники стихи, скучные своей правильностью. Дань времени, кругу, части характера? Державной логике? Эстраде?

Мне кажется, что ифлийская компания Д.С., особенно Коган, Слуцкий, Наровчатов и Кульчицкий, были в поэзии «императивистами». Хорошо это или плохо — это вопрос другой. На мой взгляд, «государственность», «масштабность», «историчность» мышления многих и многих русских поэтов ломает прежде всего их самих, разлучает их дар с несомненной и порой мучительной привилегией — вслушиваться в музыку вечности. А сейчас пиитические восторги почти полностью пожрались хаосом отрицательной мысли. Этот желчный хаос отнюдь не лучше жизнеутверждающего общественного императива. Поэзия должна быть нежной, даже в иронии. Но, кстати, «констатирующих», «императивных» стихов в книгах Д.С. не так уж и много. Я не буду их перечислять, дефилируя по всем изданиям. Это довольно скучный способ, хотя и действенный. И все-таки:

Хочется мирного мира
и счастливого счастья...
Хочется шуток и смеха
Где-нибудь в шумном скопище.
Хочется и успеха,
Но на хорошем поприще.

Конечно, это не стихи. Желания в рифму, вполне лояльные в то послесталинское время.

Еще есть текстик «Мост» из первой книги поэта «Ближние страны». А вообще плохих стихов в книжках Д.С. очень мало. То же и у Тарковского, Чухонцева, Кушнера, Шкляревского, Левитанского, Межирова, Рубцова, Ю.Кузнецова. Почему за этими именами гонялась читающая публика и книжки были нарасхват.

Но не в этом дело. Д.С. не знал ранней славы, но репутацию с поэтической юности имел неподмоченную. Правда, Галина, его жена, шутила, что Дээзик отравил ее пионерское детство радиопеснями на его ремесленные стишки. Ахматова называла его имя в числе самых интересных послевоенных.

Мое знакомство с Д.С. пришлось как раз на пору его растущей славы и популярности. Свою роль сыграл в этом его первый телевечер в Останкино в 1979 году.

«Я совершенно уверен, что меня во всей России читают сто тысяч. Этого мне хватает. Это даже много, если сравнивать с Европой, где книги поэтов издаются тиражом 2—3 тысячи экземпляров». Так или примерно так говорил Д.С. о своем читателе.

И еще: «Когда обо мне говорят "первостепенный поэт" или "неважный поэт", — я спокоен, ибо я не то и не другое».

Д.С. происходил из обрусевшей интеллигентной еврейской семьи. Война сильно сдвинула его программу. Об этом я уже писал. Поэт и мой друг Витя Смирнов, с которым мы посетили Д.С. летом 1987 года, потом говорил, не совсем точно, о послевоенном мире как мире коммуналок и пьянства. Была еще неистребимая в окопах и лагерях интеллигентность, русская теплынь полувольного застолья (все знали, кто стукач, и все равно щедро болтали) и неумная жажда любви и сочной жизни.

Одно высказывание Д.С., помеченное 19 марта 1979 года. Разговор зашел о потерянных для литературы поколениях. Д.С. сказал: «Они непечатны, потому что выпали из нашего литературного процесса, из официального понимания нашей поэзии. Они не оппозиционеры, не фрондеры, просто они очень глубоко интересуются жизнью души, они герметичны, религиозны...» Это он сказал, основываясь на впечатлениях о семинаре молодых поэтов, который вел где-то под Москвой. Когда прошло очередное всесоюзное совещание молодых писателей или что-то вроде этого, он сказал, что знает 30—40 молодых имен и что это поэты, только никто их не будет печатать.

Но в то же время он не любил, если я в стихах или в разговоре косвенно или прямо сетовал на безвоздушное пространство, на то, что если раньше удушали сроками, статьями, рецензиями, то теперь молчанием.

В раздражении он часто цитировал случай или анекдот, когда Мандельштам кричал вслед молодому поэту, который имел несчастье жаловаться, что его не печатают: «А Христа печатали?!» Или упоминал о Маршаке, который сказал кому-то: «Пишите так, чтоб вас нельзя было не печатать». И все же в этих инвективах был призыв некой обретенной сытости, хотя и поздней.

«Вы стали лучше писать, у вас исчезли жалобы». Это он мне говорил в последние встречи. А как же Рильке с его «звучными жалобами»?

Однажды я приехал, когда в Пярну гостила его престарелая мать. Она сильно болела. Помню стонущий зов: «Давид, Давид...» Он, как ребенку, втолковывал ей, что нельзя так часто звать по пустякам. И вместе с тем был очень заботлив, все время прислушивался: как она? Он не любил кокетничать своими трудностями, не любил, когда другие взхлеб повествовали и ныли о своей трудной доле. «Ну, как вы живете?» Его вопрос подразумевал не пространственный ответ, а проверку на включенность в диалог. Отвечать надо было по существу или вовсе не отвечать. Но, главное, не ныть, не жаловаться, не просить помощи. Он сам предложил мне написать врезку к моей первой

журнальной публикации, которая и появилась в «Таллине» с его предисловием в 1981 году. Единственное, о чем я его попросил, написать коротенькое ободряющее письмо моим друзьям, молодым и непризнанным свердловским поэтам. Что он и сделал без всякого ворчания. Еще я попросил у него автограф стихотворения «В Пярну легкие снега». На этот раз он поворчал, но пошел на поводу моей сентиментальности (пейзаж этой краткой элегии напоминал мне нашу первую встречу). Кстати, во время оной Д.С. прочел мне свои воспоминания о Пастернаке. Они хорошо написаны. Очень достоверные, живые. Ольга Всеволодовна в окружении кошек. Д.С. занял позицию семьи, против Ивинской. Что ж, его право...

В последнюю нашу встречу я записал для Эстонского радио его живую речь. Тоже о Пастернаке, как раз накануне его столетнего юбилея. Записал два интервью — первое о Пастернаке, второе о национальном вопросе. Пообедали. Он пошел подремать. Через час вошел в кабинет, где я листал какую-то книжку.

На прощанье он поцеловал меня по московскому обычаю, и я отправился на автовокзал. Потом было несколько телефонных разговоров, связанных с пластинкой Пастернака, потом я его мельком видел в театре, как он входил туда с Гердтом, два маленьких старика в цветник театральной публики. Ранним утром следующего дня я узнал о его смертельном инфаркте. Он погиб, как артист, почти сразу после своего выступления. Пока шел вечер, в каком-то зальчике накрыли стол. И все случилось, как в высокой трагедии. Или как в жизни. Где стол был яств, там гроб стоит.

Что за кусок поэзии выломлен из стены Времени с уходом Д.С.? И завершенный ли это круг? И что мы в соотношении с тем поколением? И есть ли вообще поколения в Духе, едином по сути? Пролистал двухтомник. Что сказать? Прекрасен язык в вещах больших: «Снегопад», «Струфиан», «Сон о Ганнибале», «Ближние страны», «Сухое пламя», «Поэт и старожил», «Цыгановы». Прекрасен и в некоторых малых. И в таких как большое стихотворение «Пестель, поэт и Анна». Причем, там, где история, природа, любовь. Передавать движение в природе, в смутной душе я учился по тому, как это чудесно сделано в «Михайловском» («Деревья пели, кипели,/ Переливались, текли,/ Качались, как колыбели,/ И плыли, как корабли.// Всю ночь, до самого света,/ Пока не стало светло,/ Качалось сердце поэта —/ Кипело, пело, текло»).

Там же, где картины мысли, вернее ее извилистого пути, или жизни малознакомой, не уместающейся в тень, которую лелеет европейская культура и цивилизация, — там почти всегда неудачи. Все же Д.С. — поэт знания и впечатления. Иногда, в целях самосохранения, некоторые знания и впечатления надо было таить или подкрашивать. Как-то Д.С. мне сказал, что у нас любят дураков и он иногда выдает себя за дурака, особенно в быту. Не от Пастернака ли это идет («Оставьте в покое этого юродивого»). Покой нужен для творчества. Неспешные прогулки вдоль моря, медитативные посиделки за коньяком в местных буфетах, куда так хорошо зайти с сырого мартовского морозца. Покой, а не московская говорильня и пьяный ЦДЛ в дыму. Но вернемся к поэзии Д.С. Музыка мысли, слитая с живописью (Мандельштам, Заболоцкий, меньше Пастернак), — не его территория, он по сути не логик и не императивщик. Самойлов не был эпиком, но не был и лириком. Он был маргиналом.

Он дуалист, но не дуэлист, он никогда не слал публичный вызов обществу и Судьбе. Тайно любил иррациональное, потому-то так хорошо чувствовал текущие состояния души и природы, но был и во власти Абсолюта (в смысле последней исторической прозы С.Наровчатова), к тому же не избавился от ученического уважения к такому поэту, как руководитель их семинара Илья Сельвинский.

Нет, он не эпик, не лирик, не драматург, не историк, не эссеист. Он — маргинал. Д.С. как маргинальное явление. Как маргинальная личность. Судьба. Ни Москва, ни Пярну не были ни его большой, ни малой родиной. Ему было хорошо то там, то здесь.

В творчестве он осваивал и освоил много пограничных участков. Жанров. Что такое перевод? Типичная область маргинального. В посмертных публикациях его дневников и поденных записей много из того, чего я не знал в пору знакомства с Д.С. Совершенно мимо меня прошел его обширный круг «неправильных» знакомств. А между тем он был почти своим человеком в кругу будущих литературных эмигрантов и знал видных советских диссидентов. Вместе с тем он всегда дистанцировался от радикальных взглядов и не любил резких суждений о таком-сяком народе и такой-сякой власти. У него был свой компас. Пушкин, Война и Победа. Вместе с тем понимал: «И все у нас бито и смято и все перепутано так, что нет путеводного знака, а только безвременья знак». Но не отчаивался, а надеялся, что можно перестроить страну на более светлых основах. Однажды, когда стал мне больше доверять, да и лихолетье под видом благой перестройки уже нависло над державой, сунул мне несколько изданных в Париже старых русских журналов. Видно, я опять задал ему какой-то трудный исторический вопрос. Ночуя в его пярнуском доме, я долго не мог заснуть под впечатлением от читанного. Особенно меня поразила статья философа Степуна, посвященная Ленину. Он там писал примерно следующее, что Ленин, не понимая сути европейской культуры и цивилизации, с рабым изуверством повалился в ноги европейской паровой машине и вот это и есть большевизм. Строй сверхматериалистов, поправший все свободы индивидуума. В детском садике сладкий образ бабушки Ленина, а здесь такие слова! Вот когда у меня возникли сильный когнитивный диссонанс и сомнение не в социализме, а в его вождях. А какие политические взгляды исповедовал «послушник ясновидца» Д.С.? Не знаю. Похоже, что у него были взгляды на политику, а не политические взгляды. Он понимал, что живет в сложной стране, за которую проливал кровь. Что ему надо кормить большую семью, зарабатывая не подлым и не противным образом. Что он и делал. Переводы в лучшие времена приносили ему по его утверждению иногда до полутора-двух тысяч рублей в месяц. А книжки его стихов выходили не так уж и часто.

В течение одиннадцати лет мы виделись от одного до трех раз в год. Я не был другом семьи, учеником и доверенным лицом, но я его любил и терпеливо сносил стариковскую побранку, не чуждую армейской соли. Я не знаю, каким он был дедом, отцом, сыном и гражданином, но дух в его стихах почти всегда брал верх над не-духом. И это нас примиряло.

Ко мне он относился по-разному — то жаловал, «заставляя» академиков трижды пить мое здоровье, то стучал суковаткой, отказывая в таланте крупном и сильном. Мне кажется, он был ограничен не сословием и кругом, а особенностями дарования, впрочем, весьма широкого. Нельзя сказать, что он лучше чувствовал время, чем мы. Он был ранен на войне и, как все воевавшие, — войной. Отсюда любовь ко всему преходящему, вернее, очень высокая ее степень. Шуберт, Моцарт, маркитант, внезапно хлебнувший из Леты Великой Отечественной. И алтайский пахарь Косов навсегда стал для него Тушиным, и он любил когда-то наезжать на Алтай и крепко там гулять. Он любил людей порядочных, талантливых, щедрых. Но любил также и льстивых. Хотя выслушивал критику спокойно. Но если она исходила от человека более или менее близкого, — нередко обижался и долго помнил.

...А стихи его я до сих пор перечитываю, как в юности. И в Пярну, в котором я не был очень давно, до сих пор выпадают и лежат легкие снега. Правда, не каждую зиму. И еще реже гостит у меня в сердце это ощущение жизни: «так свободно и счастливо»...

«Людям даны все знаки...»

*О романе Мишеля Уэльбека «Серотонин» размышляют
Александр СНЕГИРЁВ, Александр ЧАНЦЕВ и Ольга БАЛЛА*

Александр Снегирёв

Оглядываясь из будущего

Советник министерства сельского хозяйства Франции Флоран-Клод Пьер Лабруст встретил на испанской заправке двух девушек, одна из которых свела его с ума. Между ними ничего не произошло, он просто помог подкачать им колеса, но воспоминание о возможном счастье с шатенкой не дает ему покоя. Вспоминается Набоков: «Нет ничего пошлее, чем укол упущенного случая», однако здесь никакой пошлости в чувствах героя нет, есть лишь пронзительная невозможность, тянущаяся ясной нитью сквозь весь роман.

Постараемся, не раскрывая сюжета, проследить, как роман развивается.

После роковой встречи на заправке главный герой решает повидаться с основными женщинами своей жизни, попутно вспоминая, как между ними все сложилось в свое время. Этому предшествует череда весьма любопытных сцен с японской любовницей, заслуживающих самого пристального внимания. Вообще отношение главного героя к этой японке наводит на мысль, что он немного.... как бы это сказать... странный человек. Дальнейшее повествование это подтверждает. Прочитаете и сами все поймете. Само по себе путешествие по бывшим напоминает фильм «Сломанные цветы» Джима Джармуша, однако этим структурным ходом сходство исчерпывается. В фильме Джармуша главный герой, в исполнении Билла Мюрея, пытается вычислить мать своего сына, в существовании которого он сам до конца не уверен.

Уэльбек, как всегда, пишет о настоящем, оглядываясь, будто из будущего. Этот взгляд создает специфический эффект некоего странного измерения, в котором происходят события романа.

Проза Уэльбека технологична. Сама напоминает механизм и наполнена терминами: точными марками автомобилей и технических средств, цифрами, показателями и т.п. Сам текст будто символизирует некую вселенскую машину. Машина бюрократии, машина жизненных обстоятельств, машина неизбежности. Все они составляют один необозримый механизм, которому веками тщетно противостоит человек.

Главный герой ест колбасу и запивает вином — еще одна постоянная черта прозы Уэльбека. Неудивительно, что со здоровьем у героев его прозы не все ладно, такая диета сведет в могилу кого угодно.

Уэльбек — певец конца. Его новый роман, как и предыдущие, наполнен размышлениями о самоубийстве. Размышления о добровольном уходе из жизни не столько драматичны, сколько полны философии и рационализма. В этих размышлениях отражается старость великой цивилизации. Старость и осознанность.

Профессия героя — советник минсельхоза (именно советник на контракте, а не штатный чиновник, как написали некоторые критики) — выбрана символично. Отрасль загибается, на протяжении всего романа герой сталкивается с неспособностью что-то изменить, все движется к драматической развязке, которая, однако, для читателя окажется неожиданной. По крайней мере я не был разочарован. Сам Уэльбек в восьмидесятые работал в минсельхозе, поэтому с вопросом знаком не понаслышке.

Еще одна постоянная примета искусства Уэльбека — бездетность главного героя. Эта черта тоже работает на то, что перед нами последний защитник старинной крепости, капитан тонущего корабля.

Уэльбек неполиткорректен. В жизни с такими людьми непросто, а в литературе в самый раз.

Уэльбек — мастер выращивать экзистенциальность из повседневности. Ему не требуются детективные сюжеты, масштабное кровопролитие, батальные сцены, он намыкает золото смыслов прямо из будней.

В романе вы встретите фирменный юмор Уэльбека. Например, японской спутнице жизни героя посвящен такой пассаж: «она весила примерно столько же, сколько ее багаж», а диктатор Франко вполне аргументированно назван родоначальником массового туризма.

Много в романе посвящено индивидуальному бунту. Курение в отелях, где курение запрещено (детекторы дыма герой обезвреживает с помощью кусачек), саботирование разделения мусора.

Перемещение героя из отеля в съемную квартиру и обратно, путешествия по съемным домам неплохо символизируют временность человеческого бытия.

Неподалеку от одного из своих временных пристанищ главный герой встречает такого же путешественника, который держится особняком и не случайно — он тайный раб порочной страсти, которую главный герой обнаруживает.

Очень и очень многие духовные тропы современного европейца представляет в этом романе Мишель Уэльбек. В очень многие тайны нас посвящает.

Некоторые фрагменты не могу привести по причине беспощадного законодательства, но вот, например;

«Праздники вообще-то опасное время, а для людей страдающих депрессией это и вовсе может кончиться трагически. У меня было полно пациентов, которые 31 декабря пускают себе пулю в лоб. Именно 31-го, если им удастся пережить полночь, их отпускает. Только представьте, по ним и так уже Рождество шандорахнуло, целую неделю они раздумывали о своей дерьмовой жизни, возможно, даже строили планы, но планы рухнули, и вот оно уже, 31-е тут как тут».

И вот еще весьма показательная цитата:

«У кого не хватит духу убить, не хватит духу и жить».

И, конечно, в романе появляется ружье. Германская однозарядная снайперская винтовка «Штайер-Манлихер». Совершенный механизм, рассчитанный на один точный

выстрел. Еще одна важная деталь в стиле мастера. Не топор, не фомка, не крупнокалиберный пулемет, а однозарядная снайперская винтовка, которая, разумеется, сделает свой единственный выстрел, и он будет великолепен.

Здесь будет уместна еще одна выдержка из романа: «...как правило, ничего никогда не происходит, но иногда что-то все-таки происходит, и это что-то обычно застает врасплох. Так что немного потренироваться в стрельбе мне не повредит».

В этих незатейливых, но точных словах передан дух обывательских умонастроений современной Европы, к которой и Россия, без сомнения, относится. Так что, помимо увлекательного чтения, читатель получает еще и ряд ненавязчивых полезных советов.

Пора подвести итог, и он, возможно, покажется кому-то странным. Так вот — как ни странно, «Серотонин» — это роман прежде всего об обретении гармонии с богом. Не уютненьким удобным богом, обложенным подушечками, а с богом того мира, которому мы с вами принадлежим.

Александр Чанцев

Уэльбек

«Серотонин» Уэльбека — очень хороший, все так и есть: надежды совсем уже нет, ушла, кажется, даже самая непосредственная радость от секса, осталось только удовольствие от еды и шопинга, Запад (да и Восток — почитать Харуки Мураками и Ёсимото Банана с их бесконечной кулинарией) вернулся к оральной, по Фрейд, стадии банального поглощения.

Но только крайней депрессии героя не очень верю. Потому что настоящая депрессия — это не когда герой выбирает лучшие рестораны, полгода осматривает квартиры для съема, мотается по всей стране, встречается со всеми бывшими, обставляет новую квартиру, распечатывает и обвешивает ее 1500 фотографиями из своей жизни. А когда — нет сил и смысла ни на что, буквально мука ответить на вопрос или на мэйл, встать и покурить, встать, извините, в туалет. И описывать свою депрессию сил нет, а хочется только спать, исчезнуть, выключиться из этого ада в голове и вокруг. Но или бессонница, или кошмары, только хуже, потому что ты безнадежный выродок, не можешь даже просто заснуть, ничего не можешь.

Хотя да, бывает «синдром бегства от солнца» (Довлатов) с истеричной суетой, и у всех разные реакции, свои депрессии, все индивидуально, конечно.

Заходим и видим, конечно, ее. Пугая(сь) и смеясь — «попалась! Мы тебя съедем!» С улыбкой полная эта женщина садится перед нами за кухонный стол и начинает отрезать от себя куски, демонстрируя и расхваливая, но откладывая. Потом особо сладкий кусок с руки подает нам. Откуда-то уже и нашинковала на кубики.

Композиция «Jesus' Blood Never Failed Me Yet» Гэвина Брайарса построена на повторяющихся строчках нищего алкоголика. От него не осталось даже имени. Но осталась эта музыка. Много ли это или мало?

Главное, не позабыть урок жизни там, после, как утром пытаешься удержать знание из снов, тревожное либо, наоборот, радостное предчувствие.

«Мир оправданий перед взрослыми» (Н.Медведева).

Посв. А. А.

На «Пушкинской», в углу за эскалаторами, видел греющихся в метро бомжей. 2 из 4 читали книги. Подумал, что немного на них похож. И давно уже шепчутся в очередях, что ангелов в городе можно встретить только в двух облициях — бомжей на вокзале и детей на Каширке. А нимбы — светящиеся ошейники собак. Городские сказки, наверное. Хотя в 80 -м году, когда перед Олимпиадой всех нищих и попрошаек увезли за 101-й километр, Москва начала немного плесневеть, как некачественный хлеб, несмотря на все конфетти и салюты, которые в небо над городом положили, как марципановая блестящая корка законопачивает кулич. Корка как лед, под ним вода и редкие рыбки. Это задокументировано Мамлеевым. Все остальные ангелы давно нашли покой в общей воздушной могиле на старом молдавском Целановском кладбище. За захоронением ухаживает только один армянин с длинными волосами по прозвищу Медведь. Трупный бог. Крем из паутины. Алфавит воды. Все священные книги написаны на алфавите воды.

Дневник наблюдений над природой вещей. Изменение постоянств.

Мне так страшно, что хочется, как в детстве, в кровать к родителям перебежать. В их могилку. И снежинками нерожденных детей чтобы замело. В прощальную купель проруби горячее молоко согреть, как с больным горлом.

«Наконец-то фортиссимо!» — воскликнул Малер, когда впервые увидел Ниагарский водопад.

Живых френдов из друзей удаляю, мертвых — никогда.

Какие утопии, прожекты будущего, если у нас — даже утопия прошлого в руинах?

Купил снотворное. Смотрю побочные действия — депрессия...

Большой органный коллаيدر.

У этрусков была пытка — привязать тело живого человека к трупу. Так и я не даю моим мертвым похоронить себя, таскаю за собой мертвых кумиров.

Подумал, что если бы пришлось выбирать литературу только одной страны, выбрал бы, возможно, Францию. В конце концов, Монтень, Чоран, Селин и Уэльбек — все, что нужно знать о людях.

Уэльбек — занавес человечеству на бис.

Мыши съели звезды дыры надежды.

Скотобаза Элизий.

Человек — устройство для чтения электронных книг.

Человек — устройство для испытывания любви.

И для освоения смерти.

Евреймя.

Луна — долька лимона, пережившая не первый асфальтный чай. Зайцы глазами бессонников смотрят, как тают крупинки звезд.

Про литературных и прочих блогерш (блогерок? блогериц?) ведь у Булгакова еще было: «Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по радио. Сообщают о них всегда какие-то девушки, невнятно произносящие названия мест. Кроме того, каждая третья из них косноязычна, как будто таких нарочно подбирают». Да и на блогерах (видеоблогерах) сам язык сломалась.

Язык сломалась, неразменный рубль — это те выражения, которых стыдился у бабушек-дедушек, а вдруг сам используешь.

Рубил ли реконструктор Соколов руки аспирантке топором Раскольников? Кирилл Терешин избавился от «рук-базук». Веточка-скелеточка, бабочка где яблочко, так сгустает плоть.

Защищать меньшинства? Но и большинства не справляются.

На каком-то этапе любовь отваливается сама, как болячка с раны.

Луна — тающий снежок из детства.

Хикикомори наследуют мир. Просто тихо выйдут из угла, когда злые взрослые люди закончат со своей кровавой баней.

Крафтовая кровь.

Одиночество вдвоем умножается, но конечную сумму уже никто не узнает.

У Платонова надежда будущего не от Чехова ли с его умрем и там будет хорошо, отдохнем («Дядя Ваня»), работать ради людей через 200-300 лет («Три сестры»? Платонова гнал в будущее энтузиазм, Чехова — пошлость и безнадежность. Обоих тянуло на вокзал к паровозам (в вагоне-рефрижераторе отправился Чехов в свой последний путь). Обоих выкидывало из темных вод окружающей действительности на поверхность поплавок меланхолии, которая реализовалась то апатией (так и ненаписанный роман Чехова), то истерической энтузиастичностью (Платонов). Обоим точно не сиделось в этой жизни.

Сербская переводчица пишет после чтения моего рассказа с очередными жалобами на бессонницу — снов вам, до встречи в тексте.

Не-философия — это наука для изучения философии. Франсуа Ларюэль.

Если не оставить записку, своей интерпретацией у тебя даже твою смерть отнимут. Но записка нарушит, как звонок мобильного концерт, заберет у тебя часть последней свободы.

Всегда был очень дипломатичен и отдельно хорошо мог успокаивать, заговаривать, выслушивать психов. Пока сам не стал психом.

Кто-то в подъезде регулярно ломает мусоропровод, открывает окна и с бетонным корнем вырывает доводчик на входной двери, распаивая ее. Жарко? Сейчас, например, самый стильный жестяной московский ноябрь. Я исхожу из того, что люди плохи, но рационалистичны. А в мире бушует безумная совершенно злоба. И в политике, и отношениях, и религии. И сам я — ну той тоски, что еще похуже будет.

Вот и мои самые верные поклонницы, заметил, мигрируют в конце в самых лютых, как сейчас говорят, хейтеров. При этом я ничего не делаю, как Коко Шанель, даже не думаю о них, но процессы происходят совершенно сами.

Даже Бог, будучи в принципе против, дал человеку свободу — есть ли с дерева познания, стать ли смертным. А люди хотят лишиться и этого, осуждая самоубийства, лишают последнего покоя.

Утром часто вижу ковыляющего к метро бомжа. Добредя, он у входа раскручивает длинную соплю. У каждого свои ритуалы и обереги. А метро действительно страшно.

Этот офисный люд, который говорит «мы заключили контракт», «у нас...». Когда их уволят, то максимум съедят торт с соком в их честь в обеденный перерыв и тут же забудут. Еще и те, кому раскидают их проекты, будут жаловаться, в каком состоянии те оставили дела, чтобы подчеркнуть свою занятость, ведь уволенный, как мертвый, уже не возразит. У крестьян была память о предках, у аристократии, даже у буржуазии, но нынешняя корпоративная культура — наоборот, против памяти. Старость, смерть — тут же забыть и идти позитивно вперед, «хорошо отработать будущие показатели». «Сверим часы» — но это не время людей.

Смерть камней.

Я все жду, когда след от самолета распорет небо и за ним откроется что-то другое. Спрыгнут ангелы, посыплются подарки или детские игрушки.

«Наперстянка, *Digitalis purpurea*, чьи пятнышки — отпечатки пальцев эльфов, также называется пальцами мертвеца. В ней содержится яд дигиталис, впервые использованный в восемнадцатом веке доктором Витерингом для лечения болезней сердца. Наперстянку редко упоминали в старых травниках — Джерард пишет, что ее не использовали в медицине, поскольку она была горячей, сухой и горькой». Это Дерек Джармен в «Современной природе», прекрасных совершенно дзуйхицу о своем саде (привет Юнгеру), искусстве, гействе и смерти. А пальцы дигитального настигли уже после.

Блоги захватила эта так называемая «постмодернистская ирония» — не смех даже, а стеб. «Я умираю» — и «не ты первый, бугагага».

Кажется, визуальная культура окончательно победила логоцентрическую. Смешные картинки, демотиваторы, клипы, видеолекции — многим уже успешно заменяют чтение. А смайлики — письмо.

И уже текст стал иллюстрацией к картинкам, а не наоборот. Сослан на роль подписи, титров и массовки. Но скоро полетит дальше в тартарары бессловесного.

Научные доклады, презентации — двух имен и одну мысль без картинок уже не донести, расплескают!

Ведь и ад прежде всего визуален, яркие образы, *picturesque*. Данте и Даниил Андреев описывали, но знаем скорее по книжным иллюстрациям и голливудским фильмам (финал триеровского «Дома»). Да и «Розу мира», как сейчас Баз Лурман «Мастера и Маргариту», когда-нибудь Голливуд экранизирует.

Картинок хватит на всю жизнь! Хохотать хоть все время! И каждый день сочиняются новые! Анонимные, как творчество в Средневековье. Только тогда сочинения не подписывали, ибо автор всего Бог, а человек — скромный транслятор.

В ступоре тоски и я по полдня Фейсбук листал, бывало и есть.

После 40 — антиэйджинговый крем для лица и приложение для обработки селфи на фото Facetune2.

Спаси меня, Господи, от простых людей и их назидательной мудрости, все эти

избитые, как бифштекс, истины, шуточки и поговорки повторяются бесконечно и самодовольно.

Во сне вспомнил интересное место в Японии из прошлого сна.

Талия осиная, ноги стрекозиные, подвязки серпантинные.

Заметил, это чаще всего в дальних, неприметных храмах бывает. Смотришь на оклад. Старый, темный, окислившийся весь. А чуть повернешь голову и — всем спектром он, как стекло на солнце, глубина и голография, узор так и вертится. Никакого 3D и IMAX не нужно!

Дословесное существует. Ведь лучшие слова рождаются на границе сна, когда переход из слов — в другое. И почти все их я забыл, если не вставал записать. Например, что человек — это шанс благодаря своему нахождению на границе жизни и смерти. Пыль или собьется в угол, или взвоется солнечной радугой.

Бегут утром со своим кофе, как с мочой на анализы.

В 90-е модно было ехать в метро со «Сникерсами» и «Колой», в 2000-е — с пивом, в 10-е — все с кофе. Даже интересно, что вложат маркетологи в рот пользователей в 2020-е.

«В Подмоскowie коровам выдали VR-очки. Теперь животные пасутся на виртуальном поле» и улучшают удои. Людям приготовиться, хмыкнули бы Бодрийяр с Пелевиным.

Психологически не готов еще записаться на прием к психотерапевту.

Человек умножается, делится, складывается и вычитается.

Тысячи друзей и подписчиков, по городу не пройти, не встретив кого-нибудь знакомого. А какая безнадежная тоска, сказать некому. Да, я закрытый. Но нет, не скрытный. Просто никто не открывает.

Темнота, вечно темнота в этом городе. Нет, я не хочу уезжать. Да и не думаю, что поможет — как огонь у Линча, темнота пойдет за мной, как тень.

Если усомнился в своей нужности, стоит открыть «запросы на переписку» в Фейсбуке. Столько незнакомых людей, которым от тебя что-то нужно!

Пусть человек изменит мир после себя, а человечество вернет планету в том же виде, что дали.

У Элочки-людоедки был словарный запас в 30 слов? Не вру, прижатый в час пик к не очень и молодой женщине видел ее переписку вообще без слов — пересылала присланный прикол, потом обсуждала его смайликами-эмодзи.

Я звучу, как пожилой дед, отстраненный от жизни. Но мне в ней, нынешней, действительно не нравится почти ничего.

Botswana Blues, Kamakura kid.

В «Фейсбуке» была «лента страниц» — можно было информативно почитать интересные страницы. Убрали. Была еще на этой неделе вкладка «близкие друзья» — почитать отдельно тех, кто в избранном. Убрали. Зато появились «игры», «игровые трансляции», «вакансии», «недавние действия с рекламой» и «группы для покупок и поддержки». Давайте уже сразу оставьте одну рекламу и магазин и разрешите постить только фото котиков, еды и селфи с ограничением на количество знаков в «подводке». Все равно ведь все меняется только к худшему. Без(д)надежность.

Да никому книги не нужны. Выходила у меня недавно рецензия. Дал у себя — 2000 друзей и подписчиков. Дало издание, где рецензия вышла, — 16000 подписчиков. Перепечатала Ольга Б. — 5000 друзей и подписчиков. На сайте счетчик посещений — так вот 100 с лишним читателей. Книга — объективно интересная. Рецензия — тоже объективно неплохая. Но — никому ничего не нужно, неинтересно, нелюбопытно.

Город разрастается, но весь чужой. Некуда поехать. Умерли бабушка и дедушка — дом, куда мог поехать всегда, всегда были рады. Весь чужой огромный город, давит. Как чужая обувь. Депрессия — это вообще сдавленное зрение, иногда, когда отпускает немного, — будто зрение из прошлых лет вернули.

Осталась только мама, стареющая, сдающая на глазах так же быстро, как растут дети.

В воробушка перед смертью превратится, потом вспорхнет.

В переписке писателей часто встречаешь, как долго и подробно они описывают замыслы, их воплощение. Я — не представляю, чтобы кому-то из друзей так написал. Кому, почему бы это было интересно.

Обвинили Гогена в педофилии, раскопали могилу Дали из-за обвинения же. Скоро ли запретят искусство, ведь оно опасно. Или введут санкции и нормативы.

Либералы и патриоты, патриоты и либералы. Ненавижу оба лагеря, но третьей силы у нас нет, нет.

Стал немного локально популярен. Много (кажется) путешествую, много (и половины того, что хочу не) читаю, хожу на интересные концерты и так далее. Стали ли больше читать мои тексты? Нет. Стали — больше лайкать.

«Какая прелесть — очередной допинговый скандал с Россией. Было бы совершенно замечательно, если бы всех дисквалифицировали. Разом. Отменили все соревнования на этой прокаженной территории», — пишет Анжелина П., русская писательница, живущая в Европе. Таких постов — тысяча. Они лайкаются, перепечатываются. Это так модно, такой «актуальный тренд» — ругать мою страну. Господи, а что вы сделали для нее? Хоть что-нибудь, кроме докладов на международных форумах, как плохо в их бывшей стране, и 20 подобных постов в день? У революционеров в XIX веке было «хождение в народ», сейчас — хождение из страны. Сделайте какой-нибудь хороший бизнес, благотворительность, дайте просто денег на лекарства старушкам, вернитесь в страну, просто посадите тут дерево, перепечатайте историю о добре! Но нет, нет, зачем...

Россияне собрали миллион евро в помощь залитой водой Венеции. Широка русская душа, но почему бы не собрать деньги в помощь бедным пенсионерам или же вымирающим деревням? Потому что там не модно чекиниться?

Огромный интерес к внутренней политике (разоблачения коррупции от Навального и прочие разоблачения) и международной (Крым, санкции, допинговый скандал) я вижу. Борьбу за правду, защиту каждого осужденного, еще не осужденного, просто забаненного. А вот Ассанж вскрыл военные преступления, поплатился за это адом домашнего ареста, сейчас сходит с ума и умирает в полной изоляции английской тюрьмы. И кто-то из прекрасных наших борцов за свободу слова сделал материал, просто пост в его защиту? Нет, зачем, «русский след» тут не найти, да и «у Запада принципиальная презумпция справедливости правосудия», как мне на это в Фейсбуке объяснили.

Окна как иконки, окна как страницы.

Воскрешение Тамагочи. Гонки катафалков.

Ураган в Германии — Фейсбук сообщал мне о благополучии каждого немецкого френда. Флаги и соболезнования другим странам первого мира.

350 погибших в землетрясении в Иране, 200 человек — в теракте в Египте. Ни одного поста.

Мультикультурализм, гуманизм, равенство, respect for diversity...

Свобода в этом мире есть. Как в Айфоне. Ты можешь не устанавливать обновления операционной системы, но — лишишься функций, на старой перестанут работать приложения, потом и сам айфон перестанут обслуживать. Слишком дорогая она, а все бедные.

«Нам хочется, чтобы дети играли с игрой, чтобы игра была без правил. Нам будет грустно, если окажется, что детская игра подчинена правилам. Почему? Потому что если уж детская игра, то тогда вообще вся человеческая цивилизация подчиняется как сложный кукольный театр таинственным правилам. Нам от этого делается жутко. Ребенок нас, кроме шуток, хранит как цивилизацию, он выше цивилизации именно полной свободой игры вплоть до игры правилами и игры в игру» (Бибихин, «Витгенштейн»).

Яндекс.Дзен, Пикабу и прочие — много картинок, приколов и милоты, чуть текста и горячих новостей — чтение уходит в эту сторону и, боюсь, никогда не вернется. Только в маргинальной моли, как театр и опера.

Тело гниет. Сполна выполнив, по идее природы, свои репродуктивные функции, к пятому десятку — разваливаешься, вечно без сил, вечно у врачей. Где у других косметика над раковиной, лекарства. Хотя и косметикой рихтовать лицо надо. Даже изменился запах: младенцы действительно благоухают, а старики смердят, увы. Провонял, как старец.

Получаешь литературную премию — и не получаешь лайков от близких друзей. Хороший пример, что пагуба повсеместна и истинна, стоит лишь чуть поскрести быстро вянущую кожуру хоть чего-то хорошего.

Женщины живут дольше? Да даже их походка — плавная, обтекаемая, «orbit of her hips» — приспособляются, вписываются в жизнь лучше.

Гиппиус, когда во Франции Мережковский усомнился в своей популярности и захандрил, писала ему влюбленные письма от имени его поклонниц. Друзья спасали авторов от депрессий. Моим друзьям я нужен ради двух вещей — умного разговора о книгах, музыке и политике и выпить с под. Чуть моя резкая фраза от вечной ненависти к себе и миру — и развод на полгода, год.

Придумал новое жанровое определение — визии (visions).

Этот мир не мой. Где герои — инстаблогеры и Ксюша Собчак. Где мат, агрессия или тупой смех. Где нормальные певцы в последний раз появлялись лет 20 назад и давно умерли. Где картинки, зауженные брюки и реклама «на ты», машин и ипотеки, еды и телефонов, телефонов и еды. Даже крошки со стола считают того, что было моей едой.

Музыка — это попытка звукоизоляции от своего внутреннего шума, как молитва или медитация. Удается так же редко.

Вагон метро на моей спальной станции — пожилой господин в котелке и молодая чернокожая в красном тюрбане.

Фейсбук выдает в раздачу ленты только фото и твой текст, а ссылки и так лайкают гораздо меньше. Но для меня ссылки моих статей важнее всего. Такие примерно у меня расхождения с современным миром.

С современной Россией, написал бы либерал. С Западом, проклял бы патриот. Но нет — «обе вы хороши», как плюнула Маргарита на ссорящихся на коммунальной кухне теток. Ибо свободы (о культуре и духе молчу, тут же засмеют тухлыми яйцами) нет нигде. У нас еще даже больше, остались какие-то зазоры природного русского раздолбайства и былых советских льгот. Но и их быстро конопатят, наняв турок делать евроремонт.

Интересно наблюдать над изменениями лица с возрастом — как над распусканием розы вспять, от красоты до жухлых морщин. Тело же — как жук, что никогда не полетит.

На нашем ТВ предвзято показывают Навального или не показывают вообще. На западном предвзято показывают Ассанжа или не показывают вообще. Один и тот же Большой брат #1984, только под разными никнеймами.

Собаки со светящимися ошейниками и мобильные экраны — светлячки новой ночи.

Мама с телевизором, я с книгой — делаем в соседних комнатах вид, что живем.

Все ушли в землю или в дым. Тянет, здесь — не держит.

Больше, чем е..ться, любил вы...ваться. Из всех видов физической близости его больше прельщает та, в которой задействован мозг.

Новый способ манифестации игнорирования людей — в салоне самолета или на бизнес-ланче включить без наушников какое-нибудь ток-шоу или приколы.

«Иногда я мечтаю о любви далекой и туманной, будто шизофрения какого-нибудь аромата...» Пишет Чоран и одним своим импрессионистским афоризмом «делает» всех символистов-дадаистов. Ведь, при всей своей радикальности он работает во вполне традиционном философском и стилистическом ключе и обращение к сюрреалистическим туманностям наверняка назвал бы дешевым потаканием вульгарным вкусам.

Читаю его двадцать лет и — он один из немногих, кто не выдохся, не утратил силы. Наоборот, процент признания, совпадения и восхищения все выше.

Замершее сновидение, жасминовый оркестр.

Почти каждый мой знакомый писатель подвергался общественному осуждению в Фейсбуке. Даже не за взгляды не те, а — не с тем дружил, не тот пост. С. получил премию, в жюри которого входит К, которого обвинила... Осуждения, расфренд и так далее. Травля как свойство даже дважды (цех литераторов в загоне Фейсбука) толпы, ee best skill.

Последний тренд и призыв — стихи о травме, коллективные сборники. Кто не написал — того в бан и осуд!

«Жить в конфликте со своим временем — редкая привилегия. Каждую минуту ты отдаешь себе отчет, что думаешь не так, как другие. И это состояние острого несходства с остальными, при всей своей кажущейся ущербности и бесплодности, тем не менее, обладает философским статусом...», который никому не нужен. То есть оптимистичный или мужественный Чоран не дожил до наших времен, когда с таким

научились бороться. Очень изящно — объявив, что человек стал неприличен. «Да, он раньше хорошо писал. Но он же совсем стал... Вы что, не знали?» — и нерукопожатым выводят из круга, another one bites the dust.

— От тех, кто продает квартиру, еще нужна справка о психическом здоровье.
— С ума сойти!

Стресс — это когда получаешь, например, Нобелевскую премию. Две минуты радуешься, потом — кто я, я же недостойнее всех, это же говорить речь, что я скажу, это позавидуют тот и тот еще, а этот вообще распутит сплетни, а сколько интервью, благодарностей, это же ад, а у меня нет сил, ни на что, нет.

Уверенность в будущем? Если не случится кризис, санкции и так далее, то все равно не знаешь, на что пойдет моя следующая зарплата, на сиделку маме, на мою следующую болезнь или в долг друзьям. (Эта ушла на долг, а еще жилец очень нагло и профессионально съехал, не заплатив, еще и эсэмэс-плевков потом прислал, что все равно ничего не докажете.)

Немного покоя дают какие-то мелкие дела. Жизнь разбита — а пыль вытер. Три недели сил не было — а тут протер, маленькая победа над энтропией.

Переписываемся с Андреем И. на тему, какие у нас есть маньяки-поклонники. Он рассказывает еще про совсем опасного поклонника писателя Х. И что остерегается их описывать в книгах, ведь маньяки книги читают. Да, только они и читают...

Хотя Уэльбека читают.

Писать, чтобы — прочли (поняли) и не прочли (не узнали).

Человек, неудачное селфи Бога.

У Иличевского в «Воображении мира» о глаголе «гилгул» (аллитерация!): «Теперь я откатил (гилгул) от вас проклятие египетское» — Господь Иисусу Навину. И это же слово означает «круговое движение, совершаемое душой при перерождении». И тут вообще бездна смыслов дальше — «метанойя» (изменение, поворот ума) и «метемпсихоз»!

Цвела земля, тоска рвала.

Снилась церковь. Заставленная внутри и застроенная. Переходы, отгорождения, положены, свалены вещи. В том коридоре, где, ближе к крыше, пробирался я, были навалены матрасы и фрамуги. Такой и должна быть церковь.

Где в 60 лет будут все эти драйвовые пиарщицы, целеустремленные сэйлы, позитивные клерки? Никому не нужны седые пиарщицы, да и они изначально не умели ничего. Кому они будут продавать свою старость?

Люди из пыли, водоросли, с мутными зияниями на месте лиц, будто значок бренда им забыли проштамповать.

«Осень моя, пышнотелая крашенная блондинка,
Топчется на дворе, курит на холодке.
И золоченый окурок давит носком ботинка» (А. Беляков) —
Еще и с алым следом помады марки Momiji на фильтре.

Долгих вещей у нас вообще нет.

Ольга Балла

Он просто хотел жить счастливо

Незадолго до выхода «Серотонина» на русском языке сайт «Медуза» назвал новый, седьмой роман Мишеля Уэльбека книгой «о распаде традиционных ценностей и жестоком личностном кризисе»¹. В какой-то мере, несомненно, так оно и есть: и личностный кризис, и распад традиционных ценностей европейского общества здесь налицо, но об этом последнем как таковом тут не сказано ничего нового, да и о первом не очень много. Не говоря уже о том, что и одиночество, и поврежденность современной европейской цивилизации вообще и французской культуры в частности далеко зашедшим распадом, и проблематичность существования человека в — неустраиваемых, по всей видимости, — условиях этого распада — давние, можно сказать, коренные темы Уэльбека, знакомые читателю уже по вышедшим у нас лет двадцать назад «Элементарным частицам», и в этом отношении он совершенно верен себе. А одна из самых первых русских рецензентов романа — еще французской его версии, вышедшей в прошлом году, — Зинаида Пронченко вообще находит возможным прочесть его как посвященный «плачевной ситуации на рынке мясомолочных продуктов во Франции, связанной с установленными Брюсселем квотами на импорт из стран “третьего мира”» (что, кстати, несправедливо, — с этим связана лишь часть романа, и не самая главная), оговариваясь, правда, что это «очень условно» и что «в некоторой степени» он посвящен также «нежности»². (Скорее, ее невозможности, я бы сказала. Но главное — и не в этом.)

Вообще же кажется, что этот текст устроен более сложно, чем очередное проговаривание всех этих очевидностей.

При ближайшем рассмотрении, речь у беспощадного и безутешного³ аналитика Уэльбека на сей раз идет, скорее всего, о том, в какой мере личность привязана к культурным ценностям и условностям. Спойлер: привязана она к ним, по Уэльбеку, в чрезвычайно высокой степени — причем даже на биохимическом уровне, на что указывает и само название романа (серотонином снабжает главного героя антидепрессант, капторикс, без которого он все более не мыслит своей жизни и который запускает в его организме разрушительные процессы). В романе много и напрямую говорится о биохимической подоплеке смыслов, взаимоотношений с (жизненно необходимыми) условностями. Однако говорится в нем и о том, что культурные условности и ценности по-настоящему работают — оказывают свое животворящее действие — исключительно тогда, когда принимаются и переживаются как безусловные, как действительные основы жизни. И вот основа этого принятия, которая определяет степень его безусловности — уже в решающей степени биохимическая. От сознательной воли человека и его рациональных установок, выходит у Уэльбека, здесь зависит довольно немного. Депрессия, разрушающая личность, тело и жизнь главного героя, всего лишь демонстрирует это с особенной наглядностью.

Причем никак нельзя сказать, что природное начало, по Уэльбеку, определяет смысловые процессы решающим образом. Не способна к этому и очень властная вообще-то «маленькая белая таблетка овальной формы с насечкой посередине»,

¹ <https://meduza.io/feature/2019/10/12/serotonin-mishelya-uelbeka-luchshiy-roman-avtora-za-poslednie-20-let>

² <https://gorky.media/reviews/uelbek-na-dne/>

³ Уже цитированная нами Зинаида Пронченко почему-то видит в «Серотонине» «роман утешения», хотя ничто так не далеко от намерений и результатов автора, как это. Утешений и иллюзий никаких вообще (за исключением, может быть, крайне искусственно притянутых в самом конце романа рассуждений героя о Боге и Христе, которые думают о нас каждую минуту и подают нам знаки. Но неубедительность их так велика, что они, разумеется, не утешают).

регулирующая телесные процессы, ставящая человека в зависимость от себя, противостоящая болезни, с одной стороны, разрушающая организм — с другой. «Она ничего не создает, не видоизменяет; она интерпретирует. Все окончательное делает преходящим, неотвратимое — случайным. Она дает жизни новое толкование, обедненное, искусственное, слегка деревянное. Счастья она не приносит ни в какой форме, ни даже настоящего облегчения, ее смысл заключается в другом: превратив жизнь в последовательность механических действий, она просто помогает обманываться».

Сознательная воля, рацио, владеющие человеком идеи, идеалы и ценности, пусть и не определяющие всего, что происходит в их обладателе, — полноправные партнеры во взаимодействии-споре с другими силами, влияющими на человеческую жизнь (с физиологией, биохимией, социальными предписаниями...), они — достойные соперники всего этого. Что, опять же, не означает ни того, что они правее остальных участников спора, ни того, что они восторжествуют, — увы, скорее всего нет. Но свое слово сказать они способны. Притом не факт, что это их слово не окажется разрушающим, может очень даже оказаться: «Я мог бы осчастливить женщину, — вспоминает уже совсем готовый к смерти главный герой. — Даже двух женщин <...> Все было ясно, предельно ясно с самого начала, но мы этого не учли. Поддались иллюзиям, поверили в свободу личности, в то, что перед нами все двери открыты и возможностям нет числа? Не исключено, что так, тогда эти идеи витали в воздухе; но мы особо не вдавались, нам было неинтересно; мы послушно следовали идеям, позволив им таким образом себя уничтожить, и потом долго страдали».

По большому же счету, речь у Уэльбека идет об основах жизни. Эти основы, в ситуации непроблематичной нормы (предположим, что такая бывает) скрытые, нерелефные, становятся особенно видны — а потому и особенно проблематичны — в разрывах культурной ткани, в ситуациях кризисов — культурных, цивилизационных, личностных. Герой Уэльбека (сам по себе ничего особенного — надо думать, нарочно, в соответствии с авторским намерением — не представляющий) интересен как раз тем, что живет в ситуации сразу нескольких таких кризисов, наложившихся друг на друга: и неудач в личной жизни, и душевной болезни вместе с ее телесными истоками и последствиями, и разлада европейской культуры и цивилизации с державшими их на протяжении столетий ценностными основаниями. Именно благодаря заурядности Флорана-Клода Лабруста видно, как воздействуют эти кризисы на «среднего» человека, не имеющего в жизни ни особенных личных задач, ни выраженных интересов, ни проектов, которые могли бы вовлечь в себя его усилия и оправдать его существование в его собственных глазах. Никаких, вплоть до зарабатывания денег на жизнь: Флоран-Клод живет на родительское наследство и все никак не может его промотать, хотя в каком-то смысле даже очень старается.

С другой стороны, наличие таких проектов — в глазах Уэльбека — также не гарантирует никакого спасения, как не гарантирует его и количество вложенных в проекты искренних усилий. Это можно видеть на примере судьбы героя параллельной, так сказать, «младшей» сюжетной линии романа — друга студенческих лет Флоран-Клода, Эмерика д'Аркур-Олонда, — линии, проведенной автором явно с тем, чтобы оттенить судьбу самого Лабруста. У этого красивого, сильного, гармоничного на внешний взгляд человека, которого, забрав двух дочерей, оставила жена ради заезжего пианиста, были не только интересы (фанат рок-музыки, он собрал громадную коллекцию аудиозаписей), но, что, казалось бы, куда важнее, — целых два жизненных проекта, один крупнее и убедительнее другого: большое фермерское хозяйство и участие в социальном протесте из солидарности с коллегами-фермерами. Притом каждому из этих проектов он отдавался со страстью, чем Флоран-Клод уж точно не мог бы похвастаться. Ни один из этих проектов, не говоря уже о рок-музыке, не уберек его от того, чтобы пустить себе пулю в голову. «...Он просто хотел жить счастливо, но слишком увлекся своей фермерской мечтой, построенной на разумных объемах производства и качестве продукции, а еще мечтой о Сесиль, а Сесиль оказалась просто жирной сукой, помешанной на лондонской тусовке и своим пианисте, да и Евросоюз тоже оказался жирной сукой, придумал молочные квоты, Эмерик, конечно, не ожидал, что все так повернется». Причем застрелился он в самый драматичный

момент противостояния фермеров и полицейских, где Эмерик — как почудилось извне наблюдавшему за событиями Флоран-Клоду, был совершенно на своем месте — и совершенно самим собой. «...Он был потрясающе хорош собой, его отечное лицо волшебным образом разгладилось, но главное, он выглядел совершенно спокойно, чуть ли не радостно, его длинные светлые волосы развевались на ветру <...> Эмерик казался счастливым, ну почти счастливым, во всяком случае, он казался человеком на своем месте, а главное, его взгляд и расслабленная поза выдавали совершенно невероятную дерзость, он воплощал один из вечных образов мятежника <...> А еще — и вряд ли это понял кто-то, кроме меня, — это был тот Эмерик, которого я всегда знал, хороший мужик, мягкий по натуре и даже добрый...» Именно эта мягкая, добрая натура не позволила Эмерику вписаться в проект идеального мятежника — рука не поднялась убивать — и привела к ходу событий, который предстал внешнему наблюдателю как совершенно невероятный: «Он медленно повернулся слева направо, целясь сквозь щит в каждого спецназовца по очереди (они ни в коем случае не могли выстрелить первыми, в этом я был уверен, но это единственное, в чем я был уверен). Затем он повернулся в обратном направлении, справа налево; еще больше замедляя движение, он вернулся на исходную позицию и замер на несколько секунд, я думаю, секунд на пять, не больше. И тут какое-то другое выражение промелькнуло на его лице, похожее на всепоглощающую боль; он повернул ствол к себе, прижал его к подбородку и нажал на спуск». (Уж не сказано ли здесь мимоходом и о том, насколько иллюзорны составляемые извне представления о чужом счастье и чужом соответствии самому себе? — А заодно и о проблематичности идеальных — кажущихся таковыми — жизненных проектов. Коренной, неустранимой проблематичности. Ни одному проекту человека целиком не вместишь.)

Речь, таким образом, ведется здесь в конечном счете о ведущих стимулах к тому, чтобы жить, о природе этих стимулов, об их действии. Можно было бы сказать, что и о смысле жизни, — но это все-таки будет не совсем точно: скорее, о том, что смыслу предшествует, что его порождает — или, напротив того, препятствует его порождению. О предсмысловых корнях смысла, его возможностях и невозможностях. И — пожалуй, уже во вторую очередь — говорится здесь о соотношении в человеке социального, культурного, ценностного — и природного, биологического.

Пожалуй, максимально возможного для них согласия, а то даже и единства эти два вполне разноустроенных начала достигают — полагает автор — только в любви. По крайней мере, в случае современного Уэльбеку и всем нам европейского посттрадиционного человека. Особенного согласия достигают они в любви сильной, искренней, взаимной, в противном же случае обречены на ту или иную степень разлада. Именно потому — хотя не вполне, кажется, отдавая себе в этом отчет — Флоран-Клод так тоскует по утраченной любви, по самой — также на глазах утрачиваемой — способности любить, по тем, кого у него получалось любить (из многих его женщин — всего две, но это как раз понятно, исключительного и сильного много не бывает), по самому себе — любящему и таким образом без всяких усилий находящему самые убедительные резоны жить.

Авторская мысль тут, несомненно, не сводится к «all you need is love», дело сложнее. Но роман — в значительной мере еще и о природе любви. И не стоит преувеличивать степень авторского рационализма (который, как совершенно ясно и самому Уэльбеку, был бы убийственным для адекватного понимания предмета) в подходе к проблеме. При всем своем безутешном анализе Флоран-Клод и говорящий его устами автор сходятся, в конечном счете, в том, что любовь (как и ее невозможность) — тайна, не поддающаяся ни исчерпывающему пониманию, ни сознательному воздействию и управлению, ни, в конечном счете, собственному желанию человека. Флоран-Клод откровенно и мучительно не любит последнюю из своих женщин, японку Юдзу, — и вряд ли тут причина в ее развратности, действительно вполне чудовищной (в конце концов, можно было бы любить вопреки всему этому и страдать. Но нет). Не случилось ему любить и Клэр, одну из бывших его любовниц, с которой он встречается после многолетней разлуки в не очень внятной и тщетной надежде что-то в своей жизни наладить: он, может, и рад был бы испытать к ней хоть какие-то чувства, но, кроме отталкивания и тоски, ничего не выходит. Он уж

совершенно точно был бы рад и даже почти готов полюбить юную Одри, администратора отеля, где он долго снимал номер, — но слишком понимал, что ресурсов совсем никаких не осталось. Стать свободным от любви к утраченным Кейт и Камилле, как и вернуть их, у него тоже не получилось. Не говоря уже о том, что для него осталась в конечном счете закрытой и непонятной взаимная любовь его собственных родителей, которые после известия о смертельной болезни одного из них предпочли уйти из жизни добровольно и вместе.

Кроме всего прочего, здесь показано еще и отступление — по мере приближения к смерти — человеческих чувств, медленный, конфликтный, с отступлениями, со множеством внутренних сопротивлений выход из человеческого, «полночеловеческого» состояния. Может быть, хроника расставания человека с собой. Последовательность угасания одушевлявших его сил. Способность любить, о которой, утраченной, Флоран-Клод сокрушается больше всего, оказывается, пожалуй, наиболее полным (может быть, и наиболее адекватным) воплощением покидающей героя витальной силы. Она отступает одной из первых, открывая дорогу всем остальным. Одними из последних расшатываются отношения со временем («Я разучился вписывать свою жизнь в хронологические рамки»). Уэльбек очерчивает — неровную, зигзагообразную, с пиками и провалами — траекторию этого отступления, прослеживает, как социум сползает с человека, подобно — не слишком-то, как выясняется, и приросшей — шкуре. Выход жизни «на финишную прямую», которая, однако, предполагалась невыносимо длинной («я не продержусь больше десяти лет»). В конечном счете — развязывание отношений человека с жизнью и завязывание их со смертью. Жизнь рассеивается, как самообман или совокупность таковых.

Самый же конец романа, в котором автор оставляет своего героя на краю гибели, все-таки его через этот край не перебрасывая, выглядит как-то не очень убедительно. Прямо говоря, он выглядит неубедительным совсем. Не обнаруживавший на всем протяжении романа ни малейших признаков религиозности, соответствующего понимания жизни и вообще хоть какой-то метафизической чувствительности Флоран-Клод в предпоследнем абзаце вдруг начинает с уверенностью проповедника рассуждать о Боге и Христе (при том, что никаких свидетельств совершившегося в нем, утешающего, религиозного переворота тоже нет), да еще утверждать, что он Его понимает: «На самом деле Бог заботится о нас, думает о нас каждое мгновение и порой дает очень точные указания. Все эти внезапные порывы любви, от которых теснит грудь и перехватывает дыхание, озарения и восторги — совершенно необъяснимые, если исходить из нашей биологической природы, нашего удела обычных приматов, — суть предельно ясные знаки. Сегодня я понимаю точку зрения Христа, его постоянное возмущение ожесточением сердец: людям даны все знаки, но они не принимают их в расчет». Нет, неубедительно. Не Флоран-Клоду бы об этом говорить.

Галина Юзефович, чья рецензия на русский перевод «Серотонина» была, кажется, самой первой, не без оснований возводит Уэльбека к Прусту¹ с его внимательной, подробной интроспекцией. Пруста, безусловно значимого для французского литературного и человеческого самосознания вообще и понимания героем собственной жизни в частности, вспоминает устами Флоран-Клода и сам Уэльбек (тут самое время сказать, что он, кажется, с первых страниц наделил своего заурядного во всех отношениях героя избыточно литературным сознанием, самовосприятием и самоанализом утонченного интеллектуала, которых не слишком начитанному Флоран-Клоду взять вообще-то неоткуда: на всем протяжении романа он не подает почти ни единого признака интеллектуальных интересов, в основном смотрит по телевизору спорт и кулинарные программы — иногда только почему-то берет в руки «Мёртвые души» и высказывается о близости Гоголя его мироощущению, что опять-таки сильно контрастирует с заданным обликом, и только на последних страницах, уже выйдя, по его собственным словам, «на финишную прямую» и растеряв интерес вообще ко всему, вдруг принимается читать книги и размышлять о Томасе Манне, Марселе Прусте и Ламартине. Это самосознание, явно заимствованное автором у самого себя, конечно, добавило тексту сложности и тонкости, но не таким уж парадоксальным образом снизило его убедительность). Я бы добавила к числу его предшественников в данном случае еще Эмиля Мишеля Чорана — и даже сочла бы его более главным.

Евгений Абдуллаев

Завершая круг

Вот и 2010-е докатились до финиша; литературный народ взялся за подведение итогов.

В «Российской газете» о них размышляет Павел Басинский; в «Эсквайре» «главные тренды и события» перечисляет Анастасия Завозова; на «Colta» методом голосования определяют «культурных героев» 2010-х; в литературе ими оказались Прилепин, Быков и Пелевин (а кто-то ожидал других?).

Само подытоживание стало в это десятилетие почти трендом. Ежегодные опросы в «Дружбе» (они, правда, еще с нулевых — уже традиция). Ежегодное подведение итогов на «Литературе», на «Текстуре», на «Rara Avis», на «Горьком»... Не говоря о декабрьско-январских постах в ФБ, где литблогеры дружно отчитываются о своих читательских достижениях. И опять же, подводят итоги.

Это и неплохо — сам участвую, когда зовут. Хуже другое. Еще в середине нулевых в одной из толстожурнальных дискуссий, помню, ставился вопрос, какой *будет* русская литература (многое из сказанного, кстати, сбылось)¹. Сегодня о будущем не спрашивают. Живем с головой, повернутой исключительно назад.

Сложно, конечно, прогнозировать, когда подкожный запас все тоньше и половина литературных институтов существует по принципу «нам бы день простоять, да ночь продержаться». Но дело не только в этом. Сами десятилетия были пропитаны ретроспективизмом; прошлое — даже кровавое — вдруг сделалось понятным и симпатичным, и все страхи и ужасы переместились в будущее.

Попробую все же кое-какие итоги подвести и кое-какие прогнозы сделать. Нет, не для всей литературы всех десятилетий («Вся Одесса очень велика...»). Да и о некоторых ее признаках в этих «барометрах» уже писал. (О пробуждении интереса к детской литературе и жанру «производственного романа»; о востребованности литературных школ, о новой роли библиотек...). Здесь — поскольку пишу это в толстом литературном журнале — сосредоточусь на том, что имеет отношение к журналам и их окрестностям. И главным образом о прозе; поэзия десятилетий требует особого разговора.

Бракоразводный процесс государства с современной литературой наконец завершился. Литературе выплачиваются алименты, на которые она в 2010-е художественно существует — других источников не было: международные фонды, олигархи-меценаты — все это в основном осталось в девяностых—нулевых. Все десятилетие исчезали проекты, существовавшие на меценатские деньги. От премии Казакова в начале — до «Русского Букера» в конце и от «Континента» в начале — и до «Ариона» в конце.

По толстым журналам это, похоже, ударило сильнее всего. Да, разговоры о конце «толстяков» невяло текут с девяностых и всех уже утомили. И все же — почувствуйте

¹ «Знамя», 2006, № 6 (<https://magazines.gorky.media/znamia/2006/6/144954.html>).

разницу. И в девяностые, и еще в нулевые почти все новые литературные имена «оперялись» именно в толстых журналах и лишь затем являли себя *urbi et orbi*. Именно на толстые журналы приходился «центр тяжести» литературной критики. Именно толстые журналы стояли почти за всеми важными литературными проектами — премиями, фестивалями, семинарами молодых авторов. *Last but not least* — в толстых журналах еще платили гонорары.

В десятые все это исчезло — или почти исчезло.

Нет, журналы продолжали — в почти экстремальных условиях — делать то, что они делали. Искать и пестовать новых авторов. Поддерживать прежние проекты и генерировать новые — вроде студии сравнительного перевода «Шкереберть» («Дружба народов»), антологии современной татарской поэзии («Октябрь») или культурного центра при «Новом мире».

И тем не менее. Сегодня толстые журналы — даже не министры без портфелей. Портфели (редакционные) как раз наличествуют, и такие же переполненные, если не больше. Изменилось место журналов на литературном поле — поскольку изменилось само поле.

Изрядное число авторов, возникших в десятые и почти сразу вышедших в первые ряды, было выращено уже не на толстожурнальных грядках. Водолазкин, Яхина, Николаенко или «выстреливший» совсем недавно Служитель — имена, появившиеся сразу на твердых переплетках. Либо, как в случае Яхиной, журнальный дебют почти совпал с «книжным».

Еще в нулевые издатели предпочитали брать авторов, «проверенных» на столичных толстых журналах; в десятые ставка стала делаться на «темных лошадок», возникших как бы из ниоткуда. Издательский бизнес худо-бедно научился делать имена-«проекты» — не только в «развлекательном» сегменте (там это умели давно), но и в «серьезном».

Отдельные попытки бывали и в нулевые: «проектировали» то Илью Стогова, то Сергея Болмата, то Сергея Минаева, то вообще Бибиш, «танцовщицу из Хивы». Проекты оказывались эфемерными, очередным массовым продуктом, что вряд ли соответствовало амбициям авторов и их промоутеров. Литсообщество держало круговую оборону, литкритика их либо не замечала, либо встречала так, что второй раз звонить в ту же дверь не хотелось.

В нулевые имена-проекты стали возникать и в серьезном сегменте. Пусть «Зулейха» написана по тому же «Золушкиному» сценарию, что и «Танцовщица из Хивы» (где «Золушка» — еще и «угнетенная женщина Востока»), книга Яхиной сделана гораздо лучше и профессиональнее. А успех ее второго романа — «Дети мои» — показал, что Яхина скорее всего всерьез и надолго.

Вообще, в десятые значительно поднялся средний уровень литературного письма, особенно в прозе. Правда, само письмо опрощается, подсушивается. Еще в нулевые в литературе «премиум-класса» вполне естественно смотрелись и густой метафорический замес Иличевского, и тонкие стилистические игры Шишкина, и барочные избыточности Терехова. В десятые регистр изменился, мастерство теперь не в том, чтобы писать сложно, а в том, чтобы писать просто.

Это объясняет некоторое «замолкание» в десятые прежних «стилистов». Включая и Владимира Сорокина, главным достоинством прозы которого (в отличие от других, более сомнительных) был именно стиль. Нет, «Теллурию» заметили, а «Манарагу» даже отметили («НОСом»). Но «топовым» Сорокин оставался скорее благодаря прежним заслугам. В отличие от Пелевина, который работал еще активнее, чем в нулевые; опрощаться ему не требовалось: «ноль-стилем» он писал изначально.

Вообще, если говорить о стилистических тенденциях, то три постсоветских десятилетия чем-то перекликаются с тремя первыми советскими. Девяностые — с двадцатыми: период активных стилистических поисков (модернистских в 20-е, постмодернистских — в 90-е). Двухтысячные — с тридцатыми: постепенное исчерпание

этих поисков и приход реализма («социалистического» — в 30-е, «нового» — в нулевые). Наконец, десятилетия «рифмуются» с сороковыми — стилистическое опрощение захватывает даже прежних модернистов / постмодернистов. Пастернак пишет «Живаго», по его же признанию, слогом Лидии Чарской. Сегодняшние «пастернаки» тоже пытаются писать проще и хуже; об этом даже целая дискуссия в «Знамени» была (2014, № 1).

Изменился и стиль литературной критики. Ушла эссеистическая изящность; все более востребованы информативность и компактность. Интерактивность, постоянный контакт с читателем. На смену толстожурнально-газетной критике девяностых — начала нулевых (Андрей Немзер) и глянцевай — второй половины нулевых — начала десятых (Лев Данилкин) пришла критика сетевая — совершенно верно: Галина Юзефович.

Литкритика становится все более новостной — оперативность отклика порой важнее, чем его контент. Да и литературная новость — это уже не только книга, премия, скандал. Это, например, и аналитика книжного рынка. Открывателем и виртуозом этого жанра стал Владимир Харитонов, чьи обзоры на «Горьком» поглощаются с не меньшим интересом, чем когда-то рецензии Немзера во «Времени новостей».

Если коньком критики нулевых была социология литературы, то в десятилетия им стала ее экономика. Даже в случае толстых журналов мы, похоже, лучше осведомлены — благодаря соцсетям — о перипетиях их хозяйственной деятельности, чем о том, что в них выходит и стоит ли это читать (критика десятилетий толстожурнальные публикации не обзореваает). Сумеют или не сумеют выплатить свои долги «Вопросы литературы»? Отстоит или не отстоит свое здание «Новый мир»? Соберет или не соберет нужную сумму на продолжение своей работы «Журнальный зал»? Сумели, отстояли, собрали (пока). Вздыхаем с облегчением.

Что нас здесь в ближайшем будущем ожидает — я имею в виду толстые журналы и окрестности? Дилемма «либо под государство — либо под рынок», вероятно, будет сохраняться. В рынок толстые журналы не вписываются экономически (хотя Александр Гаврилов предположил, что они со временем станут своего рода «малыми издательствами»), в государственную систему — даже не столько идеологически, сколько из-за того, что сама власть к этому не стремится. Не видит в литературе того канала воздействия на массы, какой видели в ней когда-то большевики. Поэтому в лучшем случае — «алименты».

Это означает, что в двадцатые количество бумажных толстых журналов будет сокращаться. Сохранится, возможно, пара-тройка — остальные либо исчезнут, либо полностью перейдут в электронный формат. Возможно, несколько экземпляров, для авторов или библиотек, будет издаваться на бумаге в формате *print-on-demand* (еще одно новшество десятилетий).

Что касается «окрестностей», то здесь я еще более далек от оптимизма. Симпатичный портрет «нового читателя», как его изобразил директор «Фаланстера» Борис Куприянов, меня не сильно убеждает. Молодой читатель, который глубоко обдуманно выбирает, что читать, которого «трудно обмануть» рекламой, поскольку он сразу «чувствует фальшь»¹... Нет, я таких молодых людей тоже иногда вижу — в «Фаланстере». Или в «Пиотровском» (когда добираться до Перми). Это элита, и довольно узкая. Более же широкий (даже не массовый, а именно чуть более широкий) читатель будет читать все меньше — по крайней мере, художественной литературы.

Так что 2010-е через несколько лет нам покажутся не «странным десятилетием» (как уже успел назвать их Павел Басинский), а скорее «прекрасным» (как называл Андрей Немзер девяностые). И не столько благодаря прекрасным авторам, сколько благодаря читателю. Прекрасному и еще относительно многочисленному.

¹ Не-итоги года: Борис Куприянов о прошедшем и будущем // Сайт «Горький». 4 января 2020 г. (<https://gorky.media/context/ne-itogi-goda-boris-kupriyanov-o-proshedshem-i-budushhem/>)

Алексей Макушинский

Предместья мысли

Философическая прогулка

Предисловие

Эта книга задумана как книга с картинками — точнее, с фотографиями, сделанными мною по пути, который я в ней и описываю, — по пути из Кламара в Мёдон, от дома Бердяева к дому Маритена (и чуть-чуть дальше). В таком виде она и должна в ближайшее время выйти в издательстве «ЭКМО»*. Для журнальной публикации я выбрал начало книги, так что пояснения, наверное, излишни. Скажу лишь, что она движется от *piano* к *forte*, звучит сперва тихо и вкрадчиво, затем все громче, резче, решительней. Чтобы вполне расслышать эту мелодию, надо, разумеется, читать книгу целиком.

à Catherine Bréneau
Ideas are always wrong.

William Bronk

Exercer l'activité philosophique... c'est
perdre le Sens.

Rachel Bespaloff

Бердяев жил в Кламаре. Он поселился в этом (юго-западном) пригороде Парижа в 1924 году вместе со своей женой Лидией, сестрой Лидии, Евгенией Рапп, и матерью сестер, Ириной Васильевной Трушевой, почти сразу после их переезда во Францию из Германии, куда они прибыли двумя годами ранее на пресловутом «философском пароходе», лишившим Россию ее лучших умов. Клармар незаметно переходит в Мёдон, другой парижский пригород, тоже славный многими великими обитателями, русскими и не русскими; Мёдон, в свою очередь, превращается в Севр, более всего знаменитый своим фарфором (и мы о нем говорить здесь не будем). В Мёдоне с 1923 по 1939 год жил Жак Маритен, католический философ, «неотомист», то есть последователь Фомы Аквинского, вообще замечательный человек. Маритен был женат на русской еврейке, Раисе, урожденной Уманцевой (в другом написании — Умансовой, в еще другом — Уманцовой, Oumanzoff), у которой тоже была младшая сестра — Вера, — тоже, как и Евгения Рапп, прожившая почти всю свою жизнь вместе с сестрой и зятем. На этом

Макушинский Алексей Анатольевич — поэт, прозаик, эссеист, литературовед. Родился в 1960 году в Москве. Публиковался в журналах: «Арион», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Вопросы литературы», «Вопросы философии» и др.

* Роман вышел в издательстве «ЭКМО» в январе 2020 года.

сходства семейств не заканчиваются; поговорю о них позже. И у Бердяевых в Кламаре, и у Маритенов в Мёдоне дом был открытый; и там, и там происходили собрания, философские, католические, всяческие. «Я познакомился с Ж. Маритеном в самом начале своего пребывания в Париже, в 25 году», — пишет Бердяев в «Самопознании» (своей, иногда мне кажется, лучшей книге). «У меня было предубеждение против томизма, против католической ортодоксии, против гонения на модернистов. Но Маритен меня очаровал. Уже самая внешность Маритена мне очень понравилась. В нем было что-то очень мягкое в противоположность его подчас жесткой манере писать, когда речь шла о врагах католичества и томизма. У нас скоро установились с Маритеном самые дружеские отношения. Я его очень полюбил, что при моей сухости случается не часто. Думаю, что меня он тоже любит». Все это замечательно; и любовь, как мы знаем, это самое главное, и в жизни, и в философии, и в литературе, и в фотографии, и вообще во всем, что мы делаем. Мое собственное отношение к Бердяеву я бы именно этим словом и определил. Я люблю его; полюбил его, когда мне было лет восемнадцать; люблю с тех пор, до сих пор. Но, разумеется, и в голову не приходит любимому философу моей молодости сообщить читателю — как: как, собственно, добирался он (один или с Лидией, или с Евгенией, или с ними обеими, или с кем-нибудь из друзей, с отцом Сергием Булгаковым, с Георгием Федотовым, а то, может быть, и в сопровождении Льва Шестова, что было бы для нас еще радостней, еще интересней) из Кламара в Мёдон; он пишет об идеях, а не о жизни. А он ходил к Маритенам пешком; быть может, не всегда и не всякий раз; но все же, как рассказала мне моя живущая на самой границе Мёдона и Севра знакомая, Катрин Бремо, всю жизнь занимающаяся Россией, русским языком, русскими эмигрантами, обитателями этих парижских пригородов — а русские эмигранты в двадцатые, в тридцатые годы, то есть в лучшую эпоху эмиграции, эпоху ее трагического расцвета, любили селиться в пригородах (дешевле; и можно в лес пойти погулять...) — все-таки, и похоже — как правило, Бердяев к Маритенам ходил пешком; едва я услышал об этом, как что-то во мне щелкнуло, вспыхнуло; искра пробежала; рычажки и кнопки переключились; и я понял, что мне нужно делать; мне нужно, понял я, пройти этот путь, от дома Бердяева в Кламаре (83, rue du Moulin de Piette; во Франции номер дома пишут перед названием улицы) до того дома, где в Мёдоне жил Маритен (теперешний адрес: 10, rue du Gînygal Gouraud; до войны улица называлась иначе).

В Кламар идет поезд с вокзала Монпарнас, вернее, останавливается в Кламаре поезд, с вокзала Монпарнас идущий в Версаль, в Рамбуйе. Я жил в тот приезд в Париж у друзей на противоположном конце города, на Porte de Bagnolet; я собирался доехать на метро по третьей линии до станции Reaumur-Sébastopol, там пересест на четвертую, через самый центр (Châtelet, Cité, Saint-Michel) доходящую до Montparnasse-Bienvenue. В вагоне обнаружился средних лет дяденька, в черных очках, черном свитере и красных штанах, пытавшийся подзаработать пением какой-то мне, в отличие, может быть, от других пассажиров, неизвестной французской песенки, исполняемой им под аккомпанемент синего аппарата, висевшего у него на шее, выпускавшего хрипловатые гитарно-аккордеонные звуки; у дяденьки тоже не было, увы, ни слуха, ни голоса. На Père Lachaise он отправился петь в соседний вагон; тут же, наискосок от меня, обнаружился персонаж не менее примечательный, пожилой и очень толстый, с седыми, ангельскими, взлохмаченными кудряшками и выражением лица тоже отчасти ангельским — обиженно-ангельским; я подумал: в белой рубашке и с розовым рюкзаком — для запасных крыльев — с надписью Puma. Персонаж порывался со мною заговорить, я тоже не прочь был побеседовать с ним; на станцию, где я должен был пересаживаться, влетели мы слишком быстро. Парижские поезда не въезжают, но именно влетают на станции, со своим особым шипящим звуком, не похожим ни на какой другой звук ни в каком другом метро, из мне, по крайней мере, известных; едва собрался я углубиться в очередной бесконечный коридор, из каковых

парижское метро, в общем, и состоит, как увидел на стене надпись, сообщавшую мне и всем прочим просвещенным путешественникам, любителям русской религиозной философии, или, наоборот, адептам нео-томизма, что платформа четвертой линии на станции Montparnasse-Bienvenue закрыта на ремонт, поэтому лучше будет для просвещенных путешественников, если они возвратятся на третью, доедут по ней до вокзала Saint-Lazare и там уже переседадут на зеленую, двенадцатую ветку, тоже идущую на Монпарнас. Я был вознагражден еще одним чарующим персонажем, сидевшим, как и я сам, на откидном сидении в конце вагона и очень прилежно, очень похоже, красным химическим карандашом, мелкими, быстренькими штришками рисовавшим пассажиров; у персонажа была заострявшаяся, как его карандаш, полуседая ришельевско-мазариниевская борода, прямиком из семнадцатого века перенесенная в семнадцатый год двадцать первого (в 29 марта 2017 года; день моего кламарско-мёдонского, только-только начавшегося паломничества); еще были узенькие очки в ярко-зеленой, прикольной, пижонской, чуть-чуть фосфоресцирующей оправе. Непонятно было, как эта борода с этими очками уживались, и так мирно, на одном, и даже не очень, с виду, сумасшедшем лице; непонятно было также, как ухитрялся он рисовать в поезде, шатком и броском, как все парижские подземные поезда; как не тряслись у него руки. Руки у него не тряслись, и на меня, пытавшегося, в свою очередь, сохранить в записной карманной книжке, пусть первыми, приблизительными и как раз трясушимися словами, его борода, его очки и потому смотревшего на него почти так же, как он сам смотрел на свои сменявшиеся модели, поднимая голову от блокнота и вновь ее опуская, — на меня, мне показалось, он никакого внимания не обратил; если обратил, то виду не подал; сошел вместе со мною; исчез навсегда за очередным загибом очередного бесконечного коридора, заполненного, как все эти коридоры, гулким стуком шагов, убывающими, убегающими голосами подземных странников, призрачных путников.

Поезд в Кламар идет всего семь минут; я дольше ждал его отправления, чем ехал, дождавшись; глядя на пустую платформу, стараясь не слушать громкий, грубый арабский голос, не убывавший, увы, ни на секунду и не убегавший, увы, никуда, но все говоривший и говоривший, в растущем раздражении, по мобильному телефону у меня за спиной, вспоминал я — и нет, не мог вспомнить, как звали того персонажа моей молодости, моих восемнадцати лет, который дал мне почитать (не «на одну ночь», но тоже, наверно, ненадолго) «Истоки и смысл русского коммунизма» в классически блеклой самиздатовской перепечатке. Его звали — Миша? Его звали, кажется, Миша, но почему-то все называли его по фамилии — Миша и еще как-то, и вот не могу теперь вспомнить как; помню только его большие очки; ощущение опасной странности, от него исходившее. Я познакомился с ним в Тарханах, в музее Лермонтова, в неправдоподобной, как мне казалось тогда, глуши, где летом 1978 года проработал месяц экскурсоводом — моя первая попытка самостоятельной жизни, первое бегство из дому, из замкнутого, безопасного, постыдно благополучного внешне и совсем неблагополучного внутренне московского мирка, в котором я вырос. Я жил в избе, в условиях довольно ужасных; дружил, разговаривал и ходил за грибами с людьми замечательными, каких никогда не встречал прежде; там жившими, работавшими в музее; или, как я сам, приехавшими на лето. Вдумчивым экскурсантам из Воронежа и очаровательным экскурсанткам из Липецка рассказывал я всякие небылицы (вот любимый *бабушкин* столик, а вот на этом диване под литографией с картины Гвидо Рени сживал *сам Мишель*; и диван, и столик были всего лишь *похожие*, какие *могли быть* — настоящие все погибли, то ли мужики их порубили на дрова в революцию, то ли как-то по-другому они пропали); а зачем там был этот Миша (если так его звали, или это услужливая память мне подсовывает *Мишу* в честь Лермонтова?) — зачем он там был и что делал, я уже сказать не могу; возможно, какие-то сердечные дела, сентиментальные обстоятельства привели его в бывший Чембарский уезд (тогдашний

и нынешний Белинский район; пыльный, грустный, очень затрапезный Чембар, куда однажды я съездил, — родина, как-никак, неистового Виссариона) бывшей Пензенской губернии (тогда и ныне, соответственно, области). Из Пензы мы с ним вместе летели в Москву. В руках у меня была, помню, авоська с двумя банками маринованных — или соленых? никогда не мог понять разницу — белых грибов, собранных мною вместе с дамой, с которой меня самого связывали некие сентиментальные обстоятельства (и которую мне больше не суждено было увидеть); ожидая посадки, стояли мы за столиком в аэродромном буфете, где подавался тот незабвенный, прямо из ведра наливаемый советский кофе с молоком, примерно такое же отношение имевший к молоку и кофе, как диван и столик в музее Лермонтова к настоящему столику, подлинному дивану; здесь был столик высокий, валкий, круглый и грязный; под столешницей обнаружился крючок для сумок; то ли он отвалился, то ли промахнулся я, нацепляя на него лямки моей авоськи; в общем — все рухнуло; пахучей жижей растеклось по изумленному полу. Хорошие грибочки... были, провозгласил Миша (если его звали Мишей... и даже если его не звали Мишей, он все равно сказал так; вот это точно, и навсегда, я запомнил). Очки его поблескивали несочувственно; во всем его облике что-то было от предшествующей эпохи, от шестидесятых годов. А он и был человеком шестидесятых; ко времени нашего с ним, очень краткого, вскоре, Бог знает почему, прекратившегося знакомства, ему уже было, наверное, лет тридцать, если не тридцать пять. А ведь с тех пор прошло еще тридцать девять, почти сорок, целая жизнь, думал я в вагоне все никак не отправлявшегося в Кламар поезда, по-прежнему стараясь не слушать арабский грубый голос у меня за спиной и отчетливо вдыхая свежий скользкий запах тех давних, дивных, разбившихся на пензенском аэродроме грибочков (вместе с банкой разбились и сентиментальные мои обстоятельства; а какой другой была бы эта — целая жизнь, какими другими эти — тридцать девять лет, если бы возвратился я в ту глушь и к той даме, любительнице долгих прогулок). В самолете не было заранее предписанных мест, любой пензяк со всеми своими тюками, пензячка со всеми своими сумками садились, куда им вздумается, и самолет был очень допотопный, очень пропеллерный, не летел, а проваливался, падал, взмывал и дрожал, когда же долетел наконец до Москвы, то приземлился аж на Быковском аэродроме, где не бывал я ни до, ни после того, куда не знал даже, что садятся еще самолеты, и откуда мы добирались до города, до Казанского вокзала, на электричке, переполненной кротовскими дачниками, с недоброжелательным удивлением смотревшими на наши очень не-дачные чемоданы и рюкзаки (в моем был спальный мешок, которым, ночуя в избе, пытался я защититься от идиллических ароматов, романтических насекомых); взяв такси на вокзале, ни о чем, кроме как о горячей ванне, химическом благоухании пены, я думать уже не мог. Что бы ни говорили Руссо и Толстой, цивилизация — великое дело, хорошая вещь.

Все перепуталось навек, Россия, Лета и Лорелея, и может быть — да, может быть — нет, был — или не был этот Миша (не-Миша) как-то связан с диссидентскими (так скажем) кругами, или кто-то, наоборот, предупредил меня, чтобы я с ним держался поосторожнее, потому что связан-то он связан, а репутация у него подмоченная, человек ненадежный... все это теперь расплывается перед моим внутренним взором, спустя жизнь и вечность, а вот, все же, что именно он дал мне, осенью все того же 1978 года, заветный, драгоценный, опасный экземпляр поздней бердяевской книги «Истоки и смысл русского коммунизма», с классической самиздатовской блеклостью перепечатанный на машинке, — это точно, это было наверняка; и вот тут-то, впервые в жизни, я вообще что-то понял про «русский коммунизм», его «смысл», даже его «истоки». Дорого дал бы теперь, чтобы прочитать эту книгу своими тогдашними глазами. О Лермонтове Бердяев упоминает там только единожды, цитируя его — «профетические» — стихи о грядущей революции, черном годе России, когда царей корона упадет, и о мощном человеке с булатным ножом в

руке, который посмеется, читатель, над твоим плачем и стоном... Зато немало пишет о неистовом Виссарионе, о его продолжателях, о Чернышевском, о Писареве, о которых, в восемнадцать лет, я только то и знал, что мне в советской школе о них рассказывали, — и следовательно, знать ничего не хотел, — о русском марксизме, о Михайловском, Лаврове, Ткачеве, о Ленине, еще прищуривавшемся на меня изо всех углов, со всех стен. Здесь впервые, кажется мне теперь, прочитал я, что коммунизм — своего рода псевдорелигия, эрзац-религия, потому и борющаяся так яростно со всеми другими религиями, что видит в них конкурентов; мысль, которая теперь кажется едва ли не трюизмом, так много я читал и думал об этом с тех пор; которая поразила меня тогда. Запретный плод сладок? Запретный плод сладок безмерно; ничего на свете нет слаще. Я был антисоветчиком «стихийным», теперь стал «сознательным» (чтоб уж воспользоваться любимыми словечками только что — не к ночи — помянутого прищуря). Все-таки дело было не в воспитании юного антиленинца. За этой первой книгой последовали другие — «О рабстве и свободе человека», «Самопознание» — навсегда оставшиеся моими любимыми; и там речь шла уже о совсем иных, бесконечно более важных вещах.

Был у меня — настоящий, в отличие от этого случайного Миши, — друг, которого в «Городе в долине» я назвал Тихоном; сохраняю за ним это имя; тогда жил он, помнится, в коммуналке на Никитском бульваре (в ту пору еще — Суворовском); убогая его комната вновь и вновь превращалась в пункт обмена нелегальной литературы, в табачном дыму. С коммунизмом и его прищурями разобрались мы довольно быстро, а вот «экзистенциальная диалектика божественного и человеческого» — с ней разобраться мы не надеялись, но почти ни о чем другом, в какие-то месяцы жизни, говорить уже не могли. Был табачный дым в комнате, серыми клочьями висевший над нашими головами, затем устремлявшийся в форточку, из которой тянуло ледяным ночным воздухом. Мы и сами выходили в снежную ночь. Вокруг была притихшая, пустынная Москва того времени, теперь уже и не вообразимая более; пустынная, притихшая и огромная, словно дожидавшаяся чего-то (без большой, впрочем, надежды, что это что-то настанет); пролетала, шурша шинами, брызгая разъезженным снегом, одинокая «Волга»; тормозил у светофора еще более одинокий «Москвич» (из той породы, каких ныне уже не увидишь); окончательно одинокие снежинки кружились под фонарем на углу тогдашней улицы Герцена, возле кино с патетическим названием «Кинотеатр повторного фильма», выкрашенного (если память меня не подводит) в бледный, блеклый, голубовато-зеленоватый, в себе самом неуверенный цвет (кино, в которое, случалось, заходили мы с Тихоном, поскольку и в самом деле показывали там фильмы иногда замечательные, каких больше нигде уже было не посмотреть, хотя и не такие редкие, разумеется, какие показывали в «Иллюзионе» на Котельнической набережной: таких фильмов, какие там показывали, больше вообще нигде не показывали; три — или четыре? — или сколько раз подряд, в этом «Повторном фильме» смотрел я, помнится, никогда не забудется, картину Антониони «Профессия: репортер» с великолепным Джеком Николсоном и прекрасной, пленительной Марией Шнайдер в главных ролях; картину, в которой видел тогда — справедливо или нет, уж другой вопрос — один большой призыв к свободе; которую попытался недавно посмотреть снова — и, честно признаюсь, заскучал). Свобода, конечно. Призыв и прорыв к свободе — вот что было главное в ту далекую пору, не потому лишь, что мы жили в очень несвободной стране. Да речь и шла не о политической свободе, во всяком случае не только о ней, о ней не в первую очередь. А, собственно, о какой же? Сказать: о «внутренней» или «тайной», значит, ничего не сказать. И вовсе не была она только тайной и внутренней, эта искомая нами свобода. Но это была свобода в каком-то всеобъемлющем, преображающем жизнь смысле, включавшем в себя и внутреннее, и внешнее, и тайное, и открытое, свобода в том изначальном, ни к чему другому не сводимом, ни из чего не выводимом смысле, в каком она и предстает у Бердяева. «Меня

называют философом свободы», — пишет он в «Самопознании». «Какой-то черносотенный иерарх сказал про меня, что я „пленник свободы“. И я действительно превыше всего возлюбил свободу. Я извошел от свободы, она моя родительница. Свобода для меня первичнее бытия. Своеобразие моего философского типа прежде всего в том, что я положил в основание философии не бытие, а свободу. В такой радикальной форме этого, кажется, не делал ни один философ. В свободе скрыта тайна мира. Бог захотел свободы, и отсюда произошла трагедия мира. Свобода в начале и свобода в конце. В сущности, я всю жизнь пишу философию свободы, стараясь ее усовершенствовать и дополнить. У меня есть основное убеждение, что Бог присутствует лишь в свободе и действует лишь через свободу. Лишь свобода должна быть сакрализована, все же ложные сакрализации, наполняющие историю, должны быть десакрализованы. Я сознаю себя прежде всего эмансипатором, и я сочувствую всякой эмансипации. Я и христианство понял и принял как эмансипацию». (Хотел оборвать или сократить цитату — и не сумел; так в ней все характерно.) При всем несхождении с Бердяевым, при всех разногласиях с ним — ну конечно, я могу это сказать о себе. Я тоже «извошел от свободы», она и моя «родительница» (я только христианство никогда не мог ни понять, ни принять как эмансипацию, но эмансипацию понимаю как эмансипацию в том числе и от христианства). Вот этот «примат свободы над бытием», как его называет Бердяев, он же примат частного над общим, личности над социумом — и вообще над чем угодно, он же, в сущности (о чем мне предстоит еще говорить), примат «динамики» над «статикой», «диалога» над «монологом», этот последовательный персонализм — все это навсегда осталось во мне, как то (незыблемое) основание, на которое уже могли потом (и могут теперь) наслаиваться мои с ним разногласия. Мы об этих позднейших разногласиях тогда с Тихоном, конечно, не думали. И мы не просто так гуляли, наверное, по затаившейся и притихшей Москве — хотя и это случалось, — но все-таки чаще шли мы еще к кому-нибудь и куда-нибудь, только вот я не могу уже вспомнить куда, к каким-то, что ли, девушкам на Самотёку, отдаваясь той ночной и разгульной жизни, которой, я думаю, и нельзя не отдаться в восемнадцать и в девятнадцать лет, какие бы книги ни формировали тебя в то же самое время, которая, впрочем, довольно скоро мне надоела.

Париж не успевает отступить далеко за семь железнодорожных минут: с дебаркадера Клармарского вокзала видна по левую руку возлюбленная Эйфелева, по правую — Монпарнасская башня, черная, страшная; видны крыши, дальние, ближние; небо над крышами; верхние этажи послевоенных, для нового массового общества возведенных домов, теперь уже тоже не новых, в свою очередь постаревших. А что видел Н.А.Б., сходя здесь с поезда, после заседания в УМСА, лекции в Религиозно-философской академии или собрания Пореволюционного клуба у И.И. Фондаминского? Вон ту крышу, тот тополь, то облако? Да и смотрел ли на все это? или думал о Якобе Бёме? о статье для ближайшего номера «Пути»? об очередной новой книге? А вид и вправду не замечательный — всего лишь предвестие и только предзнаменование того *прекрасного вида* (Bellevue...) на *весь Париж*, который (вид) ждал меня в конце моего пути, ждет — меня и читателя — в конце книги (скажу это сразу), с вершины Мёдонского холма, из парка и с террасы, где был некогда замок, сгоревший сперва в Революцию, затем во время Франко-прусской войны, где теперь обсерватория (значит — звезды, к которым всякая книга и должна, наверно, стремиться). А тишина на этой Клармарской станции, в семи минутах езды от Парижа, уже почти сельская. Электричка удаляется; уменьшается; убывает и исчезает; два пассажира, сошедшие вместе с тобою, исчезают тоже, обгоняя друг друга; и ты совершенно так же стоишь на перроне, с тем же ощущением невозможности сразу справиться с внезапным переходом от движения и шума к молчанию, покою и философской рефлексии, как на любой платформе, подмосковной и пригородной, тридцать девять или двадцать девять

лет тому назад, в Кратове, в Отдыхе, в Переделкине или (да простят меня музы...) Мичуринце.

Станция перестраивалась; поверх громадного котлована, обнажавшего внутренности мира, трубы и сваи, бетономешалки и камнедробилки (замечательные бетономешалки и восхитительные камнедробилки; ярко-красные и те, и другие) проходил навесной, временный, тоже: ярко-, даже яростно-синий мост, явно стремившийся вступить в цветовой спор с дробилками и мешалками; в конце концов приведший меня на привокзальную площадь, где внутренности мира закрылись. На площади обнаружили дома, еще совсем не сельские, вполне городские; отчасти даже торжественные; среди них — два кафе: кафе «Приезд» (De l'Arrivée) и кафе «Отъезд» (Au Départ); я — приехал и уезжать не собирался, но зашел все-таки во второе. Туалет закрывался там на очень импровизированный крючок; за стойкою, продавая сигареты и кофе, стояли две, почему-то, японки, похоже — сестры; местные мужики, пившие кто пиво, кто кофе, с явным удовольствием, гордясь своими познаниями, объяснили мне, как пройти на улицу Петровой Мельницы (rue du Moulin de Pierre; интересно, кто был этот Пётр? или это вообще никакой не Пётр, но — камень, и значит — мельница из камня? значит и улица Каменной Мельницы?). Я у них спросил об этом *так*, на всякий случай; перед выездом из Парижа вдохновенные полчаса посвятил я общению с программой Google Maps, во всех подробностях и тоже с удовольствием рассказавшей мне, как пройти от Бердяевского дома до Маритеновского — и как до первого из них дойти от вокзала в Кламаре: по проспекту Жана Жореса до улицы Леона Гамбетта, потом направо по Кондорсе — и сразу налево, в искомую Петровомельничную (Каменно-мельничную); путь несложный, недалёкий. Прежде чем пуститься в него, тоже выпил я кофе *впредотъездном* кафе, записывая первые впечатления, перебирая давние мысли.

«У меня незыблемая вера в Бога», — утверждает Бердяев (в записных — тоже — книжках, посмертно, в 1961 году, опубликованных в мюнхенском журнале «Мосты»). Вполне доверять дневникам и записным книжкам, конечно, нельзя. Может быть, и не всегда была эта вера такой — незыблемой, может быть, иногда все же — зыблилась. Но даже с этими оговорками — утверждение примечательное, поразительное. У меня незыблемая вера в Бога... Вот чего у меня никогда не было; не только — незыблемой, но — вообще никакой. Давид Юм писал когда-то: «Не только в поэзии и музыке, но и в философии мы должны следовать своему вкусу и чувству. Когда я убежден в каком-нибудь принципе, это значит только, что известная идея особенно сильно действует на меня». Вряд ли Бердяев был большим поклонником Юма — хотя Юм, как мы знаем из истории философии для дошкольного возраста, оказал решающее влияние на Канта, пробудив его от «догматической дремоты», Кант же, в свою очередь, весьма и весьма повлиял на Бердяева, — но с этим он бы, наверное, согласился. Юм говорит «вкус и чувство»; Бердяев говорил о «духовном опыте». В моем духовном опыте мне раскрывается то-то и то-то. А мне в моем духовном опыте раскрывается что-то иное. Мне — в моем духовном опыте — раскрывается полная невозможность верить в какого бы то ни было бога (с большой буквы, с маленькой буквы). И значит, думал я, заказывая у японок второе эспresso, я не разделяю самую главную, фундаментальнейшую предпосылку всей их мысли и всех их мыслей — и Бердяева, и Маритена, и Пеги, и Блуа, и Паскаля, и почти всех, кого мне еще предстоит упомянуть на этих страницах. А все-таки я читаю религиозных мыслителей (воспользуемся этой сухой формулой), и только что перечисленных, и совсем других — и мастера Экхарда, и Николая Кузанского, и, скажем, Симону Вейль, — целую долгую жизнь, не могу от них отвязаться (не так же ли, в сущности, как читал, не мог отстать от приверженцев и учителей веры — разных вер — Эмиль Чоран, самый, может быть, последовательный скептик из всех мне известных? или как читал их Альбер Камю, решительный атеист, мой герой? Камю, который, прежде чем отправиться в Стокгольм за Нобелевской премией, провел сколько-то времени, не знаю сколько, в квартире возле Люксембур-

гского сада, где Симона Вейль жила до войны, не просто провел там сколько-то времени, но — сцена потрясающая! сцена из романа, в сущности (а вся жизнь Камю — это роман, один из лучших в двадцатом веке) — попросил оставить его в одиночестве, в ее комнате, собираясь с мыслями и укрепляясь душой, как если бы только она, Симона, к тому времени уже четырнадцать лет как покинувшая сей бранный и бранный мир, Симона Вейль, с ее слепящей искренностью и беспощадным пламенем мистического фанатизма, — как если бы только она одна, или память о ней, или дух ее, могли помочь ему справиться и с той светской ролью — фрак, король, безумие фотовспышек, дребедень интервью, — которую предстояло ему сыграть, и с тем потрясением, которым наверняка была для него, сына простой алжирской фабричной работницы, не умевшей не только писать и читать, но почти не умевшей и говорить, сама Нобелевка — которая, впрочем, была бы потрясением для любого из нас, независимо от происхождения и прочих привходящих обстоятельств). И мне вовсе не обязательно верить в Бога, или вообще во что-то верить (или — не верить), чтобы оценить — что: оценить? — полюбить, навсегда запомнить! — бердяевскую, например, фразу из того же «Самопознания»: «Бог есть правда, мир же есть неправда». Ну, конечно, мир — это неправда, правда — это Бог. Я всегда это знал, всегда чувствовал так же, без всякого Бога. Или вот такое место, оттуда же: «Если Бог-Пантократор присутствует во всяком зле и страдании, в войне и в пытках, в чуме и холере, то в Бога верить нельзя, и восстание против Бога оправдано. Бог действует в порядке свободы, а не в порядке объективированной необходимости. Он действует духовно, а не магически. Бог есть Дух. Промысел Божий можно понимать лишь духовно, а не натуралистически. Бог присутствует не в имени Божьем, не в магическом действии, не в силе этого мира, а во всяческой правде, в истине, красоте, любви, свободе, героическом акте». Или, тут же: «Наиболее неприемлемо для меня чувство Бога как силы, как всемогущества и власти. Бог никакой власти не имеет. Он имеет меньше власти, чем полицейский. Категория власти и могущества социологическая, она относится лишь к религии как социальному явлению, есть продукт социальных внушений. Бог не имеет власти, потому что на Него не может быть перенесено такое низменное начало, как власть. К Богу не применимо ни одно понятие, имеющее социальное происхождение. Государство есть довольно низменное явление мировой действительности, и ничто, похожее на государство, не переносимо на отношения между Богом и человеком и миром. На Бога и божественную жизнь не переносимы отношения властвования. В подлинном духовном опыте нет отношений между господином и рабом».

У меня перехватило, наверное, дыхание, когда я впервые прочитал это, в пору Тихона, прокуренной коммуналки, пустых бульваров, притихшей Москвы. Я так и относился, до сих пор отношусь, к государству: как к чему-то навязчиво-низменному, мерзко-вязкому («власть отвратительна, как руки брадобрея», уж простите мне избитую цитату); всегда восставал против господства и рабства; всегда хотел быть только «свободным» (по бердяевской же классификации: «господин, раб и свободный»). У меня и теперь, случается, перехватывает дыхание, когда я перечитываю — «повторным фильмом» — эти слова. Я соглашался и соглашаюсь с ними, не делаясь верующим, не считая себя христианином. Это совпадает — еще как совпадает! как ничто другое совпадает! — с моим собственным «духовным опытом», с моим «вкусом и чувством», совершенно независимо от моей же веры или моего же неверия. Кажется, что этого не может быть, думал я, по-прежнему глядя на японок за стойкой и мужиков перед нею, на грязный пол, усыпанный беленькими вытянутыми фантиками от сахара — мужики, выпивая у стойки свое утреннее, или уже не очень утреннее, очередное за день, эспрессо, надрывали эти длинные сахарные упаковки, высыпали сахар в кофе, с видимым наслаждением крутили в чашечке крошечной, в их грубых пальцах — совсем крошечной, ложечкой, упаковки же, с неменьшим наслаждением, бросали просто-напросто на пол, — этого, кажется, и быть не может, я думал, но все же это

именно так. Совершенно независимо от веры или неверия, но бердяевский Бог — единственный, которого я могу принять, которого, не веря, я могу, по крайней мере, помыслить. И дело даже не в том, что есть страницы в «Самопознании» (я только что их цитировал), где ему удалось сказать что-то самое важное о себе (а кому это вообще удастся?), но дело в том (думал я), что есть страницы в «Самопознании», где ему удалось сказать что-то самое важное — обо мне. Вот почему я сижу здесь, глядя на этот не подметенный японками пол, эти лотерейные билеты, сигареты, газеты, продаваемые из-за стойки, ближе к выходу, молоденьким, тоже, японцем, круглолицым и невозмутимым, как все японцы, младшим, наверное, братиком хозяек заведения, теперь куда-то скрывшихся, отправившихся, быть может, на кухню готовить обед (по-французски, разумеется, завтрак, *déjeuner*), уже оповещавший о своем приближении прогорклым запахом пережаренного постного масла. Мне слишком нравятся надорванные фантики, подробности бытия, чтобы я мог быть философом.

Не успел я по проспекту Жана Жореса дойти до улицы Гамбетта, как обнаружилась коротенькая, перерезавшая проспект, улица Паскаля — который весьма бы удивился, наверное, узнав о своем соседстве с республиканцем и социалистом, — обнаружился, с соответствующей надписью, угловой дом из чудного, темно-серого, на ощупь прохладно-шершавого, почти колючего камня. Соблазн *свернуть на Паскалевскую* был, конечно, велик. Не свернуть ли нам на Паскалевскую, мадам? Никакой *мадам* со мной рядом не было, да и улица оказалась скорее тупичком, чем улицей, так что от соблазна я удержался — только любимые цитаты запели, не могли не запеть, в моей переполненной цитатами голове: начиная с той, которую Лев Шестов, друживший, как известно, с Бердяевым (они даже были на ты — большая редкость и ценность для людей их среды и эпохи) и сколько раз, наверное, проходивший по этим улицам, мимо этих домов, поставил эпиграфом к своей статье о Паскале — «Гефсиманская ночь», — которая (и статья, и цитата), тоже в юности, в той же юности («повторный фильм», Тихон и коммуналка) столь сильное произвела на меня впечатление, что я чуть ли не первым делом разобрал ее в оригинале, когда начал учить французский, к немалому изумлению хорошенькой белокудрой преподавательницы, к которой ходил на частные уроки на Большую Бронную улицу, почти рядом, в сущности, с Тихоновым прокуренным обиталищем — о чем я писал уже, впрочем, в «Городе в долине», так что не буду здесь повторяться, но — возвращаясь к цитате, гласящей, что Иисус пребудет в агонии до конца света и что нельзя спать в это время (*Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde: il ne faut pas dormir pendant ce temps-là...*); — начиная, значит, вот с этой (а ведь мы всегда спим, наша жизнь проходит во сне, и если есть у нас какая-то задача, то — пробудиться, проснуться...) и заканчивая той знаменитой, заезженной и слишком часто, если я смею судить, неправильно понимаемой, — той цитатой о *доводах сердца*, недоступных разуму (*le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point*), которая замечательна, не в последнюю очередь, своей исчезающей в переводе игрою слов, поскольку «довод», «резон» по-французски — *raison*, и разум тоже — *raison*. У сердца свои резоны, неведомые — резону. У старших на это свои есть резоны; бесспорно, бесспорно смешон твой резон... Резон у Пастернака рифмуется, увы, с горизонтом, и все вместе представляется мне порядочной чепухой. Все же и эти стихи я помню лет с шестнадцати; никогда, наверное, не забуду. Резон — смешон, но он есть — у сердца. Сердце — несмотря ни на что — хочет и требует того, в чем разум отказывает ему. Но сердце, как бы ты хотело, чтобы и вправду было так... здесь, сказал я сам себе, мы оборвем, на время, цитатную оргию.

Еще я думал, стоя на углу Паскалевской, преодолевая соблазн пойти по ней, о том, как мне нравится и как всю жизнь влечет меня материальность мира, материя мира, вот эти камни с их шершавой прохладой. Бердяев пишет в том же «Самопознании», что он никогда не любил материи, всегда любил только форму. Впрочем, от «материи» тут же переходит он к «телу», утверждая, что «форма тела» не материальна, а духовна,

что она относится к личности и наследует вечность, материя же («плоть и кровь») не наследует. О плоти и теле (личности, вечности...) поговорим, пожалуй, чуть позже. А вот эти камни — они что: материя или форма? Они, по-моему, и то, и другое. Мне нравится смотреть на них («форма»), но мне нравится, очень нравится до них дотрагиваться («материя»), ощущать под ладонью их неровности, выступы, углубления, трещины, углы, грани, зернышки, выемки, к немалому, похоже, изумлению проходящей мимо старушки с зеленоватой завивкой и пластиковым пакетом из соседнего магазина Super U (красное U на нем полыхало, как раскаленная подкова) в тоже красной, подагрически гнутой руке; из всей же материи (думал я далее) меня всю жизнь особенно привлекала та, что превращается — в материал, или уже задумана как — материал, материал для строительства, строительный материал, стройматериал, будь то камень, дерево, бетон, стекло, цемент, кирпич, металл и так далее. «Какой безумец согласится строить, — писал Мандельштам в «Утре акмеизма», — если он не верит в реальность материала, сопротивление которого он должен победить. Булыжник под руками зодчего превращается в субстанцию, и тот не рожден строить, для кого звук долота, разбивающего камень, не есть метафизическое доказательство»; слова, для меня, признаться, важнейшие. Они не зря стоят именно там, где стоят, в манифесте акмеизма; здесь (я думал) проходит водораздел не только между поэтическими школами, но и между двумя поколениями, даже двумя веками... а впрочем, и по этой улице я сейчас не пойду; я еще только намечаю («строительствуя») план и схему моей, уже для меня зримой книги; ее возможные маршруты; грядущие повороты.

Это какая улица? — Улица Мандельштама... Паскалевская есть в разных французских городах, городках, городишках. Улицы Бердяева (rue Berdiaev, или rue Berdiaeff) нет ни в одном. А есть ли хоть в одном русском? Тоже, наверное, нет. Они еще будут; не сомневаюсь в этом. Во всем сомневаюсь; в этом не сомневаюсь. В бесчисленных французских городишках, городках, городах есть, во всяком случае, rue Gambetta, улица Леона Гамбетта, одного из основателей Третьей французской республики, впоследствии ее, республики, премьер-министра, министра иностранных, всегда запутанных, дел. Другим основателем этой же республики был Жюль Фавр, дедушка (по материнской линии) Жака Маритена, до медонского дома которого (если читатель еще не забыл) я и собирался дойти от бердяевского (наяву; на этих страницах собираюсь дойти теперь); именно он, ранним (очень ранним) утром (в полвторого ночи, читал я где-то) 4 сентября 1870 года (через четыре дня после трагического поражения французов под Седаном) объявил в Законодательном корпусе (так назывался в ту историческую минуту парламент) о низложении Третьего Наполеона. Вот так все связано; все всегда со всем связано, думал я (я это часто думаю), обходя круглую площадь, одну из тех типично французских круглых, с фонтаном или клумбой, площадей, куда втекает несколько улиц, обращенных к ней узкими ребрами сужающихся домов. Здесь с вокзальной стороны, откуда пришел я, дома еще были парижские, конца, похоже, позапрошлого века, пяти- и шестизэтажные, с металлическими черными резными решетками балконов, с каменными козырьками мансард. А с другой стороны был вполне пригород; тихой, пригородной и совсем не парадной оказалась улица помянутого только что Леона Гамбетта, довольно плотно застроенная очень каменными, двух- и трехэтажными домами, если угодно — вилами, уже явно стоявшими здесь и в двадцатые, и в тридцатые годы, когда и Бердяев, и Шестов, и все прочие шли мимо них, вот так же, чуть в гору, как и я шел, глядя на их, домов и вилл, разнообразную кладку, острые коньки их крыш, их зеленые ставни, зеленые газончики между ними, вечнозеленые кусты за железными изгородями и то розовое — миндаль? или сакура? — что уже начинало, еще неуверенно, цвести в этот поздне-мартовский, прохладный и бело-облачный, хороший для фотографии, день.

Гамбетта, между прочим (через месяц после того, как они с Жюлем Фавром, дедушкой Маритена, провозгласили сперва — низложение Наполеона Третьего, затем, на площади перед ратушей, куда им удалось увести ворвавшуюся в здание парламента

и охваченную революционным порывом толпу парижан, — основание Третьей республики), Гамбетта, через месяц, 7 октября все того же 1870 года, улетел из осажденного пруссаками и отрезанного от остальной Франции Парижа на воздушном шаре; эпизод, поразивший, пленивший меня более всех других, когда в детстве читал я что-то (вот не могу теперь вспомнить что именно) по истории (и предыстории) Парижской коммуны. Воздушные шары вообще играют в этой истории немалую роль. Уже в первую, Великую, революцию их начали использовать в военных целях; битва при Флёрюсе (bataille de Fleurus; 26 июня 1794) была выиграна французами не в последнюю очередь благодаря аэростату со звонким названием L'Entrepreneur («Предприимчивый»); не только сведения о расположении войск англо-австро-ганноверской коалиции, доставленные двумя сидевшими в корзине офицерами, сыграли решающую роль в исходе сражения, но и само появление над полем битвы этого доселе никем не виданного, хочется сказать — существа, медленно и безмолвно, в своем собственном пространстве и времени парящего над земной яростью, болью, страхом, отвагой, над пороховым дымом и адом, над подыхающими лошадьми, погибающими солдатами. Это был первый революционный воздушный шар, построенный, между прочим, не где-нибудь, а — в Мёдоне, до которого я собирался дойти, и впервые взлетевший (полетавший немного над Сеною) не когда-нибудь, а — 29 марта 1794 года, ровно, значит, день в день, за двести двадцать три года до моей кламарско-мёдонской прогулки (и всего через десять с половиною лет после самого первого полета двух бесстрашных добровольцев на аэростате, построенном братьями Монгольфье, 21 ноября 1783 года; двумя месяцами ранее в недолгое пробное путешествие, в изумленном присутствии еще не свергнутого Людовика XVI, были отправлены овца, курица и утка, в память о Ноевом, кажется мне, ковчеге и без всякой задней мысли о Белке и Стрелке, героях нашего детства, о которых мы теперь не можем, конечно, не вспомнить).

Почти столетием позже, во время Франко-прусской войны и революции 1870 года, аэростатное дело уже так продвинулось, что из осажденного бисмарковскими войсками Парижа всего за полгода вылетело (прочитал я недавно) шестьдесят шесть шаров, из которых пруссакам удалось захватить всего пять. Другой связи с миром у парижан и не было, разве что почтовые голуби. Они и перевозили почту (соревнуясь с голубями), эти шары; иногда переправляли в не захваченный немцами мир кого-нибудь важного, с особою миссией, например, и как уже сказано — Леона Гамбетта, посланного революционным «Правительством национальной обороны», как оно себя называло, налаживать эту самую оборону в провинции (что ему в большой мере и удалось); свидетелем его вылета был, кстати, Виктор Гюго, как раз месяцем ранее, в самый разгар переворота, триумфально возвратившийся из двадцатилетнего изгнания в Париж; в своем дневнике он рассказывает, как, гуляя по бульвару Клиши, увидел в конце одной улицы, ведущей к Монмартру, воздушный шар, пошел в ту сторону, обнаружил толпу на большой квадратной площади, замкнутой острыми скалами Монмартра. Это я перевозжу теперь: площадь; он пишет просто: пространство, un grand espace саггй. Оно лишь поздней стало площадью, это пространство, — и затем опять перестало ей быть, сохранив лишь название — площадь Св. Петра, place Saint-Pierre, — в действительности превратившись в неширокую улицу, с одной стороны — туристически-ресторанно-лавочно-сувенирную, с другой — ограниченную решеткой, за которой начинается, собственно, Монмартрский холм, парк, бесконечная лестница, ведущая к базилике Sacré-Coeur. Там было три шара, пишет Гюго: большой, желтый; средний, белый; и маленький, желто-красный. В толпе шептались: Гамбетта отправляется. Я увидел, в самом деле, Гамбетта, в широком пальто, в шапке из выдры (sous une casquette de loutre), возле желтого шара. Он сел на мостовую и надел сапоги на меху (des bottes fourrées). У него была кожаная сумка на плечевом ремне (un sac de cuir en bandoulière). Он ее снял, зашел в корзину, и один молодой человек, воздухоплаватель, прикрепил эту сумку к веревкам, над головой Гамбетта. Была половина

одиннадцатого. Прекрасная погода, легкий южный ветерок, нежное осеннее солнце. Внезапно желтый шар с тремя людьми, один из них — Гамбетта, поднялся в воздух. Потом белый шар, тоже с тремя людьми на борту, один из которых махал трехцветным флагом. Толпа кричала: Да здравствует республика! Два шара поднялись, белый выше желтого, потом они начали снижаться. Они сбросили балласт, но все равно продолжали снижаться. Они скрылись за Монмартрским холмом. Им пришлось приземлиться на равнине Сен-Дени. Они были перегружены, или ветер слишком слаб. Все-таки вылет состоялся, заканчивает Гюго после отступа, шары вновь поднялись в воздух.

Никакого дела нет мне, конечно, до французской революции 1870 года, даже и до республики, хотя я вижу всю сцену очень ясно: восторженную толпу в длинных платьях и сюртуках, в цилиндрах и шляпах, утесы Монмартрского холма, ныне скрытые парком и лестницами, пейзаж еще почти сельский (Монмартр только в 1860 году присоединен был к Парижу), широкого, плотного, кривого Гамбетта (он в юности поранил себе правый глаз, почему его всегда изображали в профиль; так, в профиль, снимал его и великий Надар — Надар, между прочим, который был не только фотографом, не только другом Бодлера, но и одним из пионеров воздухоплавания, организатором всего этого аэростатного дела в осажденной германскими варварами столице цивилизации), с окладистой (закрываю скобки), еще не седой бородою, в несуразно теплой для парижской осени, тяжелой одежде — и эти огромные аэростаты, несоизмеримые с дольным миром, легко и тихо, в прозрачном сне, взлетающие в чистое небо над скалистым холмом, над его вершиной, где еще нет никакой белоснежной базилики (ее через пять лет только начали строить), затем медленно, так же тихо опускающиеся за ним (холмом), чтобы вскорости снова взлететь. Это просто символ (что угодно может быть символом). Улететь куда-нибудь к черту на воздушном шаре из осажденного города. И на воздушном шаре, может быть, полечу, как говорил Свидригайлов. Из осажденного города, из опостылевшей жизни... Я думаю, Бердяеву этот символ был бы близок, эта мечта понятна. Ему было неуютно в жизни, как и мне в ней всегда неуютно. «Я изначально чувствовал себя попавшим в чуждый мне мир», пишет он во все том же «Самопознании», чуть ли не в первых строках. А вот запись в дневнике Лидии Бердяевой (этот дневник — для нас источник важнейший — был издан лет пятнадцать назад под, увы, безвкуснейшим названием «Профессия: жена философа»; но все-таки хорошо, что был издан), причем запись, сделанная здесь, в Кламаре, 5 июля 1936 года: «С раннего утра *Ни* (так она называет мужа) укладывается и, как всегда, перед отъездом волнуется, суетится. Все житейские дела даются ему с большим трудом. Он так неприспособлен к практической жизни. Всякая мелочь его затрудняет, и он, как ребенок, теряется, не знает, что делать. „У меня всегда такое чувство, еще с детства, что мне в жизни неудобно. Будто я попал в чуждую и враждебную мне обстановку и не знаю, как мне быть“, — говорит он». Мне в жизни неудобно... И мне неудобно, и (мне кажется) всем неудобно. А все, почти все притворяются (тоже кажется мне иногда), все стараются сделать вид, что они в жизни — дома. Сидишь, бывает, в кафе, наблюдая за посетителями, как я сидел только что в «Предотъездном», где, впрочем, кламарские мужички почти не притворялись и почти не выделялись, а вот сидишь где-нибудь в парижском кафе, или мюнхенском, или московском, наблюдаешь за посетителями, смотришь, как они откидываются на стуле, как отставляют от себя свой кофе, как многозначительно смотрят в пространство, как склоняются к собеседнице, как и руки складывают, случается, на груди — и ясно, злобно, отчетливо думаешь, что врут они все, что на самом деле им так же плохо и тошно в жизни, как тебе, и если не совсем уж плохо и тошно, то все равно и для них тоже все — не так, не по размеру и не с руки. Есть, не побоюсь этого слова, гениальная фраза в дневниках Томаса Манна, формула моей жизни. Душевно и телесно страдает он от того обстоятельства, пишет Томас Манн, что трусы № 4 ему всегда малы, а № 5 — всегда велики. Телесно, прошу заметить, и — душевно страдает он от этого обстоятельства. Жизнь нам несоизмерна, вот в чем все дело. Жизнь — жмет. Потом

жизнь — жжет (но об этом — потом). Евгения Герцык, приятельница Бердяева и сестра поэтессы Аделаиды Герцык, описывает в своих мемуарах (замечательных; из лучших, какие вообще есть о том времени, о символизме и людях символизма) характерный для Бердяева жест «как бы высвобождения шеи из всегда тугого крахмального воротника»; она же рассказывает, как он кричал по ночам, как «хватался за ворот сорочки, разрывал ее на себе». Отсюда же, вероятно, или хоть отчасти отсюда, от этого отталкивания, если не прямо отвращения от жизни, и знаменитый бердяевский тик, пугавший неподготовленных собеседников: вдруг, посреди разговора или лекции, лицо его искажалось судорожной гримасой, главное — далеко, неудержимо, во всю свою мощь вываливался язык. А между прочим, в йоге есть такая поза — «поза льва», — когда ты стоишь на четвереньках, опираясь на пальцы, высовываешь язык и рычишь что есть силы; я это иногда проделываю; очень помогает в душевных невзгодах.

В «Самопознании» несколько раз пишет он про свою «страшную брезгливость к жизни», которая ему самому казалась чем-то «мучительным и дурным». «Я прежде всего человек брезгливый, и брезгливость моя и физическая, и душевная. Я старался это преодолеть, но мало успевал. У меня совсем нет презрения, я почти никого и ничего не презираю. Но брезгливость ужасная. Она меня всю жизнь мучила, например, в отношении к еде. Брезгливость вызывает во мне физиологическая сторона жизни. Я прошел через жизнь с полужакрытыми глазами и носом вследствие отвращения. Я исключительно чувствителен к миру запахов». Против брезгливости помогает одеколон. «У меня страсть к духам», — признается он. «Я хотел бы, чтобы мир превратился в симфонию запахов. Это связано с тем, что я с болезненной остротой воспринимаю дурной запах мира». Я хотел бы, чтобы мир превратился в симфонию запахов... Бердяев вообще был щеголь. «Я всегда одевался элегантно, у меня была склонность к франтовству, и я обращал большое внимание на внешность». Он бы, конечно, не согласился, даже оскорбился бы, вероятно, посмей кто-нибудь обзывать его «эстетом», а все же что-то было в нем от «эстета», поклонника всего «прекрасного». «Я не эстет по своему основному отношению к жизни и имею антипатию к эстетам. Моя преобладающая ориентировка в жизни этическая. По типу своей мысли я моралист. Но у меня всегда был сильный чувственно-пластический эстетизм, я любил красивые лица, красивые вещи, одежду, мебель, дома, сады. Я люблю не только красивое в окружающем мире, но и сам хотел быть красивым. Я страдал от всякого уродства. Прыщик на лице, пятно на башмаке вызывали уже у меня отталкивание, и мне хотелось закрыть глаза». А он и в самом деле был красавец, и в молодости, и, по-иному, в старости. На юношеских фотографиях (не всех) он даже как-то избыточно красив; недаром же говорил он, что его «негативом» был Ставрогин («слишком яркий цвет лица, слишком черные волосы, лицо, подходящее на маску»). «Бердяев был щеголеват, — пишет Борис Зайцев, — носил галстуки бабочкой, веселых цветов, говорил много, пылко, в нем сразу чувствовался южанин — это не наш орловский или калужский человек. (И в речи юг: проблема, сэрдце, станция). В общем облик выдающийся. Бурный и вечно-кипящий». На поздних фотографиях этого уже нет. Но и на поздних, рядом с серо-суровыми, профессорского вида участниками разнообразных эмигрантских или не-эмигрантских встреч и конференций, декад в Понтины или съездов РСХД, он выглядит как особенный, отдельный человек, рыцарь среди обывателей, феодал среди буржуа. «По характеру я феодал, сидящий в своем замке с поднятым мостом и отстреливающийся». И до конца, в самые скудные годы, видно, как он следил за своим туалетом. Одна из лучших книг о Бердяеве написана Дональдом Лаури (или Лоури; Donald Lowrie), крупным деятелем YMCA (Young Men Christian Association, если кто-то почему-то не знает), одним из организаторов ее русской ветви (РСХД, Русского студенческого христианского движения, если кто-то почему-то забыл), соответственно и столь нам памятного, столь любимого нами издательства, от которого теперь остался, кажется, только книжный магазин на rue de la Montagne-Sainte-Genève, мимо которого (мне рассказывали) советские граждане, случайно

оказавшиеся в Лютеции, боялись даже проходить, перебегали на другую сторону узкой улицы, и в который я захожу теперь в почти каждый свой парижский приезд в надежде, обыкновенно сбывающейся, найти там еще что-нибудь чудесное из того, что они успели и сумели издать до войны, после войны...; книга эта, называемая *Rebellious Prophet*, «Бунтующий пророк», *A Life of Nicolai Berdyaev* (1960), замечательна среди прочего тем, что ее автор хорошо знал своего героя, да и писал по горячим следам, еще мог расспросить свидетелей, современников, ту же Евгению Рапп, охотно и откровенно, как мне кажется, отвечавшую на его вопросы. Конечно, рассказывает Лоури, Бердяев почти не занимался хозяйством — дом вели жена и свояченица, — все же он, случалось, ходил за покупками, причем почему-то всегда со старой обтрепанной сумкой, где мирно погромыхивали бутылки с молоком и вином; ходил, может быть, вот сюда, вот в эту лавочку на углу улицы Кондорсе и мною искомой (уже найденной) Петровомельничной (Каменномельничной), если существовала тогда эта лавочка; во всяком случае, по вот этим улицам, выходя из того дома и возвращаясь в тот дом, до которого я уже почти дошел, фотографии которого, как заметил читатель, уже начали появляться в тексте, предвосхищая близкое будущее, следующую страницу; прохожие, пишет Лоури, поражены бывали контрастом между этой обтрепанной сумкой — и самим господином, тащившим ее домой, изысканно одетым, с благородной бородкой, при галстукe, как же иначе, в облаке дорогого одеколona.

Мы все сотканы из противоречий (как мы все давно уже и заметили). Что до Жюль Фавра, дедушки Маритена (вернемся к нему на мгновение), то, в отличие от своего друга и соратника Гамбетта, он на воздушном шаре никуда, кажется, не летал, зато вел переговоры с Бисмарком, потребовавшим отдать ему, железному канцлеру, Лотарингию и Эльзас, иначе мира не будет. Мир в конце концов был подписан во Франкфурте, причем подписан на том самом месте, где стоит теперь едва ли не самый большой и центральный франкфуртский книжный магазин Hugendubel и где тогда стояла гостиница «У лебедя», погибшая, как почти все во Франкфурте, в бомбежках Второй мировой войны; я часто бываю там не только затем, конечно, чтобы проверить, не случилось ли чего с табличкой, сообщающей человечеству, что вот именно на этом месте, не где-нибудь, Отто фон Бисмарк и Жюль Фавр подписали «Франкфуртский мир». На гравюрах того времени лысо-усатый канцлер в военном мундире весьма неодобрительно смотрит на штатского республиканца Фавра, похожего на какого-то англиканского, что ли, священника с лопатисто-клокастой седой бородою, широко охватывающей выбритое пространство вокруг уверенного в себе рта (таким же изобразил его на фотографии и великий Надар). А он и был протестант, этот дедушка Маритена; был юрист, сенатор, член Французской академии; его дочь вышла замуж за совсем, судя по всему, не верующего адвоката, Поля Маритена, в начале своей карьеры — секретаря Фавра, затем, похоже, предпочевшего парижским политическим и прочим страстям тихую жизнь эпикурейца и вольнодумца в бургундской провинции. Это значит, что будущий убежденный томист, как-никак один из самых знаменитых и влиятельных католических философов XX века, вырос в семье и среде совсем не религиозной (во Франции того времени, да, кажется, и не только того времени, республиканство и католичество вообще плохо уживались друг с другом, до сих пор с трудом уживаются); его воспитывали, как сам он пишет, в духе «либерального протестантизма», не очень сильно отличавшегося, судя по всему, от простого неверия.

Бердяев, как опять-таки сам он пишет (все в том же «Самопознании»), тоже не получил религиозного воспитания, а если получил, то лишь то формальное, которое нельзя было не получить в его время («закон Божий» и все такое прочее; в кадетском корпусе, куда его отдали мальчиком к его величайшему несчастью, он ухитрился однажды схлопотать, при двенадцатибалльной системе, прямо-таки единицу по этому самому «закону Божьему»; «Священник не предвидел, что я буду автором многих книг по религиозной философии», — замечает он не без яду). «У меня не было традиционного православного детства, я не изошел ни от какой наивной ортодоксии». Его отец,

рассказывает Бердяев, был «вольтерианец-просветитель», во вторую половину жизни сочувствовавший религиозным идеям Толстого. «Он верил в Бога в деистическом смысле. Почитал Иисуса Христа, но христианство сводил исключительно к любви к ближнему». «За обедом он любил нападать на Библию и на церковь и высмеивать традиционные взгляды. Это вызывало у матери реакцию, и она говорила: "Alexandre, si tu continues, je m'en vais". А сама мать, урожденная княжна Кудашева, была полу-француженка, дочь некоей графини Шуазель (Бердяев, как, наверное, известно читателю, был происхождения вполне аристократического); «Она получила французское воспитание, в ранней молодости жила в Париже, писала письма исключительно по-французски и никогда не научилась писать грамотно по-русски. Будучи православной по рождению, она чувствовала себя более католичкой и всегда молилась по французскому католическому молитвеннику своей матери. Я шутя ей говорил, что она никогда не перешла с Богом на „ты“». Не перешла с Богом на «ты» — французы, как известно, и кажется, только они одни (пусть знающие люди поправят меня), обращаются на «вы» к Богу: Вы, Господи, Vous, Seigneur mon Dieu! «Et vous, Seigneur mon Dieu, а Вы, Господи Боже мой, окажите мне милость и позвольте создать несколько прекрасных стихов, которые убедят меня самого, что я не последний из людей, что я не хуже тех, кого презираю...» Бодлер, «Парижский сплин»; строки незабываемые; и может быть, единственная молитва, которую я могу повторить, с которой готов согласиться. В Бога я не верю, но если он поможет создать хотя бы несколько прекрасных стихов, то пусть будет... Бог с ним. Как бы то ни было и при всем моем атеизме, это обращение на «вы» к Господу всегда мне нравилось; в нем есть что-то рыцарственное; как и в обращении на «вы» к Богородице, каковое обращение сразу делает ее, хоть отчасти, Прекрасной дамой, «Нашей Дамой», Notre Dame, как не случайно же называют ее во Франции. Étoile du matin, inaccessible reine, Voici que nous marchons vers votre illustre cour... Утренняя звезда, недоступная царица, вот мы идем к Вашему преславному двору... Шарль Пегй, столь много значивший для всех наших персонажей, писал так, превращая в стихи свое вполне реальное, пешим ходом, паломничество из Парижа в Шартр к собору, следовательно, шартрской «Нашей Дамы», Notre Dame de Chartres, куда и я отправился через примерно год после вот этого моего кламарско-медонского полу-паломничества, паломничества атеиста по следам религиозных философов (о чем не премину рассказать в свое время). В этом рыцарственном обращении нет, наверное, той теплоты и близости, которое есть в русском «сердечном ты» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою, пред твоим образом, ярким сиянием...»); зато в нем есть — даль; а у дали свое достоинство; достоинство дистанции, которого нам, русским, так иногда не хватает. У Бердяева оно как раз было; Бердяев был рыцарь и аристократ; в своей религиозной жизни, кажется, тоже. Пожалуй, и про него самого можно сказать, что он не перешел или не совсем перешел с Богом на «ты». Поэтому — за что мы его и любим — в нем нет ничего умильного, ничего елейного. То есть совсем ничего, никогда. Во всех хоть сколько-то «религиозных» писателях чуть-чуть, пусть изредка и ненароком, прорывается эта елейность, умильность; в Бердяеве — никогда, ни на грош. Дистанция есть условие диалога. Для диалога нужны двое. Нужно «самостояние» личности, пред-стоящей своему *другому*, при случае и против-стоящей ему. Поскольку Мартин Бубер писал не по-французски, а по-немецки, то его самая знаменитая книга называется не «Я и Вы», но «Я и Ты», Ich und Du; Бердяев отзывался о ней очень сочувственно (и с самим Бубером встречался, кажется, в Понтины). Еще бы; их роднит это «диалогическое начало» (о Бахтине же они, поди, и не слыхивали). А между тем, фамилии всех троих начинаются на букву «б», с удовольствием думал я, останавливаясь перед очередной цветущей то ли сакурой, то ли не-сакурой; и вот три философских принципа — все три на букву «д» — диалог, динамика, дуализм, — которые явно доминируют у всех троих и которые мне тоже, хоть я никакой, как сказано, не философ, всегда были безусловно симпатичней противоположных им. Из чего, понятное дело, следует, что основная, платонизирующая, линия русской

религиозной философии совершенно чужда мне; Флоренский, Франк... и кто там еще на «ф»? Федотов? нет, Федотова вычеркиваем, Федотов хороший. Диалогически-динамический дуализм, господа, вот что нас радует, вот к чему мы привязались сердцем и прикипели душою; а весь ваш мрачно монологический монизм, всю вашу стопудовую статическую скукотищу заберите себе, или сдайте в архив, или бросьте в ближайшую урну... А впрочем, и эти темы я только намечаю теперь, эти улицы провожу лишь быстрыми росчерками на карте моей книги; сам же сворачиваю наконец, на мгновение, направо, из улицы Леона Гамбетта на проспект Кондорсе (из девятнадцатого в восемнадцатый век...) — и чтобы тут же свернуть налево: вот она, Петровомельничная (Каменномельничная), уходящая вверх, уже вполне затрапезная, первая цель моих поисков и духовных стремлений. По левую сторону и первым делом обнаруживается автомобильная мастерская или, как во Франции это называют, гараж, garage, с натянутым над въездом во двор полотнищем, сообщающем миру и лично мне, случайному страннику, что здесь ремонтируют все марки автомобилей, причем занимаются как моторами, так и кузовами, покраскою оных, — первый из бесчисленных гаражей, во французском понимании термина, которые еще встретятся мне на моем недолгом пути; затем обнаруживается, вдалеке, в глубине, в проеме между двумя невысокими, старыми — многоэтажный, панельный, с балконами, шестидесятых или семидесятых годов, наверное, дом, издавеча вполне симпатичный, чистенький, все же фатально напоминающий советские новостройки, социалистические окраины; наконец, по правой стороне улице — та, не знаю, когда построенная, в конце ли девятнадцатого, в начале двадцатого века, трехэтажная и с садиком за железной оградой, вилла, где Бердяев жил с 1938-го до своей смерти в 1948 году, о чем, в свою очередь, сообщает миру и страннику обветренная, с облепившейся позолотой букв, табличка на желтовато-белой, с подтеками и под этой табличкой, и под карнизом соседнего окна, давно, похоже, не перекрашивавшейся стене.

Улица скучно уходит вверх — кажется, ей самой все это уже давным-давно надоело, — надоели эти машины, припаркованные вдоль тротуара, эти каминные трубы, такие характерные для старых французских домов, эти провисающие провода между крышами — проводам тоже надоело науськивать друг друга на короткое замыкание, — этот разнобой антенн в белесом, разнообразно облачном небе, даже само это небо со всеми его облаками. Когда в доме случалось короткое замыкание, а оно в нем случалось, что при таком состоянии проводки неудивительно, философ наш оказывался решительно беспомощен перед проблемою починки пробок, рассказывает Дональд Лоури (Лаури) в своей чудной книге, как и вообще пасовал он перед задачами, предметами и явлениями материального мира, столь ему чуждого, печку, скажем, растопить был не в силах, не знал, куда совать дрова, куда щепки, как поджигать бумагу. Теперь, через столько лет, дом, показалось мне, выглядит так же, как он выглядел в тридцатые, в сороковые — сразу и внушительно, и скромно, дом двух- или даже трехэтажный — с полуподвальным этажом, о наличии которого свидетельствуют зарешеченные окна в фундаменте, — дом, скажем, двух-с-половиной-этажный, с высокими, от пола до потолка, «французскими» окнами, с чугунными, как оно и предполагается, решетками в нижней части оных (чтобы открывший такое окно изнутри, о безосновной свободе задумавшийся философ не вывалился наружу), с намеками даже и на пилястры, по крайней мере на повернутой к саду стене, с прямоугольниками поддельных окон в простенках между окнами настоящими, с треугольными фронтонами и прочими прелестями, забавами и затеями, впрочем — отчасти облупившейся, давно потерявшей свою парадность лепнины, — и чугунною же решеткой, отделяющей от улицы небольшой, но достойный всяческого внимания садик, в тот поздне-мартовский день уже усыпанный, в ближней к дому лужаечной части, желтенькими одуванчиками, беленькими мечтательными маргаритками. В глубине сада, легко приближенная выдвигаемым объективом моего Canon'a, обнаружилась бронзовая статуя мальчика с дудочкой, не знаю, стоявшая здесь при Бердяеве — хочется верить, что да, — или

поставленная позднее; сам же мальчик, в лавровом веночке, стоит на огромной морской раковине, причем стоит на одной ноге, кокетливо заложив за нее другую, так что ступня висит в воздухе...; во всем этом есть что-то барочное и порочное, слегка порочное и очень барочное, намекающее, что ли, на близость Версаля, до которого здесь и вправду недалеко.

В дом можно войти, если заранее договориться с живущим там православным священником — свояченица Бердяева, Евгения Рапп, дожившая в нем до 1960 года (год рождения автора этих правдивых строк, всегда взволнованного хронологическими сближениями), завещала его русской православной церкви (Московской патриархии, не зарубежной; архив Бердяева вообще ушел прямо в Москву); в мой следующий приезд, в мае, я так и сделал, так что удалось мне увидеть невероятное, фантастическое; увидеть кабинет Бердяева в угловой верхней комнате, с окнами в сад и на улицу, кресла и полки, и фотографии, и, главное, небольшой, с выдвижными ящиками и ящичками и очень обшарпанною столешницею стол-секретер, за которым он каждый день писал, за которым и умер и на котором все предметы стоят, лежат якобы так же, в том же порядке, в каком они стояли, лежали там в день его смерти — и круглые часы, и чернильница, и керамическая кружка с карандашами, и деревянное пресс-папье с промокательною бумагой, и оранжевая круглая подушечка для, если я правильно понимаю, смачивания почтовых марок перед тем, как наклеить их на конверт, губочница, чтоб уж воспользоваться этим редким и сильным словом («почта составляет несчастье моей жизни»), и очки, и, отдельно, футляр для очков, и перекидной календарь, по-прежнему и кажется, что на всю длину вечности, по крайней мере — до скончания времен, открытый на 23 марта 1948 года. Все это я мог потрогать, сфотографировать; и постоять у одного окна, у другого; и снять с полки, полистать его книги, например — старое, 1830—1840 годов, многотомное и теперь драгоценнейшее, готическим, конечно же, шрифтом набранное издание Якоба Бёме, так сильно, по его многократным утверждениям, на него, Бердяева, повлиявшего, большие темные тома с его, бердяевским, экслибрисом — и его аккуратнейшими, словно по линейке, подчеркиваниями на давно пожелтевших страницах. Только кабинет и сохранился в своем первоначальном виде и облике; все прочее после смерти Евгении было перестроено, переделано; на первом этаже появилась часовня («Святого Духа»), с иконостасом, который расписал известный в эмиграции иконописец Григорий Круг (фамилия прямо из Набокова, не могу не заметить в скобках); в шестидесятые и семидесятые годы здесь был приход русских таксистов, потому что в шестидесятые, даже и в семидесятые еще много было русских таксистов в Париже, и большого труда не составляло им приехать в воскресенье в Клармар, так что местные жители сперва удивлялись, отчего это так много такси стоит вдруг на окрестных улицах, после привыкли; все это теперь тоже предания старины, рассказы об исчезнувшей жизни.

А следует сказать, что отношения с церковью у Бердяева были сложные («В моем отношении к Православной церкви всегда было что-то мучительное, никогда не было цельности. Я всегда оставался свободным искателем истины и смысла»), и отношение церкви к нему и было, и остается, насколько я смею судить, настороженным. В «Самопознании» с великолепной простотой и непосредственностью высказывает он свое *Credo*, слишком, в самом деле, далекое от ортодоксально-церковного, чтобы этой настороженности могло не быть: «Моя вера, спасающая меня от атеизма, вот какова: Бог открывает Себя миру, Он открывает Себя в пророках, в Сыне, в Духе, в духовной высоте человека, но Бог не управляет этим миром, который есть отпадение во внешнюю тьму. Откровение Бога миру и человеку есть откровение эсхатологическое, откровение Царства Божьего, а не царства мира. Бог есть правда, мир же есть неправда. Но неправда, несправедливость мира не есть отрицание Бога, ибо к Богу неприменимы наши категории силы, власти и даже справедливости. Нет ничего мне более чуждого, чем довольство миром, чем оправдание миропорядка». Бог не управляет миром; «у Бога (еще раз) меньше власти, чем у полицейского». «К Богу (и это я уже цитировал)

не применимо ни одно понятие, имеющее социальное происхождение». Отсюда как бы некая программа действий, сформулированная в записных книжках (не совсем понятно лишь, кто будет выполнять ее, эту программу, кто справится с подобной задачей): «Очищение Бога от категорий, связанных с властью и силой, взятых из идеи государства. Идея Бога аналогична лишь тому, что раскрывается в духовной жизни и чистой человечности». Все это прекрасно, но верно ли? — вот вопрос. Церковь есть прежде всего социальное установление (думал я и продолжаю думать теперь), да и сама религия социальна по своему происхождению, по своей важнейшей функции. Религия — это не обо мне, не о тебе и не о нем, это — о нас. Не о человеке, но об устройении общества. Об устройении социальной, национальной жизни, племенной жизни. О человеке — литература; и в этом вся разница. Бог есть прежде всего племенной Бог; потом уже Бог индивидуальный, Бог отдельной души, отдельной личности. Эта отдельная личность, столь дорогая Бердяеву, сама по себе есть поздний и действительно драгоценнейший продукт цивилизации; в борьбе за эту личность Бердяев союзник важнейший. И да, есть, наверное, некая доля истины в распространенном, и столь, опять же, важном для Бердяева, представлении о персонализме христианства; есть, по крайней мере, возможность персонализма на христианской почве (персоналистами считали себя и Бердяев, и Маритен, за что мы их и ценим), а все-таки, полагаю я, личность, или, говоря точнее, представление о личности, представление об ее ценности, о том, что она, по Канту, может быть только целью, никогда не должна быть средством, — все это, я полагаю, вытекает (вырастает, происходит... глаголы здесь произвольны) не столько из христианства, сколько из сопротивления ему, вообще не вырастает (не происходит, не вытекает...) ни из какой религии, но скорее из противодействия и противоборства с религией, из эмансипации и освобождения от нее. Религия — это коллектив; личность — великий дар Просвещения. Религия — это архаика. Религия — *слишком* архаика, чтобы можно было, в самом деле, «очистить Бога от категорий, связанных с властью и силой, взятых из идеи государства». Бог — Отец, Бог — Царь; поди, «очисти» его от категорий власти. «Искание Бога: тоска всякого пса по хозяину; дайте мне начальника, и я поклонюсь ему в огромные ноги. Все это земное. Отец, директор гимназии, ректор, хозяин предприятия, царь, Бог. Цифры, цифры — и ужасно хочется найти самое-самое большое число, дабы все другие что-нибудь значили, куда-нибудь лезли. Нет, этим путем упираешься в ватные тупики, — и все становится неинтересным». Это Набоков писал так в «Даре»; лучше не скажешь. Бог — это власть, и религия — это прежде всего о власти, потом и во вторую очередь — еще о чем-нибудь (о душе и спасении оной, что бы сие ни значило). Бердяев потому и лишает Бога всевластия (оставляя, значит, только всеведение), чтобы сделать его непохожим на полицейского. Но сходство сохраняется — если не с полицейским, то с шефом полиции. Лишенный власти бог — остается ли вообще богом? Разумеется, этот бердяевский безвластный Бог бесконечно симпатичнее традиционного Пантократора, архаического Вседержителя, деспота на небесном троне; но как мыслить такого бога? что он? *зачем* он? Обществу, социуму, во всяком случае, он не нужен.

Недавно, оказавшись, более или менее случайно в Бристоле, на юго-западе Англии, долго ходил я, дивясь, по тамошнему исключительной красоты готическому собору, воздушно-ажурному, какими только готические и бывают соборы, довольно сильно пострадавшему, впрочем, во время «блица», как говорят англичане, немецких, иными словами, бомбежек, разрушивших не только Ковентри (об этом все знают), но и многие другие города (Плимут, Эксетер... фюрер, утверждают местные жители, бомбил их страну по бедкеру, выбирая места самые примечательные, самые прекрасные, исторически наиболее значимые; очень английская, очень страшная шуточка). В соборе (в соборе, не где-нибудь; в боковом, впрочем, приделе) проходила выставка, посвященная другой войне — Первой мировой, столетие которой отмечается по всей Европе все последние годы; и даже не просто выставка, посвященная Первой

мировой войне, но выставка, посвященная тем немногим — впрочем, не столь уж немногим, анархистам ли, пацифистам, — кто этой войны не признавал, на эту войну отказывался идти, — судьба их была трагична, то есть сразу же и надолго засаживали их за решетку, подвергали всяческим унижениям, предавали проклятию и забвению — вот только через сто лет проклятие сняли, из забвения извлекли, их фотографии выставили в соборе, том же самом, где, небось, некогда с кафедры провозглашали их слугами дьявола, приспешниками Антихриста, предателями короля и отечества, а ведь они были правы, на ту Первую мировую, беспросветно бессмысленную бойню идти было незачем (в отличие от Второй, на которую идти было нужно, не идти было нельзя, слишком очевидное зло наступало с другой стороны, бросало свои бомбы и стремилось перехлестнуться через Ла-Манш). В той Второй войне погибли, я так понимаю, старинные драгоценные витражи этого бристольского собора, ажурно-воздушного; обнаружились новые, столь примечательные, что надолго замер я, по-прежнему дивясь, перед ними. На витражах сих явлены были представители разнообразных общественно-полезных профессий: бристольские пожарные (Fire Services; каски, шланги, огромные сапоги), бристольские полицейские, бристольские няньки, повивальные бабки (Nursing Services, Women Services) и солдаты отрядов самообороны (Home Guard), очень грозные, один с автоматом, другой чуть ли не с бомбой (или это ракета?), и работники какой-то таинственной Wardens Service, униформированный дядька с топором в одной и, кажется, насосом (или домкратом? нет, все же насосом) в другой мускулистой руке, и девушка, тоже в форме, что-то проникновенно записывающая в блокнотик, и служащие Британского Красного Креста (British Red Cross), сестра милосердия, замершая с большими ножницами в тоже крепкой руке перед правдиво изображенным столиком с уже развернутым, готовым к употреблению бинтом и на нижней полочке скромными склянками, рядом с нею медбрат с чем-то таинственным и огромным, сложенными, похоже, носилками, на которые он опирается, как на древко героического знамени или классическую колонну.

Какие-то социалистические стены с росписями мне это напомнило, патетические панно моего детства и юности, являвшие миру рукастых, грудастых строителей коммунизма, мужского и женского полу, образцы для подражания, протокольные эйдосы правильного, нового человека... И что, собственно, можно сказать против этого? Да ничего и не скажешь; ничего против этого и не хочется говорить. Просто — никакого отношения к бердяевскому «эсхатологическому откровению», к бердяевскому и любому другому персонализму все это, мне кажется, не имеет. Эти прекрасные европейские соборы (я думал) суть хранилища коллективной, локальной, национальной, племенной, родовой, роевой (воспользуемся толстовским словечком) памяти. Наверное, бристольские пожарные рады, что им посвящены витражи в старинном соборе их города; медсестры и акушерки тоже, поди, довольны. Это их «мы»: мы, пожарные; мы, полицейские. Ничего, опять же, не скажешь против этого «мы» (или все-таки скажешь?). «Мы» не исключает «я»; персонализм, говоря языком русской философии, отнюдь не противоположен «соборности». Но все это, еще раз, «земное», все это об обществе, о коллективе. А может быть, история (думал я, выходя на морской свежий воздух, в ранние сумерки) есть процесс очень медленной, очень мучительной, вновь и вновь переживающей поражения, откаты и неудачи, затем опять обретающей себя и находящей свой ритм эмансипации личности от коллектива, освобождения «я» от «мы», человека от рода и нации? Потому религия в свободном, западном, все менее архаическом мире так неудержимо теряет свое значение (угроза архаики идет, как это свойственно ей, с Востока, с Востока мусульманского; в меньшей степени, но все же, быть может, и с православного; об этом думать мне не хотелось; об этом и так приходится каждый день думать при виде очередной чадры, очередной паранджи). Как хранилища коллективной памяти соборы и церкви никуда, конечно, не денутся, и пускай стоят себе на здоровье со всеми своими витражами, алтарями, мадоннами и

святыми, но свободному, эмансипированному человеку, навсегда ушедшему из роевого рая, они ничего уже дать не могут, на вопросы и запросы этого человека ответа у них давно нет. Просвещение, по знаменитой формуле, опять-таки, Канта, есть выход человека из состояния несовершеннолетия, несамостоятельности, неправомерности, в котором (состоянии) он сам же и виноват (*Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit*; процитирую уж дословно); этого просвещенного, самостоятельного (само-стоящего и само-идущего) человека обратно в роевой рай уже не загонишь; рой не рай, рой ад для него.

Да и против «мы» (я думал дальше, вдыхая морской свежий воздух) мне все-таки есть что сказать. «Мы» опасно тем, что всегда противостоит какому-нибудь «не-мы», какому-нибудь «они». «Мы» пожарные, а вот «они» полицейские. Полицейские с пожарными, как правило, уживаются неплохо. Хуже уживаются с соседями и не-соседями национальные, конфессиональные, социальные «мы». Сознание общности превращает не принадлежащих к этой общности в чужаков, при случае во врагов; племя Мумба раз в три года идет походом на племя Мумба-Юмба; обитатели северного склона какой-нибудь несчастной горюшки с прекрасной периодичностью режут горло обитателям южного. А сколько ни езжу я по (континентальной) Европе, по Франции, по Германии, столько вижу церквей, и готических, и романских, и барочных, и никаких, где то ли на стене, то ли на отдельных табличках и досках, то ли внутри церкви, то ли снаружи, выбиты имена погибших «за родину», «за отечество», *für das Vaterland*, *pour la patrie*, в Первой мировой войне, во Второй мировой войне. Всегда страшно читать эти списки погибших. И всегда что-то протестует во мне против них. Не против них самих, но против них в церкви. Я примирился бы с ними, если бы это было наоборот: имена погибших немецких солдат во французских, имена погибших французских в немецких костелах и кирхах — и если не погибших во время Второй войны, где вина одной стороны слишком уж очевидна, то хотя бы погибших во время Первой: там-то ведь непонятно, кто виноват, а кто прав; никто не прав; все виноваты; но и этого представить себе невозможно. А потому что это отнюдь не вселенские, как сами они утверждают, но племенные, национальные церкви. А как пережить молитвы за какое-то «православное воинство» в церкви русской? Пару раз в жизни пробовал я, просто из любопытства, отстоять изуверски бесконечную православную службу; как доходило дело до «православного воинства», так потихонечку и смывался. Они что же, всерьез думают, что *ихнее* «православное воинство» дороже Господу Богу, чем воинство католическое или воинство лютеранское, или воинство, состоящее из одних атеистов? Они правы, если так думают. Потому что это не Бог, еще раз, вселенский, всемирный, но это их племенной идол, которому они воскуряют свой ладан и жертвуют своих первенцев (посылая их на очередную мировую ли, локальную бойню).

Да, все это земное — и о земном, родовом, роевом, Бердяеву, еще и еще раз, это было не менее отвратительно, чем нам с вами. Но как-то так у него получалось, что вот есть — в глубинах духа, в экзистенциальном опыте — чистая, свободная от всего социального, религия — и есть ее общественная объективация, привносящая в нее ненавистные ему категории властвования и подчинения. «Религия есть сложное социальное явление, в котором откровение Бога, т.е. чистый и первичный религиозный феномен, перемешивается с коллективной человеческой реакцией на это откровение, с человеческим использованием его для разнообразных интересов». Все, что мы знаем теперь о происхождении религии, о чем писал тот же в приведенной только что цитате как раз и критикуемый Бердяевым Эмиль Дюркгейм (у которого Маритен учился, кстати, в Сорбонне...), свидетельствует, увы, об обратном: этот «чистый религиозный феномен» отнюдь не первичен, первична именно социальная объективация, социальная организация. Религия есть форма самоорганизации общества, первобытного, затем менее первобытного, но всегда, и до сих пор, сохраняющего в себе огромные пласты архаики; или, иначе, язык, на котором оно, общество, разговаривает с самим же собой, договаривается с самим же собой. Социальное не привносится в религию откуда-то

извне (откуда?), но социальное, но отношения властвования и подчинения лежат в самом ее основании. Слушайся царя-батюшку, а не будешь слушаться, Бог, тоже батюшка, покарает тебя и в той жизни, и в этой. И давай, ать-два, иди и сдохни вместе со всем православным воинством за очередное великое дело.

Ничего этого я не сказал, разумеется, милейшему монаху, показывавшему мне бердяевский кабинет и превращенную в церковь столовую (со священниками и монахами я вообще не очень понимаю, как разговаривать); тем более никому не мог сказать этого в тот день, 29 марта 2017 года, к которому снова я возвращаюсь (мне, похоже, предстоит еще не раз покидать этот день, возвращаться к нему), когда я даже не знал еще, что в дом можно войти, если заранее договориться о посещении, просто стоял, следовательно, перед закрытой дверью, перед чугунной оградой, стараясь заглянуть за нее, сделать еще один снимок. Были следы жизни за нею, цветастые полотенца, развешенные на перилах у входа... А есть что-то бесконечно волнующее в этом стоянии перед закрытой дверью; вспоминается любимое тючевское: «Не скажет век, с молитвой и слезой, как ни скорбит перед закрытой дверью: Впусти меня, я верю, Боже мой, прийди на помощь моему неверью...» И я этого, наверное, не скажу. А все-таки стихи эти вспоминаю, и что-то — что же? — во мне отзывается на них, по ту сторону всех мыслей и убеждений. У сердца свои доводы, недоступные разуму... Мы сами выбираем, сами создаем наши символы. Мы вольны придать любому нашему действию и всем событиям нашей жизни то символическое значение, которое захотим придать им. Но символ только тогда символ, когда он темен и многолик, писал Вячеслав Иванов (с которым Бердяева связывали отношения такие напряженные, такие сложные). Символ многолик и темен, и я сам не знаю толком, что оно *значит*, это мое стояние перед запертой дверью бердяевского дома в Кламаре, думал я (продолжая, впрочем, фотографировать); мне довольно самого сознания символической полноты этого стояния — здесь; сознания тех значений, которые я могу извлечь из него или в него вложить. Но разве не создает (я думал далее) это ощущение символической полноты и ощущения полноты онтологической? Исполненный (возможных) значений, этот короткий отрезок времени (пять минут, семь минут...) кажется бытийственным и весомым, кажется золотым слитком времени, на любых весах перевешивающим те пустые часы, пустые дни, из которых наша жизнь обычно и состоит.

На тротуаре, на границе с соседним домом, обнаружились два мусорных бака, один с желтой крышкой, другой с серой, откинутой. На желтой крышке первого бака обнаружилась арабская книга, с колеблемыми ветром страницами — и этой восточной вязью на колеблемых ветром страницах, которая всегда поражает меня своей совершенной чуждостью всему, что ее окружает: домам, проводам, облакам, мне самому с моим фотоаппаратом в руках. Серый бак, с откинутой крышкой, вообще переполнен был книгами, какими-то случайными, вроде тех, что продаются на блошиных рынках — детективы, дамские романы, потертый путеводитель по Лигурии, Умбрии и Тоскане, Джон Стейнбек во французском переводе. Из грозившей вывалиться на тротуар груды этих случайных книг извлек я случайнейшую, или, наоборот, самую неслучайную — сборник советских анекдотов во французском, опять-таки, переводе, издания 1978 года, с завлекательным заглавием «Коммунизм — растворяется ли он в алкоголе?» (*Le communisme est-il soluble dans l'alcool?*). На обложке изображен был нестрашный зеленый танк с красной звездой на башне, скорей — на башке (или — шапке, отдаленно красноармейской), с гусеницами, как танку оно и положено, с подгусеничными колесами в виде картошконосных рожниц, разевающих пасть от неудержимого хохота. Сама эта книжка, подумал я, и есть, собственно, лучший, смешнейший из собранных в ней, и даже из не собранных в ней, анекдотов. В Кламаре! Перед домом Бердяева! Если читатель не верит мне, то книжку могу предъявить — я, конечно, скоммуниздил ее, говоря языком 1978 года и моей, соответственно, молодости... Брежнев (*Brejnev*) влюбился в балерину из Большого театра (*une danseuse du Bolchoï*). Он за ней ухаживает; она сопротивляется; наконец, он заманивает ее к себе в Кремль.

Скажи, чего ты хочешь? Исполню любое твоё желание! — Хочу, Леонид Ильич, чтобы вы открыли государственные границы. — Ах ты, шалунья, хочешь остаться со мной наедине?.. Ну, ладно, этот еще туда-сюда, остальное невыносимо. Нет ведь, как все мы знаем, ничего печальнее записанных анекдотов, улетучившихся мгновений. Это было; где теперь все это? Брежнев давно умер, границы открыты, семьдесят восьмой год, когда впервые читал я Бердяева, провалился в небытие, в то небытие, в которое все проваливается, ту безосновную основу, тот бёмевский Ungrund, из которого Н.А.Б. выводил и возможность зла, и возможность свободы. Тихон тоже умер, еще в начале двухтысячных; Миша, если так его звали, с которым когда-то летели мы из Пензы в Москву, не знаю, жив ли; наверное, нет. А вот откуда здесь эта книжка? кто читал ее? кто и почему выбросил? Все очень странно, думал я, запихивая книжку в рюкзак; странность мира есть, может быть, его основное, важнейшее свойство; какая философия эту странность увидела, описала? Философия, по Аристотелю, начинается с удивления (да простится мне сей трюизм; Дидро, впрочем, говорил, что она начинается с неверия; и с тем, и с другим трудно не согласиться; Шестов, вслед за Киркегором, утверждал, что она начинается с отчаяния; трудно не согласиться и с этим); может быть, она недостаточно удивлялась? недоудивлялась за всю свою долгую, и тоже — удивительную, историю? «Философия странности», «Философия удивления»... может быть, эти книги еще не написаны? может быть, они должны быть написаны? Зато есть «философия абсурда», столь близкая моему сердцу; «опыт об абсурде», как обозначил свой «Миф о Сизифе» Камю. Абсурда, или, если угодно, бессмысленности вольные русские религиозные философы и французские католики-неотомисты, при всех различиях между ними, боялись, кажется, одинаково, то есть — больше всего на свете, о чем нам тоже еще предстоит, наверное, говорить.

А Бердяеву можно было бы рассказать такой анекдот? А какой-нибудь скабрёзный? советский? про поручика Ржевского? Что бы он сделал? Выгнал бы из дому? А матом ругался ли хоть иногда, как Бунин, ругавшийся, говорят, постоянно, или как Куприн, ругавшийся еще постояннее? Этого даже представить себе невозможно. Есть некая старомодная чистота во всем его облике, иногда немного комическая. В большом и очень откровенном письме к Лидии, тогда еще его невесте (Киев, 1904 год) читаем, например, вот такое: «Я не могу рассматривать бесконечно близкую мне женщину как инструмент для удовлетворения своих потребностей, я бы считал более достойным прибегнуть к проституции, хотя я содрогаюсь от одного этого слова». Подумать — от одного только слова! Что бы сказал поручик Ржевский? А что бы сказал Розанов? Тоже бы, наверное, посмеялся. А вот через много лет (1933) письмо с морского курорта княгине Ирине Романовой, с которой он явно, невинно и уже чуть-чуть постариковски заигрывает: «Я видел большое количество дам в синих штанах книзу расширяющихся и пришел к тому заключению, что для дам молодых, тонких и высоких это красиво. Значит, это должно быть красиво для Вас, друг мой. Вы можете быть очень красивым матросом». Ну не чудное ли «заключение»? Ладно, пойдем дальше, не будем смеяться. Пускай тень его нас простит; мы же и вправду смеемся любя.

Помянутая выше табличка на отечной стене осторожно умалчивает, с какого года Бердяев жил здесь; просто говорит, что здесь вот жил и скончался, а *vécu, est mort*, русский писатель и философ, *l'écrivain et philosophe russe*, и так далее; а между тем он переехал сюда вместе с женой и свояченицей, Евгенией Рапп, лишь, как выше сказано, в 1938 году; в тот день, в 2017-м, я представления не имел, где они жили до этого. С тех пор я выяснил, где. Приехав в Париж из Берлина в 1924-м, Бердяевы поселились сперва в квартире на улице *Martial Grandchamp*, номер 2, через четыре года сняли дом по адресу 14 rue de St. Cloud, прожили там десять лет, и только в июне 1938 года переехали, купив его на завещанные им деньги (скоро расскажу, кем завещанные), вот в этот дом на улице *du Moulin de Pierre*, Петровомельничной, Каменномельничной, или уж как угодно — дом, который, во всеобщем сознании,

всеобщей, табличкою закрепленной памяти, и сохранился, значит, как «дом Бердяева», хотя был им лишь в последние, трагические годы (война, болезни, старость, смерть Лидии...), годы, впрочем, когда он написал свои лучшие, самые важные, не по моему лишь мнению, итоговые книги — и «Самопознание», и «О рабстве и свободе», и «Русскую идею», и «Опыт эсхатологической метафизики»; все-таки предыдущие четырнадцать лет прожиты были хотя и поблизости, но не совсем здесь, за другими окнами, другой, хотя, наверное, тоже чугунной решеткой. А уж к Маритенам в гости Бердяев точно ходил не отсюда, если же и ходил отсюда, то всего, наверное, пару раз, в короткий промежуток между переездом в этот дом и отъездом Маритенов в Америку, куда они так удачно отбыли в самом начале 1940 года, прямо перед захватом Парижа немцами, которые еще неизвестно как поступили бы с Раисой и Верой, двумя еврейками, родом из Мариуполя. Фома Аквинский и Тереза Авильская их бы, наверное, не спасли. Если же спасли, то спасли так, как спасли, заблаговременно отправив в Новый свет, где они тосковали, конечно, по своей французской не-родине, приемной родине, истинной родине и где Раиса, тоскуя по французской не-родине и собственной молодости, написала воспоминания под странноватым для русского уха названием «Большие дружбы», или «Великие дружбы» (*Les Grandes Amitiïs*, во множественном числе, именно так), воспоминания, которые мне еще не раз предстоит здесь, похоже, цитировать.

Проблема в том, что никакой *rue de St. Cloud* в современном Кламаре нет (*rue Martial Grandchamp* как раз есть, и любопытствующий читатель легко ее обнаружит на карте, хоть на той же Google Maps, верной нашей помощнице; она, эта улица, где прошли первые бердяевские здесь годы, расположена в самом центре городишки, возле парка; там, впрочем, все рядом). Но, повторяю, как-никак десять лет, 1928—1938, прожиты были на таинственной *rue de St. Cloud*, которой ни на одной карте мне обнаружить не удалось. В конце концов (здесь я вновь покидаю, ненадолго, этот незабвенный для меня день, 29 марта 2017 года, день моей «философической прогулки», моего паломничества — я сам не знаю, к какой святыне и цели), отчаявшись найти на карте эту *rue de St. Cloud* и уже задумав свое теперешнее, понемногу набирающее обороты и разгон сочинение, написал я в кламарскую мэрию, так и так, мол, я, вот, такой-то и такой-то, русский, в некотором роде, писатель, *écrivain*, вовсе не *philosophe*, но во всяком случае *russe*, вот задумал я некое сочинение о *Nicolas Berdiaeff*, транскрибируйте как хотите, жившем в вашем Кламаре тогда-то и тогда-то, там-то и там-то, и не подскажете ли, как обстоит дело с таинственной *rue de St. Cloud*, как она теперь называется, если до сих пор существует. Ответ пришел недели через две; *rue de St. Cloud*, сообщал мне чиновник мэрии с арабской фамилией (интересно, слышал ли он когда-нибудь об *écrivain et philosophe russe*?) называется теперь *rue d'Estienne d'Orves*, нумерация домов не изменилась. Сердечно, *cordialement*, и так далее. Анри Онорэ Этьенн д'Орв был героем Сопротивления, расстрелянным немцами в 1941 году; улицы его имени есть по всей Франции. Его дальним родственником был, кстати, Экзюпери... Кламарская *rue d'Estienne d'Orves* на карте тут же и отыскалась; в один из следующих приездов в Париж (прелесть и, пожалуй, единственное достоинство моего, ненавистного мне, германского университетского уединения заключается в близости к любимой Лютеции — на поезде всего четыре часа: час до Маннгейма, а там еще три — и ты уже на *Gare de l'Est*, Восточном вокзале) — в один из этих следующих приездов в Париж (тоже в марте, но уже 2018 года), постояв, теперь уже не в первый раз, перед домом на Петровомельничной, посмотрев на решетку, виноградные ветки, мальчика с дудочкой, барочного и порочного, пошел я по Каменномельничной вверх и дальше, чего прежде не делал, вознагражден был сразу, через несколько домов от бердяевского обнаружив чудесную калитку, всю в идиотических табличках, приделанных к ней разномастными, отчетливыми шурупами, — табличках, сообщавших миру и мне разные интересные вещи о, якобы, живущей за забором собаке: что она — сноб, эта собака, и значит, мы делаем вывод, покусает простолюдина, если посмеет он заглянуть

за забор, что она — поэт, и стиль у нее кусачий, *chien poète, style mordant*, что она как раз проходит курс психоанализа и потому тем более не стоит с ней связываться. Одна табличка относилась, впрочем, и к гипотетической кошке, про которую говорилось, что она с ума сходит (в скобках: по своим хозяевам), *chat dingue (de ses maotres)*.

Бердяев сам с ума сходил по животным (без всякого психоанализа); по словам Евгении Герцык, не мог пропустить ни одной собаки, не поговорив с ней на каком-то своем особенном «собаче-человеческом языке». «Личность первичнее бытия. Это есть основа персонализма. Бытие — продукт отвлеченной мысли, а вот этот мой любимый кот существует». И вот эту фразу я обожаю еще с тех, тихоновских, времен. Основа персонализма — и всей моей жизни. Бытие — абстракция, а мы с котом — существуем. Елена Извольская, близкая приятельница и Бердяевых, и Маритенов, русская католичка, или, как это у них, кажется, называется, «католичка восточного обряда» (таковой же была и Лидия), тоже, по-видимому, как и все они, замечательная и умом, и сердцем женщина, дочь, между прочим, последнего царского посла во Франции и одного из последних министров иностранных дел, Александра Николаевича Извольского, — Елена, следовательно, Извольская (вот к чему я клоню), в начале Второй мировой войны уехавшая в Америку, оставила не только (по-русски написанные) воспоминания о Цветаевой (с которой соседствовала в Мёдоне), но и (по-английски написанную) книгу — *Light before Dusk*, «Свет перед сумерками» — о католическом социальном движении (что бы это ни значило) во Франции между двумя войнами, вообще о людях, с которыми сводила ее жизнь, не в последнюю, а то, может быть, и в первую очередь — о Бердяеве и Маритене (одна глава называется «Дом в Мёдоне», другая «Дом в Кламаре»; читатель легко догадается, как я вздрогнул — затрепетал и возликовал, — впервые прочитавши эти завлекательные заглавия); там есть чудесное место, касающееся котов. Воскресные встречи у Бердяевых напоминали чаепития где-нибудь в самом сердце России, пишет Извольская; все сидели за большим столом; окна были распахнуты; в саду цвели липы; легко было забыть уродливые дома предместья и дымные фабрики за стеной сада. Никаких фабрик теперь, кажется, не осталось в Кламаре; дома похорошели; а сад, между прочим, имеется в виду тот, который я пытаюсь найти, на бывшей улице de St. Cloud, теперешней d'Estienne d'Orves; простая мысль, ускоряющая мои шаги. К столу, пишет Извольская, всегда подавались изысканные пироги и пирожные; и Лидия, и Евгения Юдифовны были замечательными хозяйками, делившими свое время между философской мистикой и мистериями кулинарии.

Бердяев частенько спорил с Маритеном по вопросам познания (Маритен, надо думать, относился скептически к бердяевскому «духовному опыту», Бердяев же — к маритеновскому томистскому рационализму); вообще же вел и направлял беседу с большим изяществом, позволяя противоположным мнениям прозвучать в свое полное удовольствие, но не позволяя им столкнуться и привести к личной ссоре, что, скорее всего, произошло бы в любом другом месте. Из воскресенья в воскресенье приходили сюда Георгий Федотов и Константин Мочульский, приходили коллеги хозяина по Богословскому институту, приходила мать Мария, приходил Илья Фондаминский, Дональд Лоури из YMCA, неожиданные гости из Берлина, Лондона или Вены, католические и православные священники, протестантские пасторы. Вдруг Бердяев умолкал, пишет дальше Извольская, оставлял свою всегдашнюю сигару тлеть и дымиться в пепельнице, а сам бежал к двери, с выражением паники на лице и в глазах. Это значило, что его обожаемый кот, большой, серый, персидский, снова выскользнул в дверь, выбежал в сад, а значит, мог убежать, пропасть, потеряться навеки...

Борис Минаев

Язычники и реконструкторы

Два случая из репертуара

Случай первый

Украинский драматург Анна Яблонская погибла во время теракта в Домодедово, вместе с другими жертвами взрыва ее оплакали и похоронили родные и друзья, но от нее остались пьесы, и послание ее жизни можно теперь попробовать расшифровать.

Среди сотен московских театров я знаю только два, которые не побоялись ставить в годы войны современных украинских драматургов: это Центр имени Мейерхольда, где шла пьеса Натальи Ворожбит «Саша, вынеси мусор!», и Театр.doc с пьесой Анны Яблонской «Язычники».

Но если пьеса «Саша, вынеси мусор!» — она собственно о войне и о ее последствиях, то пьеса Яблонской — она все же, скажем так, об эпохе довоенной, и если глубже разобраться — она о том, что к войне привело. Да, в «Язычниках» люди еще не знают, какие ожидают их тяжелые времена, какая архаическая бездна обвалится на них из родного телевизора, они живут в обычном мире, где все обыденно, нормально, типично, но в том-то и дело, что из этой типичности быстрыми темпами растет что-то совсем другое.

Там, в «Язычниках», простой сюжет — из другого города приезжает в семью «бабушка», нестарая еще женщина, глубоко верующая, как и все постсоветское население, недавно воцерковленное, и каждое явление новой для нее жизни она рассматривает через эту призму — веры и неверия.

Я помню, как сидел в подвале в театре.doc, в маленьком зале возле Курской в Казенном переулке, в том помещении, которого театр вскоре лишился, — и напряженно вслушивался в реакцию зала.

Зал поначалу от души хохотал над этой карикатурной визгливой теткой, которая как бы вонзилась в жизнь своей новой семьи, не имея о ней никакого представления, — со своими заговорами, молитвами, святой водой, непрерывными причитаниями. Люди хохотали над тем, как дико она выглядит среди этих вполне современных людей,

Борис Минаев — писатель, журналист. Родился в 1959 году, окончил факультет журналистики МГУ, работал в газете «Комсомольская правда», журналах «Огонек», «Story», «Медведь». Автор книг «Детство Лёвы», «Гений дзюдо», «Психолог, или Ошибка доктора Левина», «Мягкая ткань», «Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х», биографии Б.Н.Ельцина в серии «ЖЗЛ», эссе о театре. Лауреат премии «Заветная мечта» за лучшую книгу для детей (2006), премии журнала «Октябрь», премии «Писатель года» (по версии журнала GQ), финалист премий «Русский Букер» и «Ясная Поляна». Живет в Москве.

с их проблемами — мать-риэлтор, которая зарабатывает на жизнь, вечно сидя на телефоне, дочь-студентка, которая ненавидит всех взрослых, не понимающих ее несчастную и страстную любовь, готовая к суициду и совсем, совсем не готовая выслушивать весь этот религиозный бред, ну и так далее.

И помню, как зал хохотать перестал — когда и мать, и отец, и дочь, и все они оказались во власти этой безумной силы, безумной страсти и безумной веры.

«Новый Островский родился, — подумал я тогда. — Или новый Лесков». Но Анны Яблонской тогда уже не было в живых.

Вообще театр.doc — это театр трагический. О нем самом, о его судьбе можно было бы сочинить не просто пьесу, а целый сериал, остросюжетный, социальный, невероятно острый — но вряд ли это произойдет в ближайшее время. О том, как его основатели Михаил Угаров и Елена Гремина, прекрасная театральная пара, начали собирать вокруг себя молодых драматургов, искать пьесы, в которых бы отразилось наше время, пьесы, написанные молодыми людьми по следам самых горячих событий, начали учить их изучать действительность, брать интервью, ставить в пьесах самые острые темы и не бояться, как искали язык этой новой драмы, не боясь самых непроходных слов, как возник этот театр в подвале, который никто не хотел воспринимать всерьез и который стал вскоре самым модным и самым ярким местом в театральной Москве, как родилось движение «новой драмы» и родились новые таланты, о которых заговорили все вокруг, о том, как театр за его остроту и безоглядную социальную позицию стали изгонять из всех мест, где он вновь и вновь открывался, как внезапно умерли друг за другом Угаров и Гремина — он, не выдержав этой битвы с реальностью, не совладав со своим сердцем, и она — не выдержав его ухода.

...Все это, конечно, остается за рамками спектакля, но тем не менее мы, зрители, это помним — его (и спектакль, и сам театр) создавали люди, уже ушедшие и прекрасно понимавшие, что наша жизнь, вдруг взорвавшаяся изнутри, обнажившая самые потайные уголки сознания и самые тяжелые застарелые болезни общества, — требует такого же острого и ясного ответа, как если бы это была операционная в больнице.

В «Язычниках» этот ответ достаточно прост — сила «бабушки» Натальи, которая то и дело заговаривает все «дьявольское», беспрерывно крестится, как на аркане тащит всех в церковь, она попросту в слабости всех остальных. Слабые, отчаявшиеся, запутавшиеся в своей жизни люди — они готовы подчиниться любой навязанной им сильной воле.

Наталья называет свою дочь и внучку, всю свою семью «язычниками», но на самом деле язычник тут только один — она сама. Слепая вера в обряд, ритуал, в то, что придет священник и «освятит» место, где будут дальше жить эти люди, и жизнь их наладится, — она, конечно, идет от языческих корней, и она не имеет отношения к осознанной вере, это понятно и так, без пьесы. И нет хорошего выхода из этой ситуации, «бабушку» можно прогнать, но невозможно прогнать из нее самой — это новое язычество. Оно в ней уже навсегда.

Вопрос в другом — во что превратится эта вера в дальнейшем, какие цели обретет эта ядерная ракета, на кого упадет этот гнев?

Анна Яблонская умерла в 2011 году, а через три года началась другая эпоха.

И в этой эпохе новоявленные «язычники» обрели новую веру и новые символы, новые поводы для страстной любви и страстной ненависти, и с той и с другой стороны конфликта.

Когда мы смотрим пьесу Яблонской (она до сих пор идет в театре) — мы понимаем, что, в сущности, ее можно было написать и на русском, и на украинском материале. И тот и другой народ оказались во власти этого нового искушения — слепой безоглядной веры.

И это бесконечное количество вопросов, которое открывается в пьесе, в спектакле описанием нового язычества, — они до сих пор остаются без ответа.

Случай второй

В спектакле «Язычники» есть одна трудноуловимая черта — смыслы в ней множатся и как бы раскрываются во все стороны, все больше и больше, несмотря на самые простые повороты действия. Само узенькое пространство театрального зала этому способствует — вот идет в квартире бесконечный ремонт, сыплется краска, валик с краской елозит по стене, и вы сразу понимаете, что этот вечный ремонт и вечное обновление — больше чем судьба конкретного персонажа, который никак этот ремонт не доделает до конца. Это наша общая судьба.

Совсем другая история — с премьерой во МХАТе имени Горького. Там вас не ждет ничего трагического, и никто, слава богу, не умер, и все еще только начинается.

Пьеса молодого белорусского драматурга Ивана Крепостного «Последний герой» стала первой премьерой нового творческого коллектива МХАТа на Тверском бульваре (бывшего Дорониной) — худрука Пускепалиса, директора Боякова, завлита Прилепина и других известных деятелей патриотической (как они себя сами называют) культуры. И верно, на премьере, где довелось побывать, кого только не увидел — и философа Дугина, и героев Донбасса с медалями, и зрителей в казачьих лампасах. У этого театра, который явно поддерживают и министерство культуры, и иные облеченные доверием государства инстанции, явно светлое будущее. И вот их — несмотря на скандалы со старой труппой — конечно, никто гнать из помещения не будет, это точно.

Вообще для меня это здание на Тверском бульваре — оно какое-то заколдованное. Я не знаю, почему. Но мне кажется, еще с середины семидесятых годов, когда сюда пришел Олег Ефремов, от него веяло смертельным холодом. И поначалу в этом здании у знаменитого режиссера ничего не получалось, несмотря на громкий успех «Господ Головлёвых» — увы, но народ в театр не шел. Заполнить этот полуторатысячный зал было нереально. Да и вообще это здание не похоже на театр, скорее, на какой-то провинциальный гигантский дом культуры. Этот советский промышленный дизайн, необъятные холлы, неудобные лестницы, сиротский буфет на последнем этаже, неработающие лифты, холод, идущий из каждого угла... Я не знаю, чем можно перешибить эту карму, какими усилиями. Помню, как ходил тут на прекрасный спектакль молодого режиссера, и у меня вдруг разболелась голова, да так сильно, что я до сих пор не могу вспомнить ни автора пьесы, ни названия. Помню, как мутило меня от советского пафоса спектакля «Валентин и Валентина», хотя это была знаменитая вещь. Из театра медленно уходила жизнь, пока он не перебрался обратно в проезд Художественного театра (ныне Камергерский). И только Доронина с ее могучим характером могла взять на себя эту неподъемную ношу — вернуть жизнь в этот мертвый театр.

Удастся ли это новому коллективу, не знаю — но первый спектакль ответа на этот вопрос не дал.

Дело в том, что смыслы и ходы, которые в пьесе, вообще-то говоря, есть, сам театр руками режиссера Руслана Маликова упорно постарался закрыть и, как-то даже мне показалось, плотно закупорить.

Ну скажем, главный герой спектакля, отставной советский офицер, от бедности и общего жизненного неуютя спрятавшийся на закрытой военной базе, к месту и не к месту вспоминающий единственный славный момент своей жизни — воздушный бой с американцами во Вьетнаме, он в пьесе персонаж явно комический, хотя смотрит на него автор и с некоторым состраданием. Этот самый бывший ракетчик где-то находит настоящее боевое оружие, угрожает им, открывает пальбу, пугает людей. Он — тень своей жизни, карикатура на самого себя, но в спектакле он оказывается символом всех гражданских доблестей и человеческих совершенств.

И играет его актер Криворучко — хороший, надо сказать, актер — на самой что ни на есть трагической ноте. То, что задумано Иваном Крепостным как явное издевательство над всем патриотическим дискурсом, превращается здесь в настоящий звонкий пафос, без всяких полутонов — полковник готов к вооруженному мятежу против власти, лишь бы вернуть себе прошлую жизнь, верит всякой ерунде, лишь бы с оружием в руках бороться за возвращение СССР, в его речи то и дело пышным махровым цветом цветут забытые ныне анахронизмы — Горбачёв у него «меченый», Чубайс — рыжая падла или как-то вроде того, словом, если вы помните бабушек и дедушек из телерепортажей 90-х, ходивших под красными знаменами по московским улицам, — так это точно один из них. Просто замаринованный в какой-то театральной банке.

...А вот мимо очевидных и важных моментов пьесы режиссер проскальзывает, не задумавшись.

«Реконструкторы», то есть люди, всерьез играющие в военные игры, показаны тут как какие-то тряпичные клоуны, как дурная гламурная мода, как официозная забава. Меж тем в реальной жизни — это ясно и на примере донбасского главнокомандующего Стрелкова, и на примере бонопартиста Соколова — это среда как раз очень серьезная, опасная, тяжелая, кислотная. В отличие от придуманных «фашистов», которыми авторы нас пугают.

Вообще весь этот гром, тарарам, бесконечные люди в коже, с цепями и с ножами, прожектора в темноте, лязгающие звуки, оглушительная стрельба, слезливые монологи — это все-таки больше для провинциального ТЮЗа, чем для драматического московского театра. Так мне показалось. Да ТЮЗ, честно говоря, тоже будет жалко. Там тоже нужен зрителю хороший вкус.

Впрочем, со всеми ними — и с фашистами, и с реконструкторами — главный герой, бывший офицер-ракетчик, расправляется лихо, дерзко, по-боевому, благо где-то в подпольном «военторге» прикупил настоящий автомат и готов из него палить во всех «плохих» подряд. Да и про Чубайса и Горбачёва вокруг все в зале согласно кивают — так их, гадов. Да и с американцами у нас опять тяжба, опять-таки история про Вьетнам обрела актуальность. Герой Криворучко уходит со сцены просто победителем. Он еще свое возьмет, он от этой новой жизни, которая началась в 91-м году, будьте уверены, камня на камне не оставит. Зритель в лампах и без ламп от души бьет в ладоши.

А на душе как-то тяжело.

В 2020 году рубрика «Блог-пост» открывает площадку для экспериментов и новых авторов. Половина материалов в этом году будут написаны приглашенными гостями, которым мы предлагаем поразмышлять на любую из нашего расширенного списка тем: блогинг, онлайн-медиа, социальные сети, онлайн-коммуникации, цифровая антропология и искусственный интеллект.

Наш первый гость — Мария Лебедева, победитель премии «Литблог» 2019 года. Мария рассказывает о платформе Wattpad и о текстах, которые пишутся для интернета, а потом вдруг становятся издательскими бестселлерами.

Ольга БРЕЙНИНГЕР

Мария Лебедева

Роман, чтобы ты заплакала

Как «плохие фанфики» для подростков становятся
эмпатическим чтением

*«...дети перестали слушаться родителей;
каждый хочет написать книгу, и конец мира уже близок».*

Папирус Присса, ок. 1991—1783 г.г. до н.э.

В приличном обществе их предпочитают не замечать, эти сверхпопулярные книги. Разве что «Кот Бродского» с «аукционом плохих книг» или обзоры Дениса Чужого включают в культурный контекст присутствие литературы, приносящей постыдное удовольствие. Толпы поклонников этих романов сосуществуют наравне с обвинениями вроде «дно тоже можно пробить!» и возмущенные требования вернуть потраченные деньги. Все схематично, а потому однозначно. Книги подобного рода привлекают/отталкивают своей наивностью:

- Даан, ты действительно меня любишь?
- Конечно, — я едва улыбнулся.
- Для тебя близость со мной, нахождение со мной важно?
- Да, я хочу быть с тобой.
- Но... я ведь не люблю тебя.
- И я разбился после этих слов¹.

Среди анонимных подборок с громкими названиями вроде «лучшие современные книги для подростков», среди искренних или же саркастичных советов подростков

¹ *Мирай Медина. Воскресни за 40 дней: Роман. — М.: АСТ, 2019.*

ровесникам (или тем, кто себя за них выдает, интернет благоволит анонимам) очень часто мелькают «Мятная сказка» или «Воскресни за сорок дней», жемчужины издательского проекта АСТ «Хиты Wattpad», must have подросткового чтения.

Выбор платформы для серии вполне объясним: Wattpad изначально адаптирован под дисплейное чтение, еще на этапе старта проектов славился низким возрастом авторов и является своего рода социальной сетью, где можно общаться с автором напрямую или самостоятельно привлекать внимание к своему произведению.

По сути, проза с самиздатовских платформ публикуется достаточно часто, но в серии АСТ происхождение текстов подчеркнуто, вынесено в название серии. «Более миллиона читателей на Wattpad» на обложке — едва ли не аналог премий и отзывов критиков, гарант популярности.

По фанфикам пишутся исследовательские работы и защищаются кандидатские диссертации, но все же долгое время этот феномен популярной культуры четко отграничивался от литературы, мыслился более как социокультурная практика — несмотря на очевидное родство с романом-фельетоном (авторы вынуждены мотивировать читателей ожидать продолжение; совместное чтение вслух, видоизменившееся до полемики в комментариях; в поздних образцах «народного романа» — коллективность творчества с неустановленной степенью участия каждого из деятелей¹, почти что союз автора и редактора-гаммы в фанфикшне). Тексты, изначально отграниченные от профессионального писательского творчества, пережили этап легитимации, а после — утратили некоторые из первоначальных свойств и сейчас сложно сказать, в чем же различия фанфика и какого-нибудь произведения масслита. Фанфик может быть напечатан, может приносить автору коммерческую прибыль — таким образом, творчество больше ничем не отличается от работы условно профессиональных (в данном случае — получающих деньги за свои тексты) писателей. Даже стремление массовой литературы к предельной узконаправленности вроде разновидностей чиклита (Bigger Girl Lit — книги, посвященные жизни полных женщин, Shopping Chick Lit для шопоголиков и т.д.) вполне перекликается с аналогичным качеством фанфикшна: по набору тэгов и рейтингам вроде NC-17 читатель сразу может сориентироваться, будут ли оправданы его ожидания.

«Хиты Wattpad» — это, на данный момент, шестнадцать книг девяти авторов: разные миры — от фэнтезийного пространства до узнаваемых отечественных реалий, полный набор типажей и традиционных проблем. В серии АСТ издаются оригиналы: тексты, не принадлежащие к какому-либо фандому. Отсутствие канона, служащего неким гарантом читательской заинтересованности — понятно, что фанатам «Гарри Поттера» с большей долей вероятности захочется читать о любимом герое поттерианы, нежели о персонажах другого фандома — окупается узнаваемостью непосредственно книги.

«Мятная сказка» — это история, о которой «где-то уже слышали». Она разошлась на цитаты и стала самой продаваемой книгой «Эксмо-АСТ» по итогам 2019 года, продано 240 000 экземпляров; недавно ее переиздали в новом оформлении².

Здесь важен и авторский имидж. Александр Полярный слагает миф о себе через истории о том, как приобрел книги для уличной библиотеки, приехал лично поддержать поклонницу своего творчества, раздавал открытки на улицах города. Посты с такими историями также становятся популярными, а заодно укрепляют образ непонятого, бесконечно одинокого и доброго романтика, так похожего на главного героя книги.

¹ Пахсарьян Н.Т. О литературной и социокультурной роли французского романа-фельетона XIX века. Источник: <http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/articles-fra/pahsaryan-roman-feleton.htm>

² См. отзыв Марии Ануфриевой на стр. 190—192 этого номера «ДН».

Помимо восторгов поклонников, возмущения хейтеров и сетований жертв агрессивного маркетинга, ожидавших от бестселлера большего, на «Мятную сказку» есть и спокойные, вдумчивые отзывы, авторы которых обычно сходятся в том, что это не просто плохо, а феерично плохо, «так плохо, что даже хорошо».

Здесь стоит вспомнить, что есть книги хорошие, плохие, и есть, наконец, формульная литература — за гранью существования этих понятий¹.

«Мятная сказка», конечно, относится к формульной литературе. Герою — сироте Сойеру — патологически не везет. Всякий раз, когда, казалось бы, ему улыбается удача, все идет прахом. Прекрасные приемные родители погибают, идеальная возлюбленная умирает тоже, даже шенок сбегает из дома; когда герой становится капитаном судна, оно мгновенно застревает во льдах.

Распиаренный, лживый, депрессивный, манипулятивный роман — все эти слова были сказаны... нет, не о книге Александра Полярного, а о букеровском шортлисте «Маленькой жизни» Ханьи Янагихары. Потому как в стремлении во что бы то ни стало выжать из читателя слезу можно обвинить Янагихару, или, допустим, культовую подростковую историю «Виноваты звезды» Джона Грина, спровоцировавшую целую серию «виноватых» подражателей.

Максимально наивная «Мятная сказка», изначально озаглавленная как «Сказка о самоубийстве», проста и однозначна как лубок, и привычным к иронии сложно воспринимать всерьез этот текст. Здесь речь даже не о концепции «новой искренности» — текст не рассчитан на пресыщенное сознание, на индивида, потерявшего ценностные ориентиры где-то по пути от пост- к метамодерну. Черное вновь становится черным, белое — белым:

«Я избил ее отца. Он сказал, что я недостойн был ее любить, раз не в состоянии защитить... Бросался под колеса машин. Напивался в стельку и валялся пьяный на дорогах и в каждом дворе. Кидался на прохожих. Разбивал руки и голову в кровь. Меня били. А я бросался опять. Не знаю, почему еще не умер»².

Книга Медины Мирай «Воскресни за 40 дней» становится с бестселлером Александра Полярного в один ряд: «Роман, выпущенный интернет-издательством Ridero, вошел в топ-30 популярных книг на Ridero из 100 000 других. Кроме того, он не раз становился бестселлером ЛитРес и даже попал в список бестселлеров OZON.ru по версии Ridero»³.

Здесь интересным становится тот факт, что книга о посмертных злключениях подростка по имени Даан — канонический слэш, а значит, пометки «18+» на обложке не избежать. Слэш, чисто статистически, самая популярная категория фанфикшна, и к тому же именно в рамках гомосексуальной истории проще всего реализовать тип сюжета «запретная любовь».

«Воскресни за 40 дней», как и роман Александра Полярного, настоящий путеводитель по сюжетным штампам: это и «укрощение строптивого», и «от ненависти до любви», и «барышня и хулиган» с поправкой на гендер героев, и «больше всего мы ненавидим то, что пытаемся скрыть в себе» (гомофоб оказывается гомосексуалом). Так же, как и в предыдущем бестселлере, сюжет не помещен в отечественные реалии, а имена главных героев подчеркнуто «иностранные» — отголоски влияния массовой культуры в западном изводе.

¹ Книги такого рода вполне могут генерироваться нейросетью, и предполагаемая конкурентка писателей, Neural Machine (@neural_machine) — успешно ведет блог, пока что взяв в помощники человека. Ее посты популярны в твиттере, ведь сгенерированным высказываниям можно придать какие угодно значения и создать иллюзию наполненности смыслом; схожим образом кто-нибудь суеверный видит в случайных событиях пророчества судьбы.

Мы не просто видим в этом высказывании смысл. Мы понимаем тебя, нейросеть.

² Полярный А. Мятная сказка: Специальное издание. — М.: АСТ, 2019.

³ Из описания книги на сайтах интернет-магазинов.

И «Мятная сказка», и «Воскресни за 40 дней» — это книги без пресловутого «счастливого конца»: обе они заканчиваются смертью, пусть во втором случае — и в стиле «мертвое мертвого только умеревший дважды», и обе воспевают бессмертную токсичную любовь. В обоих случаях авторы говорят об истинных чувствах в традиционной риторике масскульта — идеализируя созависимые отношения.

Трафаретные персонажи активируют эмпатию даже быстрее вследствие своей предсказуемости¹, а глубже всего трогает именно сострадание, радоваться вместе с героем мы не привыкли. К тому же сочувствие к несчастным в принципе укоренено в русской культуре, в том числе и в литературной традиции — маленький человек, святочный рассказ, всякого рода униженные и оскорбленные. Текст может вызывать искренние сильные эмоции вне зависимости от своих реальных достоинств (впрочем, как и человек): он отзывается — следовательно, отвечает некоему социально-психологическому запросу, в данном случае — запросу на тотальную эмпатию.

Рыдать над книгой о посмертных приключениях подростка по имени Даан или же над очередной неудачей сироты Сойера — тоже катарсис. Это тексты «чтобы поплакать», прочувствовать, тестеры нарративной эмпатии для начинающих, механизм работы которых можно описать строкой из «Выпускного» Басты: *«Медлячок, чтобы ты заплакала, / И пусть звучат они все одинаково, / И пусть банально и не талантливо, / Но, как сумел, на гитаре сыграл и спел»*.

Наивному автору неведомы границы допустимого в подростковом чтении, четко регламентированном федеральным законом или традициями (обычно в подростковое чтение приходят проблемы, легитимированные во «взрослой» литературе: отечественные гей-романы пока еще в разряде маргинальной прозы, а роман Медины Мирай — вполне себе бестселлер). Свобода подобного рода приносит неожиданные сюрпризы. Так, в «Списке» Юлии Лим, последнем на данный момент романе серии, есть важный большой эпизод о месячных. В современной русскоязычной прозе для подростков это случается очень нечасто, хотя описываемая ситуация болезненно-узнаваема: невовремя начавшаяся менструация, повязанная на бедрах кофта и школьная медсестра, стыдящая за физиологию. От этого роман не перестает быть стереотипным, вторичным и даже мизогинным — но становится отчасти более актуальным, нежели, например, литературным языком написанная, библиотекарями одобренная и морально устаревшая повесть «для старшего школьного возраста» признанной писательницы Марины Аромштам «Когда отдыхают ангелы»: *«Ведь эти завучи-учительницы, а тем более — научные работники, ни за что не признаются, о чем они мечтали лет, например, в тринадцать. А мечтали они, чтобы какой-нибудь ковбой, или матрос, или солдат, — короче, какой-нибудь привлекательный бандит-супермен, с сильными руками и крепким мужским запахом, вылез из кустов в темной аллее и их изнасиловал. Они даже специально по этим темным аллеям в одиночку ходили»*².

Поэтому, читая какую-нибудь книгу вроде «У Ромео был пистолет» Дианы Лилит — клише о жизни «золотой молодежи», наркотики, случайные связи, темные тайны, бесконечные тусовки, — можно посетовать на бедность стиля, безыскусность сюжета. А можно увидеть болезненную честность и сочувствие, к которой потянутся подростки, как тянулись к неоднозначно воспринятому взрослыми сериалу «Эйфория» от НВО. Формульные романы становятся настоящим тренажером эмпатии — простеньким, собранным кое-как, но в отсутствие другого сойдет и подобный.

¹ Ефремова А. Пусть герой страдает: как заставить читателя сопереживать. Источник: <https://theoryandpractice.ru/posts/17677-pust-geroy-stradaet-kak-zastavit-chitatelya-soperezvivat>

² Аромштам М. Когда отдыхают ангелы. КомпасГид, 2019.

Юрий Подпоренко

Чтобы светлый мир стал еще светлей

Современные художники Казахстана

Художественная, как и вся общекультурная жизнь современного Казахстана разнообразна и многогранна. Ученые — историки, обществоведы, культурологи — успешно осваивают новое видение исторических процессов, применяя новейшие научные подходы к пониманию сущности феномена кочевья, видя в нем проявление движения, развития и личной свободы человека. Художники, активно используя различные стилистические приемы, создают произведения с широкой палитрой эмоциональных состояний — от доброй улыбочки и иронии до высокого пафоса и глубокой философичности. Важно заметить, что все это происходит в пределах реалистического видения мира, хотя этот реализм порой оказывается, вспомним определение французского философа Роже Гароди полувекковой давности, — «реализмом без берегов».

Свобода художественного высказывания дает простор творческой фантазии, стремлению создавать свой самобытный образ видимого мира, образ, побуждающий по-новому взглянуть на привычные, обыденные явления.

Так, в манере художника Бахытхана Мырзахметова (род.1953), получившего образование в Алматинском художественном училище и Московском государственном художественном институте им. В.И.Сурикова, ощутимо стремление к поиску оригинальных цветовых и композиционных решений, к созданию образов, окрашенных то гротесковой, то доброй, чуть ироничной интонацией. В одном из интервью художник переосмысливает казахскую пословицу применительно к общественной роли художника, призванного делать так, чтобы «светлый мир стал еще светлей».

Активно включен в современный художественный мир живописец Марат Бекеев (род.1964). Окончив Алматинское художественное училище и Белорусский театрально-художественный институт, он, свободно используя приемы актуального искусства, пылливо вглядывается в историю своего народа, в формировавшееся веками устройство личности. Особенно привлекательным для него становится такой исторический этап, как время язычества, когда в человеческой душе возникало, по его мнению, состояние неустойчивости, смуты, которое важно и для художника как проявление пылливости, поиска. Марат Бекеев — участник многих выставок, как в своей стране, так и во многих зарубежных странах, в том числе и в России.

Художник Умирбек Жубаниязов (род.1964), окончив культпросветучилище в г. Актюбинске и Алматинский государственный театрально-художественный институт им. Т.К.Жургенова по специальности «художник монументальной живописи», работает в оригинальной стилистике, сочетая приемы модернизма с тщательной проработкой деталей и национальной поэтикой, аллегориями, навеянными традициями национальной культуры. Живописец гордится, что в 2001 году его картина «Кездесу» была преподнесена Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым

ПОИСКИ И ОТКРЫТИЯ

Современные художники Казахстана



Бахытхан Мырзахметов. ДВА ВСАДНИКА, 2015. Холст, масло



Марат Бекеев. СТРАНСТВИЕ, 2016. Холст, масло



Умирбек Жубаниязов. ЖАВОРОНОК. ВРЕМЯ, 2014. Холст, масло



Каир Оразгалиев. КОНФЛИКТ, 2012. Холст, масло



Абдухат Муратбаев. ЛОДКА ДЛЯ МОЛОДЫХ, 2016. Холст, масло



Александр Осипов. ГЕОРГИЙ, 2009-2013. Холст, масло



Жумакын Кайрамбаев. СТАРАЯ КНИГА, 2010. Холст, масло



Осербай Шуранов. ДЕНЬ АСТАНЫ, 2009. Холст, масло

в дар Папе Римскому Иоанну Павлу II. Умирбек Жубаниязов успешно сочетает творческую работу с общественной деятельностью, возглавляя Союз художников Республики Казахстан.

Каир Оразгалиев (род.1962) окончил художественно-графический факультет Уральского педагогического института Западно-Казахстанской области, затем в течение ряда лет преподавал в этом же институте живопись, композицию и рисунок. Его творческой манере присуще символическое, порой гротесковое обобщение, стремление выразить художественными средствами некое жизненное наблюдение, придать ему общечеловеческое и даже философское звучание. Каир Оразгалиев — участник многих республиканских и международных выставок. Живет и работает в г. Уральске.

Художник Абдухат Муратбаев (род.1960) первичное художественное образование получил на своей родине, окончив Шымкентское художественное училище, а затем — Киргизский педагогический университет в Бишкеке, факультет «ИЗО и черчение». В живописных работах художника отчетливо высвечивается графическое начало — пристрастие к локальным цветам, ярким и насыщенным, причудливый, иногда витиеватый рисунок, выразительный декоративизм. Все это создает у зрителя приподнято-поэтическое настроение, особенно в полотнах лирического плана, доминирующих в творчестве художника. Абдухат Муратбаев живет и работает в Шимкенте, сочетая творческую работу с общественной, он является главным художником Южно-Казахстанского филиала Союза художников Республики Казахстан.

Александр Осипов (род.1959). Подростком он, попав в ДТП, перенес клиническую смерть и долгий восстановительный период, что круто изменило жизненные ориентиры. Окончив Алматинское художественное училище им. Гоголя, а затем Алматинский государственный театрально-художественный институт, художник вырабатывает свою манеру живописного письма, которую сам определяет как метафизический реализм. Его полотна, как правило, плотно, вязко записанные, действительно настраивают зрителя на мистический лад. Обретя еще в 90-е годы прошлого века известность за рубежом (в США и Германии), полностью сосредоточился на творческой работе.

Живописец Жумакин Кайрамбаев (род.1953) окончил Ленинградский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина и навсегда связал свою творческую жизнь со станковой живописью. В его полотнах все предельно выверено: композиция, цветовая палитра, баланс света и тени. А поверх всего, точнее, как итог мастерства — философские размышления об устройстве жизни, ее смысле. Формулируя свое художническое кредо, Жумакин Кайрамбаев утверждает, что «самое главное — надежда. То, что я делаю в жизни, моя работа, мое творчество посвящено надежде».

Творчество павлодарского художника Осербая Шуранова (род.1952) уходит своими корнями в советскую эпоху. Окончив Алматинское художественное училище, молодой живописец глубоко воспринял традиции реалистического искусства, как в пейзажах и портретах, так и в жанровых работах. Его горные пейзажи величественны и монументальны, а городские — созерцательны, а порой и пафосны. Портреты и жанровые сценки наполнены лиризмом и теплотой. До недавнего времени Осербай Шуранов в течение ряда лет возглавлял Павлодарское отделение Союза художников Республики Казахстан.

Summary

Anait SAGOYAN. Bridges Are Burning. A novel

Alina GATINA. Soul and Desert. Long short story

Two examples of the so called "post-imperial" prose. Anait Sagoyan writes about the 90-s, about the difficult time of decay in independent Georgia which coincided with the childhood and maturing of the protagonist. The bridges are burnt and the future is misty. Gatina's setting is a more vegetarian epoch, the 2000s, closer to us. The characters of her story are refugees from Tajikistan, they have succeeded in foreign parts but they are injured forever by their fleeing and try to return if only into their childhood.

Poetry

The verses by the well-known poet Olesya NICKOLAEVA present meditations on God and the divine around and inside us. The young poet Nadya DELALAND is concentrated on the search of amazing utterances. Also young Grigoriy KNYAZEY is sure that "the future is sending good-luck letters" to him. Vadim MURATKHANOV presents translations from Abdukhamid PARDAEV, poet from Bukhara and translator of European and Russian poetry and prose into Uzbek.

Yourij KAGRAMANOV. Unexpected Call of Aristocracy

The well-known culture expert is meditating in his article if it is possible to revive at least some elements of the aristocratic tradition in the modern world and whether there is any future for it.

ANDREJ VASILIEV. Lemons from Ordubad, Warriors from Kengerly and Heavenly Beings from Hynalig.

"I like visiting Azerbaijan," — the author, journalist and writer, confesses and invites the readers to another travel with him presenting the people of the country, showing the diversity of its natural areas and life styles, and also the changes that recently are taking place in it.

Alexej MAKUSHINSKIY. Outskirts of the Thinking. Extracts from the new book

"The Berdyaevs stayed in Klamar under Germans because — among other reasons — their cat didn't like to travel. It was of course an ironic rumor bustling in the ?migr? circles but the rumor rather typical". "The most powerful power is the power over the past", — asserts the author and begins his "philosophical journey" to France.

Boris MINAEV in his personal rubric "Rules of Play" will be observing the problems and events of today's theater. "All this is certainly outside the scope of the stage. Nevertheless we, the audience, remember: it (the performance and the theater itself) is created by the people already gone who perfectly understood that our life suddenly exploded from inside, exposed the most secret corners of mentality and the hardest inveterate diseases of society, requires as keen and clear answers as if it all took place in a surgery".

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Малый Гнезниковский пер., 12/27)

«Русский путь» (Нижняя Радищевская ул., 2. (Дом русского зарубежья)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин Лабиринт.ру
в любом городе страны.

Верстка: Елена ЖИРНОВА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

**3/2020**

Читайте:

Сергей Самсонов
Роман «Высокая кровь»:

«Они ничего не боялись — сходились грудь в грудь, с кошачьей гибкостью увёртывались от ударов и искусно рубили, коварно, исподнизу, витками, наотмашь и с такой пробивающей силой, что свинцовая боль ударяла в сведённые пальцы, во все твои суставы от запястья до плеча. Один, потерявший папаху, с обритой синеватой головой и рыжими бараньими глазами, зарыскал шашкой в воздухе с такою быстротою, что у Сергея начала отвёртываться кисть. Отбившись двукратно, он сам кинул взмах, рубя по погону, — абрек ответил молниенным закрытым ударом... клинок его, дав вспышку фотографического магия, с шипением скользнул по северинскому клинку до самого эфеса, и будто бы маленький смерч скрутил кисть Сергея жгутом, корчующая электрическая сила рванула шашку из руки, оставив в ошкуренных пальцах отчаянную пустоту. Не успел обмереть от сознания: «Всё!», потому что вот этот дающийся очень немногим приём восхитил его, словно ребёнка невиданный фокус. Пустая правая рука сама взметнулась к голове, по-детски защищаясь, как от солнца, бьющего в лицо...»

Галина Климова
Повесть «Сочинительница птиц»:

«Лама Итигэлов, загорелый, как из солжария, под стеклянным саркофагом сидел в позе лотоса. Весь в шелках. И сверлил меня левым глазом. До мурашек. Чем-то я ему запала? Итигэлов — не похож на мавзолейного Ленина. Он — не мумия. На лбу капельки пота. Науке ничего не известно о такой форме жизни, о нетленном теле. Да, не мощи, именно — нетленное тело, которое каждый день протирают влажной губкой и переодевают в чистое. Над телом Ленина работал целый НИИ, а здесь — несколько монахов. Для них тело Итигэлова — учебник земной жизни и той другой, новой, где-то там...»